

## РУССКИЕ О СЕРБИИ И СЕРБАХ





РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

# РУССКИЕ О СЕРБИИ И СЕРБАХ

Том III

(сербские сочинения П. А. Ровинского)



Нестор-История  
Москва • Санкт-Петербург  
2019

УДК 94 (497.1)  
Р89



Исследовательская работа выполнена по гранту РФФИ  
(№17-01-00273а)

Составление, введение  
*А. Л. Шемякина*

Комментарии  
*А. Л. Шемякина, А. А. Силкина*

Подготовка к изданию  
*М. В. Лескинен, Ю. В. Лобачевой, Н. С. Гусева*

Редактор:  
*Л. А. Авакова*

Рецензенты:  
доктор исторических наук *М. В. Белов*  
кандидат исторических наук *Г. Н. Энгельгардт*

**Р89 Русские о Сербии и сербах.** Т. III (сербские сочинения П. А. Ровинского). — СПб. ; М. : Нестор-История, 2019. — 404 с.

ISBN 978-5-4469-1751-8

В третий том серии публикаций источников «Русские о Сербии и сербах» вошли очерки и статьи о Сербии 1860–1880-х гг. русского ученого-этнографа, слависта, журналиста и педагога Павла Аполлоновича Ровинского (1831–1916). Инициатор проекта и составитель тома — известный российский историк-сербист Андрей Леонидович Шемякин (1960–2018), полагал, что если взятые в отдельности работы П. А. Ровинского о Сербии имеют значение всего лишь локальной иллюстрации, то его сочинения о Сербии, рассматриваемые в комплексе, «приобретают характер репрезентативного источника, анализ которого дает возможность для широких обобщений, объемно демонстрируя срез жизни, поведения и представлений сербов на начальном этапе модернизации их страны (конец 1860-х гг.)». Поскольку ментальные особенности сербов, подмеченные П. А. Ровинским еще полтора века назад, проявились и на рубеже XX–XXI вв., его наблюдения оказываются актуальными и для рационального осмысления природы югославского конфликта, его причин и неизбежности для сербской стороны.

ISBN 978-5-4469-1751-8

УДК 94 (497.1)



© Шемякин А. Л., Силкин А. А., 2019  
© Институт славяноведения РАН, 2019  
© Издательство «Нестор-История», 2019

# Предисловие

Данный том является завершающим в трехтомной научной публикации исторических источников под названием «Русские о Сербии и сербах», задуманной и осуществленной выдающимся российским сербистом, доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института славяноведения РАН Андреем Леонидовичем Шемякиным (1 мая 1960 г. — 8 марта 2018 г.). Этот том посвящен сербскому наследию российского ученого-слависта Павла Аполлоновича Ровинского (1831–1916). Над подготовкой текста и составлением комментариев А. Л. Шемякин работал в 2017–2018 гг., получив на реализацию данного проекта грант РФФИ (№ 17-01-00273а) (2017–2019). Закончить работу над третьим томом Андрей Леонидович не успел, хотя большая ее часть была выполнена.

Окончательную подготовку текста к печати осуществляли друзья и ученики Андрея Леонидовича из Института славяноведения РАН. Комментарии и справочный материал к очеркам и статьям подготовил Александр Александрович Силкин, набор и сверку трудов Ровинского осуществили Мария Войттовна Лескинен, Юлия Владимировна Лобачева и Никита Сергеевич Гусев. Над редактированием и вычиткой книги работала Лариса Альфредовна Авакова.

Источники предваряет статья А. Л. Шемякина «Сербские сочинения П. А. Ровинского (первичное осмысление и перспективы исследования)», составленная из опубликованной при его жизни статьи, написанной в качестве основы предисловия к данному тому публикации «Русские о Сербии и сербах»\*, и из заявки-обоснования грантового проекта. Очерки Ровинского публикуются полностью, а тексты статей ученого подверглись некоторому сокращению (исключены, в частности, подробные географические описания и фрагменты, посвященные истории и современности несербских регионов), пропуски отмечены отточиями в угловых

---

\* Шемякин А. Л. Сербские сочинения П. А. Ровинского (первичное осмысление и перспективы исследования) // Славяноведение. 2017. № 3. С. 87–98.

скобках. Тексты всех сочинений приводятся в соответствии с правилами современного русского языка с сохранением особенностей авторского стиля П. А. Ровинского. Примечания П. А. Ровинского даны в постраничных сносках, комментарии, переводы, пояснения — в концевых сносках.

В заключении этого издания мы поместили одну из ранних статей А. Л. Шемякина о русском слависте, опубликованную в 2004 г.

# Введение

Шемякин А. Л.

## Сербские сочинения П. А. Ровинского

*«Руси нас Србе никако не разумевају.  
Зато бива толико незгода и за нас и за њих.  
Неразумевање је то отуда што о Србима нема још списа,  
из којих би се могла видети душа Србинова у сваком погледу».*  
(Милан Милићевић. Дневник)\*

Павел Аполлонович Ровинский (1831–1916), как и многие другие представители его поколения «шестидесятников», был многогранно талантлив: выдающийся славист, вошедший в историю науки фундаментальным трудом по истории и этнографии Черногории<sup>1</sup>, проницательный журналист, незаурядный педагог, и еще неутомимый путешественник, объехавший в буквальном смысле слова полмира: от США до Китая, и проведший около тридцати лет на Балканах.

Он родился в Саратовской губернии в дворянской семье. Получил блестящее образование, окончив в 1848 г. Саратовскую гимназию (где сдружился с А. Н. Пыпиным и Н. Г. Чернышевским), а затем с золотой медалью — историко-филологический факультет Казанского университета. Несмотря на то, что тот считался «одним из самых скромных провинциальных университетов»<sup>2</sup>, в нем бывали и исключения — кафедре славянских наречий держал известный ученый В. И. Григорович, только что вернувшийся из путешествия по славянским странам. Ему и был обязан Ровинский своим интересом

---

\* «Русские совсем не понимают сербов. Потому-то и случается столько неприятностей как для нас, так и для них. Непонимание это происходит оттого, что нет еще сочинений, в коих сербская душа могла бы отразиться во всех ее проявлениях» (Милан Миличевич. Дневник).



к славистике<sup>3</sup>. По получении диплома он перебрался в Петербург, где стал заниматься изучением истории славян и журналистикой.

По идейным воззрениям Ровинский был последователем Чернышевского, принимал участие в революционном движении, печатался в демократических изданиях того времени — журнале «Современник» и газете «Очерки». Являлся активным членом тайного общества «Земля и воля» (1862–1863)<sup>4</sup>.

Именно это обстоятельство помешало ему в 1862 г. совершить научную поездку за границу, настоятельно рекомендованную В. И. Григоровичем: разрешения на выезд Ровинский так и не получил, поскольку «находился в сношениях с лицами, имеющими злонамеренное предприятие»<sup>5</sup>. А между тем, еще не ведая об окончательном вердикте властей, он разработал «План путешествия по славянским землям», в котором писал: «Я избираю южнославянские земли». Главной же познавательной целью при посещении южных славян объявлялось намерение «обращать внимание на их внутреннюю жизнь, на историю быта и просвещения», причем «изучение современности должно служить пояснением и дополнением истории»<sup>6</sup>. Но исполнить свой план Ровинскому удалось только шесть лет спустя, когда у него наконец-то появилась возможность отправиться к южным славянам — на сей раз в качестве корреспондента солидной столичной газеты «Санкт-Петербургские ведомости».

Местом его пребывания была избрана Сербия, и это не случайно. Мирный вывод турецких гарнизонов из всех крепостей Княжества в 1867 г., складывание Балканского союза и подготовка общего восстания против турок привлекали повышенное внимание русской публики. То было «особенное время» — вспоминал позднее сам Ровинский. «На Сербии сосредотачивались желания и надежды всего югославянского. <...> Одни полагали в ней свое спасение; другие ее боялись»<sup>7</sup>.

В начале марта 1868 г. он прибыл в Белград и оставался в Сербии до июля следующего года. Летом 1869 г. через Нови-Сад, Вуковар и Осиек отправился в Загреб, а в сентябре переехал в Швейцарию. После длительного перерыва, летом-осенью 1878 г., он провел корреспондентом в Сербии еще несколько месяцев. Это была его вторая и последняя поездка туда. В результате путешествий Ровинского по Сербии оформился целый корпус его сербских сочинений, состоявший из четырех путевых очерков и четырех статей<sup>8</sup>. Именно

о нем и его значении для исследования глобальной темы «Менталитет сербского традиционного общества и его эволюция в условиях воздействия европейских идей и институтов, т. е. в процессе модернизации Сербии» пойдет речь в настоящей статье.

\* \* \*

Уже упоминалось, что как славист П. А. Ровинский прославился многотомным трудом о Черногории. Его же работы о Сербии и сербах *в своей совокупности* еще не стали предметом пристального внимания ученых, продолжают оставаться в тени, хотя знакомство с ним и некоторыми его текстами привело как современников, так и позднейших исследователей к солидарной оценке их «качества». Всего несколько примеров. Очевидец, крупный русский славист (в 1878–1882 гг. профессор Великой школы в Белграде) П. А. Кулаковский писал: «Ровинский — действительно прекрасный знаток южных славян, очень умный и образованный человек <...>. Он был и профессором, и писал уже много о Сербии, и долго жил здесь и изучал народ и страну»<sup>9</sup>. И далее: «Этот человек оригинал, но замечательно знает и дела, и людей во всем сербском племени»<sup>10</sup>. Другой современник, сербский друг и тезка, Павле Михайлович, резюмировал: «Ровинский был ученым человеком, полным энергии и воли. Он всю Сербию исходил пешком и на этом пути провел много времени»<sup>11</sup>. Отечественные историки так отзывались о Ровинском. С. Ю. Иванов считал, что в своих трудах Ровинский «высказывает идеи такой степени зрелости, которая приближается к уровню современных исследований»<sup>12</sup>; Л. А. Котлярская и М. М. Фрейденберг отмечали, что в поздних публикациях (указанных в примечании 8 статьях 1877–1878 гг.), «более глубоких, продуманных и основательных», автор размышляет не столько о реальных событиях, сколько о психологии целого народа или отдельной его части; он «как бы поднимается над конкретной действительностью <...>, переключаясь на анализ более глубоких пластов народной жизни». Такие его страницы, полагают ученые, «могут войти в любую хрестоматию по истории Сербии XIX в.»<sup>13</sup>, с чем мы полностью солидарны, также полагая сербский корпус Павла Аполлоновича «подлинной находкой для всякого исследователя социальной и культурной истории Сербии»<sup>14</sup>. Наконец, сербская

исследовательница Латинка Перович пишет: «Трудно найти иностранного автора, писавшего о Сербии во второй половине XIX в., который не только лучше Ровинского разбирался бы в менталитете сербского народа, но и вообще писал о нем»<sup>15</sup>. К этому добавим, что опубликованные в «Вестнике Европы» четыре очерка П. А. Ровинского о Сербии вышли отдельным изданием в переводе на сербский язык — под редакцией и с предисловием той же Л. Перович<sup>16</sup>, вызвав у сербов неподдельный интерес: тираж был раскуплен всего за несколько месяцев. В чем, думается, нет ничего удивительного...

Занимаясь составлением первых двух томов антологии «Русские о Сербии и сербах»<sup>17</sup>, мы, естественно, не могли обойти вниманием соответствующие работы Ровинского: в первый том серии вошло несколько обширно откомментированных (105 примечаний) фрагментов из его записок о путешествиях по Сербии в 1868–1869 гг.<sup>18</sup>, а во второй — оригиналы четырех писем А. Н. Пыпину (26 примечаний), тогда же отправленных из Белграда<sup>19</sup>. Кроме того, отрывок из очерка Ровинского о сербской столице воспроизведен нами в российском историческом журнале «Родина»<sup>20</sup>. Готовя эти материалы к печати, мы пришли в выводу о настоятельной необходимости публикации сербского наследия русского слависта, причем в виде отдельного, завершающего антологию (третьего) тома. В силу «неугомонности» и дотошности Павла Аполлоновича («Я старался обозреть все, что возможно, не хотел пропустить ни одного предмета, как бы он ни был далек от моих личных целей и воззрений, стараясь передать каждое явление со всевозможной точностью»<sup>21</sup>), его описания страны пребывания предельно информативны, «населены» многочисленными персонажами, требующими биографических справок, и густо пересыпаны сербизмами.

\* \* \*

Соображения, подвигшие нас к выделению работ П. А. Ровинского о Сербии в единый отдельный том антологии «Русские о Сербии и сербах», следующие.

Издание его «собрания сочинений» о Сербии видится особенно значительным, если вспомнить, что главная ценность любых «сторонних» наблюдений заключается в том, что зарубежный «пили-

грам» обращает внимание на непривычные для него, но вполне ординарные для местных жителей стороны жизни. Эти рутинные, с точки зрения обыденного опыта, детали, как правило, не попадают во внутренние источники («Описания иностранцев часто могут открывать вещи, неизвестные туземцам, и всегда помогают им видеть свою жизнь с той именно стороны, которая им недоступна»<sup>22</sup>), каких и так не слишком много, ведь «традиционное общество» исторически относится в основном к *дописьменной культуре*; и, следовательно, значение свидетельств русского очевидца (в которых явно прослеживается попытка синтетического осмысления увиденного) при его изучении неизмеримо возрастает. Что подтверждали и сами сербы. К примеру, известный писатель и этнолог Милан Миличевич, чье высказывание мы вынесли в эпиграф, ознакомившись с очерком Ровинского о Белграде, записал в дневнике: «Это правда, что человек привыкает к своим недостаткам и не может их видеть в той мере, как иностранец»<sup>23</sup>.

Кроме того, взятая в отдельности, каждая работа П. А. Ровинского имеет значение всего лишь локальной иллюстрации, но, рассматриваемые в комплексе, они приобретают характер репрезентативного источника, анализ которого дает возможность для широких обобщений, *объемно* демонстрируя срез жизни, поведения и представлений сербов на начальном этапе модернизации их страны (конец 1860-х гг.), т. е. фиксируя ее отправную точку.

При этом следует особо подчеркнуть значимость впечатлений именно *русского* наблюдателя, которого культурная близость предохраняла от сильных искажений сербского колорита. Ведь «русский взгляд» на сербов, основанный на схожих ценностных и социокультурных посылах, порождаемых этнической близостью и конфессиональным единством, проникал в духовные скрепы сербского традиционного общества значительно глубже, чем «взгляд европейский», в фокусе которого находилась имманентно присущая Западу «презумпция цивилизационного превосходства»<sup>24</sup>, удачно раскрытая в дефиниции Марии Тодоровой: «Былое аристократическое неприятие эгалитарных крестьянских сообществ сменилось предрассудками городской (буржуазной и рациональной) культуры в отношении того, что считалось суеверной — иррациональной и отсталой — руральной традицией Балкан, единственной ценностью которой при-

знавалось то, что в глазах Европы она являла собой этнографический музей под открытым небом»<sup>25</sup>. Неслучайно поэтому, что, будучи русским человеком, П. А. Ровинский воспринимал Сербию и сербов как *своих*: «То, что недоступно в Сербии для каждого иностранца, вполне открыто для нас. Там вы чувствуете себя между своими, хотя и при другой обстановке»<sup>26</sup>. Что значит: «Если вы отбросите все несущественное, перед вами воскреснет родной тип малоросса». И далее, как резюме: «Характер и степень нашей культуры <...> более приближают нас к сербам, чем к остальным славянам»<sup>27</sup>.

Соответственно, описывая эту страну и народ, он не мог не сопоставлять все виденное с Россией («У меня постоянно идет сравнение <...> со своей родиной»<sup>28</sup>). И надо сказать, что выстроенные им сопоставительные ряды весьма органичны, поскольку обусловлены самим подходом Ровинского к сравнению двух культур: «Мерка, по которой я оцениваю сербский народ, служит та самая, которую я применяю к России»<sup>29</sup>. Подобная органичность была чужда западному восприятию, в основе которого, как уже говорилось, лежал стереотип о собственной супериорности, чему соответствовало очевидное неравенство в подходах, т. е. две противоположные «мерки», характерные для всякого *этноцентризма*: одна — для себя, другая — для «туземцев». По словам Ровинского, «иностранцы большее внимание обращают на памятники прошлого, на немую природу, а не на народ, войти в жизнь которого они не имеют ни охоты, ни способности. Они на все явления народной жизни смотрят издали и свысока, схватывают их поверхностно и дают им толкование по своему вкусу или по своим субъективным воззрениям, а часто под сильным наитием какой-нибудь политической тенденции»<sup>30</sup>.

Ровинский уже в своем первом очерке подверг критике книгу австрийского путешественника Феликса Каница, признав, однако, что она «есть самое полное сочинение о Сербии»<sup>31</sup>. В каком-то смысле можно говорить, что именно несогласие с Каницем вызвало к жизни его собственные сербские труды. Что же «инкриминировал» ему Ровинский? Прежде всего то, что тот «совершал свои путешествия по Сербии <...> вовсе не с ученой целью»<sup>32</sup>, но ради «популяризации в немецкой публике и проведения известной идеи, тенденции»<sup>33</sup>. Автор, с его точки зрения, «ни на минуту не может забыть о том громадном расстоянии, которое находится между ним, человеком выс-

шей цивилизации, и полуварварским сербом»<sup>34</sup>. Такой снисходительно-тенденциозный подход автоматически сбивал прицел и при оценке конкретных вещей: «Г. Каниц <...> имеет особенную способность или склонность выставлять наблюдаемые явления в ложном свете и придавать им ложное толкование»<sup>35</sup>.

Критикуя Каница, Ровинский был убежден, что исключительно факты не могут служить основным предметом исследования: «Несмотря на подробное описание народного костюма, жилищ, домашней утвари, обычаев, обрядов и сцен из народной жизни, вы не находите в целой книге именно того, чего ищете, — изображения народа как *живущего и действующего организма* (выделено нами. — А. Ш.)». Подобный подход он нарек «описательной анатомией: вы видите кости и мускулы, но не видите их связи и движения».

Ровинский прежде всего желал видеть «жизнь-бытие простого народа»<sup>36</sup>, причем в рамках системного подхода, пытаюсь в ходе своих путешествий вычленив «нечто цельное, имеющее значение общее и постоянное, а не случайное и временное»<sup>37</sup>. А иначе и быть не могло, учитывая его народнические взгляды. «Народник в политике, он был народником и в науке, — справедливо констатировал М. Г. Долобко. — Его тянул к себе народ, он инстинктивно стремился заглянуть в его душу, слиться с ним, сродниться. Отсюда его этнографические интересы, отсюда, после невозможности этнографических исследований на родной почве, перенесение их на почву ближайше родственного народа»<sup>38</sup>.

Важнейшим, наряду с отмеченным выше, и по определению более глубоким проникновением в сербский характер являлось то еще, что Ровинский наблюдал Сербию и сербов не проездом, но в течение *длительного времени* (около полутора лет в 1868–1869 гг.), т. е. непосредственно на месте. Различие в достоверности оценок этих двух категорий очевидцев прекрасно показал французский историк Альбер Мале, исполнявший в 1892–1894 гг. обязанности наставника юного сербского короля Александра Обреновича: «Внешний лак цивилизации — это то, что свидетельствует в пользу сербов и вводит в заблуждение проезжего иностранца. Лак цивилизации, треснувший в тысяче мест, — это то, что открывается человеку, имеющему возможность рассматривать все не спеша и в деталях, и делает из него врага изначального ложного образа...»<sup>39</sup>. За полтора года

пребывания в Сербском княжестве русский ученый мог себе позволить «рассматривать все не спеша»! Мало того, как признавался он сам: «Я не только наблюдал и изучал их (славян. — А. Ш.), но жил с ними и действовал»<sup>40</sup>, отчего степень достоверности его сведений может быть признана крайне высокой.

Действительно, Ровинский, как никто другой, помогает разобраться в их тонкой ментальной материи, поскольку цель его — «выразить ту жизнь, тот внутренний процесс, который совершается под внешней оболочкой и придает предмету то особенное выражение, которое мы называем характером или физиономией»<sup>41</sup> (и что сегодня зовется как раз *менталитетом*). Он исходил Сербию пешком, часто посещая самые отдаленные села и наблюдая за образом жизни и мироощущением населения во всех деталях как в Белграде, так и в глубинке. Отсюда и *столь* глубокое погружение в сербский характер, которое наряду с безупречным знанием предмета приводило к «низким», но, увы, пророческим, истинам. «В истории этой страны нет почти ни одной отрадной страницы: одна война, одни междоусобия, сопровождаемые кровавыми сценами. История Сербии есть история ее мученичества»<sup>42</sup>, — это неоднократно подтвержденная «в век нынешний и в век минувший» сквозная парадигма. Либо еще одно, не менее громкое «предвидение». Изучая сербский национальный характер и обнаружив среди его черт «самохвальство», «самодовольство», следствием чего «является самонадеянность», «самолюбие» и «самообольщение»<sup>43</sup> («Не имея достаточного просвещения, но, сделавши некоторый успех настолько, что это заметно и постороннему, сербы преувеличивают свои успехи и приписывают их каким-то особенным способностям, которыми обладает их народ»<sup>44</sup>), или «самохвальство» и «исключительность сербская», как десятилетие спустя назовет данную особенность П. А. Кулаковский<sup>45</sup> (и что впоследствии применительно к присущему своим соотечественникам «динарскому психологическому типу» подтвердит классик сербской историографии Слободан Йованович<sup>46</sup>), русский славист в письме А. Н. Пыпину сделал неутешительный прогноз касательно возможных перспектив борьбы славянских народов с Османской империей: «Южные славяне победят турок, но побьются между собой»<sup>47</sup>, что и случилось во время Второй балканской (Межсоюзнической) войны в 1913 г. Ровно через 45 лет!..

Перед нами — следствие дисбаланса модернизации, вызванного преобладанием национального идеала («освобождение и объединение») над строительством гражданского общества, что совсем еще в зародыше и «подглядел» наблюдательный Ровинский, отметив, что «во имя постоянно грозящей войны Сербия жертвует своими истинно человеческими интересами» и что «на такой почве трудно ожидать, чтоб могли пустить глубокие корни гуманизм и гражданственность»<sup>48</sup>, и словно экстраполируя зарождавшуюся на глазах диспропорцию на будущее. Ну, а там — в контексте империалистической горячки кануна Первой мировой войны — национальная консолидация сербов обернулась *мегаломанией великодержавия* (истоки которой также вскрыл Ровинский — в виде желания «целую Турцию разгромить и воссоздать царство Стефана Душана»<sup>49</sup>), которая, столкнувшись с аналогичным явлением у соседки (Болгария заболела «самодовольством» в 1878 г., когда русские сформировали ее национальный идеал в Сан-Стефанских границах), не могла не спровоцировать лобовой конфликт за турецкое «наследие» на Балканах. Две непомерно раздутые «мегало-идеи», к тому же «обитающие» по соседству, не имели никакого шанса ужиться друг с другом...

Складывается впечатление, что на сербском примере П. А. Ровинский эмпирически предвосхитил теорию Ю. М. Лотмана о двух системах мышления — бинарной, в основе которой лежало желание «осуществить на практике неосуществимый идеал», и тернарной, что «стремится приспособить идеал к реальности»<sup>50</sup>. Кстати говоря, среди славян легко обнаруживаются носители обеих: сербы, болгары, черногорцы, хорваты, поляки, с одной стороны, и чехи, словенцы, словаки — с другой.

Следует особо подчеркнуть, что «обнаруженный» Павлом Аполлоновичем у сербов милитаристский настрой «санкционировался» *снизу*: многовековые конфликты с турками (производные от *окраинного* положения в составе Османской империи<sup>51</sup>) привели к формированию у них стойкого конфронтационного сознания, во многом определившего их дальнейшую историческую судьбу. Кроме того, идеологически оно подпитывалось «Косовским мифом» и растущей из поколения в поколение жадной мести за катастрофу 1389 г., вследствие чего «героическое» начало закладывалось в поведенческий код населения с младых ногтей («Воинственный и геройский



у сербов дух воспитывается <...> с самого раннего детства <...>. Воспитывается этот дух и отцами, заставляющими выучивать в виде катехизиса историю падения царства на Косовом поле, причем делают такие выводы, что Милошу Обиличу на вечные времена слава, Вуку Бранковичу проклятие, а турку и швабе нужно посекаать головы»<sup>52</sup>). Образованные собеседники, признавая явный перекокс такого воспитания, тем не менее объясняли Ровинскому его необходимость: «Видите, в каком мы положении: мы должны из наших детей готовить вместо гуманных граждан диких солдат, потому что нам еще грозит война с турками и борьба с варварами, с которыми нужно мериться тем же самым оружием, каким пользуются и они против нас»<sup>53</sup>. Этот мотив грядущей войны и необходимости подготовки к ней сызмальства тиражировался на всех уровнях.

Важно и то, что «конфронтационное сознание» определяло специфику и внутригосударственной жизни в стране, органично экстраполируясь на отношение к *другому* в среде соотечественников, выбивавшемуся из традиционной системы ценностей и представлений. «Внешние турки», таким образом, могли плавно переходить в категорию «внутренних турок». А потому *мир* для сербов (как вовне, так и изнутри) был окрашен в черно-белые тона: свои — чужие, друзья — враги. Таким образом, сербы практически и не жили, постоянно воюя либо ожидая войну, пребывая в никогда не спадавшем психологическом напряжении («На меня во время путешествия Сербия произвела впечатление полувоенного лагеря, стоящего на развалинах когда-то процветавшей страны, и еще не жившего вполне народа, которому еще предстоит жить и действовать»<sup>54</sup>). В таких условиях в нем «создался какой-то специфический ритм и темп жизни, слабо приспособленный к современным методам труда и созидания»<sup>55</sup>. Оно и понятно: вместо естественного поступательного развития — всплески отчаянных усилий и относительно «мирные» паузы, заполненные не «органической работой», а новым ожиданием «национальной сатисфакции» и непримиримым внутриэлитарным конфликтом (те самые «междоусобия, сопровождаемые кровавыми сценами»<sup>56</sup>), то есть продолжением войны во время мира.

Соответственно, воспроизводимое исторической традицией и мифологией состояние внутренней мобилизованности народа, постоянная готовность к реализации «национального идеала» (до-

биться чего без военных мер было невозможно) вступали в противоречие с задачей формирования гражданского общества в стране, что, в свою очередь, не могло не сказаться на ходе процесса ее модернизации, носившей однобокий и деформированный характер (все в Сербии «временное, неустановившееся, все в каком-то ожидании чего-то, вся она живет *накануне* (курсив П. А. Ровинского. — *А. Ш.*), вся в каком-то воинственном настроении»<sup>57</sup>, стоя «вечно на карауле»<sup>58</sup>. «И такое состояние, — звучит рефрен, — мешает развитию страны в смысле гражданственности»<sup>59</sup>). Действительно, коллективный портрет серба второй половины XIX — начала XX в. вполне можно было бы подписать: Homo Militans, что значит — «человек вечной войны» или же «солдат по природе, по призванию»<sup>60</sup>, по дефиниции Павла Аполлоновича. Тем самым он одним из первых (профессор В. И. Ламанский в 1863 г. также окрестил сербов «народом более храбрым и воинственным, нежели трудолюбивым и промышленным»<sup>61</sup>) — сразу по завершении «процесса формирования стереотипного представления о них как о братском России народе, занявшего всю первую половину XIX в.»<sup>62</sup>, нащупал одну из важнейших и «долгоиграющих» ментальных струн сербского народа, что станет затем «героической вертикалью» всей его дальнейшей истории, вплоть до трагических событий рубежа XX–XXI вв.

\* \* \*

Настоящий том — финальный (по порядку, но не по значению) этап в рациональном познании проблемы *«Менталитет сербского традиционного общества — его универсальные характеристики и эволюция в процессе модернизации (европеизации) Сербии»*. Источники первой книги использовались нами для исследования *социокультурного* контекста модернизационных процессов в Сербии (в рамках монографической статьи-заключения: «Традиционное общество и вызовы модернизации. Сербия последней трети XIX — начала XX в. глазами русских»<sup>63</sup>), тогда как во второй — внимание сконцентрировано на изучении специфики *политической жизни* в независимом королевстве (т. е. политической составляющей «модернизации по-сербски»). Ее завершает аналитический

очерк: «Особенности политического процесса в независимой Сербии (1878–1918) глазами русских»<sup>64</sup>. Соответственно, из такого общего замысла вырастает вполне гармоничная исследовательская «триада»: заключение к первой части «Русских...» посвящено «человеку экономическому» в Сербии; эпилог второй повествует о «человеке политическом»\*. Каждая из этих ипостасей *серба* важна сама по себе, но лишь взятые в совокупности, они позволяют, как нам представляется, с немалой долей объективности расшифровать код его менталитета, что, в свою очередь, дает возможность эмпирически детализировать и усилить общий вывод (уже сделанный нами в результате реконструкции сербских социокультурных и политических реалий второй половины XIX — начала XX в.), который кратко можно сформулировать следующим образом: *за формально-институциональным фасадом европейских новаций в виде «стандартного» набора атрибутов либерально-буржуазного государственного устройства (конституции, парламентаризм, многопартийность, современные системы образования и воинской службы) скрывались устойчивые структуры и навыки традиционного общества; именно они определяли уклад жизни и поведение не только простого селяка, но и большей части сербской элиты.*

Осознание этой парадигмы «другой модернизации» (заметно отличавшейся от опыта пути в современность государств ее «первой волны»), в рамках которой традиционное общество, по выражению М. В. Белова, «мимикрируя, отмалчиваясь или бунтуя, сопротивлялось переменам и воспроизводилось в новейших, но “фанерных”\*\* декорациях»<sup>65</sup> («остатки туретчины и варварства, сверху только покрытые лоскутами цивилизации»<sup>66</sup>), способствует освобождению от сковывающих мысль умозрительных конструкций, предоставляя нам новые аргументы для полемики с носителями весьма характерной для новейшей национальной историографии мифологии «европейско-

\* Далее в тексте следует предложение: «А студия, завершающая третью, даст понятие о “человеке воинственном”». Андрей Леонидович предполагал написать завершающую статью об этом в данном томе, но не успел (прим. ред.).

\*\* Имеется в виду, что «в результате ускоренного вестернизированного государственно-политического строительства получилось не новое здание, а его “фанерная” имитация» (См.: Гришина Р. П., Шемякин А. Л. Судьба «балканских союзников» 1912–1913 гг. Взгляд из XXI столетия // Новая и новейшая история. 2013. № 4. С. 116).

го выбора», якобы сделанного Сербией еще на рубеже XIX–XX вв. А ведь ряд сербских авторов торжественно и в унисон провозглашает: после Майского переворота 1903 г., в ней «почти воплотилась британская двухпартийная модель демократии»<sup>67</sup>. Сама же политическая ситуация, сложившаяся в стране в предвоенное десятилетие, объявляется ими эпохой «аутентичной парламентской демократии», которая будто бы являлась «функциональной и полностью отвечала требованиям демократического правления»<sup>68</sup>. Более того, утверждается: «Правление Петра Карагеоргиевича (1903–1914) запомнилось как “золотой век” или “Периклова эра” Сербии благодаря ускоренному политическому, национальному и культурному подъему, сопровождавшемуся ростом экономической самостоятельности. Причем ключом к успеху Сербии стала привлекательность ее демократического потенциала»<sup>69</sup>. А как же иначе, ведь «Сербия в начале XX в. была демократической страной, *республикой (политией) свободных крестьян* (выделено в оригинале. — А. Ш.). Для тех условий она имела передовую демократию, одну из самых развитых в Европе»<sup>70</sup>.

В динамике подобных заявлений нами замечено, что с увеличением исторической дистанции между эпохой 1903–1914 гг. и временем, в каком живут ее исследователи, степень идеализации предмета изучения в сравнении с оценками *очевидцев* (кому мы доверяем значительно больше) неуклонно возрастает, что, впрочем, можно считать явлением типичным, поскольку мифический «золотой век» всегда необходим народам для самоутверждения и поддержания национального здоровья, а сербам (с их моральными изломами и травмами последнего времени) особенно. И потому причину безудержного восхваления ими своего политического прошлого несложно объяснить теоретически. По словам В. А. Шнирельмана, «претензии на исторический приоритет некоторых <...> политических (государственность) достижений своих предков» — есть один из универсальных компонентов «этноцентристских версий прошедшего», которые создаются «в условиях серьезного этнополитического кризиса»<sup>71</sup>. А «миф о прошлом призван воспитать в людях самоуважение, сплотить их и наделить творческой энергией для его преодоления»<sup>72</sup>.

Очевидцы же событий не давали себя завлечь в сети формально-европейских институций и принципов, пересаженных на сербскую почву и якобы там прижившихся. Противоречие между номинальным

присутствием и реальным функционированием (то самое «воспроизводство традиционного общества в новейших, но *фанерных* декорациях») в виде чеканной формулы выразил видный интеллектуал и политик Коста Стоянович: «Демократия, парламентаризм, гражданские свободы, прогресс, культура и ряд других понятий, что составляют основу политического словаря нынешних балканцев, — суть слова и выражения, никак не укорененные в их мироощущении, однако, будучи “общепринятыми”, они призваны прикрыть жесткие подсознательные стереотипы, которые на самом деле только и мотивируют все их действия и поступки»<sup>73</sup>. Это было сказано в 1915 г., но еще в декабре 1868 г. П. А. Ровинский описал А. Н. Пыпину тот же «симбиоз» квазисовременной (*modern*) скорлупы и скрытого под нею глубоко традиционного ядра: «Трудно себе представить, до какой степени искажены нравы и понятия здешней так называемой интеллигенции. Мне кажется, нигде нет более резкого противоречия между внешней оболочкой, по которой человека можно принять за вполне цивилизованного европейца, и внутренней грубостью, доходящей до зверства и до совершенной неспособности понимать самые простые человеческие отношения, — как здесь»<sup>74</sup>. Так имагология помогает более нюансировано исследовать *исторический* процесс, объясняя, к примеру, *почему одинаковые по форме институты государственной власти в разных странах порой действуют совершенно по-разному*. В «европейском», как полагают местные ученые, менталитете серба за полвека мало что изменилось. Причем, повторим еще раз, именно наш герой был одним из первых, кто вскрыл целый ряд родовых черт сербской коллективной «физиономии», носивших константный характер и подтвержденных затем не единожды. И соответственно, Ровинский укрепляет нас в еще одном синтетическом заключении: *Реальная жизнь независимой Сербии далеко не соответствовала тем «современным» формам, в какие ее облачают многие сербские историки, стремясь представить свою родину вполне сложившимся «европейским государством»*.

Поскольку менталитет (национальный характер) является феноменом длительного действия и в историческом времени меняется крайне медленно, глубокие наблюдения П. А. Ровинского помогают вычленив в психологии сербской нации определенные константы, которые не удалось нивелировать даже двум наднациональным иде-

ологиям, навязывавшимся нередко насильно и сверху («интегральный югославизм» в королевской Югославии и «братство и единство» в СФРЮ). Отрефлексированные в том числе с помощью Ровинского, они объясняют многие особенности социально-политической и идейной ситуации в современной Сербии, а также дают возможность смоделировать тип общественного поведения сербов (жителей как урбанистической, так и руральной среды).

Актуальность (научная и политическая) публикации всего сербского наследия П. А. Ровинского особенно ярко проявляется в контексте новой методологической парадигмы, сформулированной нами в ходе работы над первыми двумя томами антологии «Русские о Сербии и сербах»: **Новую и Новейшую историю Сербии следует воспринимать не как совокупность политических процессов (от революции к революции, от войны к войне или, по выражению венгерского интеллектуала Оскара Яси, «от покушения к покушению»), но как единый исторический процесс длинной более чем в два столетия (от Сербии до Сербии), завершающийся (?) на наших глазах.** И в этой связи совершенно очевидно, что ментальные особенности сербов, подмеченные зорким глазом русского слависта еще полтора века назад, показали свою жизненность (константность) и на рубеже XX–XXI вв., что помогает рационально (т. е. без демагогии и пафоса, который до сих пор превалирует у всех бывших участников югославского конфликта) объяснить как его причины и исход, так и неизбежность для сербской стороны.

Публикация сербских сочинений П. А. Ровинского актуальна и по чисто мемориальным мотивам. В 2017 г. году исполнилось 185 лет со дня его рождения и 100 лет с момента кончины. А в 2018–2019 гг. отмечалось 150-летие со времени полугодового пребывания русского слависта в Сербии. Кроме того, 2019 г. является еще и юбилейным годом первой национальной сербской конституции (1869), принятие которой можно считать началом политической модернизации страны, и процесс этот (точнее, его отправную точку) ученый застал непосредственно на месте, описав в путевых очерках, письмах и статьях.

\* \* \*

Итак, даже беглое ознакомление с сербскими текстами П. А. Ровинского наглядно показывает их мощный информационно-аналитический потенциал; причем достоверность заключений автора лишь усиливается, с учетом *культуры* его отношения к своему «ремеслу». Отчетливо понимая всю сложность поставленной задачи (связать воедино в рамках системного подхода детали и представить цельную «физиономию» сербов), он поставил перед собой ряд жестких научно-этических требований, следование которым полагал непременным условием ее разрешения, а именно: репрезентативность отбираемых для обобщения данных, объективность и отсутствие личных амбиций. «Я старался обозреть все, что возможно, не хотел пропустить ни одного предмета, как бы он ни был далек от моих личных целей и воззрений», — писал Ровинский. И далее, как резюме: «Отрешившись, насколько возможно, от всякой тенденции <...>, я смело могу сказать, что относился ко всему беспристрастно, стараясь передать каждое явление со всевозможной точностью»<sup>75</sup>.

Столь очевидная непредвзятость Ровинского в отношении всего им увиденного вкупе с редким даром четко фиксировать свою цель, а также неутомимостью в стремлении достичь оной и при отсутствии так свойственного другим иностранцам этноцентризма, делают его свидетельства не только первоклассным источником для всякого специалиста по социокультурной истории Сербии, но и, быть может, именно тем сочинением (отсутствие коего, помнится, сильно печалило Милана Миличевича), где *«сербская душа смогла отразиться во всех ее проявлениях»*.

### Примечания

<sup>1</sup> Ровинский П. А. Черногория в ее прошлом и настоящем. СПб., 1888. Т. I; СПб., 1897. Т. II. Ч. 1; СПб., 1901. Т. II. Ч. 2; Пг., 1915 Т. III.

<sup>2</sup> Пыпин А. Н. Мои заметки. М., 1910. С. 30.

<sup>3</sup> Там же. С. 38; Долобко М. Г. П. А. Ровинский // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1916. Кн. 7. С. 17.

<sup>4</sup> См.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958; Гросул В. Я. Российские революционеры в Юго-Восточной Европе. Кишинев, 1973; Юдин В. Н. Сподвижник Чернышевского. Волгоград, 1983.

<sup>5</sup> *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский в Черногории. Калинин, 1988. С. 20.

<sup>6</sup> Цит. по: *Юдин В. Н.* Сподвижник Чернышевского... С. 81.

<sup>7</sup> *Ровинский П. А.* Болгарский хайдук Панайот и его записки // Отечественные записки. 1878. Кн. 8. С. 351.

<sup>8</sup> См. очерки: *Ровинский П. А.* Два месяца в Сербии (из путевых воспоминаний) // Вестник Европы. 1868. Т. 6. Кн. 11. С. 364–386; *Ровинский П. А.* Белград. Его устройство и общественная жизнь. Из записок путешественника. I // Вестник Европы. 1870. Т. 2. Кн. 4. С. 530–579; *Ровинский П. А.* Белград. Его устройство и общественная жизнь. Из записок путешественника. II // Вестник Европы. 1870. Т. 3. Кн. 5. С. 132–188; *Ровинский П. А.* Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году. I–II // Вестник Европы. 1875. Т. 6. Кн. 11. С. 5–34; *Ровинский П. А.* Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году. III // Вестник Европы. 1875. Т. 6. Кн. 12. С. 699–725; *Ровинский П. А.* Сербская Моравы. Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году // Вестник Европы. 1876. Т. 2. Кн. 4. С. 517–558. И статьи: *Ровинский П. А.* Наши отношения к сербам (поучение из прошлого и настоящего) // Древняя и новая Россия. 1877. Т. I. № 2. С. 174–191; *Ровинский П. А.* Россия и славяне Балканского полуострова // Древняя и новая Россия. 1878. Т. I. № 2. С. 144–169; *Ровинский П. А.* Битва у Каменицы, близ Ниша (в мае 1809 года) (эпизод из истории войн за освобождение) // Древняя и новая Россия. 1878. Т. II. № 5. С. 53–63; *Ровинский П. А.* Болгарский хайдук Панайот и его записки // Отечественные записки. 1878. Кн. 8. С. 345–388. Общий объем всех сербских текстов П. А. Ровинского составляет более 20 печатных листов.

<sup>9</sup> П. А. Кулаковский — И. С. Аксакову. Белград, 14 февраля 1879 г. // Русские о Сербии и сербах / Сост. А. Л. Шемякин. М., Индрик, 2014. Т. II (архивные свидетельства). С. 121–122.

<sup>10</sup> П. А. Кулаковский — И. С. Аксакову. Белград, 14 февраля 1880 г. // Русские о Сербии и сербах. Т. II. С. 150.

<sup>11</sup> *Михајловић П.* Дневници / Приред. Ј. Милановић. Београд, 2010. С. 376.

<sup>12</sup> *Иванов С. Ю.* П. А. Ровинский о сербском народе (опыт этнопсихологической характеристики) // П. А. Ровинский (1831–1916) и его время. Калинин, 1988. С. 56.

<sup>13</sup> *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики... С. 24.

<sup>14</sup> См.: *Шемякин А. Л.* «Мир детства» сербов в путевых записках П. А. Ровинского // Славянский альманах. М., 2004. С. 72–93.

<sup>15</sup> *Perović L.* Drugi o nama // *Perović L.* Ljudi, dogadjaji i knjige. Beograd, 2000. S. 163.

<sup>16</sup> *Ровински П. А.* Записи о Србији (1868–1869) / Приред. Ј. Перовић.



Нови Сад, 1994. См. также: *Перовић Л. П. А. Ровински о Србији 1868. године // Перовић Л. Српско-руске револуционарне везе. Београд, 1993. С. 41–46.*

<sup>17</sup> См.: Русские о Сербии и сербах / Сост. А. Л. Шемякин. СПб., Алетейя, 2006. Т. I (письма, статьи, мемуары); Русские о Сербии и сербах. Т. II.

<sup>18</sup> Русские о Сербии и сербах. Т. I. С. 38–118.

<sup>19</sup> Русские о Сербии и сербах. Т. II. С. 55–63.

<sup>20</sup> *Шемякин А. Л. Павел Ровинский. Сербская физиономия Белграда // Родина. 2006. № 9. С. 54–58.*

<sup>21</sup> *Ровинский П. А. Два месяца в Сербии... С. 374.*

<sup>22</sup> Там же. С. 375.

<sup>23</sup> *Милићевић М. Дневник. I (1869–1872) / Приред. П. Крстић. Београд, 2011. С. 331.*

<sup>24</sup> *Гордон А. В. Новое время как тип цивилизации. М., 1996. С. 45.*

<sup>25</sup> *Тодорова М. Имагинарни Балкан. Београд, 1999. С. 196.*

<sup>26</sup> *Ровинский П. А. Наши отношения к сербам... С. 187.*

<sup>27</sup> Там же.

<sup>28</sup> Цит. по: *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М. Из истории отечественной славистики... С. 72.*

<sup>29</sup> Там же.

<sup>30</sup> *Ровинский П. А. Два месяца в Сербии... С. 364.*

<sup>31</sup> Там же.

<sup>32</sup> Там же. С. 381.

<sup>33</sup> Там же. С. 377.

<sup>34</sup> Там же. С. 379.

<sup>35</sup> Там же. С. 378.

<sup>36</sup> *Ровинский П. А. Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году. I–II... С. 25.*

<sup>37</sup> Цит. по: *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М. Из истории отечественной славистики... С. 39.*

<sup>38</sup> *Долобко М. Г. П. А. Ровинский... С. 18–19.*

<sup>39</sup> *Мале А. Дневник са српског двора. 1892–1894 / Прев. и приред. Љ. Мирковић. Београд, 1999. С. 204.*

<sup>40</sup> *Ровинский П. А. Черногория в ее прошлом и настоящем... Т. I. С. IV.*

<sup>41</sup> *Ровинский П. А. Два месяца в Сербии... С. 378.*

<sup>42</sup> *Он же. Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году. I–II... С. 6.*

<sup>43</sup> П. А. Ровинский — А. Н. Пыпину. Белград, 20 апреля / 2 мая 1868 г. // Русские о Сербии и сербах. Т. II. С. 56; *Ровинский П. А. Белград. Его устройство... II. С. 138, 161–162.*

<sup>44</sup> *Ровинский П. А. Белград. Его устройство... II. С. 162.*

<sup>45</sup> П. А. Кулаковский — Ап. А. Майкову. Белград, 18 октября 1880 г. //

Русские о Сербии и сербах. Т. II. С. 183.

<sup>46</sup> *Јовановић С.* Један прилог за проучавање српског националног карактера // Сабрана дела С. Јовановића. Т. XII. Из историје и књижевности. II. Београд, 1991. С. 565.

<sup>47</sup> П. А. Ровинский — А. Н. Пыпину. Белград, 20 апреля / 2 мая 1868 г. // Русские о Сербии и сербах...

<sup>48</sup> *Ровинский П. А.* Белград. Его устройство... II. С. 186.

<sup>49</sup> *Ровинский П. А.* Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году. I—II... С. 24.

<sup>50</sup> *Лотман Ю. М.* Культура и взрыв // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 142.

<sup>51</sup> О влиянии географического положения славянских народов внутри Османской империи на формирование их менталитета см.: Особенности «новой» южнославянской государственности: Болгария, Сербия, Черногория, Королевство СХС в 1878–1921 гг. / Отв. ред. А. Л. Шемякин. М., 2016; *Шемякин А. Л.* Внутренние границы Османской империи и предпосылки модернизации в Болгарии и Сербии (последняя треть XIX — начало XX в. // Империи, границы, политики (XIX — начало XX век). София, 2016. С. 287–297.

<sup>52</sup> *Ровинский П. А.* Сербская Морава... С. 556–557.

<sup>53</sup> *Ровинский П. А.* Белград. Его устройство... II. С. 186–187.

<sup>54</sup> *Ровинский П. А.* Сербская Морава... С. 558.

<sup>55</sup> *Дворниковић В.* Херојски тип и његове негативности // Дворниковић В. Борба идеја. Београд, 1995. С. 111.

<sup>56</sup> *Ровинский П. А.* Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году. I—II... С. 6.

<sup>57</sup> *Ровинский П. А.* Сербская Морава... С. 557.

<sup>58</sup> Там же. С. 558.

<sup>59</sup> Там же.

<sup>60</sup> *Ровинский П. А.* Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году. I—II... С. 24.

<sup>61</sup> *Ламанский В. И.* Сербия и южно-славянские провинции Австрии // Русские о Сербии и сербах. Т. I. С. 28.

<sup>62</sup> *Белов М. В.* На пути к славянскому братству // Открытие «братъев-славян»: русские путешественники на Балканах в первой половине XIX в. / Сост. М. В. Белов. М., 2018.

<sup>63</sup> Русские о Сербии и сербах. Т. I. С. 629–680.

<sup>64</sup> Русские о Сербии и сербах. Т. II. С. 551–627.

<sup>65</sup> *Белов М. В.* Рец. на кн.: Человек на Балканах. Особенности «новой» южнославянской государственности: Болгария, Сербия, Черногория, Королевство СХС в 1878–1920 гг. / Отв. ред. А. Л. Шемякин. М., 2016. // Славяноведение. 2017. № 1. С. 109–112.

<sup>66</sup> Ровинский П. А. Белград. Его устройство... II. С. 138.

<sup>67</sup> Нова историја Српског народа / Ур. Д. Батаковић. Београд, 2000. С. 188.

<sup>68</sup> Батаковић Д. О парламентарној демократији у Србији 1903–1914. Странке, изборе, политичке слободе // Глас САНУ. CDXX. Одељење историјских наука. Београд, 2012. Књ. 16. С. 391, 407.

<sup>69</sup> Батаковић Д. Србија накануне Первой мировой войны: внешние и внутренние вызовы // Накануне Великой войны: Россия и мир / Отв. ред. О. В. Петровская. М., 2014. С. 45. См. также: *Protić M.* Between democracy and populism. Political ideas of the People's Radical party (The formative period: 1860's to 1903). Belgrade, 2015. P. 152.

<sup>70</sup> Антонић С. Демократија // Срби 1903–1914. Историја идеја / Приред. М. Ковић. Београд, 2015. С. 27.

<sup>71</sup> Шнирельман В. А. Подделки и альтернативная история // Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов / Отв. ред. А. Е. Петров, В. А. Шнирельман. М., 2011. С. 17–18.

<sup>72</sup> Шнирельман В. А. Национальные символы, этноисторические мифы и этнополитика // Македония. Проблемы истории и культуры / Отв. ред. Р. П. Гришина. М., 1999. С. 10–11.

<sup>73</sup> Стојановић К. Слом и васкрсење Србије / Приред. С. Турлаков. Београд, 2012. С. 87.

<sup>74</sup> П. А. Ровинский — А. Н. Пыпину. Белград, 15 декабря 1868 г. // Русские о Сербии и сербах. Т. II. С. 58–59.

<sup>75</sup> Ровинский П. А. Два месяца в Сербии... С. 374.

## Два месяца в Сербии (из путевых воспоминаний)\*

### I.

Из Пешта я отправился пароходом вниз по Дунаю.

Все помещение нашего парохода делилось на две равные половины, между двумя весьма неровными частями его пассажиров: кормовую половину его занимал 1-й класс, в котором было не больше 10 персон, а носовую — 2-й и 3-й классы, в которых было по крайней мере сто человек. Между обеими половинами не существовало никакой перегородки, но изображенные на бортах посередине указательные пальцы обращали внимание каждого на грозную надпись, что кто из низшего класса перейдет эту грань, тот заплатит за 1-й. Оба низших класса имеют в своем распоряжении рубку (общую каюту на палубе), которая разгорожена на два отделения стенкой, и помещение на трапе (т. е. платформе над рубкой), которое также разделено, но только перилами, так что переходить из одного отделения в другое весьма легко, и никакая надпись того не воспрещает. По палубе можно только прохаживаться, потому что скамеек нет, но и прохаживаться трудно, так как вся она загромождена грузом, по преимуществу бочками и боченками с пивом, отправляемым в значительном количестве из Австрии в Сербию. Второй класс перед третьим имеет то преимущество, что владеет еще каютой внизу: это общий зал, в котором вдоль стен расставлены скамейки, длинные столы и несколько складных стульев. Здесь вы можете сидеть только тогда, когда спросите чего-нибудь есть или пить; иначе вы все время должны толочься на ногах, если не успели заблаговременно захватить местечко. Сесть на пол невозможно, потому, во-первых, что вас затопчут (так много людей), а во-вторых, потому что он весь загажен чем только возможно, так что палуба волжского парохода сравнительно с ним все равно, что пол любой гостиной. Сюда же для кормления допускается и третий класс. Итак, в сущности разница между вторым и третьим

---

\* Впервые опубликовано в журнале «Вестник Европы» (1868. Т. VI. Кн. 11. С. 364–386).

классом состоит только в том, что в одном вы платите 10 гульд[енов] (6 р[ублей] сер[ебром]), а в другом 6 гульд[енов] (3 р[убля] 60 к[опеек]). Конечно, расчет был заплатить только 6 гульд[енов]; вы, однако, 3-го класса не получите: он существует только для солдат и рабочих; но и последние большей частью не получают билетов 3-го класса: и, таким образом, большинство волей-неволей платит за 2-й класс, который от того набивается битком.

Зато какая роскошь в первом классе! Мягкость бархата и блеск золота! Нам привелось побывать там, когда пароход на всем ходу налетел на мель. Чтобы поднять нос, нужно было загрузить корму, и вот, в этих видах, нас всех в виде живого груза перегнали в первый класс. Цель была тотчас достигнута: масса перетянула корму, нос поднялся, и пароход сначала пополз назад, потом ходом двинулся вперед, а масса опять отправилась в свое тесное, грязное помещение.

Если б пароход сел на мель кормой, что также случается, хоть гораздо реже, тогда завезли бы якорь и та же масса, работая воротом, двинула бы пароход вперед. Что же это за масса, которая как машина в руках мастера, там, где не помогают обыкновенные средства, служит двигателем вперед и назад? Что касается той массы, к которой временно принадлежал и я, ехавши вместе на пароходе, то она представляла собой, по большей части, избыток чернорабочих сил Западной Европы, преимущественно Австрии и еще специальное — части ее, Богемии. Это были фабричные и ремесленники разных родов. Между прочим, тут была одна партия слесарей, состоявшая из 27 человек и отправлявшаяся на оружейный завод в Бухаресте; большинство ее составляли чехи. Другие также отправлялись на разные заводы в Молдавию, Валахию, Сербию и в турецкие земли.

Это были все люди молодые, весьма порядочно и чисто одетые, умеющие держать себя с достоинством и без всяких угловатых манер. По наружному виду они напоминают нашу учащуюся молодежь, да и по духу это что-то близкое к студенчеству. И не удивительно: за границей студенчество и работники стоят так близко один к другому, что все почти демонстрации и разного рода историетки с политическим оттенком они устраивают вместе, а в [18]48 г. они таким образом, действуя заодно, сочинили целую историю. Некоторые из этих рабочих учились в технологическом институте, а иные немного слушали лекции в университете, но по каким-нибудь обстоятельствам,

большей частью по недостатку средств, должны были в первый же год окончить свою ученую карьеру и искать заработка. Пение, рассказы разного рода, анекдоты, декламация и иногда представление какой-нибудь сцены двоими, троими продолжались почти всю дорогу. Особенно приятно было это общество ночью, когда спать решительно не было никакой возможности по недостатку места и оставалось одно — постараться как-нибудь убить время. Все почти они знакомы с гимнастикой, и потому у всех хорошо развита мышечная система. Любо было смотреть на этот народ — свежий, крепкий физически, бодрый и веселый духом, работающий и деятельный, но странно было подумать, что это все лишние, ненужные люди, что отечество их гонит и они должны искать заработка на чужой стороне. При этом невольно приходит мне на память чешская земля, где мне встретились громадные панские имения, в которых одного леса, валяющегося и на месте сгнивающего, целые массы, множество лугов, прудов и пустопорожных мест, которые особенно поражают своей пустыньностью, находясь рядом с густозаселенными и до последнего клочка обработанными землями сельских и городских общин; таких имений там много, и все-таки народу тесно, ему негде и нечем жить — и он расползается по целому свету, ища клочка земли и работы. Так не точны слова — *лишний, ненужный человек*.

Были тут прасолы, торгующие свиньями и рогатым скотом, скупщики хлеба, едущие в Сербию и Дунайские княжества, и лесопромышленники, отправляющиеся в Боснию. Интересную личность представлял среднего роста кряжистый банатский<sup>1</sup> цыган, почему-то называвший себя римлянином. Он нагуливает рогатую скотину, сбывает ее в Пеште, Вене и в Италии и получает от того большие барыши. Ему, видимо, хотелось похвастаться, и с этой целью он то и дело вынимал из кармана бумажник, набитый ассигнациями, и порядочный мешочек с червонцами, потом он кликал всех, не хочет ли кто поиграть с ним в карты; когда охотника не находилось, тогда он подсел к ехавшему тут же еврею с рыжеватыми локонами и бородкой: то предлагал ему показать за деньги какой-то фокус на картах, то просил его разменять золото на ассигнации или ассигнации на золото. Последняя операция сильно занимала еврея: он приносил уже шкатулочку, отпирал ее и доставал деньги; но цыган шутил над ним, хотел только подразнить, предлагал совершенно неподходящие

условия. Еврей видел это, сердился и, заложивши руки назад, отходил прочь и ходил так, будто не обращал никакого внимания на предложения цыгана, но через несколько времени подходил опять, и начиналась прежняя история. Эта сцена долго занимала публику.

Тут же ехали два серба, белградские торговцы, в общеевропейском костюме и с красными фесками на головах. Они все время держались особняком и делали какие-то расчеты. Познакомившись со мной, много говорили мне о народном войске, а за обедом очень претендовали<sup>2</sup> на то, что все кушанья были без красного перца.

Среди этого, более или менее однообразного, общества резко выделялась необыкновенная фигура граничара\*. Высокий рост, широкие плечи, длинные, спускающиеся почти до груди русые усы, красная чалма на голове, за широким поясом нож такой длины, что человеку среднего роста был бы до колен — все это придавало ему необыкновенный и грозный вид; но этому совершенно противоречило то добродушие, которое в крупных чертах его почти медно-красного лица выражалось спокойным взглядом и улыбкой, с какой он смотрел на оглядывающую его с ног до головы мелкую публику. Его завербовал один мадьяр, посадил за стол, поил вином и, то и дело чокаясь, кричал: «Эльен мадьяр»<sup>3</sup>, «Живио срб!»<sup>4</sup>.

Относительно народности, численный перевес был на стороне славян — сербов, хорватов, словаков и чехов; по языку преобладали немцы, а импонирующим элементом был мадьярский. Замечательно, что немец и еврей, свысока третирующие славянина, весьма смиренно держатся перед мадьяром, одеваются в его костюм, стараются говорить по-мадьярски и называют себя венграми. Все это разнохарактерное население отправлялось эксплуатировать еще малоисчерпанные богатства Балканского полуострова.

\* \* \*

Оставим, наконец, людей и обратимся к неодоушевленной природе, в которой также совершаются свои жизненные процессы,

---

\* Так называются сербы и хорваты, живущие на южной австрийской границе, которые прежде обороняли эти границы от турок, а теперь составляют даровое войско, среднее нечто между нашими казаками и военными поселениями.

которая также вечно к чему-то стремится, вечно борется, вечно создает и разрушает.

Начало марта. Перед нами Дунай в полном разливе.

Если вы воспитывались на книжках, то, верно, в часы досуга с увлечением читали повести, сказки и баллады Пушкина и Жуковского; верно, когда-нибудь то помирали со смеха, то замирали от страха, читая Гоголя, смотря по тому, вводил ли он вас в обыденную жизнь с ее мелкими страстями и смешными сторонами или уносил в мир мрачной фантазии, в мир чудес и страшных привидений. И при названии Дуная вам, конечно, вспомнится Ундина, то веселая и резвая как чистая струя горного потока, то задумчиво-печальная и строго-серьезная; вспомнится и мирный уголок рыбака, и страшный Струй, и храбрый, но суеверный рыцарь Гунобранд, и злая Бертольда. Но, скажу вам, история Ундины относится не к той части Дуная, она относится к той части его, где стоит замок Рингштетен, гораздо выше Вены, где множество рыцарских замков; а здесь, т. е. вниз от Пешта, я видел всего только один замок; да и строить их здесь негде, потому что нет таких, как там, высоких гор и неприступных скал, на которых древние рыцари любили громоздить свои разбойничьи гнезда.

Совсем другие воспоминания являются у того, кто вырос посреди народа. Ему припоминается русский хоровод. Взявшись за руки, девушки и молодницы становятся в круг и запевают: «Посадили молодца, посадили удальца», — и в середину круга вступает парень, садится на скамейку, и начинается лицедейство, т. е. исполнение того, что поется. Молодец роняет шляпу, просит кого-нибудь из девушек поднять, но никто не хочет; он плачет и уходит. На его место является другой, третий и т. д., куда не явится такой, который был бы им по сердцу, и тогда одна из девушек поднимает шляпу, надевает ему на голову, а, пожалуй, тут же они и поцелуются, и начнут плясать в середине. Во все время припевают: «*Ой, Дунай, сын Иванович Дунай!*». Эта песня пелась в годы моего детства в южной части Саратовской губернии; теперь она уже там не поется. Есть другие песни, с припевом «*Веселый Дунай*», и эти поются по целой России, по крайней мере, я знаю от Саратова до Казани. Есть еще одна свадебная малороссийская песня, в которой недавно вышедшая замуж молодница, тоскуя в мужниной семье, идет к «*тихому Дунаю*», расчесывает над ним свои русые косы и просит живущую



тут серую утицу поклониться отцу, матери и сказать им, как тоскует их дочь на чужой стороне.

Кроме этих отрывков из народных воспоминаний, есть целые сказания о Дунае в северно-русских былинах, в которых он является русским богатырем вместе с Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем, Чурилой Пленковичем и др[угими]. Почему же русский народ в своих самых древних песнях не поет ни про Волгу, ни про Дон, ни про Днепр, а по сю пору поет про Дунай и разнес воспоминания об нем по целому обширному русскому царству на сотни и тысячи верст, может быть, до берегов Великого океана? На это отвечают нам наивные сказания Несторовой летописи. В ней говорится, что славяне когда-то жили на Дунае, откуда были вытеснены какими-то нашельниками, волохами. С тех пор, стало быть, и ведутся эти воспоминания.

Покуда мы предаемся воспоминаниям и справляемся с историей, Дунай все несетя и прибывает. Вода уже не помещается в своем русле; она рвется вон, ища простора; но правый берег — высокий и крутой — отбрасывает ее в сторону, и она всей массой устремляется на левый, низменный берег, топит его и обваливает, или сама делится на рукава и потоки, которые, встречаясь, крутятся в виде воронки и вместе несутся, издавая глухое рокотание. Все пространство представляет или множество островов, или сплошной разлив. На островах и по незатопленному берегу стоят голые, без листьев, деревья, и сквозь этот прозрачный береговой лес вы видите дальше ровное, бесконечное пространство, не отделяющееся от горизонта ни стеной гор, ни темной каймой леса, только кое-где виднеется шпиг колокольни, дающий знать о существовании селения. Иногда неподалеку от берега, между деревьями, смешиваясь с их серым фоном, попадаются такие же серенькие избенки, кое-как слепленные из бревен, обмазанные глиной и покрытые крупной кукурузной соломой. Около копошатся люди, двигаясь туда и сюда и, по-видимому, что-то делая: один тащит какое-то бревно, другой возится у телеги. Все это движется медленно, как будто не успело еще очнуться после долгой спячки; а иной просто, ничего не делая, сидит на берегу и, по-видимому, без всякой мысли глядит на проходящие перед ним суда и пароходы, беззаботно покуривая свою маленькую, на коротком чубуке, трубочку. На нем белый с черными кантами по швам кафтан, на груди однобортный жилет со множеством в один ряд кругленьких металлических пу-

говок, из-под жилета выпущена белая рубашка и белые же портяные штаны, на ногах поршни (вроде башмаков из сыромятной кожи, без твердых подошв), на голове черная шляпа с широкими полями, из-под которой спускаются на плечи темные волосы. Мадьяр это или серб — трудно угадать. Рядом с этим человеком с таким же беззаботным видом стоит корова, медленно пережевывающая жвачку, и надо всей этой безжизненной картиной расстилается серое мокрое небо. Дождь не падает каплями, а в виде мокрого воздуха проникает везде: он забирается под зонтик, который вы напрасно распускаете над собой, и залезает за шею под пальто, как вы ни стараетесь застегнуть его плотнее.

Странная здесь весна. Она начинается рано, с наступлением февраля: снега, кроме гор, нигде не видать; реки разливаются; земля хочет зазеленеть, на деревьях почка надулась и пытается лопнуть и развернуться, но все это цепенеет, будто чего-то боится и не смеет. И период такого оцепенения длится иногда целых два месяца. Какая разница с нашей весной, которая начинается поздно, в конце марта или в начале апреля, но совершает свое дело быстро: тепло разом достигает 20° Реом[юра], и горячие лучи солнца безжалостно гонят снег с лица земли; вы всюду слышите гремячие потоки, видите, как наливаются реки и лиманы, едва освободившиеся из-под зимнего гнета, земля дышит паром и быстро застилается зеленью; вы видите, как, вместе с играющей водой, вместе с дымящейся землей, так же играет, дрожит и волнуется воздух; слышите над собой мягкую трель жаворонка, который не летит еще в бесконечную высь, как будто жалея расстаться с теплой землей; с радостным бляеньем и мычаньем выходит на поле стадо, ища свежего корма; горячо хватается человек за работу, которую должно совершить в две-три недели, потому что наша весна не ждет: она оканчивается скоро, и тогда наступает жаркое, сухое лето.

\* \* \*

Сколько раз, я думаю, всякому из нас приводилось видеть наши жалкие избышки, едва укрытые, почти свалившиеся набок; сколько есть на Руси селений, которые представляют собой группу каких-то серых, безобразных куч. Там они будто на своем месте, и нас

не поражает их вид; но, попавши за границу, мы забываем их и, встречая где-нибудь на пути, не приветствуем, как нечто знакомое, родное, а с каким-то недоумением смотрим на них, не понимая, как они могли попасть сюда, и спрашиваем, что это за постройки, не решаясь назвать их домами, чтоб не подать другим повода думать, что у нас живут в таких жалких лачугах. С таким почти чувством и с таким вопросом обратился я к своему соседу, стоя на палубе и глядя на эти избышки, там-сям попадающиеся по левому берегу Дуная. «Это *танья* или *салаши*», — ответил мне господин в венгерке, обложенной шнурком, опущенной черным барашком, в высоких сапогах с узкими лакированной кожи голенищами, в которые впряганы были узкие в обтяжку брюки; на голове у него черного барашка шапочка; смуглое с кругловатым носом лицо опущено было густой, но короткой черной бородой; усы были закручены кверху, маленькие уши несколько оттопырены. Это был тип мадьяра мирного свойства и общительного нрава, с которым легко было вступить в разговор при посредстве немецкого языка. Я делаю эти замечания, потому что в Пеште мне попадались личности, которые, когда я обращался к ним по-немецки, отвечали мне по-мадьярски и, судя по мимике, в тоне весьма недружелюбном. Это, впрочем, крайности. Со многими мне приводилось сходитья совершенно по-приятельски, и я уверен, что все их эксцентрические выходки против славянства непременно прекратятся, когда одержит верх истинно либеральная партия; а та, которая господствует теперь, полубюрократическая, полубоярская и еще некоторых оттенков, о которых теперь не место говорить, не имеет будущности. Итак, беседуя на пароходе с мадьяром, я узнал, что ниже Пешта, по левую сторону Дуная, начинается уже известная венгерская низменная равнина, которая туземцами называется *альфельд*, и на этом альфельде разбросаны *тани* или *салаши*, отвечающие нашим хуторам и зимовникам, каких множество вы найдете у нас по Дону, по низовьям Волги, в южной и Новой России. Обширность участков заставляет хозяев заводить эти легкие постройки, в которых они живут во время уборки хлеба и сена и оставляют на зиму ненужную при доме скотину. Тут у мадьяра и гумно, на котором он тотчас же, как только сожнет, обмолачивает весь свой хлеб; тут и склады сена и соломы, чем он зимой кормит всю свою скотину. Летом почти все семейство, кроме самых старых, слабых

и малых, живет в этой танье; а на зиму остается кто-нибудь из сыновей, которые наблюдают в этом случае очередь или дело поручают надежному работнику под наблюдением кого-нибудь из членов семьи. Рассказы этого господина о местности, о способе хозяйства и о характере мадьяр напомнили мне наши приволжские и придонские степи. Я почувствовал это сходство еще больше, когда читал книгу Дица: «Венгерское сельское хозяйство». В одном месте, напр[имер], он характеризует мадьяра такими чертами, в которых вы совершенно узнаете русского человека: «Он не знает середины; в нем замечательна склонность к крайностям: он или совершает разом громадный труд, или предается совершенному бездействию. Это совершенно гармонирует с громадными селами, за которыми простираются на целые мили *пусты* с громадными реками, рядом с совершенно безводными степями; с необыкновенной роскошью и изобилием одного растения при совершенном отсутствии и недостатке другого»\*. Или вот его характеристика местности: «Великая равнина Венгрии во всех своих явлениях на иностранца производит впечатление, в котором чувство какой-то неловкости смешивается с ощущением величия природы. Эта громадность, можно сказать, бесконечность, производящая на нас подавляющее впечатление, составляет для туземцев всю прелесть его альфельда. Массивность здесь преобладает над расчленением и разнообразием видов»\*\*. То же самое он почувствовал бы, конечно, и в русском альфельде, в наших степях. Многие замечания Дица о хозяйстве и торговле Венгрии буквально применимы к нашим краям. Это придает еще больше интереса его книге, полной очень важных сведений и статистических данных.

Сходство придунайских стран с Поволжьем и Доном не ограничивается общим характером местности и несколькими частными явлениями, которые вызваны этими местными условиями; они совершенно сходны и по той экономической задаче, которую выполняют по отношению к Западной Европе.

Если Россию отделить от остальной Европы, тогда придунайская равнина, с окружающими ее горными кряжами и возвышенными странами в Западной Европе, составит то ядро, ту континентальную часть ее, к которой остальные относятся как придатки. Такому

---

\* *Ditz*. Die Ungarische Landwirtschaft. 1867, стр. 75.

\*\* Там же, стр. 62.

естественному положению вполне соответствует и экономическое: эти страны по преимуществу кормят Европу хлебом и мясом. Дунай в этом случае играет в Западной Европе точно такую же роль, какую Волга в Восточной, составляя главный путь, с тем, однако, преимуществом, что вследствие климатических условий он открыт для судоходства несравненно большее время, чем Волга. Еще особенность его та, что в то время как на Волге рядом с большими торговыми пунктами, каковы Саратов, Самара, Нижний и Рыбинск, возникает множество мелких пристаней, которые также растут, на Дунае вся торговая деятельность, особенно в последнее время, сосредотачивается почти в одном Пеште, что придает ему громадное значение во всех отношениях, так что он становится опасным соперником Вены. Надобно при этом заметить, что на Дунае и его притоках до сих пор сделано чрезвычайно мало для того, чтоб усилить их торгово-экономическую деятельность, и причина этого заключается в политических условиях: именно в парализующем влиянии двух уродливых монархий — Австрийской и Турецкой, которые, стесняя народное развитие, ослабляют дух предприимчивости и самостоятельности. Отделение придунайских княжеств от Турции и та доля самостоятельности, которую оттянули у Австрии венгерские земли, успели уже оказать некоторое благотворное влияние. Довершить это дело может только полная политическая самостоятельность их, свободные, основанные на автономии отдельных частей учреждения и вполне дружественные, преследующие одни и те же культурные и экономические цели отношения всех прилежащих к этой области земель. В руках мадьяр находится теперь решение весьма важного вопроса: конституировать Венгерское королевство совершенно на новых началах, т. е. на началах личной и национальной свободы и территориальной автономии, или продолжить, конечно, на весьма короткое время, историю Австрийской империи и подвергнуть свое королевство, подобно ей, политическому разложению. В первом случае это государство сделается сильным конкурентом России и будет импонировать (так в тексте. — *А. Ш.*) в целой Западной Европе; в последнем — должно будет передать эту роль другому, более юному государству, именно тому, которое даст больше гарантий свободному развитию и в этом отношении, как по физическому положению, так и по политическим комбинациям; такую великую задачу могло бы выполнить княжество Сербия.

Впрочем, я захожу, кажется, совершенно в чужую область, в область политики, тогда как задача путешественника только наблюдать и описывать. И мне хочется обратить внимание еще на одну особенность Дуная, напоминающую мой родной край, на его плавучие мельницы. Устройство их такое: берутся две большие лодки, которые ставятся по течению параллельно одна другой, на расстоянии 5–6 аршин и укрепляются цепями на якорях неподвижно; между ними кладется вал, на котором устроено маховое или водяное колесо, весьма широкое; на одной из лодок, которая побольше, устраивается снасть, то есть зубчатое колесо на одном валу с водяным, приводящее в движение шестерню, а шестерня эта вертит находящиеся на одной с нею оси жернова; над жерновами ставится ковш, из которого на них падает зерно, над всею снастью строится амбар, и мельница готова. Таких мельниц множество на Дунае и на Саве, и точно такого же устройства множество и на Дону, где они называются *байдаками*.

Я кончил и, оглядываясь назад, невольно задаю самому себе вопрос, что же извлечет для себя читатель из моих поверхностных наблюдений, бессвязных заметок и впечатлений, перемешанных с воспоминаниями, мечтами и личными соображениями? И что я могу, наконец, обещать, предлагая свои статьи о Сербии? Конечно, не больше того, что сказал о Дунае, поэтому я и начал с предисловия, по которому читатель мог бы судить, чего ожидать от следующих статей, и вперед решить, читать их или не читать. Говорю откровенно: двухмесячное пребывание в Белграде и менее чем четырехнедельное путешествие во внутренности Сербии дало мне только самое поверхностное понятие о стране и народе, оно указало мне только на некоторые предметы и задало некоторые вопросы, требующие изучения и разрешения или, по крайней мере, более серьезного обдумывания и множества справок, что, может быть, удастся мне впоследствии. Теперь же предлагаю просто краткие путевые наблюдения и заметки, которые пишу под живыми, так сказать, неостывшими еще впечатлениями. Цель моя единственно обратить внимание на те предметы и стороны народной жизни, которые попадались мне и могли быть пропущены другими, затронуть какой-нибудь вопрос, бросить другой свет, не стесняясь ни системой, ни определенным содержанием. Может быть, в этих статьях больше выкажется субъективность автора, чем самый предмет; может быть, в них слишком

ярко будет выступать взгляд национальный и местный... Все это может быть, но одно то, что я не скрываю своей субъективности, избавляет читателя от заблуждения. Я старался обозреть все, что возможно, не хотел пропустить ни одного предмета, как бы он ни был далек от моих личных целей и воззрений; но не ручаюсь, что весьма часто пропускал факты крупные и, напротив, отмечал самые мелкие и ничтожные, которые имели какое-нибудь соотношение с моим субъективным настроением, с той средой и с той местностью, которой я весь принадлежу. Отрешившись, насколько возможно, от всякой тенденции и предубеждения, я смело могу сказать, что относился ко всему беспристрастно, старался передать каждое явление со всевозможной точностью, но оценивал их, конечно, с своей точки зрения, которая легко определяется сама собой, потому, повторяю, что я ее не скрываю.

Полное, всестороннее изучение и изображение страны и народа возможно только для туземца или для того иностранца, который по крайней мере не один год жил в той стране и среди того народа, и отнюдь невозможно для путешественника, который пробыл всего несколько месяцев и большую часть страны видел мимоходом. Туземцу не нужно ориентироваться в своей стране, он знает там все, как в своей комнате, знает, где что может найти, где что взять. Постороннего наблюдателя встречает множество случайностей, которых он никак не мог предвидеть и которые ставят его в затруднение; а сколько обычных встреч, распросов, питаний должно пройти прежде, чем приступить к делу! В каждом городе и селе вы повторяете одну и ту же процедуру знакомств, рекомендаций, объяснений, разного рода неизбежных церемоний, от которых зависит ваше путешествие; сколько должны переслушать рассказов, совершенно вам не интересных, единственно из деликатности, чтоб не оскорбить чужого самолюбия; а между тем все это требует времени, которого у вас весьма мало. Все это вас страшно утомляет, путает, развлекает и совершенно притупляет способность наблюдать. Туземец этого рода неудобств не знает. Но зато изучение местных памятников и произведений искусств и литературы, собирание разных статистических данных — все это опять несравненно доступнее для туземца.

Таким образом, я прихожу к тому выводу, что путешественник-иностранец, принимающийся за полное и систематическое описание

страны, где есть свои ученые и путешественники, берется не за свое дело. Он может только пользоваться теми данными, которые ему представляет туземная наука и литература, и весь этот материал перерабатывать в том объеме и направлении, в каком это необходимо для его специальной цели или для его собственного отечества, выбирать факты и освещать их своим светом сообразно с его тенденциями и субъективными воззрениями. Такого рода путешествие имеет характер специальный и субъективный; в нем вы или отыскиваете известного только рода явления, которые нужны лично вам или вашему отечеству и которые совершенно не имеют значения для туземца, или из своеобразного наблюдения делаете свои собственные выводы, до которых туземец не мог дойти. Одним словом, иностранец путешествует для себя и для своего народа. Это, однако, не исключает возможности, что подобные описания иностранцев часто могут открывать вещи, неизвестные туземцам, и всегда помогают им видеть свою жизнь с той именно стороны, которая им недоступна. «Кто входит в комнату со двора, тот чувствует тотчас, какая в ней температура и воздух. А кто сидит там уже давно, тот этого не чувствует, хотя бы со статистической точностью знал, сколько положено в печку дров и сколько открывалось окно для вентиляции», — Диц говорит между прочим.

Предлагая свои заметки и наблюдения о Сербии, так сказать, субъективное описание ее, для желающих познакомиться с нею ближе и основательнее, я намерен указать здесь на те сочинения, которые вышли в нынешнем и прошлом году и, вероятно, еще мало известны нашему читающему обществу. Первое место по объему и по вперед составившейся репутации занимает сочинение иностранца, именно Ф. Каница<sup>5</sup>: «Сербия. Историко-этнографические этюды во время путешествия 1859–1868 г. с 40 иллюстрациями, 20 картинками и одной картой». Это весьма роскошно изданная и очень объемистая книга в 744 страницы в большую осьмушку.

Г. Каниц известен уже своими сочинениями: «Византийские памятники», «Болгарские отрывки», «Путешествие по южной Сербии и южной Болгарии» и другими статьями о болгарях и сербах, помещавшимися в разных изданиях, из которых мне известны статьи его в «Gartenlaube» и в «Венском обозрении». Все эти труды в свое время обратили на себя внимание просвещенной публики, которая оценила



их и ожидала с нетерпением обещанного автором обширного сочинения о Сербии.

На стороне этого сочинения все преимущества: во-первых, Каниц, появляясь с ним после всех, имел возможность воспользоваться всеми указаниями, даже ошибками своих предшественников; во-вторых, никто не путешествовал по Сербии так много, как он, и вряд ли другие располагали теми средствами, какие были у него в руках; наконец, он много подготовлялся к этому труду отдельными монографиями и Сербию избрал специальной целью своих исследований.

Действительно, взглянув на объем и пробежав оглавление, мы вперед готовы признать, что, каковы бы ни были внутренние достоинства этой книги, относительно полноты содержания она должна удовлетворить даже самым строгим требованиям.

Обратим внимание прежде всего на задачу, которую поставил себе автор в своем сочинении, и на объем его, чтоб читатель знал, что он может в нем найти; потом на те средства, которыми автор располагал, чтоб иметь понятие о его важности и, таким образом, оценить его достоинство сравнительно с другими, и, наконец, для ознакомления с выполнением приведем несколько мест, из которых можно бы было видеть его личный взгляд и отношение к предмету, обуславливающий тот свет, в каком он изображает Сербию.

Автор отчасти выполняет это сам в своем предисловии, которым поэтому мы и воспользуемся, чтоб как-нибудь не стать по отношению к нему на ложную точку зрения и не быть к нему несправедливыми.

Указав на то, что в последнее время все обращают большое внимание на Сербию, автор говорит: «Важная роль, которая выпала маленькому сербскому государству на иллирийском треугольнике, таким образом, вполне оправдывает то великое участие, с каким образованный мир следит за его социальным и политическим развитием. Но, в то время как классическая почва Греции, благодаря многим ревностным фанатикам и ученым, была изучена со всех сторон — по сю пору нет обширного изображения Сербии и ее жителей, ее истории и памятников, ее народной и городской жизни, равно как развития ее социальных, политических, церковных и военных отношений». Прилагая такой обширный масштаб к трудам своих предшественников, в особенности к сочинениям Убичини<sup>6</sup> и Дентона, автор, конечно, не удовлетворяется ими. «Главной целью этих пуб-

ликаций, — говорит он, — было подогреть участие Англии и Франции к христианам на европейском Востоке, и они ее выполнили. Однако после, равно как и прежде их появления, богатая будущностью почва Сербии с ее мало известными отношениями, полными оригинальности и способности к образованию, требует глубокого историко-этнографического исследования».

Задавшись такой громадной задачей, он написал обширное сочинение, о котором сам говорит так: «Один взгляд на оглавление этого произведения показывает уже, в каком обширном размере автор следовал этому призванию. Ни один из 17-ти округов этой страны не остался непосещенным мной, а некоторые в разные годы я объехал по несколько раз. Я искал сербский народ в самых сокровенных местах, наблюдал его характер, его нравы и обычаи, подслушивал его сказания и песни и изучал его социально-политические отношения». Такие же ученые путешествия по австрийской Сербии, по Герцеговине, Черногории и Болгарии дали ему возможность, путем сравнения найти по возможности точный масштаб для измерения успехов сербского народа в культуре, для определения его стремлений и надежд в будущем. Наконец, автор с торжеством говорит: «Разрешение вопроса о сербских крепостях<sup>7</sup>, последовавшее в то время, когда печаталась эта книга, *удовлетворительно говорит в пользу высказанных в ней взглядов*. Предлагаемое произведение содержит постепенно созревшие плоды многократных путешествий по Сербии с 1859 по 1867 г.».

Конечно, г. Каниц не имеет претензии на всеобъемлющий широкий взгляд Гумбольдта; но тем не менее он совместил в себе чрезвычайно многосторонние качества: историка, филолога, натуралиста, политика, стратега, художника и т. д. и написал, так сказать, целый микрокосм. Почерпнул он также кое-что и из уст народа; но эти народные произведения, передаваемые не в оригинале, а в немецком переводе и при том видоизмененные субъективностью автора, совершенно теряют свой народный колорит и чрез то лишаются своего истинного смысла и значения. Если смотреть, что в его книге преследовалась не столько ученая цель, сколько популяризация в немецкой публике и проведение известной идеи тенденции (так в тексте. — *А. Ш.*), тогда и в этом случае мы отказываемся от всяких требований. К числу таких неудачных, но тем не менее интересных передач,

относится сказание о царе Траяне, которое автор передает словами сербского рассказчика при самых развалинах так называемого Траянова-града в западной Сербии. Вот он: «Много столетий тому назад этой землей владели латиняне, и в то время там наверху жил их царь Траян. Он был сильный государь и владел также швабской землей. На Саве в Митровице<sup>8</sup> была у него любовница, которую он посещал днем. Заметьте, я говорю — *днем*, а вы знаете, что туда далекий путь. Но для него это было легко, потому что он имел три головы и крылья. Однако неприятели однажды захватили его в Митровице у любовницы. Ранним утром они заперли двери и отворили только в полдень; царю Траяну пришлось очень плохо; потому что, когда он кинулся лететь, его восковые крылья от солнечного жара растопились, и таким образом он погиб». Здесь вы не видите ни тех подробностей, с какими народ обыкновенно передает свои сказания, ни того чарующего, волшебного колорита, который серб придает даже рассказам о современных событиях. Этот голый, давно известный миф, сложившийся на основании какой-то были, ничего не выигрывает от того, что автор влагает его в уста народного рассказчика.

Вообще надобно заметить, что г. Каницу не удастся изображение живых предметов; он оказывается совершенно несостоятельным там, где нельзя ограничиться одним сухим описанием внешнего очертания, где требуется выразить ту жизнь, тот внутренний процесс, который совершается под внешней оболочкой и придает предмету то особенное выражение, которые мы называем характером и физиономией. Даже рисунки его не помогают тексту. Они до того бесхарактерны, что вы узнаете в них сербов единственно по тексту и по костюмам. На одном, напр[имер], рисунке, представляющем группу поселян и священника при освящении яств во время праздника «славы»<sup>9</sup>, он придал всем такое выражение лиц и положение корпуса, какого они никогда не принимают. Вы в этих лицах можете видеть японцев или, пожалуй, немецко-католический клир, с выражением умиления в лицах и смирения в целой позе, но отнюдь не сербов. Несмотря на подробное описание народного костюма, жилищ, домашней утвари, обычаев, обрядов и сцен из народной жизни, вы не находите в целой книге именно того, чего ищете, и что, по-видимому, имел в виду и автор — не находите изображения народа как живущего и действующего

организма. Это, можно сказать, описательная анатомия: вы видите кости и мускулы, но не видите их связи и движения.

Нельзя не заметить и не пожалеть, что автор, имея чрезвычайно обширное поле для наблюдений, не только не передает их с возможной живостью, но имеет особенную способность или склонность выставлять наблюдаемые явления в ложном свете и придавать им ложное толкование. Для образчика наблюдательности и воззрений автора, наудачу отыщем по оглавлению во 2 отд[елении] в конце 1 главы рубрику: «Сербское правило — *ничему не удивляться* (nil admirari)» на стр[анице] 66. Автор отправляется из Белграда на пароходе вверх по Саве в г. Шабац<sup>10</sup>. Между обществом было несколько солдат, которые отправлялись домой в отпуск. Они с любопытством смотрят на машину, а автор с неменьшим любопытством наблюдает их. «Рассматривая внимательно и с удивлением, эти *дети природы*, — говорит автор, — по правильному подниманью и опускаемью цилиндров хотят постигнуть движущую их таинственную силу. Иной из них воображает, что он постиг все и уже задумал создать что-нибудь подобное, а, может быть, еще лучше. В Шабаце после показывали мне модель лодки с остроумным механизмом, который должен заменить собой паровую машину. Это было изобретение человека, который никогда не учился технике. Характеристично же, что серб, полный самоуверенности, воображает, что он даже в совершенно чуждой ему области может все сделать, может всем быть. “Ничему не удивляться” — его девиз». Появление самоучек там, где мало средств для того, чтоб научиться чему-нибудь, попытка простого человека произвести усовершенствования и открытия в области техники и других наук, все это так повсеместно и обще, что не составляет особенной черты сербского народа; а между тем отсюда автор делает не лишнее некоторой иронии замечание о сербской самоуверенности.

Действительно, серб самоуверен, но не в этом видна его самоуверенность, и он имеет на это право. Серб уверен, что он должен сам себе добыть, сам все сделать, что ему нечего ждать помощи ни от немцев, ни от другого кого-нибудь, и потому действует самостоятельно, не терпит постороннего вмешательства в его дело, которое всегда было только ко вреду его; не выносит опеки, под которой никогда и не жил. Уверенный в себе, разумно рассчитавши и измеривши свои силы, серб выступает на всякий подвиг смело и решительно.

Это свидетельствует вся его жизнь с тех пор, как он лишился своих царей и деспотов. В силу этой самоуверенности он восставал против своих врагов при всяком благоприятном случае и при этом не искал чужой помощи, а выдвигал героев из своей собственной среды — Черного Георга<sup>11</sup>, Милоша<sup>12</sup> и других борцов свободы. Этого г. Каниц не заметил. И мало ли чего он не заметил?..

Г. Каниц ни на минуту не может забыть о том громадном расстоянии, которое находится между ним, человеком высшей цивилизации, и полуварварским сербом. Он смотрит слишком свысока и потому именно не видит весьма много вещей или видит их в тумане; а иногда какая-то фата-моргана заставляет его видеть все в обратном положении. Возьмем опять для примера, на выдержку, из 3-го отд[еления] XIV г[лавы] под заглавием: «В доме сельского кмета<sup>13</sup> (старшины). — Довольство и счастье», стр [аница] 165: «Я не мог отказать себе в желании бросить взгляд на дом кмета, самого богатого человека в Магличе (селение). Я приглашаю любезного читателя следовать за мной в это большое пространство — комнатой его нельзя назвать, потому что здесь все вместе, и кухня, и кладовая. Больше, чем всякое описание, говорит оно о том довольстве этих бедных, горных жителей, указывает ту степень, которую, *по нашим понятиям*, занимают эти *добрые люди* на лестнице просвещения и социального земного счастья. И, однако, эти люди счастливы и любят эту скудную грудку, на которой судьбе угодно было, чтоб они родились. Сопровождая игрой на гусле<sup>14</sup>, поют они о своем прошедшем, о бывалом величии их отечества. Они любят своего князя и от него *ожидают национального возрождения своей жизни*. Поистине, в то время всякий немец позавидовал бы им в этом пункте их доверия».

Тон снисходительности и сантиментального умиления на счет ограниченности потребностей бедняка и сознание своей высоты пред полудиким сербом так и пробиваются в каждой фразе, и оттого проистекает ложь, будто серб так глуп, что всем доволен и считает себя счастливым. Недавно, бывши в той самой местности, я, напротив, слышал только жалобы и недовольство. Да и вообще, я не встречал у сербов глупо-довольных физиономий. Отличительная черта сербского характера — серьезность, доходящая в некоторых субъектах до суровости и не дающая постороннему человеку подметить ни счастья, ни горя. Серб не скрытен, но и не общителен. А что касается

низкой степени государственности этого народа, то каким образом он мог усвоить идею *национального возрождения*, о которой говорит автор? И каким образом объяснить то, что в этот самый год, когда вышла книга г. Каница, собрание этих дикарей вотировало за ответственность министров, за расширение своих прав, за суд присяжных, за свободу печати и изъявило недовольство и недоверие прежнему правительству, в числе главных его представителей министра внутренних дел и министра юстиции, тогда как г. Каниц этому правительству во всей книге расточает похвалы? В ком же после этого больше политического смысла, и кто больше развит?

Не пускаясь в дальнейший разбор частностей книги Каница потому, что для этого потребовалось бы слишком много писания, что не входит в мой план, я должен сделать еще два-три замечания.

Величайший грех на свою душу принял г. Каниц, написавши целую главу о сербской литературе, с которой он так же мало знаком, как (я не хочу делать никакого обидного для него сравнения) и с народной жизнью.

Не говоря уже о том, что это литературное обозрение представляет только реестр имен авторов и названий их сочинений, причем каждому почти имени в виде снисходительной любезности придается какой-нибудь ничего не определяющий эпитет, — он возводит на новую сербскую литературу такую клевету, которой никак нельзя извинить, сделана ли она вообще по слабости человеческой, т. е. из лицеприятия, или по каким-нибудь другим видам и соображениям, нельзя извинить, потому что лъстя слишком бессовестно одному, он оскорбляет тем другого, и этот другой в данном случае — весь сербский народ.

Привожу здесь эту клевету буквально, во всей наготе: «Как основатель сербской политической журнальной прессы *в европейском смысле* здесь с похвалой должен быть упомянут г. Милош Попович (рожд[ен] в Новом Саду\*). До начала его многосторонней литературной деятельности официальная местная газета, редакцию которой он принял в 1841 году и с небольшими перерывами продолжал до 1861 года, представляла реперториум официальных известий и самых обыкновенных заметок. Несмотря на постоянную борьбу (против кого?) и разного рода гонения (т. е. презрения со стороны

---

\* Примеч[ание] Каница, а в других случаях мои.

честных людей: участь общая всем доносчикам), его жизнь постоянно направлена была на облагораживание и укрепление национальной идеи. Князь Михаил<sup>15</sup>, вступивши на престол, дал возможность основать официальный орган, который тогда представил свободное поле для публицистской деятельности Поповича. При содействии более молодой силы, хорошо известного в публицистских кругах своими литературными трудами доктора Розена<sup>16</sup>, «Видовдан»<sup>17</sup> деятельностью этих обоих писателей поставлен был на степень органа, который мог бы сделать честь периодической литературе государств, стоящих на гораздо высшей степени развития, чем Сербия» (стр[аницы] 705–[70]6). Другими словами: если такой журнал другим государствам, гораздо более развитым, чем Сербия, делает честь, то Сербия ниже этой чести, ниже его уровня, следовательно, не стоит его. Лесть г. Каница господам Поповичу и Розену, с которыми он, по-видимому, разделяет одну душу, — его личное дело; но унижить сербский народ до того, чтоб над уровнем его духовного развития поставить «Видовдан», который был органом Николы Христича<sup>18</sup>, бывшего на несчастье Сербии ее первым министром и на гибель покойного князя его самым доверенным лицом, того самого, который угнетал прессу, гнал просвещение, преследовал все, что было честно и благородно, выше всего ставя самую гнусную, держащуюся на подкупах и шпионстве полицейскую систему, и, наконец, был главным виновником постыдной катастрофы, имя которого омерзело всем, от простолудина и до образованного, — поставить на такую высоту «Видовдан», который, как паразит, существовал только правительственной субсидией и был, так сказать, прибежищем *юрдивых и убогих духом*, — это тяжелая обида сербскому народу.

Что г. Каниц совершал свои путешествия по Сербии и другим славянским землям вовсе не с ученой целью, — это видно на каждой странице его книги, а какие именно тенденции и воззрения руководили им, это он сам объясняет в своем предисловии так: «Восточный вопрос и его разрешение, часто отодвигаемый на задний план, чтоб потом еще сильнее выступить вперед, в настоящее время составляет самый горячий вопрос дня. Периодически повторяющиеся восстания на греческих островах и на Балкане, в Боснии и Албании, кровавые битвы в Черных Горах, бомбардирование мирных городов<sup>19</sup>, низведение князей с престолов и возведение представляют отдельные вспыш-

ки того горячего материала, который наполняет восток нашей части света, и окончательное воспламенение которого угрожает ей страшным потрясением. Рядом с фаталистическим, верующим в неотразимость решений судьбы османлием, райя пробует уже свои силы, готовясь на последний бой. Греки, албанцы, романы, сербы и болгары после многовековой политической смерти, ходом истории призванные к новой жизни, все более выдвигаются вперед. Пестрая мозаика из национальностей, религий, политических преданий и различных *нелепых стремлений* выступают перед удивленным зрителем. *Как их оценить, соединить, политически организовать? Какая исполнская задача для нашей политической деятельности, для дипломатии, — и меча!»*

Слова эти, конечно, не нуждаются в пояснениях, и высказанная в них тенденция проводится по всему сочинению. Зная, таким образом, с кем мы имеем дело и какая цель г. Каница, мы можем при строгой критике воспользоваться его книгой как материалом, но не больше; переводить же ее на другой какой-нибудь язык не стоит, и потому примечание, что «право перевода на иностранные языки автор удерживает за собой», совершенно лишнее.

Считаем долгом заметить, что лучшую часть в сочинении Каница составляют исторические заметки по поводу различных исторических памятников, поэтому описание восточной Сербии, богатой этими памятниками, чрезвычайно интересно; две главы — *о романах и о цинцарах*<sup>20</sup> (*македоно-влахах*), — составленные по другим сочинениям и освещенные собственными наблюдениями автора, представляют законченные отдельные этюды, вполне удовлетворяющие читателя. В них видна даже неподдельная симпатия автора к описываемым предметам, которой вы напрасно будете искать в изображении сербской народной жизни.

\* \* \*

Обращаясь к новейшей туземной литературе, прежде всего обратим внимание на вышедшие в нынешнем году вторым изданием «Путевые письма о Сербии из всех стран Сербии» Миличевича<sup>21</sup>, который в качестве секретаря Министерства просвещения каждый год разъезжает по Сербии, осматривая училища. Понятно, что ему



представляется возможность изучить сербскую жизнь весьма близко, и потому сочинение его для нас имеет большой интерес. Действительно, его небольшая книжечка представляет весьма много наблюдений и любопытных замечаний. Многие черты из жизни народа, из его социальных и экономических отношений, его умственного и нравственного состояния, характеристики некоторых типов и исторических личностей, разные эпизоды из истории края — схвачены и представлены весьма удачно; в нем найдете много данных относительно училищ и народонаселения, и вообще, несмотря на отсутствие системы, сочинение это захватывает сербскую жизнь довольно всесторонне. Одно только можно заметить: автор вперед поставил себе задачу показать, что при настоящем правительстве Сербия значительно подвинулась вперед, что прежде все было нехорошо, а теперь благоденствие народа идет прогрессивно. Эта тенденция выдается так резко, что невольно относишься к нему с недоверием, потому что, задавшись такой мыслью вперед, автор делается односторонним: желая представить все в лучшем свете, он не видит или, скорее, не хочет видеть другую, темную сторону. При проверке действительно оказывается много натяжек, и оттого, в целом, сочинение его получает отпечаток полуофициального доклада, что не совсем приятно действует на читателя.

Описательная часть страдает также некоторой официальностью, напоминает сухие учебники географии: как ни точно говорит он, откуда и как течет река, какие ее притоки, на сколько срезов<sup>22</sup> делится окружье и сколько жителей, вы все-таки не получаете характеристики страны, ее физиономии.

С характером более специальным является другое сочинение того же автора: «Жизнь сербского поселянина»\*. Это описание внутренней, домашней жизни сербского народа: разделение времен дня и года и сообразное с тем распределение сельских занятий, посты и праздники и соединенные с ними торжества, обычаи и поверья, описание свадебных обрядов, костюма и жилища; наконец, разные суеверные обряды, молитвы и заговоры от разных болезней и в разных случаях жизни. Везде обозначено, к какой местности относится то или другое явление народной жизни. Вместе с «Песнями» и «Сказками» — изданными Вуком Стеф[ановичем] Караджичем<sup>23</sup> — сочинение это представляет весьма важный материал для изучения народной жизни.

\* В «Гласнике» 1867 г., кн. V, стр. 79–208 и отдельное изд. 1868 г.

Вообще, в последнее время, сербы стали обращать большое внимание на свое отечество и принялись за серьезное изучение его во всех отношениях. В то время как «Гласник»<sup>24</sup>, журнал «Сербского Ученого Общества»<sup>25</sup> в Белграде, собирает и разрабатывает материалы для истории, географии и этнографии Сербии, естественное отделение белградского Лицея<sup>26</sup> поставило себе задачу изучить Сербию со стороны естествознания. С этой целью профессора, пользуясь летними феериями, совершают свои экскурсии и результаты их представляют в отдельных монографиях и журнальных статьях. Между ними особенно важны труды профессора Панчица<sup>27</sup> по части зоологии и ботаники. Не довольствуясь ученой деятельностью профессором, Лицей призвал к этой деятельности своих воспитанников. С этой целью определено, чтоб каждый третий год воспитанники высшего курса отправлялись внутрь Сербии для естественнонаучных исследований под руководством одного из профессоров. Таких экспедиций до сих пор было три. Первая была в 1856 г. по западной сухой границе, вторая в 1859 г. вниз по Дунаю, и третья 1863 г.\* Что сделала первая экспедиция, неизвестно; вторая поместила свои известия в «Сербских Новинах»<sup>28</sup> 1859 г., а работы третьей изданы в прошлом (1867) году «Сербской Омладиной»<sup>29</sup> в отдельной книжке под заглавием «Путешествие воспитанников Лицея естествоведения по Сербии в 1863 г.».

Не говоря уже о том, какую огромную пользу приносят эти экспедиции воспитанникам в учебном отношении, открывая им возможность на практике проверять и повторением еще более укреплять свои теоретические сведения, приучая их к ученым приемам и наблюдениям, они поднимают их нравственный и, так сказать, гражданский уровень, давая возможность внести долю своей самостоятельной, личной деятельности на пользу своего отечества. Эта молодежь, предаваясь своим ученым студиям, имеет в виду не личную карьеру, не теплое местечко и корыстную службу, а успех науки и пользу своего отечества. «Задачу нашу и целой Омладины, — говорят воспитанники Лицея, — составляет изучение нашего отечества, чтоб мы его больше полюбили и, познакомившись с его положением, могли бы всегда быть ему полезными. Правда, наша молодежь отправляется в Вену,

---

\* Следовало быть 1862 г., но, вследствие политических обстоятельств, отложена; все равно, как и в нынешнем году не состоялась вследствие происшествия 29 мая.

Париж, Швейцарию, — того требуют интересы нашего общества. Мы же здесь преследуем интерес государственный и говорим: Сербия есть самая близкая нам страна, которую мы должны прежде всего узнать, тогда нам уже легко будет познакомиться и с остальным светом. *Неужели мы вечно будем чужими в своем доме\*?»*

Ничто не может так парализовать деятельность человека, как горькое сознание, что он *в своем доме чужой*; и, напротив, ничто так не поощряет его, как убеждение, что и его посильный малый труд имеет свою цену и значение наряду с трудами тех, которые считаются главными органами народной жизни. «Наше правительство, — продолжают они, — скоро увидит, как полезны эти научные экспедиции, потому что до сих пор ни одна из них не осталась без пользы для науки. А молодежь, преданная своему правительству, не будет щадить труда, чтоб и время отдыха употреблять на пользу науки, путешествуя по нашему отечеству и знакомясь с нашей землей»\*\*.

Как поняли свою научную задачу молодые ученые путешественники, это можно видеть из следующих слов их предисловия: «До сих пор Сербия нашему обществу известна была со стороны естествознания только по сочинениям иностранцев: Ами Буэ, барона Гердера и других, которые меньше писали. Но хотя и ими оказана большая услуга нашей почти не существующей по этой отрасли науке, однако от этих работ иностранцев не может быть такой пользы народной литературе и народу, какую могли бы принести своими трудами домашние деятели, которые соприкасаются со своим народом и со своей землей даже в самых мелких частностях».

Вот к каким серьезным взглядам и целям пришла сербская молодежь именно вследствие того, что правительство открыло поприще и их самостоятельной деятельности. Не можем, наконец, не указать еще на очень важную сторону подобных экспедиций, на сближение науки и образованности с невежеством и простотой, на проведение тех начал, которыми живет просвещенное общество, в неосвещенную знанием и наукой массу. Эту миссию взаимного сближения, конечно, никто не в состоянии так выполнить, как молодежь, чуждая общественных предрассудков, мягкая, снисходительная и любящая человечество, не по его заслугам и разным достоинствам, а просто по чувству гуманно-

---

\* Пут[ешествие] лиц[ейских] пит[омцев], стр. 172.

\*\* Там же.

сти, неутомимая и одушевленная сознанием своего высокого назначения. Сербская «Омладина» стоит именно в таких отношениях к своему народу, который в нее больше верует, чем в свое чиновное начальство. Бюрократия старалась всеми средствами очернить и опозорить перед народом его молодежь, этот единственно способный к прогрессу элемент государственной и народной жизни; но эти усилия остались безуспешными. В последнее время сближение это стало еще сильнее, а, наконец, и само правительство сознало, по-видимому, что у молодежи — сила и будущность, и смотрит теперь на омладину как на связующее звено между собой и народом. Только от этого тройственного союза — правительства, под которым мы разумеем совокупность лиц, имеющих власть, образованной молодежи и народа, под которым мы здесь разумеем необразованную массу, можно ожидать правильного развития и успеха страны в гражданской жизни и просвещении.

Обращаясь к вышеупомянутому сочинению, можем сказать, что оно, несмотря на его малый объем и скромную задачу, удовлетворяет читателя вполне, давая ему точное физическое описание страны и оживляя его сведениями по этнографии, истории и нелишними интереса путевыми приключениями. Они не оставляли без внимания ни одного предмета: черты народного быта, замечательное по чему-нибудь здание, древняя надпись, особенности наречия, физиономии и образ жизни народа, все было наблюдаемо с таким вниманием и беспристрастием, какое вы встретите у весьма немногих. Отсутствие какой бы то ни было тенденции, кроме чисто научного и общечеловеческого интереса, составляет одно из важных его достоинств, недостающих другим сочинениям подобного рода. И в то же время оно далеко от индифферентизма, напротив, в нем все обнаруживает в наблюдателях весьма горячее участие к описываемым предметам и явлениям. «Мы обошли несколько округов нашего отечества, наблюдали землю, производство, народ», — в этих словах авторов резюмировано все содержание их книжек в 173 стр[аницы] in — 8°.

Я не могу здесь перечислить всех статей, помещавшихся в последнее время в разных сербских периодических изданиях, преследующих ту же цель, т. е. всестороннее изучение Сербии: замечу только, что это стремление к более полному и широкому изучению своего отечества во всех отношениях составляет характеристическую черту в современном направлении сербской литературы. Прежнее

историческое и археологическое направление начинает уступать направлению более реальному; теперь на первый план выходят естественные богатства, экономические и социальные отношения, все то, от чего зависит материальное и нравственное развитие народа.

Одним словом, кто хочет познакомиться с сербским народом и с современной народной жизнью, не путешествуя, тот пусть читает сочинения самих сербов, а не иностранных путешественников. Иностранцы большее внимание обращают на памятники прошлого, на немую природу, а не на народ, войти в жизнь которого они не имеют ни охоты, ни способности. Они на все явления народной жизни смотрят издали и свысока, схватывают их поверхностно и дают им толкование по своему вкусу или по своим субъективным воззрениям, а часто под сильным наитием какой-нибудь политической тенденции. И такой тенденциозностью в особенности отличается сочинение Каница, которое, однако, в то же время, есть самое полное сочинение о Сербии.

Предлагая этот краткий отчет о новейших сочинениях о Сербии, я имел в виду не строгую их критику и полную оценку, а хотел только дать известие о том, что в последнее время по этой части явилось, и, по возможности, определить их характер и точку зрения, чтоб читатель знал таким образом, как к ним относиться.

### Примечания

<sup>1</sup> Банат — историческая область в Юго-Восточной Европе. Ограничена на востоке Трансильванскими Альпами, на западе — рекой Тиссой, на севере — рекой Муреш, на юге — Дунаем. С середины XVI в. до начала XVIII в. Банат принадлежал Османской империи, а в 1718 г. перешел под власть Австрии. В 1867–1918 гг. входил в состав Трансильвании — венгерской части Австро-Венгрии. В результате усиленной колонизации приобрел сложный состав населения (румыны, сербы, хорваты, немцы, словаки, венгры). По Трианонскому мирному договору 1920 г. большая его часть была передана Румынии, меньшая — Королевству сербов, хорватов и словенцев. Ныне принадлежит Сербии, входя административно в автономный край Воеводину.

<sup>2</sup> В смысле — предъявляли претензии.

<sup>3</sup> *Эльен мадьяр* (венгерск.) — Да здравствует мадьяр!

<sup>4</sup> *Живио срб!* (сербск.) — Да здравствует серб!

<sup>5</sup> Каниц Феликс (1829–1904) — австрийский путешественник и этнограф. Впервые побывал в Сербии в 1859 г. и с тех пор посещал ее неоднократно. Ав-

тор археологических, географических и этнографических описаний сербских земель, самые значительные из них переведены на сербский язык (см.: *Книги Ф. Србија. Земља и становништво*. Београд, 1985. Књ. I–II). Член-корреспондент Сербского ученого общества (1869); почетный член Сербской королевской академии (1902).

<sup>6</sup> Жан Анри Абдолоним Убичини (Jean-Henri-Abdolonyme Ubicini, 1818–1884) — французский историк и журналист. Исследователь Оттоманской империи. (*Lettres sur la Turquie*. 1–2. Paris, 1853–1854; *Убичини А.* Изображение современного состояния Турции. СПб., 1854.)

<sup>7</sup> В 1867 г. под давлением великих держав турецкий султан вывел свои гарнизоны из четырех оставшихся под его контролем сербских крепостей — Белграда, Шабаца, Кладово и Смедерево.

<sup>8</sup> Сремская Митровица — город на северо-западе Сербии (автономный край Воеводина). Расположен на левом берегу реки Савы в исторической области Срем. В 1718–1918 гг. входил в состав Австрийской империи (Австро-Венгрии). В рамках последней — в Транслейтанию.

<sup>9</sup> Слава — семейный праздник у сербов, посвященный православному святому, являющемуся патроном семьи (рода). Имеет очень древние корни. Сопровождается специальным обрядом — «сечением колача». При этом зажигается «славская свеча». Не прийти к сербу в гости на славу или не поздравить с ней считается кровной обидой.

<sup>10</sup> Шабац — город в западной Сербии, на реке Саве. Центр области Мачва. В старых сербских летописях назывался Заслон.

<sup>11</sup> Георгий (Черный) Петрович; Карагеоргий, Караджордже (1762–1817) — предводитель Первого сербского восстания 1804–1813 гг. Во время австро-турецкой войны 1788–1791 гг. возглавлял сербский добровольческий отряд, сражавшийся на стороне Австрии. В 1804 г. на повстанческой скупщине в селе Орашац был избран верховным вождем восставших. Во внутренней политике вел борьбу с влиятельными воеводами, противившимися централизации власти в стране. В 1808 г. правительствующий совет, а в 1811 г. и скупщина повстанцев, признали Карагеоргия наследственным «верховным предводителем сербским». Во внешней политике ориентировался на помощь России. После разгрома восстания в 1813 г. бежал в Австрию, а затем в Россию. В 1817 г. тайно возвратился в Сербию, где был убит по приказу Милоша Обреновича.

<sup>12</sup> Милош Обренович (1780–1860) — князь Сербии (1815–1839; 1859–1860), родоначальник династии Обреновичей. Участвовал в Первом сербском восстании, но не покинул Сербию после поражения. Возглавил Второе сербское восстание в 1815 г. Добился утверждения себя наследственным князем Сербии. В 1839 г., проиграв борьбу с внутренней оппозицией, был вынужден отречься от власти в пользу своего сына Михаила. В 1858 г. Свято-Андреевская скупщина, сместив князя Александра Карагеоргиевича, вернула Милоша Обреновича на престол.

<sup>13</sup> *Кмет* (сербск. ист.) — председатель сельской (городской) общины.

<sup>14</sup> От сербск. *гусле* — гусли (сербский национальный музыкальный инструмент).

<sup>15</sup> Михаил Обренович (1823–1868) — князь Сербии (1839–1842; 1860–1868). Сын Милоша Обреновича. Потерпев поражение в борьбе с уставообротителями, был вынужден покинуть Сербию. Но Свято-Андреевская скупщина, сместив Александра Карагеоргиевича, восстановила на престоле Милоша и Михаила как его наследника. 29 мая 1868 г. князь Михаил Обренович был убит сторонниками Карагеоргиевичей.

<sup>16</sup> Розен (Ружич) Михайло — журналист, белградский корреспондент австро-венгерских и немецких газет. С 1864 г. сотрудничал с белградской газетой «Видовдан». В 1870 г. принял сербское подданство. Являлся доверенным лицом Министерства иностранных дел Австро-Венгрии, чьи поручения выполнял не только в Сербии, но и в России. Был вхож в сербский МИД. Участвовал в железнодорожной афере Бонту, после чего уехал в Вену, где считался главным экспертом по сербским вопросам. Часто посещал Белград. Умер в Вене.

<sup>17</sup> «Видовдан» — консервативно ориентированная политическая газета. Имела полуофициальный статус. Выходила в 1861–1876 гг. под редакцией Милоша Поповича.

<sup>18</sup> Христоч Никола (1818–1911) — сербский государственный деятель крайне консервативного направления. Не состоял ни в одной партии. В 1867–1868, 1883–1884, 1888–1889, 1894–1895 гг. — премьер-министр Сербии. В те же годы и в 1860–1867 — министр внутренних дел.

<sup>19</sup> Принятие конституционных законов и создание народной армии в Сербии в начале 1860-х гг. привело к ухудшению сербо-турецких отношений. 15 июня 1862 г. в Белграде у Чукур-чесмы турки ранили сербского подростка, и это вызвало массовые выступления населения. Несмотря на достигнутое при посредничестве иностранных консулов перемирие, 17 июня турецкий комендант белградской крепости приказал обстрелять сербские районы города из орудий. Дабы не допустить разрастания конфликта, в пригороде Стамбула Канлидже состоялась конференция представителей держав — гарантов сербских интересов (по Парижскому миру 1856 г.) и Высокой Порты. Сербское правительство потребовало выселения из своей страны всех турок, в чем его поддержали Россия и Франция, тогда как Англия и Австрия выступили против. В результате было принято решение о выселении только гражданского населения и срытии крепостей Сокол и Ужице (в остальных цитаделях, в том числе и белградской, турецкие гарнизоны оставались).

<sup>20</sup> *Цинцар* (сербск.) — фракийский валах; (перен.) — лавочник, мелкий торговец.

<sup>21</sup> Миличевич Милан (1831–1908) — сербский литератор и этнограф, академик. Чиновник министерств просвещения и внутренних дел. Автор более 100 педагогических, этнографических и историко-географических работ.

<sup>22</sup> *Срез* (сербск.) — уезд.

<sup>23</sup> Караджич Вук Стефанович (1787–1864) — крупнейший деятель сербского национального возрождения, реформатор сербского литературного языка, алфавита и правописания. Положил начало научному исследованию сербского фольклора, языка, обычаев и новой истории сербов. Талантливый ученый-самоучка. В 1814 г. издал первую «письменицу» или, другими словами, грамматику сербского народного языка, в 1818 г. — первый сербский словарь. Вместо книжного славяно-сербского языка в своих сочинениях ввел живую разговорную речь, положив в основу литературного языка штокавский диалект. Создал новую сербскую орфографию, основанную на фонетическом принципе. Большую ценность представляют труды Караджича по истории Сербии, Боснии, Черногории и Боки Которской.

<sup>24</sup> «*Гласник Српског Ученог Друштва*» — «Вестник Сербского Ученого общества»; печатный орган Общества, основанный в 1847 г.

<sup>25</sup> Сербское ученое общество — научная организация Сербии, претеча Сербской академии наук. Основано в 1841 г. Главной его целью являлись исследования по сербской истории и языку.

<sup>26</sup> Лицей — образовательное учреждение в Сербии в ранге высшей гимназии. Основан в 1838 г. в Крагуеваце, в 1841 г. переведен в Белград. В 1863 г. преобразован в Великую школу.

<sup>27</sup> Панчич Иосиф (1814–1888) — выдающийся сербский ученый (ботаник); профессор и ректор Великой школы; академик и первый президент Сербской королевской академии наук (1887–1888). Родом из Хорватии. Обучался в Загребе и Будапеште. В Сербию прибыл в 1846 г. Описал флору и фауну Сербии и соседних стран (всего 2500 видов). Пользовался широким признанием в научных кругах Европы. Состоял членом ряда научных обществ Австро-Венгрии, Германии, Франции.

<sup>28</sup> «*Српске новине*» — официальный ежедневный орган правительства Сербии. Издавался в 1835–1919 гг.

<sup>29</sup> Сербская Омладина (от сербск. *Уједињена Омладина Српска* — Объединенная сербская молодежь) — сербская национальная культурно-просветительская организация с центром в городе Нови Сад. Существовала в 1866–1872 гг. Решение социальных вопросов идеологи Омладины отодвигали на второй план, сосредоточив свои устремления на освобождении и объединении всего сербского народа. В 1870 г. сложилось революционно-демократическое крыло Омладины во главе со Светозаром Марковичем, который стремился превратить ее в революционную политическую партию. Внутренние противоречия и преследования австро-венгерских властей привели в 1872 г. к ликвидации организации.



# Белград. Его устройство и общественная жизнь. Из записок путешественника\*

## I.

После суточного плавания от Пешта вниз по Дунаю 8 марта 1868 г. я прибыл в Земун<sup>1</sup>, который отделяется от Белграда только устьем р[еки] Савы да тем еще, что политически принадлежит другой державе<sup>2</sup>, и вследствие этой последней причины нельзя было попасть прямо в Белград, а непременно пересечь для того на другой пароход\*\*.

От Земуна нет почти никакого вида на Белград. Вы видите на возвышении только крепость с ее серыми стенами, различными уступами и выступами, спускающимися вниз к самой воде, и с приземистыми неуклюжими башнями; в ней несколько казарменной формы построек, два полуразрушенные минарета внизу и один вверху, прислонившийся к какому-то большому зданию в европейском стиле; а кругом широкий разлив воды, которому нет конца. Если б возвышение, на котором стоит Белград, не примыкало к горам, над которыми поднимается вершина Аволо<sup>3</sup>, то оно представлялось бы островом. Только отделившись на некоторое расстояние от Земуна, можно видеть и самый город; через четверть часа мы были уже в белградской пристани и любоваться городом издали было некогда.

Собираясь вступить с пароходной палубы на берег, я прежде всего встретил двух жандармов, которые отбирали паспорта. Мне почему-то думалось, что Сербия еще не достигла той степени цивилизации, при которой существование жандармов составляет насущную потребность. Мне казалось, что ей нет никакой надобности и в ревизии паспортов. Мне казалось многое, от чего впоследствии привелось отказаться. Имеет Сербия какую-нибудь надобность в жандармах или нет,

---

\* Впервые опубликовано в журнале «Вестник Европы» (1870. Т. II. Кн. 4. С. 530–579).

\*\* С 1869 года установлено прямое сообщение.

об этом не спрашивает сербское правительство, а по примеру других считает необходимым содержать в Белграде на каждых 50 человек одного жандарма, кроме пандуров<sup>4</sup> и городской стражи, которые также несут полицейские обязанности и разместились на каждом шагу. Присутствие жандармов давало мне почувствовать, что я вступаю в страну, успевшую уже цивилизоваться на общеевропейский манер, и что с этой стороны я ничего оригинального не найду.

Сунувши в протянувшуюся ко мне руку паспорт, я шел дальше, ожидая нападения толпы извозчиков и носильщиков, что также составляет принадлежность цивилизованной Европы; но этого здесь не случилось. Легких извозчиков здесь совершенно нет, а носильщики, называемые турецким именем *хамалов*, вовсе не так назойливы, как их братья в остальной Европе. Они только предлагают вам свои услуги, или вы их должны искать, а навязываться вам силой не в их обычае. Впоследствии я убедился, что в Сербии вообще вся прислуга весьма неуслужлива, что чрезвычайно не нравится людям, навывшим на европейский буржуазно-барский образ жизни и усвоившим соединенные с ним понятия об услуге.

«Нужно господину что-нибудь понести?» — спросил меня один хамал, не трогаясь с места. Я указал ему саквояж и назвал гостиницу.

«Шесть грошей (30 коп[еек] сер[ебром])», — ответил хамал.

«Три». — «Четыре». — «Ладно». — И он понес мои пожитки.

Прежде мы должны были зайти *на дюмрук*<sup>5</sup> (таможню) и дать на осмотр вещи. Осмотр был внимательный: кроме того, что перерыли весь саквояж, заглянули, что у меня в сумке, которую я носил через плечо, заставили даже развернуть плед; осматривали каждую вещь отдельно, встряхивая ее и поднимая на свет, и за одну вещь, которую я уже надевал один раз, требовали заплатить как за ненадеванную. Я заплатил, чтоб только скорее отделаться, и стал догадываться, что и таможенная часть доведена здесь до тонкости.

Отделавшись от блюстителей порядка и государственных интересов, я пошел дальше, следуя за своим носильщиком.

В одну сторону, вверх по Саве, шла улица, мощеная и довольно широкая; по ней подряд без промежутков двухэтажные каменные дома — все лавки и складочные магазины: с мукой под фирмой «Немец»\*, с железными товарами, с посудой глиняной и стеклянной, с мебелью, с галацкой<sup>6</sup> солью в глыбах черноватого цвета и т[ому] п[одобным];

\* Немец, собственно, чех, и притом горячий патриот, он имеет близ Бел-

тут же отделение полиции, две конторы пароходства (австрийского и французского) и большая гостиница с надписью на сербском и немецком языках: «*Код вароши Крагуевца*<sup>7</sup> — Zur Stadt Kragujewatz». Наш путь был в противоположную сторону, где улица почти кончалась.

Первое, что кидается здесь в глаза, это то, что вместо ломовых извозчиков на лошадях вы видите телеги весьма неуклюжей формы, у которых даже колеса не совсем круглы; они запряжены быками или буйволами, на которых, как на лошадей, надеты ременные недоуздки с веревкой или мелкой цепью в роде поводьев или малороссийских налыгачей; а так как время стояло холодное, то быки и буйволы покрыты были шерстяными попонами, что у нас не всегда достается даже лошадям. Это так называемые *рабаджии*<sup>8</sup>, которые постоянно из поселян. Позвольте мне описать одного из них.

Он в красном фесе<sup>9</sup> без кисти, которая должна быть непременно шелковая, довольно дорога и потому составляет роскошь горожанина; в *гуне* (куртке), спускающейся немного ниже пояса, с рукавами, расширяющимися к кисти, и обложенная черным широким шерстяным шнуром или тесьмой: она обыкновенно из домашнего рыжеватого-черного сукна; из того же сукна *чакширы* (штаны), суживающиеся к низу, плотно обхватывающие всю голень, а под коленкой перехваченные красной тесьмой с кисточками на концах; из-под них или сверх них в самом низу виднеются синие с разноцветными узорами чулки (чарапе); а верхнюю обувь составляют *опанки* — род башмаков из сыромятной кожи без подошв, то же самое, что у малороссиян называется *поршнями*: они прикреплены к ноге узким ремнем, обвивающим голень до половины. Гуня на нем распахнута; но под нею надет еще курточка из полосатой бумажной материи на вате, так называемая *памуклия* (от *памук* — хлопчатая бумага). Стороны памуклии далеко запахиваются одна на другую, так что грудь совершенно закрыта, и на талии она прихвачена довольно широким поясом из разноцветной шерсти, похожим на наши кушаки: он называется у сербов *канице*. При поясе висит небольшой самодельный нож вроде тех, какие носят и наши поселяне. На шее виднеется прямой отложной воротник белой, чистой и довольно тонкой рубашки. Все это одеяние его, кроме феса, — домашнего произведения, и притом все это пряли, ткали и шили его домашние — жена, мать, сестры, и только опанки и нож куплены в городе.

---

града паровую мельницу и снабжает Сербию мукой высшего сорта, которая, кроме того, получается из-за границы.

Роста он более чем среднего, стройно сложен, но плечи узкие и грудь низкая; голова небольшая, лоб неширокий, прямой, с перехватом; лицо продолговатое с прямым тонким небольшим носом, с серыми неглубоко сидящими глазами, с темно-русскими коротко стриженными волосами и с темными с белесоватым оттенком незакрученными усами; рот небольшой, губы средние, сжатые; шея тонкая и совершенно ровная с затылком.

Он идет впереди воза, ведет быков за поводья, держа у плеча кнут на длинном кнутовище, помахивая, а иногда, не оглядываясь назад, похлыстывая им своих *хранителей* (кормильцев): так серб называет свою рабочую скотину, по преимуществу быков (от *храна* или *рана* — корм, пища).

Если б этот серб имел на голове вместо феса малороссийскую баранью шапку (многие уже начинают носить зимой шапки, а летом шляпы), из-под которой виднелись бы длинные в кружало остриженные волосы, — это был бы наш чумака, покуда он не успел еще вымазаться в дегте. Серб, впрочем, живет малорусса, да и быки его идут ходчее. Лицо его выражает какую-то сосредоточенность на том, что он делает; оно холодно и сухо; ему недостает той рассеянной задумчивости, которая доводит малорусса иногда до того, что, засмотревшись на один какой-нибудь предмет, хотя бы на галок на колокольне Ивана Великого, он не видит ничего вокруг себя; не увидите вы у серба и того наивно насмешливого выражения, так часто освещающего лицо малорусса, когда он предается сладким мечтам или, глядя на кого-нибудь, смышляет что-то себе на уме.

Таким образом, с первого же шага я встретил здесь картину и тип, напоминающие наши юго-восточные пределы и как бы составляющие вариант того, что так часто случалось видеть дома. Вообще, сербский тип весьма близок к малорусскому.

Раз мне случилось быть в одной сербской школе. На вопрос учителя: «Откуда пришли сербы?» — ученик категорически отвечал: «Из Малороссии». Не углубляясь далеко в историю, сравнив эти два типа в современном их виде, нельзя не согласиться с этим мнением, с первого раза кажущимся парадоксом, если под именем Малороссии разуметь вообще прикарпатские страны.

Пробираясь со своим носильщиком дальше, я шел между телег, запряженных лошадьми, в одиночку или парой, быками и буйволами.

С лошадьми большей частью *банатяне* (сербы из Баната<sup>10</sup>) в черных с широкими полями шляпах, в жилетах с длинным рядом металлических пуговиц и белых портяных штанах, которые так широки, что банатянин всегда представляется точно в юбке или в широком переднике, обхватывающем его кругом. Тут же обогнал нас зеленый сундук с изображением двух перекрещивающихся почтальонских труб: его везет одна лошадь, запряженная в оглобли без дуги, а на козлах рядом с кучером сидит человек в австрийском кепи. Это австрийская почта: она приняла письма с парохода и отправляется с ними в австрийский почтамт, существующий здесь для целей заграничной корреспонденции Сербии (с нынешнего года Австрия передает ее Сербии).

Чтоб попасть с пристани в город, нужно подняться на гору. Для пешеходов устроена лестница из тесаного камня шириной в сажень, с площадками после каждых десяти ступеней и с плоховатыми деревянными перилами, которые, впрочем, почти ненужны. Всех ступеней 140: поэтому можете судить о высоте горы; впрочем, и взойдя до верха лестницы, вы все еще должны подниматься выше, покуда дойдете до середины города. По бокам лестницы по одну сторону шел какой-то пустырь, а по другую — лачуги и лавчонки, в которых продается различный съестной товар и плетутся рогожки из чакана; а далее по обе стороны — два каменных дома. В нижнем этаже лавки с фруктами, сухим мясом, свиным салом, творогом, зеленью, между которой главную роль играют лук и чеснок, и проч.; на одной лавке назначено «сараф<sup>11</sup> — *comptoir d'échange*», перед другой выставлены фотографии, пенковые трубочки, черешневые мундштучки и листки табака; по другую сторону — сапожная мастерская (в нынешнем году здесь на самом верху выстроена очень хорошая гостиница под названием «Народной», которой год тому назад еще не было).

Взойдя наверх лестницы, вы охотно остановитесь, чтоб перевести дух и осмотреться, и увидите, что весь город подался отсюда вправо, а влево пустая площадь, поросшая травой и отделяющая крепость от города. Площадь эта называется *Калимегдан* (крепостное поле)<sup>12</sup>, место вечерних прогулок белградцев, откуда отличный вид на Саву и Дунай (нынешней весной здесь насажены деревья, проводятся фонтаны и устраивается парк).

Поворотив отсюда вправо, мы встречаем соборную церковь. Архитектура ее не представляет ничего особенного; она совершенно по-

хожа на все австрийские православные церкви: черепичная крыша трапезней, и на восточном крае ее стоит крест, а на противоположном к церкви пристроена колокольня. На колокольне очень красивый купол: высокий с несколькими перехватами, на квадратном основании суживающийся кверху в виде опрокинутой вазы; по темно-коричневому его фону густая узорная позолота. Он особенно красив, когда на него падают косвенные лучи солнца: тогда за блеском позолоты темный фон почти не виден, служит как бы оттенком и помогает только игре лучей в золоте. С нашими церквями эта церковь не имеет ничего общего, и она мне напоминает церкви в саратовских немецких колониях. Когда мы проходили, раздался на колокольне звон: вдруг как-то зазвонило несколько колоколов, болтаясь туда и сюда, точно всполох бьют, и эта болтовня поднималась три раза с двумя небольшими паузами. «Что это значит?» — спросил я хамала. «Умер кто-нибудь; должно быть, дитя, мальчик». «Почему ты знаешь, что дитя и непременно мальчик?» — «Вообще здесь много мрет детей; а когда звонят три раза, — значит, мертвец мужеского пола; для женщин звонят только два раза». Вот вам и одна оригинальная черта сербских православных обычаев.

Обратим теперь внимание на хамала, который заслуживает внимания настолько, по крайней мере, насколько и он составляет одно звено в общественной жизни Белграда и для нас представляет нечто оригинальное.

Начнем с того, что хамал с *самаром* — особым орудием, помогающим ему носить на спине тяжести, совершенно заменяет лошадь с телегой. Вы нередко увидите, что он несет на себе два-три чемодана, саквояж и еще что-нибудь сверху, или движется под каким-нибудь громадным ящиком, несет на себе целый шкаф или комод, так что под громоздкой тяжестью сзади вы видите одни движущиеся ноги. Говорят, что есть хамалы, которые с помощью самара поднимают до 250 ок, что составляет с лишком 17 пудов (считая оку в  $2\frac{3}{4}$  ф[унта] или пуд в  $14\frac{1}{2}$  ок). Не принимая такой невероятной цифры, мы все-таки должны признать, что самар помогает человеку поднять много больше того, чем сколько бы он мог поднять без него. В свободное время хамал садится на свой самар, как на скамейку, а в полдень, пообедавши, он ложится где-нибудь у стенки уснуть — самар служит ему изголовьем. Что ж это за орудие? Он имеет вид мешка, на дно

которого положен барабан или бочонок из тонких дощечек длиной четверти в  $2\frac{1}{2}$ , а в диаметре вершка в 3; мешок этот простеган с ватой или войлоком и вместе с бочонком сверху всего обтянут кожей; надевается он так, как наши пешеходы носят свои котомки, продевая руки в помочи, как в жилет. Надевши самар, носильщик настеганным мешком защищает спину от давления жестких предметов; а бочонок не дает вещам ползти вниз, чему помогает еще и веревка, в два конца перекидываемая через всю ношу от бочонка, к которому веревка эта прикреплена за железную скобочку.

Как ни остроумно придуман этот инструмент и сколько он ни облегчает труд, все-таки добываемый им хлеб горек. Это то же самое, что у нас лямка, в изобретении которой, пожалуй, тоже можно найти остроумие, но тем не менее она массу людей низводила на степень весьма низкую, убивая в них охоту и способность по-людски думать и чувствовать. Как наши бурлаки, возвращаясь с путины, нищенствовали, так и хамал смотрит нищим. Он одет, как и все сербы, только фес на нем затаскан так, что нельзя разобрать его цвета; зимой в холод вместо того, чтоб надеть шапку, он обматывает голову грязным полотенцем в виде турецкой чалмы; из-под феса в беспорядке выбиваются волосы космами, борода небрита; вся остальная одежда истаскана; рубашка грязная, чего вы не увидите у другого серба, хотя бы он рылся в земле или был в дальней дороге. Серб из княжества редко идет в хамалы: это большей частью сербы же из турецких земель и из Австрии, арнауты, болгары и цинцары<sup>13</sup>.

Заработок их чрезвычайно неровный, и в этом вся беда. Два раза в год, а иногда один, здесь бывает нагрузка соли, продолжающаяся неделю или две; за то, чтоб положить на *кантар* (весы) *товар* соли (100 ок = 275 ф[унтов]), хамал получает 10 грошей и в день может погрузить до четырех товаров, следовательно, заработать 40 гр[ошей] или 2 р[убля] с[еребром]. Вообще в самую горячую пору навигации, составляющую в году не больше двух месяцев, он может заработать в день от 10 до 20 гр[ошей] (до 1 р[убля] с[еребром]). Но все это высокие цифры, а нужно принять и низшие; нужно потом принять и то, что по временам им приходится целые дни сидеть и лежать на своих самарах; нужно принять в соображение прогул по болезни или по другим причинам, и тогда в результате вряд ли придется на день по 6 гр[ошей] (30 к[опеек] с[еребром]) или 180 (9 р[ублей]) в месяц;

а между тем простая женская прислуга, ничего не умеющая, получает от 110 и до 200 гр[ошей] (от 5 до 10 р[ублей]) на всем хозяйском. Правда, в Белграде содержание покуда не дорого: хлеб стоит 1 грош за оку, а мясо средним числом 4 гр[оша], и одинокий человек может жить на такой заработок; но семейному весьма тяжело. Лучшее положение хамалов, состоящих при таможене на постоянной плате: их круглый год 10 человек, из которых 9 получают 9 талеров в месяц, а один, вроде старшего над ними, 10. Их обязанность состоит в том, чтобы товар, подвозимый к таможене на телегах, сносить в магазины; причем они и от хозяина получают еще по 3 гроша от телеги, вроде на водку. Туземный серб надевает самар только на время горячей работы и, заработавши несколько червонцев, тотчас переходит к другому занятию. Заработок хамала особенно низок сравнительно с заработками других: рабочие в самом городе при постройках, при виноградниках, в округности при уборке сена меньше 20 гр[ошей] не получают, а часто и больше, с весны в продолжение всего лета; даже зимой поденщина не опускается ниже 6 гр[ошей]. Впрочем, мы будем говорить впоследствии более подробно о зареботке и о рабочем населении вообще в Сербии, а теперь прошу читателя вспомнить, что мы с хамалом не дошли еще от пристани до гостиницы.

Мы вступаем в подъезд гостиницы «Сербская корона». Никого нет. Хамал идет внутрь кофейни и возвращается с кельнером. Тот звонит, и на его звон из-под лестницы из какой-то конуры, темной, набитой каким-то хламом, вылезает *хаускнехт*<sup>14</sup>. Он бежит наверх и звонит там. На звон сбегает женщина: она в обыкновенном платье, голова у нее повязана платком по-бабьи и из-под повязки космами выбиваются волосы, грудь расстегнута, вся она грязна и довольно отрепана — это *штумадля*, которая, видимо, не успела еще принарядиться. Она объявляет, что комнаты свободные есть, но заперты, а ключи у хозяйки, хозяйка куда-то ушла. Нужно же куда-нибудь. Оказывается, что есть одна комната, но еще не убрана. Меня помещают в ней, и я живу, платя ежедневно 6 гр[ошей] за комнату и 8 гр[ошей] за обед, состоящий из пяти блюд, весьма удовлетворительных как по количеству, так и по качеству, с бутылочкой хорошего неготинского<sup>15</sup> вина.

Когда-то проезжая из Праги в Россию и наблюдая различные явления общественной жизни, я примечал в ней некоторую разницу



по мере удаления от запада к востоку. Так, чехи в Богемии показались мне во многом более развитыми, чем те же чехи в Моравии; польская часть австрийской Силезии (Щешинский округ) по развитию стоит выше коренной Польши в Галиции; Варшава показала мне больше похожей на другие европейские города, чем Петербург. Проживши целый год в Богемии и Моравии, я видел пьяных людей только в городах и в праздничные дни; заметим, что там пьют только при особенных случаях, в компании, и до безобразия никто не напивается; в польской Силезии я уже встречал пьяных в гостиницах и в будничные дни, чаще слышал брань и ссоры в пьяном виде; в Галиции это еще заметнее, и, как ни мало привелось мне в ней быть, я был свидетелем большой потасовки людей в пьяном виде. Бывши в Варшаве (в конце 1861 г.), я отправился на гуляние в одно из окрестных сел, Беяны, и на возвратном пути увидел несколько человек пьяных, лежавших на земле: такого зрелища я в других местах не видал. На этих несчастных я заметил серые солдатские шинели. Двигаясь все дальше на восток, я приехал в Казань. Не стану говорить о святках и в особенности о масленице, которая там проводится так шумно, как нигде в России; но и в Великий пост там было не редкость встречать на улице пьяных, шатающихся из стороны в сторону и бушующих.

Подобную же разницу я наблюдал и проезжая в другом направлении — с севера на юг, от Берлина до Белграда.

В Берлине я нашел богатство, комфорт, чистоту и свет; в Вене много роскоши и щегольства рядом с грязью и темными углами; венские книжные магазины в сравнении с берлинскими — трущобы. Венская прислуга в гостиницах вежлива до манерности и унижения и в то же время нахальна; в Берлине она держится более с достоинством, хоть и не столько галантно; в самых гостиницах Вены великолепные подъезды обещают гораздо больше, чем что находится внутри их; житель Вены слишком много заботится о своем желудке, точно другой жизни у него и нет. В Пеште роскошь с бедностью, щегольство с грязью еще резче; на улицах нечистота, много пьяных, много брани самого нескромного свойства; кучер мчит по улице не смотря на людей, въезжает на тротуар и подчас так прижмет вас к стене, что жизнь ваша висит на волоске; во всем какая-то размашистость, распушенность и неряшливость.

Вступивши из Пешта в Белград, вы существенной разницы не замечаете. Видно, конечно, сейчас, что Белград много меньше и беднее Пешта; но он зато чище, в нем больше порядка и нет той распушенности и неряшливости. Наружно Белград совершенно имеет вид австрийско-венгерского городка. Не только по наружности, но и во всем вы встречаете влияние Австрии с ее хорошими и дурными сторонами на каждом шагу. Мы не станем до времени говорить о влиянии ее на жизнь умственную, общественную и политическую и остановимся покуда только на тех чисто наружных проявлениях его, которые бросаются в глаза с первого взгляда. Вы встретите здесь австрийские экипажи — чрезвычайно легкие, сделанные очень тонко и в то же время прочно, славящиеся и у нас в России, по крайней мере, в западной и южной; лошадей венгерской породы, которые не имеют красивой головы, но довольно крупны, легки и крепки; в домах встретите гнутую мебель, известную и у нас под именем венской; одним словом, вы найдете здесь целую австрийскую индустрию со всеми ее достоинствами и недостатками. К сожалению, большая часть ее произведений, исключая экипажей, сукон и некоторых других материй, имеет единственное достоинство — дешевизну, но и то сомнительно, потому что дешевое часто выходит на дорогое. Напр[имер], сахар здесь покупается от 8 до 10 гр[ошей] за оку (за фунт от 14 ½ до 18 к[опеек] сер[ебром]), но он нечист на вид, и вы ошибетесь, если положите его в кофе или чай столько, сколько привыкли класть дома, он не сладок; дверные замки везде не держат; кожанный товар и мелкие железные изделия — плохи; писчая бумага такая, что на ней едва можно писать, и т[ому] п[одобное], так что австрийские товары далеко не могут пользоваться такой репутацией, какой у нас когда-то пользовалось все немецкое и вообще заграничное. Впрочем, и то нужно заметить, что сербы прежде всего гонятся за дешевизной и рассчитывают, как говорится, «на грош, да побольше», и их торговцы покупают большей частью брак. С немецким языком вы очень легко можете прожить в Белграде: в каждой порядочной гостинице или кофейне, если не сам хозяин, то кельнеры говорят по-немецки; точно так и в лавках; и чиновники, как гражданские, так и военные, большей частью знают хоть сколько-нибудь по-немецки. Основательного знания немецкого языка здесь мало, и еще меньше знакомства с немецкой литературой, но, насколько это знание

может облегчить практические сношения с немцами, оно довольно распространено. Во всем житейском обиходе вы услышите множество немецких слов и притом с выговором по австрийскому жаргону, напр[имер], *конк* — коридор (от Gang), *молорей* — живопись, *логор* — лагерь, *клезер* — стекольщик, *фиронги* — занавески на окнах (Vohngänge), *крогле* — воротнички (Kragen), *фусекли* — носки, *фрайля* — девица и др[угие]; даже пошлое выражение — «Küss die Hand» преобразилось в «любим руку»<sup>16</sup> и т. д.

Именно благодаря Австрии Белград имеет две-три гостиницы, которые по внешней обстановке, по мебелировке, по сервировке стола не уступят лучшим гостиницам Пешта и Вены; прислуга в них чисто одета, расторопна и с особенной шикарностью, подавая вам что-нибудь, проговорит мадьярское «тешик», т. е. «извольте» или что-то подобное. Эти лучшие гостиницы содержатся сербами из Австрии. Другие, не столько роскошные, содержатся туземными сербами или цинцарами. В них вы не найдете особенно хорошей мебелировки, но за умеренную цену (за 40 коп[еек]) найдете все, что необходимо: светлую, чистую комнату, железную кровать с мягкими матрацами и подушками, плотно стеганое одеяло, чистое постельное белье, стол и стул, иногда два стула; недостает только шкапа или комода, а иногда притом даже нет ни одного гвоздя на стене, чтобы повесить верхнее платье. В них нет клопов, которыми изобилуют часто весьма богатые гостиницы в наших губернских городах, а иногда даже и столичные, нет, как у нас, темных коридоров, по которым иногда бродишь и не отыщешь своего номера; нет спертого казарменного воздуха наших многоэтажных гостиниц.

Но рядом с этими удобствами европейской жизни, передаваемыми Сербии Австрией, передаются такие обычаи, которые при некоторой утрировке доходят до безобразия. Пропуская разные мелочи, я укажу только на женскую прислугу при номерах.

Так называемая *штумадля* служит хозяину совершенно даром, получая одну только комнату, платя за стол, как и гости, нанимая от себя женщин для мытья полов, а иногда сверх всего платит хозяину оброк. Понятно, на что здесь рассчитывается, в какие заведения обращаются гостиницы и какие вследствие этого неудобства может терпеть пассажир. И это здесь повсеместно. Законом это запрещается, но полиция терпит такой порядок вследствие сделки с хозяином

гостиницы. Иногда хозяин гостиницы по каким-нибудь неудовольствиям на свою штумадлю донесет полиции, что она занимается незаконным промыслом; ее ташат тотчас в полицию, сажают, накажут палками, возьмут штраф, а потом она снова на тех же самых условиях живет в другой гостинице.

Что в этом случае лучше: хозяин ли, который пользуется всеми правами гражданина, полиция ли, блюдущая за чистотой нравов, или эти несчастные женщины, считающиеся отребьем человечества?..

История этих женщин кладет черное пятно на общественный строй целого человечества; а масса их в Белграде *из прека*<sup>17</sup> и домашних, и быстрое распространение их по целой Сербии указывает, что дурные стороны европейской жизни нашли себе здесь готовую почву; вредное же влияние такого явления значительно отражается на физическом здоровье народа, на что сильно жалуются все тамошние медики.

Страсть к жуированию, крайний материализм в наслаждениях, бесцельное препровождение времени за чтением газет или за пивом в кофейнях — все это сильно напоминает Вену, и пришлось в Белграде как раз по нравам, потому что совпадает с тем образом жизни, который развивался здесь когда-то под турецким влиянием.

Мы, впрочем, еще не кончили с внешней стороной Белграда и должны прежде сказать о его физическом положении, играющем важную роль в его политической жизни, и о его расположении, представляющем весьма много своеобразного.

Белград расположен на высоком мысе, образуемом слиянием Савы и Дуная и направляющемся с сев[еро]-зап[ада] на юго-вост[ок]. Оконечность его несколько возвышеннее остальной части, и тут расположена крепость, или, как здесь говорят, *град*<sup>18</sup>. Дальше, отступая от крепости сажень на 80, идет город (по-сербски *варош*) по плоскому хребту, по бокам террасами и по отлогим берегам Савы и Дуная. На юго-востоке он вступает на небольшое возвышение — *врачар*<sup>19</sup>, которое перерезывается долиной и потоком Мокри-Луг<sup>20</sup>, текущим в Саву; за этой долиной еще возвышение, покрытое сплошь виноградниками, а за ним долина *Топчидер*<sup>21</sup> — любимое место прогулок белградских жителей. За всем этим возвышается холм Авало (около 1200 ф[утов] над уровнем моря), который господствует далеко над всей окрестностью и вместе с примыкающими к нему горами составляет как бы задний фон Белграда.

С Авалы вы можете видеть почти целую Сербию и далеко за Дунай и Саву; но, даже не поднимаясь так высоко, с двух краев Калимеждана вы можете обозреть также громадное пространство. Смотри на север через Дунай, ваш глаз теряется в бесконечной равнине Баната, и только на северо-западе виднеются высокие желтоватые берега Дуная, а за ними Фрушка-гора<sup>22</sup> и Вердник в Среме<sup>23</sup>. На востоке вы невооруженным глазом видите две пирамидальные горы, лежащие за станцией железной дороги, Вершцем, и составляющие изолированную группу трансильванских гор. На западе видите хребет Цер, за которым течет р[ека] Дрина<sup>24</sup>, составляющая западную границу Сербии и отделяющая ее от Боснии; а против Цера опять в Среме виднеется западный конец Фрушки-горы. В прямом направлении с запада на восток вы обозреваете пространство больше чем в два градуса (между 37° и 39°); на севере перед Белградом стелется часть венгерской низменности, пределы которой составляют предгорья Карпат. Весной все это пространство наводняется разливом Савы и Дуная и представляет необозримую массу воды, посреди которой, будто плавающие острова, виднеются лес, городки и села. По сбыте воды все это покрывается самой роскошной зеленью; но долго застаивающаяся вода в протоках, озерах и болотах дает громадное количество испарений, которыми целый почти год обдает возвышенный берег Сербии от Белграда до Градища (прямого протяжения один градус). С другой стороны идет низменность Савы верст в 7 шириной. Она дугой вдаётся в самый город и образует низменность, называемую здесь *венецией*, потому что береговые постройки весной совсем почти окружены водой, а иногда и значительно потопляются.

Климат Белграда по астрономическому положению (южнее 45°) теплый, но при отсутствии всякой защиты с севера температура в нем изменяется очень быстро, как скоро подует северный, или, точнее, северо-восточный ветер, называемый здесь *кошава*. Это изменение по продолжении суток доходит до 12° и до 15°. В нынешнем году, напр[имер], 20-го мая (ст. стиля) было больше 30° тепла, а на другой день утром было только 8°, и целый тот день термометр не поднимался выше 15°.

Две судоходные реки, обтекающие Белград с трех сторон, открывают ему естественный путь на западе к портам Адриатического моря, на востоке — в Черное море, а на севере — в середину Герма-

нии. Вот что дала Белграду природа. Посмотрим теперь, как воспользовался этими условиями, как устроился и расположил свои жилища человек.

Надобно заметить, что Белград долго был чисто стратегическим пунктом. После римлян ни сербы, ни мадьяры, попеременно владевшие им, не придавали ему иного значения. Только после роковой Ковоской битвы (1389 г.)<sup>25</sup> деспот Стефан Лазаревич, осмотрев оставленные ему по милости турецкого султана владения, оценил его настоящее положение. В «Цароставнике» (жизнеописание королей и архиепископов сербских от начала XIV до конца XV ст[олетия])<sup>26</sup> рассказывается, что Стефан Лазаревич<sup>27</sup> в 1403 г., прибыв в Белград, прельстился его местоположением, «потому что он, — по словам летописца, — находится хоть в сербских пределах, но *как будто лежит на сердце и на плечах Венгрии*. И начал Стефан больше в Белграде пребывать, так как *местоположение его очень красиво, при нем много полей, реки и пристани, так что почти изо всей Европы можно привозить в него богатства водой*. Он укрепил Белград стенами и украсил его царскими палатами, в особенности же соборной церковью» и т. д.

Но для сербов это было уже поздно; воспользовались его положением турки. Английский путешественник доктор Броун, посещавший Белград в конце 1668 г., оставил довольно интересное описание его, которое, полагаем, не будет излишне привести здесь. «Белград, — говорит путешественник, — большой, укрепленный, многолюдный и просторный *торговый город*. Прибывши в Белград, — продолжает он, — я прошел мимо нижней крепости (Wasserschloss) и потом также близ верхней (Oberschloss): обе крепости, или оба замка, довольно обширны и имеют четыре башни (стоит *vier*, но может быть *viel*, потому что их было больше четырех). Торговые улицы этого города сверху покрыты досками, так что они, таким образом, не страдают ни от дождя, ни от солнца. Такие улицы состоят большей частью из лавок и складов товара, которые, конечно, невелики. В каждой лавке находится прилавок, на котором (как в других местах портные) сидит купец или лавочник и продает свои товары покупателю, который стоит вне лавки, так что внутрь входят немногие из покупателей или никто не входит. Еще я видел там две обширные площади, обстроенные кругом каменными стенами: они похожи

на биржу или на сборное место купцов; крыша поддерживалась колоннами в два этажа. Но места эти были совершенно завалены товарами, отчего они много теряли своего блеска и красоты. Кроме того, там есть еще две торговые площади, где можно купить самые драгоценные вещи. Они построены в форме кафедральной церкви, и, как на старой бирже (в Лондоне), нужно всходить (в лавки) вверх по ступеням. Великий визирь построил в этом городе хороший караван-сарай, или постоялый двор, для чужестранцев и путешественников и близко к нему мечеть, или турецкий храм, какого я еще не видел. Он построил также медресе, или коллегиум, для студентов. Одного из них я видел: он одет был весь в зеленое, и на голове у него была чалма с четырьмя углами, которые были отличены от других, чтоб по ним можно было всех лучше различать и узнавать. Если в большей части городов этой страны много кладбищ, то в Белграде я нашел их особенно много, потому что этот город очень многолюден, и недавно там свирепствовала чума. На квартире мы были в доме одного армянского купца, у которого нашли чрезвычайно хорошее угощение. Мы посещали и других купцов, которые имели красивые дома, и в одном доме нашли фонтан и хорошую купальню с комнатой. Мы не имели здесь недостатка в кофе, шербете и отличных винах, которые производит эта страна. Армяне рассеяны и известны на всех пунктах, и здесь они имеют церковь. С ними при покупке, кажется, лучше можно сойтись, потому что они искреннее, чем евреи и греки. Страны, прилегающие к Белграду, производят здесь большую торговлю. Кроме того, здесь торгуют купцы из Рагузы<sup>28</sup> и имеют свою факторию *восточные купцы* из Вены».

Все это со временем совершенно исчезло, и в настоящее время Белград далеко не достиг того цветущего состояния, в каком находился двести лет назад, хотя, надобно заметить, он растет быстро.

Шестьдесят лет тому назад Белград весь был скучен около крепости; теперь же он вытянулся вдоль целого мыса, вступил уже на *врачар*, селится по нему, спускаясь на обе стороны к Саве и Дунаю; захватил в свою черту два бывших селения Саву-Малую и Палилулу<sup>29</sup>, а также и Таш-Майдан, где была еще во времена римлян и по сию пору продолжается ломка камня-плитняка, откуда и произошло его турецкое название (*таш* — камень и *майдан* — копь, рудник). Там, где был конец города и шло турецкое кладбище, теперь находится *Гос-*

подская улица, а лучшие в настоящее время продольные улицы *Теразии*<sup>30</sup> и *Абаджийская*<sup>31</sup> за 50 лет представляли пространство, заросшее кустарником и бурьяном.

В названиях частей Белграда есть нечто аналогичное с Москвой. Так, встретившись с кем-нибудь на *Теразиях*, вы спросите, куда он идет, и получаете в ответ: «У варай», т. е. в город, как будто Теразии вне города. Дело в том, что город имеет здесь, как и в Москве, свое специальное значение: этим названием обозначается преимущественно та часть Белграда, которая была городом еще во времена турецкие и обнесена была валом, когда другие части или вовсе не были заселены, или были села и какие-нибудь урочища. Также часто вы услышите, что такой-то живет «на Варош-капии»<sup>32</sup> или «на Стамбул-капии», т. е. у городских или стамбульских ворот, которые вы также напрасно будете отыскивать, как в Москве стали бы искать ворот тверских, арбатских и пр. Впрочем, они существовали недавно, именно до 1862 г., и представляли целые крепости, охраняемые турецкими солдатами; особенно крепки были стамбульские, находящиеся посередине на главной цареградской дороге. Название ворот в последнее время стало распространяться и на весь город, только *Врачар* и *Палилула* как бы еще не считаются вполне городом. Часть старого города, который по преимуществу состоит из лавок и представляет как бы гостиный двор, называется *чаршия*<sup>33</sup>, при Саве называется савской, а часть, прилегающая к Дунаю, носит название *Дартюла*<sup>34</sup> (что значит на турецком языке *четыре угла*); верхняя часть Дартюла или переход к нему от чаршии называется еще *зерек* (тоже турецкое слово, значения которого не знаю).

К упомянутым названиям частей города и его улиц остается еще добавить *Пиварскую* улицу (на которой находится пивоварня покойного князя Миханла) и *Фишекджийскую* (где многие занимаются производством *фишекков*, т. е. ружейных патронов), остальные части не имеют никаких названий. Поэтому, если вы не знакомы с Белградом, отыскать кого-нибудь было бы довольно трудно, но это облегчается тем, что там все знают друг друга, и первый встречный вам укажет квартиру человека, принадлежащего к одному с ним разряду.

Как всякий город, возникавший исторически, образовавшийся из нескольких частей, составлявших отдельное целое, Белград не имеет общего плана, не имеет прямых улиц и вообще неправилен.



В последнее время, впрочем, он регулируется, и все, что строится вновь на развалинах старых турецких построек, строится по плану. Настоящее правительство этим именно занято: проводит новые улицы, разводит парки, возводит новые здания; но и тут, как во всем, всегда найдется какой-нибудь промах: так, главную новую улицу, составляющую продолжение Теразий до Калимегдана сделали недостаточно широкой и искривили. Общий вид построек весьма удовлетворительный: весьма много двухэтажных каменных домов и два трехэтажных. Самое замечательное здание — это так называемая Великая школа<sup>35</sup>, в которой, впрочем, кроме Великой школы (лица) помещаются: гимназия, отделение Министерства просвещения, народная библиотека, музей (древностей и натуральный), физический кабинет и химическая лаборатория. Это огромное четырехугольное здание в четыре этажа, с просторным двором внутри его, с венецианскими окнами, с довольно плоской цинковой крышей и с павильоном на самом верху, служащим для наблюдений за пожаром. Оно построено майором Мишей Анастасиевичем<sup>36</sup>, после Обреновичей<sup>37</sup> первым богачом в Сербии. Здание это готовилось быть княжеским дворцом, когда рассчитывали на возможность, чтоб зять Миши<sup>38</sup>, племянник Александра Карагеоргиевича<sup>39</sup>, сделался князем. Когда Обреновичи окончательно утвердили свою династию в Сербии (с 1858 г.), тогда Миша, чтоб все-таки иметь уважение в народе и отклонить приписываемые ему виды на княжеский престол, подарил этот дом народу и тем увековечил свое имя. В последнее время отстраивается довольно большое и красивое здание театра. Княжеский конак (дворец) не представляет собой ничего особенного, но рядом с ним стоит дом министерств иностранных и внутренних дел, имеющий подобие рыцарских замков — с плоской крышей, с зубцами по краям и башенками по углам. Большая часть улицы обсажена деревьями: каштанами, раинами, тополями, акациями. Везде мостовая, нет только тротуаров; везде чисто, все смотрят весело и открыто. Мало городов в Европе, которые могут с первого раза произвести такое приятное впечатление, как Белград. Все улицы его расположены одна ниже другой, и самый ничтожный домишко хоть с какой-нибудь стороны пользуется свежим воздухом, вольным светом, а иногда великолепным видом на Саву и Дунай. При каждом доме если не сад, то несколько деревьев грецких орехов или каштанов, так что издали Белград решительно тонет в зелени.

Самая оригинальная часть Белграда — это *Дартюл*, где до 1862 г. жили турки, а теперь евреи, мелкие торговцы и промышленники и рабчее население. Это лабиринт улиц узких, извилистых, на которые выходят одни заборы, тогда как дома скрываются в глубине дворов, которые в то же время можно назвать и садами. На улицу выходит только калитка. Такие калитки были и между всеми почти дворами, и благочестивая магометанка, не желавшая показаться на улице, через эти калитки могла пройти очень далеко. В этих заборах вы иногда встретите камень с римской надписью или с каким-нибудь изображением; попадают иногда ниши, видимо, предназначенные для того, чтоб в них помещались статуи; арки из темного камня, служившие когда-то воротами какого-то здания, и потом заложенные камнем для того, чтобы ограждать гаремную жизнь турка. Здесь пусто и мертво; когда идете, звук ваших шагов отдается как-то особенно звонко; а со стен космами спускаются дикий плющ или душистая портулака, и узкая мертвая улица наполняется ароматом; или через эти стены свешиваются виноградная лоза и ветви абрикосовых и персиковых деревьев, полные крупных, сочных плодов. На турецких дворах или в садах, как они ни заброшены теперь, по сю пору держатся самые лучшие сорта плодов: видно, что турки наслаждались жизнью. Жизнь эта миновалась, и вся ее обстановка перешла в наследство другим жителям, которым не до наслаждений. Каменные заборы постоянно разрушаются, и материал их идет на другие постройки; деревья постепенно пропадают, и самые дома опадают сами собой и, лишенные лучшего своего украшения — садов, смотрят какими-то оборванными нищами. Дома эти сами по себе весьма ничтожны и нисколько не отвечали тому простору, какой они занимали. Многие из них сохранились еще по сю пору благодаря тому, что имеют каких-нибудь жильцов, и вы можете видеть всю прежнюю обстановку. Загляните в какую-нибудь калитку внутрь двора, и вы увидите на самом заднем плане ничтожный домишко, он всегда квадратной формы, с низкой черепичной крышей, образующей навес над стенами. Впереди галерея под крышей. Вы вступаете сначала на галерею через крыльцо в несколько ступеней и потом в дом. Из маленьких сеней или коридорчика, где находится и очаг, на котором готовят кушанья, идут двери направо и налево: в левую сторону меньшее помещение, состоящее из одной небольшой комнатки, в правую — большее,

тоже из одной комнаты, но иногда перегороденной так, что образуется две, и эта отгородка непременно имеет свою дверь в сени. Войдем в малую комнату: пол кирпичный, а, несколько отступя от порога, идет во всю комнату деревянный помост вершка в 2 вышиной, покрытый коврами, или какой-нибудь другой шерстяной тканью домашнего производства; вступая на него, всякий скидает обувь, по большей части башмаки, туфли или штилеты. Это так называемая *софа*. Около стен лежат длинные подушки, набитые соломой, сеном или шерстью. Ночью этот помост служит кроватью, а днем на нем принимают гостей, причем всякий садится, скрестивши под себя ноги или протянувши их и облокотившись на подушку. Эта комната, собственно, только для своих семейных и близких людей, а для приема гостей назначена другая комната, попросторнее. В ней вдоль стен широкие лавки или помосты, покрытые цветным домашнего же тканья сукном, и кругом подушки. Все эти лавки носят общее название — *миндерлук*<sup>40</sup>. На них тоже удобнее полулежать, облокотившись на подушки, а сербы и на них сидят, поджавши под себя ноги. Потолок обыкновенно состоит из тонких узких дощечек, помещенных параллельно четырем стенам в четырехугольнике, который, подобно диаметрическим кругам, к середине становится все меньше и меньше, и в самой середине, в самом малом квадратике вырезана какая-нибудь фигура, роза или какой-нибудь другой цветочек. Притом дощечки потолка помещены так, что одна лежит на краях двух других, часто каждая из них украшена какой-нибудь резьбой, отчего весь потолок имеет вид узорный, легкий и довольно изящный, как будто на украшение потолка тратился весь вкус турка.

Обстановка эта совершенно изменяется, когда такой дом обращается в квартиру для рабочих, студентов, гимназистов и других бедных людей. Тогда являются кровати, матрацы, циновки из чакана, столики, стулья и т[ому] п[одобное]. Внутри эти дома темны, сыры и их легко продувает ветер; печи — в немногих домах, а если есть, то каждая имеет свою особую трубу.

Нередко корыстолюбивый современный хозяин, обладающий таким домом и двором, на котором уцелели еще хорошие деревья, обращает свое жилище в место общественного увеселения. Платит за право какой-нибудь дукат<sup>41</sup> на все времена, покупает кофе, вина, ракии<sup>42</sup>, а иногда и пива, если имеет погреб, и торгует себе многие

годы под какой-нибудь вывеской «Код лафа» («У льва»), изобразив как следует и льва, окрашенного желтой краской, и живет в свое удовольствие, покуда не скопит деньжонок, чтоб открыть какое-нибудь заведение побольше или пуститься в другую торговлю.

Дома эти никогда не оправляются, и потому их постоянно становится все меньше, так что скоро их совершенно не будет. Каменные заборы идут на другие постройки, но от турецкого дома решительно нечем поживиться, рассыпавшись, он оставляет только груды глины, из которой он кое-как был слеплен с помощью столбов, перекладин, жердей и переплета из мелких дощечек. Как коралловые полипьяки образовали целые острова, так и здесь турецкие жилища, постоянно разрушаясь, образовали нечто вроде островов, возвышающихся над улицей аршина на два и поросших сорной травой и деревьями. Вместе с ними растет и улица. Это видно на главной улице Дартюла, на которой стоят развалины дворца принца Евгения Савойского (XVIII ст[олетие]): в нем ворота, в которые, конечно, должны были проезжать и всадники, теперь так низки, что в пору только пройти человеку, так что здесь улица, смело можно сказать, выросла на целую сажень. Некоторые турецкие дома до того загромождены разного рода пристройками и галереями, что трудно добраться толку; на крыше торчит множество труб, чрезвычайно высоких и неизвестно для чего существующих; иные трубы представляют целые павильоны. В этом отношении сербы до последнего времени подражали в постройках туркам. Многие дома, каменные и довольно большие, двухэтажные, имеют неуклюжую квадратную форму маленьких турецких хижин, снабжены таким же множеством громадных труб, и сверх того или верхний этаж выдвигается над нижним аршина на полтора, или нижний выступает из-под верхнего, что, собственно, служит для устройства галереи вверху или внизу; чаще же нет никакой галереи, и видно как будто желание, выдвинувши верхний этаж, выиграть больше места в улице. Окна небольшие, внутри так же темно и та же самая обстановка.

Оригинальны также здешние лавки (по-сербски *дутян*<sup>43</sup>), которые по сю пору слабо уступают лавкам и магазинам в европейском вкусе. Это низенькая комната без передней стены, закрывающаяся на ночь затвором из досок, который опускается на петлях сверху, а приподнятый держится крючьями в перекладине под крышей. Такие

лавки устроены совершенно так, как описывает их Броун в XVII ст[олетии], и отчасти напоминают наши деревянные лавочки на базарах. Впереди их развешаны разные товары: куски материй, белье разных сортов, шляпы, фесы, чулки, ремни и ременные изделия, опанки, мужское верхнее платье, женские юбки, кофты и т. п., оставлено место только для входа покупателя; но иногда вовсе не нужно и входить. Во многих лавках подобного рода не только продажа, но и самое производство товаров.

Пройдитесь только с *Великой пияцы*<sup>44</sup> (площадь против Великой школы и полиции) на *Теразии* и вы увидите все разнообразие жизни и культуры старой и новой, турецкой и европейской. Рядом с каменными двухэтажными домами вы встретите такие низенькие, что рукой можно достать крышу; рядом с гостиницей в европейском вкусе увидите маленькую турецкую кофейню — низенькую, темную, в которой потолок держится на столбиках, что придает ей вид каюты на пароходе и не мешает быть любимой кофейней торговцев; подле роскошного галантерейного магазина найдете маленький *дутян*, в котором хозяин — и купец, и сам ковыряет опанки; вас поразит оглушительный стук молотов по медным котлам и трубам для гонки ракии, которые где продаются, там и куются; на ваших глазах меховщики подбирают меха и шьют шапки; в сапожной лавке человек 20 мастеровых работают, сидя на прилавках, и хором распевают песни; тут же и пекарня: огромная печь своим пылающим жерлом смотрит на улицу; на ваших глазах пекарь сажает хлеба в печь, вперед выгладивши их рукой до лоска, вынимает из печи готовые и тут же продает на оку; неподалеку приютилась и книжная лавочка шага четыре в ширину и не больше семи в длину (есть, впрочем, другая лавка, довольно порядочная, на Варош-капии); тут же мясная лавка, перед которой висят ободранные ягнята и целые бараны, части воловьего стяга, кишки и разные внутренности; далее бакалейный магазин, где найдете кофе, чай, сахар, разного рода рыбу, мармелады, варенье и т[ому] п[одобное] — все это в стеклянных и жестяных сосудах и довольно изящно расставлено; оружейную лавку, где найдете только старое оружие; неподалеку лавочки со старой одежей, которая без всякой поправки, грязная и изорванная, висит наружу, чтоб привлечь внимание покупателей; со старым железом, где иногда найдете какую-нибудь древнюю вещицу; сверните с Теразий не-

много влево, в переулок, и вы встретите кузницу, где постоянно увидите лежащего на боку быка с ущемленным между ногами бревном, посредством которого его кладут для подковки. От бассейна на Терезиях почти параллельно идет небольшая улица: тотчас от угла стоит большой дом с каменной стеной, и к этой стене прилеплена конура из досок, вышиной меньше двух аршин; туда каждый день через отверстие влезает старик и, не смея расправиться, тотчас же садится на скамейку и принимается за сапожную и башмачную работу, которая состоит в починке старой обуви; перед его конурой также вывешен товар — несколько пар починенных сапогов или башмаков. Наконец, вы услышите шум колес, на которых разматывают нитки, и стук станков, производящих сербские полотна, платки и полотенца. Одна улица почти вся занята тележниками и каретниками. Все производство совершается наруже. Скрыто от глаз только печение пряников, приготовление леденцов, душистого мыла, белил и румян; скрыта деятельность чиновника, журналиста и вообще литератора; непроницаемой тайной окружена деятельность сербского государственного мужа и дипломата.

Каждая часть Белграда имеет свое особенное население. Так, Терезии, Абаджийская улица, ближние части Врачара и Варош-капии заняты по преимуществу чиновниками и профессорами, получающими плату не меньше 10 дукатов; в чаршии, на Саве и по целой, специально называемой вароши, — торговцы; в этих же частях по краям и в более глухих углах живут кое-какие ремесленники, прачки, кучеры, кельнеры, лица, ищущие мест; в Палилуле — больше люди, имеющие свою землю и скотину и потому занимающиеся хлебопашеством и извозом. Одна часть Дартюла занимается евреями и отчасти сербами-торговцами; там уже много очень порядочных домов; а другая, остающаяся в том виде как жили в ней турки, и представляющая собой лачуги и развалины, заселена беднотой разных профессий: поденщиками, мелкими ремесленниками, лавочниками, рыбаками, цыганами, странниками и переселенцами, мелкими чиновниками и бедными учениками разных школ. Как ни бедна здесь жизнь, она далеко не так грязна и ужасна, как в других городах Европы. Здесь несколько цистерн с хорошей водой; развалины издали скрываются под зеленью садов, бедные лачужки сплошь и рядом красиво обрамлены по край крыши виноградной лозой, и над окнами и дверьми

спускаются полные грозди; всякий почти двор имеет несколько плодовых деревьев, засажен кукурузой, разными овощами и цветами, и, проходя мимо, вы чувствуете запах васильков, лаванды или цветущих деревьев и кустарников. Природа здесь скрашивает бедноту и облегчает ей существование.

В дополнение к описанию внешнего вида Белграда и его построек скажу несколько слов о способе этих построек.

Белград растет очень сильно, что можно видеть из статистики его народонаселения и из наглядного наблюдения, смотря, как много каждый год возводится новых построек. Наконец, это доказывают огромные цены за места. В нынешнем году сербское правительство продало часть турецких мест, уступленных Турцией Сербии за 9 миллион[ов] пиастров (450.000 руб[лей]), и цена средним числом за квадратную сажень была 20 дукатов (60 р[ублей] с[еребром]), а некоторые места проданы и по 120, и 125 дукат[ов] за сажень. Построек возводится множество, и все почти исключительно строится так называемыми *дундъерами*<sup>45</sup> — мастерами-самоучками из Турции, сербами, болгарами и цинцарами. Нельзя, конечно, не удивляться этим мастерам, которые, несмотря на весь гнет жизни в Турции, могли достигнуть такой степени искусства, что строят большие двух-трехэтажные дома и иногда сами составляют и планы; тем не менее, однако, должно сознаться, что их постройки не основываются на точном расчете, страдают часто непропорциональностью и весьма непрочны. Поэтому многие капитальные постройки трясутся от всякого сильного движения на верхнем этаже, дают трещины и постоянно нуждаются в поправках. Я знаю в Сербии до пяти церквей, которые дали трещины, и в некоторых из них вследствие того перестали служить; с других церквей сорвало куполы; а в нынешнем году в одном городке (Парятине<sup>46</sup>) строилась церковь с затратой довольно значительного общественного капитала: доведенная до купола, она обрушилась. Архитекторы *из прека* тоже не искуснее этих, потому что также большей частью самоучки. Настоящих архитекторов в Сербии очень мало, потому что труд их ценится слишком дешево. Кроме того, сербы слишком экономничают и составляют такую смету, за которую ни один добросовестный архитектор не возьмется строить. Таким образом, причина плохих построек не в архитекторах, а в самих хозяевах.

Постройки здесь двойного рода: из твердого материала и из слабого. Первые, как и везде, строятся из кирпича на прочном фундаменте, лежащем непременно на материке, потому об них и говорить нечего; что же касается последних, то способ их постройки весьма оригинален. Сначала, конечно, кладут фундамент из простого камня, иногда даже не дорывшись до материка, потом ставится остов целого здания из столбов и переводин, между которыми размещаются, соображаясь с дверьми и окнами, другие столбики, потоньше, между этими столбиками с угла на угол кладутся бруски, и затем пространство между ними выкладывается кирпичем, большей частью старым и перебитым. В одно время с возведением стен ставится и черепичная крыша, так что верхняя часть стены подводится уже под крышу. Снаружи все обмазывается глиной и после белится. Известка тут почти нейдет, и кирпичи связаны глиной, какая попалась на месте, часто смешанной с черноземом. Такие постройки держатся лет до 40, то и дело, конечно, облупливаясь и требуя каждый год обмазки и поправок, но все это относится на счет квартирантов, и такие дома приносят дохода не меньше домов из твердого материала, потому что на них больше требования со стороны мелких ремесленников и мастеровых. Выгода здесь, конечно, главная та, что требуется меньший капитал, а капитал в Сербии покуда редкость. Большая часть такого рода построек возводится с помощью городского фонда.

Тепла здесь во всех домах весьма мало вследствие дурного устройства печей; в домах бедных людей печей нет, а только очаги для варки кушанья, и комнату нагревает *мангал*. Это большая, довольно глубокая сковорода на ножках, на которой разводится огонь или накладывается готовый жар. Когда по жару перестанет бегать синий огонек, угли станут тускнеть и покрываться пеплом, *мангал* вносят в комнату, и она нагревается. Случается, что человек, нагревшись мангалом, сладко засыпает и никогда уже больше не просыпается: значит, мангал внесен слишком рано; случается, что ребенок упадет на мангал и изжарится. Впрочем, случается и у нас, при благоустроенных печах, по десятку людей разом угорают до смерти в домах и в банях; случается, что не только дети, но и взрослые сгорают от печей, а о пожарах в России и помянуть страшно. В Сербии, по крайней мере, пожаров почти нет. Причина этого, кажется, заключается не в устройстве печей, а в характере народа. У серба нет той поэтической беспечности,



некоторой апатии и неряшливости, отличающей русского человека, и, несмотря на полувоенный образ жизни, на непривычку и неумение хорошо устроиться, он предупреждает многие беды осторожностью, постоянной заботливостью и трезвостью, — теми именно качествами, которых нам больше всего недостает.

Я уже заметил однажды, что Белград — город исторический. Современный Белград еще так нов, он, можно сказать, еще не существует и только возникает из развалин старого. Как ни разрушительно действовали здесь силы природы и человека, все-таки здесь на каждом шагу встречаются памятники, невольно обращающие наше внимание к прошлому, невольно возбуждающие любопытство, за удовлетворением которого вы должны обратиться к истории.

Мы коснулись этого отчасти при описании Дартюля. Там среди смеси развалин, пустырей, садов и мелких жилищ тонкие минареты мечетей — иные совсем целые, с жестяными коническими крышами и с полумесяцем на шпиле, другие со сбитыми вершинами и полуразрушенные; там же вы найдете одно огромное здание с уцелевшими до сих пор гербами и другими лепными украшениями на фронтоне, без крыши, без окон, закопченное дымом от пожара и от курящихся у его подножья новых жилищ, — это *пиринджана*, как прозвали еще турки дворец принца Евгения Савойского<sup>47</sup> (XVIII ст[олетие]); рядом с ним остаток какого-то здания с куполом, который от времени почти сравнялся с землей (в нынешнем году его, кажется, совсем разобрали: это была баня, построенная, может быть, еще римлянами и после служившая туркам); в той же улице еще несколько домов, похожих на пиринджану, также с гербом и лепными украшениями, и не имеющих ничего общего с окружающими их новыми жилищами. К одному из таких домов пристроен был турками минарет, и он обращен был в мечеть, а теперь и минарет этот до половины сшиблен. Видно, что когда-то это была лучшая улица, что в ней когда-то жила европейская знать со всей роскошью европейской жизни. Теперь же эти, когда-то великолепные, палаты пусты: в них, как в норах, живут цыгане и другие бесприютные люди, а около них, как птичьи гнезда, лепятся новые, кое-как сбитые лачужки и лавчонки, приюты разного рода бедноты. И стоят эти остатки прошлого как немые свидетели иной жизни и ждут только окончательного разрушения от нового поколения, не имеющего расчета в их бесполезном существовании.

Совершенно уединенно и в значительном отдалении от старого города стоит мечеть — *Батальджамия*<sup>48</sup>. Никто не помнит, нет и предания о том, чтоб когда-нибудь вблизи нее жили турки. От остальных мечетей она отличается необыкновенной величиной и архитектурой; крыша ее покрыта густым слоем земли и заросла густой высокой травой, что свидетельствует о ее давнем запустении, на что указывает и ее специальное название «*баталь*», значащее «заброшенный, оставленный». Когда же и для кого она здесь построена? По всем вероятностям, это та самая мечеть, которую упоминает Броун в XVII [столетии] (см[отри] приведенную нами выписку из его путешествия): она была построена визирем вместе с караван-сараям, который находился вне города. В настоящее время по ней называется окружающая ее площадь, подле нее начинают возникать постройки, и с одной стороны она уже наполовину закрыта большим двухэтажным домом, предназначенным быть гостиницей.

Как в Геркулануме и Помпее под массой пепла и лавы открывают жилища со всей обстановкой и принадлежностями жизни, царившей там почти за 2.000 лет до нашего времени; так и в Белграде под слоем глины и щебня то и дело открываются постройки и разные предметы, свидетельствующие, что когда-то здесь жил совсем другой народ и была совершенно иная культура.

Пройдет ли сильный дождь и потекут потоки, они вымывают там-сям то старую монету, то какое-нибудь украшение костюма, то обнажат какую-нибудь надгробную плиту. При раскопке земли для фундамента или для погреба то и дело находят надгробные камни с римскими надписями и различными изображениями, целые гробницы с сосудами, содержащими в себе пепел или кости, стеклянные или металлические вещи; часто на значительной глубине отрывают целые постройки — своды и стены из громадных белых камней или из кирпичей, чрезвычайно крупных, тонких, отлично выжженных и иногда с означением цифры римского легиона, когда-то занимавшего здесь свой пост. Строительный материал этот так хорош, что он целиком идет на новые здания. Нынешней весной на Калимегдане на глубине 6 сажень нашли свод, и когда пробрили его, тогда увидели под ним ход, одной ветвью идущий под крепость (этим ходом успели уже бежать два арестанта), а двумя в город, к Дунаю и к Саве. Такие же точно ходы со сводами находятся под всеми домами по обе

стороны улицы, идущей от чаршии вниз к Дунаю: они выше сажени, шириной сажени в две, а местами шире, и притом разделены по двое вдоль: теперь в них домохозяева устраивают погребы, делая только перегородку поперек, чтобы отделиться от соседа. В крепости в нынешнем году отделяют старый колодезь, находящийся почти на самом высоком месте. Сруб его сделан из кирпича и имеет в диаметре сажени две; наверху устроена обширная ротонда, в которой, вероятно, помещалась машина для подъема воды; около сруба промежуток и концентрически другая стена: в этом промежутке идет витая лестница в 217 ступеней с площадками; на этом пути с боков сруба в нескольких местах сделаны большие отверстия, служившие, вероятно, для установки машины для наблюдения за нею и поправки. В самом низу на стене сруба готической латиницей нацарапаны какие-то два имени, когда обмазка была еще мягкая; но разобрать их я не мог. Видимо, что это произведение немецкое и, по всей вероятности, времен принца Евгения, при котором, по словам Катанчича\*, вырыт был какой-то колодезь (Катанчич, впрочем, указывает, его в другом месте, но он многое путает). До воды можно считать около 25 сажень, а глубина воды 12 саж[ень]; по всей вероятности, он находится на одном уровне с Савой. Внизу со всех сторон из стен сочится уже вода.

Во дворе *Великой школы* вы увидите несколько римских надгробных плит, статуи цельные и разбитые, работы не особенно хорошей, и притом из слабого камня и потому значительно потерпевшие от выветривания, каменные гробы с такими же крышками вроде египетских саркофагов. В музее вы найдете множество предметов весьма различной древности и принадлежавших различным народам. Вы найдете там предметы бронзового и медного века: бронзовые и медные боевые молотки, топорики, наконечники копий, обломки ножей, меч, различные предметы времен варварских: маленькие бронзовые идолы, весьма неискусно сделанные, такие же множество раз свернутые пластинки или толстые проволоки, которыми обвивали руки, чтоб защитить их от удара меча; серьги необыкновенно большие и тяжелые с уродливыми фигурами оленей на подвесках, нити с золотыми зернами величиной от обыкновенного ореха до мелкой горошины, служившими вместо монеты, несколько варварских

---

\* «История Белграда», перевод[ено] в «Гласнике» сербского общества словесности, т. V.

монет и изображения голов в шлемах, украшенных конскими волосами или перьями, скачущих на конях всадников, а с задней стороны с какими-то знаками, которые, несомненно, составляют надписи, но по сю пору неизвестно, ни что они значат, ни какому народу принадлежат. Рядом с этими первобытными произведениями искусства вы встречаете очень художественно сделанные из жженой глины маленькие сосуды, лампочки, чрезвычайно тонкие стеклянные пузырьки, так называемые лакримарии, в которые знатные римлянки собирали свои слезы, оплакивая мужа, брата, ребенка или другого близкого родственника или друга; булавки и иглы (*fibulae*), служившие для застегивания платья; каменные коробочки с крышечками, на которых весьма искусно вырезан какой-нибудь миф; серебряная баночка для помады, и внутри на крышке ножом нацарапано имя употреблявшего ее начальника когорты; кусочки амфор с изображением человеческих головок; римские монеты с изображениями консулов и императоров, отличной чеканки, — есть, впрочем, и такие, которые свидетельствуют об упадке искусства; римские либры — серебряные дощечки длиной четверти в полторы и шириной в вершок, в 35 лотов веса; от них произошли все современные либры, или фунты; тут же бронзовая голова в природную величину, отбитая от целой статуи, может быть, той самой статуи Траяна, которая стояла на мосту через Дунай там, где теперь Кладово<sup>49</sup> (в Сербии): она вытащена была рыбаками из Дуная и сделана так искусно, как может сделать только лучший художник нашего времени. Между разными мелочами найдете изображения египетских мумий, сделанные из цветного матового стекла, и две фигуры египетских жуков-скарабеев с иероглифами на нижней стороне, — эти вещи когда-то, может быть, также украшали музей какого-нибудь любителя редкостей. Есть там какие-то шарики, пирамидки и двояковыпуклые кружки, служившие кому-то и когда-то мерой веса. Много также греческих монет, между которыми есть монеты Филиппа и Александра Македонских. Затем следует богатое собрание монет сербских от всех царей и деспотов, и между ними замечательная монета Марка Краевича<sup>50</sup>, которого история знает очень мало, и только народная память удержала его в своей поэзии, окружая его ореолом полубога. Много монет венгерских, турецких и различных европейских государств, и особенно замечательно собрание монет венецианских, принадлежащих целому

непрерывному ряду дождей. Наконец, множество вещей периода смешанного — сербско-турецко-мадьярского: кресты, иконы в серебряной и золотой оправе, перстни, кованые пояса, разное оружие, мечи, сабли, куски шлемов, кольчуги, конская сбруя и разные украшения мужского и женского костюма. Предметы, относящиеся к костюму, недавно еще употреблялись в Сербии, и некоторые старинные дома по сю пору хранят их как наследие отцов и дедов. В старой Сербии и других местах Турции можно их встретить кое-где еще и теперь в употреблении. Вы найдете здесь портреты всех почти Обреновичей, даже тех, которые едва известны по имени, и других замечательных мужей Сербии, и целое собрание портретов всех юнаков — сербских героев от времени войны за освобождение, но к стыду холопствующей перед Обреновичами Сербии не увидите главного их юнака, Георгия Черного<sup>51</sup>.

Уже через одно наглядное знакомство с предметами старины, рассеянными по целому Белграду и собранными в музее, вы можете составить себе идею об его истории. Мы постараемся со своей стороны обозначить точнее главные фазы в его истории, выбравши в ней только самые важные моменты, ограничиваясь одним указанием их и избегая всяких подробностей.

Нет сомнения, что местность Белграда уже в самое отдаленное время привлекала к себе население из прилегавших стран и представляла нечто вроде города; но о том времени мы не знаем ничего и можем только догадываться. В начале христианской эры нынешняя Сербия, под именем Верхней Мезии, составляла римскую провинцию и должна была содержать римские легионы. Во втором веке по Р[ождеству] Хр[истову] географ Клавдий Птолемей на месте нынешнего Белграда показывает главный город Верхней Мизии Сингидунум. Неримское название города показывает, что римляне застали его уже готовым. К этому времени относятся находимые здесь кирпичи и камни с надписью: «L. III. F. F.», что значит: «Legio IV Flavio Felix». Римляне имели здесь укрепление (castrum), но главным образом пользовались торговым и экономическим положением города. Они обрабатывали землю, добывали руду, эксплуатировали леса, вывозили отсюда звериные шкуры, мед, воск и т. д. Здесь же они набирали и рекрутов для своих легионов. Что римляне в этой стране были больше экономы и промышленники, доказывается местами их

поселений: это большей частью плодородные долины, тогда как nasledовавшие им сербские крaли стали громоздиться на высокие неприступные горы или удаляться в тесные ущелья, где строили свои замки и монастыри, служившие им дворцами и крепостями.

Сербская Трoношская летопись, говоря о происхождении сербского королевского дома Неманичей<sup>52</sup> от гонителя христиан Ликийня, женатого на дочери Константина В[еликого] Констанции, рассказывает между прочим следующий интересный эпизод из истории Белграда: «Ликийний владел в Сирмии<sup>53</sup> (нынче Митровица вверх от Белграда по р[еке] Саве) и жил там с женой своей и двумя сыновьями. Когда Константин склонился на сторону христианства, Ликийний остался верен язычеству и воздвиг гонение на христиан. Тогда Константин собрал войско и осадил его в Белграде. Ликийний, будучи не в состоянии сопротивляться, вышел из крепости и с войском кинулся на лодках через Саву, но в общей свалке на устье ее утонул. Дети его с матерью, оставшиеся в Сирмии, бежали в Захлумию<sup>54</sup> (нынешняя Черногория), откуда происходил их отец, и таким образом спаслись от гибели; а все попавшие в руки Константину были им избиты. Белград же он разорил и, перепахав его, посолил солью и проклял, чтоб он никогда не имел прочности, если и будет когда-нибудь укреплен».

Факт этот, неизвестный из других источников, довольно вероятен в том, что Белград в IV ст[олетии] не только оставался языческим городом, но и служил убежищем для всех, кто был недоволен Константином В[еликим], когда он объявил христианство господствующею верой. Можно не сомневаться и в том, что Константин, преследуя здесь своих противников, что известно и из других источников, разорил Белград. Может быть, остатки римских построек, отрываемые в настоящее время на Калимегдане на значительной глубине, — немые свидетели того разрушения, которому римский город в IV ст[олетии] подвергся со стороны своего оставившего старую веру императора.

После падения Западной римской империи Белград переходит под зависимость Византии и становится известен под именем «Alba Graeka», откуда, конечно, произошло и его сербское название\*. Имя Белграда упоминает уже Константин Порфирогенет<sup>55</sup> (X ст[олетие])

\* Название Белграда носят многие города в Венгрии, Албании, Далмации.

по поводу событий в начале VII века, когда славяне (сербы, хорваты и болгары) наводнили весь Балканский полуостров и угрожали ослабить даже Грецию, и в то время, по сокрушении аваров, Белград должен был быть сербским городом. Об этом отдаленном времени мы, однако, ничего не знаем. А с тех пор, как сербо-хорваты стали собираться в государственное тело под властью своих жупанов и князей, Белград не играет никакой политической роли. Сербские и хорватские государи держались по преимуществу в странах, близких к Адриатическому и Средиземному морю, стремясь постоянно к Риму и Византии. В это самое время образуется и Венгерское королевство и, по точному историческому свидетельству, венгерский король Стефан I (в XII ст[олетии]) владел Белградом<sup>56</sup>, хотя есть темное указание на то, что в том же столетии владел им и Стефан Неманя<sup>57</sup>. В XIII ст[олетии] венгерский король Стефан V дает его вместе со Сремом в приданое за своей дочерью Екатериной, вышедшей замуж за сербского кралеви́ча Драгутина<sup>58</sup>, с тем условием, что отец Драгутина Урош<sup>59</sup> отступает совсем от правления. Урош, однако, не сдержал обещания и прогнал сына. Тогда последний бежал к шурина своему Владиславу, в Будим, собрал 80.000 войска, разбил отца и снова овладел Белградом. Здесь, однако, он не остался и перенес свою столицу в Зворник на р[еке] Дрине (в Боснии). Краль Милутин<sup>60</sup>, наследовавший Драгутину, перенес свою столицу еще дальше, в Призрен<sup>61</sup>. Одним словом, тогда или не пришло еще время для политической роли Белграда, или не понимали ее сербские государи и оставляли его в добычу венгерским королям. Мы принимаем последнее положение. Связь Сербии с Византией была весьма неблагоприятна для сербского народа: от Византии в то время нечего было взять, кроме ее пороков, в которые погружались все слои ее общества, начиная с императора и патриарха и оканчивая последним гражданином и монахом, тогда как в Западной Европе в то время, несмотря на господство феодализма, зародилась и быстро развивалась жизнь совершенно на новых началах. Как бы то ни было, но Белградом большей частью владели венгерские короли, обеспечивая себе тем господство по обе стороны Савы и Дуная. Правда, в 1353 г. Стефан-Душан<sup>62</sup> прогнал мадьяр всюду с Моравы и овладел Белградом и Мачвой<sup>63</sup> (северо-западная часть Сербии); но это обладание было непродолжительно. После опять владел им царь Лазарь<sup>64</sup>,

но, вместо того, чтобы укрепиться в нем, он велел разрушить его крепость, а сам поселился в Крушеваце<sup>65</sup> (в южной Сербии), который прельщал его своим романтическим местоположением и откуда все-таки был ближе путь к Эгейскому морю.

Сын Лазаря Степан<sup>66</sup>, как мы уже имели случай заметить, вполне оценил положение Белграда, поселился в нем; но в то же время предвидел, что сербам не удержать его между двумя такими сильными врагами, как турки и мадьяры, и потому заключил с последними договор, по которому в случае смерти Степана без детей деспотом Сербии делался Юрий Бранкович<sup>67</sup>, а Белград поступал во владение мадьяр, с тем, чтобы они помогали сербам против турок, и с этой целью возобновил и укрепил другой град — Смедерево<sup>68</sup>. Георгий Бранкович пытался было удержать за собой Белград и занял его тотчас по смерти Степана; но в то же время двинулись на него, с одной стороны, турецкий султан, с другой — венгерский король. Стоя между двух неприятелей, он первого усмирил тем, что дал ему в жены свою дочь Марию, а второго мог привлечь на свою сторону только уступкой Белграда, за который, впрочем, он получил несколько городов в Венгрии. Уступка Белграда мадьярам произвела на сербский народ очень тяжелое впечатление. Современные летописцы ставят это в упрек Бранковичу. В «Цароставнике» находится плач за Белградом вроде плача Иеремии, а в другой летописи (изд[анной] в «Архиве» Кукулевича<sup>69</sup>, кн[ига] III) рассказывается по этому поводу о знаменьях, предвещавших гибель не только Белграду, но и целой Сербии. Вот как описывает их упомянутая летопись под 1432 годом.

*«Первое знаменье, предвещающее зло городу. Вечером, поздно ночью (мы, однако, тогда не спали) вдруг послышался как будто звук труб с другой стороны Савы, и постоянно усиливался, и, казалось, приближался, пока, наконец, стал слышен близ города и в самом городе. И продолжалось это часа три, и общее мнение было, что придет войско против города. Другое знаменье. Из иконостаса взлетали кверху иконы, на которых был написан Христос, Святая Дева и Иоанн. Это явление многие толковали в хорошую сторону, но вышло худо. Третье знаменье. Над городом распростарнилось пламя, как будто павшее с неба, и потом исчезло в воздухе. Перед тем вихрь сорвал крышу с церкви и разрушил несколько домов, снял также крышу с дома сестры Стефана. И после этого пришел некто из внутренности*



Мизии, представляя из себя как бы пророка (поистине, дела его свидетельствовали о его святости); день и ночь бегал он по городу, горько плача и крича “О, горе! Горе!” и “Увы! Увы!”. Его видел и деспот Георгий и по своему великодушному нраву дал ему богатую милостыню. Эти знаменья относились не только к Белграду, но предсказывали погибель целой Сербии. И немного спустя попущением Божиим Сербия пала».

Троношский<sup>70</sup> летописец, упомянув кратко об уступке Белграда мадьярам, добавляет: «И Георгий Бранкович ушел жить в Шиклеуш (в Венгрии). Мадьяры же заняли Белград и поселились там. *Сербские же граждане, которые захотели, остались, а другие ушли в Шиклеуш*».

С этого времени Белград совершенно перестает быть сербским городом. Четыре года спустя после этого Белград посетил один французский путешественник, Бертрандон де ла Брокьер («Гласник» 1854 г., VI, стр[аница] 209), и оставил его описание. Между прочим он говорит, что из пяти частей, из которых состоял Белград, *расси-янам*, т. е. сербам, позволено было жить только в одной, на Саве; а в остальные они не смели даже входить, так не доверяли им мадьяры. Далее он рассказывает следующее: «На другой день после моего прибытия в Белград я видел, как пришли туда 25 человек, вооруженные по обычаю страны, для того, чтоб остаться тут в гарнизоне; и когда я спросил, что это за люди, мне отвечали, что это немцы издалека.

“А разве, — сказал я, — не могли бы мадьяры или сербы охранить город?”

“Что касается сербов, — сказали мне, — то они не входят в город, потому что подчинены туркам и платят им дань; а мадьяры, — говорят, — их так боятся, что никак не смели бы взяться охранять против них город”». Это достаточно характеризует отношения мадьяр и сербов.

Господство мадьяр было так тяжело сербам, что они постоянно готовы были отдаться туркам. В Белграде было несколько заговоров против мадьяр, за что, конечно, сербы подвергались еще больше притеснениям, а виновные — жестоким казням. Впрочем, нужно и то сказать, что бичами сербского народа были их кровные братья, состоявшие на службе у венгерских королей. Так, около 1480 г. Павел-князь (сербский воевода в Темешском округе), узнавши о затева-

емой белградскими гражданами измене, похватал их и, после допросов с помощью пытки, главных велел испечь на вертеле, как баранов, а других заставил их есть.

Солиману<sup>71</sup> взятие Белграда (1521 г.) облегчено было преданностью тамошних граждан.

Стратегическое значение Белграда видно и из того, что, покуда он находился в руках Венгрии, турки могли делать только набеги на венгерские земли; а как скоро и он перешел к туркам, то вся Венгрия вместе с Пештом подпала их постоянному господству, а наконец турецкие знамена явились и под стенами Вены.

Под турецким владычеством Белград отдыхает; мало того, он делается обширным рынком между Европой и Азией, что мы видели из описания его у Броуна. Правда, через год после того, как Брун был в Белграде, им овладели австрийцы, но в том же году опять должны были уступить туркам. В 1717 г. он был взят принцем Евгением. В этот период (1717–1739 гг.) австрийского господства Белград украсился множеством хороших зданий. В 1739 г. австрийцы должны были уступить его назад туркам, но перед выступлением восемь месяцев занимались разрушением крепости. Турки опять владели им до 1788 г., когда Белград был взят Лаудоном<sup>72</sup>. В это время его видел Катанчич и в описании своем говорит, что в Белграде было до 40.000 жителей в городе и 25.000 в крепости; что в крепости были одни турки, а в городе, кроме турок, жили греки и сербы; что торговля почти вся находилась в руках греков и сербов. На австрийскую сторону из Сербии и через Сербию шли следующие товары: лес, которым была очень богата Сербия, сало, мед, воск, деревянное масло, миндаль, изюм, хлопок, шелк и шерсть; кроме того, греки торговали вином, кофе, буйволами и свиньями. Из Австрии шли сукна, железо, сталь, стекло и косы. Это было в последний раз, когда в Белграде распоряжались австрийцы. Лаудон укрепил город в лучшей в то время системе и дал крепости именно тот вид, в каком она находится теперь. Имя его носят и по сию пору одни ворота в крепости и шанцы вокруг всего города. Несмотря на это, австрийцы не могли там удержаться и через год после завоевания снова впустили туда турок.

Семнадцать лет спустя, именно в 1806 г., правитель Белграда Солиман-паша с 200 янычар и в сопровождении множества турецких

семейств выступил из Белграда, сдавшись сербской рае под условием свободного пропуска и с сохранением всем им жизни. Но едва они прошли город, из засады выскочили на них сербы и всех перерубили, пустивши одного пашу. Несколько дней рассвирепевшая рая отыскивала и рубила турок, из числа которых немногие спасли свою жизнь тем только, что приняли христианство. В целой Сербии тогда не осталось ни одного турка, и в то время она была так свободна, какой не была прежде и не может назваться даже теперь. Сербией управлял с того времени избранный ею верховный вождь Георгий Петрович, прозванный турками Кара, или Черный, и сенат.

Таким образом, бедная безоружная рая, предводительствуемая простым *гайдуком* (разбойником), который незадолго перед тем занимался паствой и откармливанием свиней, отняла из рук своего врага, хорошо вооруженного, крепость, над укреплением которой работали лучшие инженеры того времени, и очистила всю страну от своих неприятелей. Народ, ряд столетий страдавший сначала под тиранией своих царей и деспотов, а потом под ярмом турок и мадьяр, не знавший ни отдыха, ни мира, чтоб развиться и окрепнуть духовно и материально, сам, без всякой посторонней помощи, единственно подвигами отчаянной храбрости, разрушает цепи многовекового рабства и образует свободное государство. Таких примеров в истории немного, и более торжественного момента в истории сербов нет. Перед этим подвигом бедной райи и ее скромного вождя бледнеют дела Душановы и всех сербских героев старого и нового времени.

Но события, в то самое время потрясавшие целую Европу, тяжело отразились на новом маленьком государстве, у которого хватило силы совершить моментально великий подвиг, но не доставало средств удержать за собой добытое поле, когда борьба приняла более широкие размеры и потянулась на долгое время; в тот момент, когда оно больше всего нуждалось в какой-нибудь хоть ничтожной поддержке, ее не было ровно ниоткуда. Вся Европа, кроме России и Англии, тогда была с Наполеоном. Опираясь на его всемогущую поддержку, и Турция ополчилась всеми силами против маленького, недавно выскользнувшего из рук ее народца, и через семь лет после описанной нами торжественной сцены вступления сербов в Белград там происходили сцены совершенно иного рода.

На Калимегдане перед городскими воротами всюду насажены были на колья люди: иные были еще живы, стонали и как величайшей милости просили смерти, и заклятый враг серба, турок-часовой, из жалости добывал несчастного из пистолета; другие безмолвно торчали окоченелыми трупами. Стаи собак бродили кругом, ожидая, когда обреченная им жертва замолкнет, а иногда починали объедать ноги у живых. По улицам натасканы были собаками человеческие руки, ноги и внутренности. Всюду стоны, плач и ужас; в воздухе смрад; народ в отчаянии.

Такова была месть турок, и таким путем восстановлено было право их господства над сербами. Все крепости снова приняли турецкие гарнизоны; все города снова стали наполняться турками, и серб снова стал называться райей и сделался рабом и собственностью турка-спахии<sup>73</sup>.

В 1866 г. опять новая сцена.

На том же Калимегдане устроен павильон: в нем помещается сербский князь с супругой, подле них иностранные представители, министры и вся свита, далее войско, а кругом, как только глаз может видеть, народ. Является паша со свитой; исполняет церемонию передачи князю ключей от сербских крепостей и вручает султанский фирман, который читает народу: тысячи голосов кричат: «Живио!»; радость и торжество неописанные. Затем турецкий гарнизон выступает из крепости, а его место занимает сербское войско.

К этому можно присоединить еще прошлогодние сцены: убиение князя<sup>74</sup> и вслед затем искупление его восемнадцатью новыми убийствами, и история Белграда готова.

Оглянитесь еще раз на прошлое Белграда и скажите: есть ли где другой город, который подвергался бы таким частым и резкими переменам? Под толстым слоем земли вы открываете здесь целые здания; на поверхности не осталось, можно сказать, ни пяди земли, не напоенной человеческой кровью; сколько народностей, сколько различных культур сменяли одна другую, и всякая смена сопровождалась самыми ужасными катастрофами.

Окончив с историей, мы снова можем обратиться к настоящему Белграду, к его современным жителям и к жизни.

Как недавни и новы все постройки Белграда, кроме крепости и нескольких, с каждым днем исчезающих развалин, так недавне и ново

его население. В 1834 г., когда была первая перепись в Сербии, в Белграде вместе с турками жило 7.033 человек; через 15 лет (в 1859 г.) население его возросло на 18.860, в 1862 г. из Белграда выселились все турки, составлявшие по крайней мере одну треть всего населения, и все-таки через 10 лет Белград считает уже до 26.000 жителей. Цифры эти без дальних объяснений доказывают сильный рост Белграда.

Затем возьмем другой ряд цифр — рождений и смертности.

Прошлый (1868 г.) вследствие эпидемии на детей (скарлатина) и вообще неблагоприятной погоды дает цифры весьма неутешительные. Именно на 756 родившихся пришлось 1033 умерших (евреи здесь не считаются, потому что от них нельзя было получить точных данных); следовательно, умерло 277 человеками больше, чем родилось, или на 100 родившихся приходится 136 умерших. Если (как говорят) г. Якшич, у которого мы заимствуем эти статистические данные, в числе умерших не отделяет значительное число времени живущих в Белграде рабочих, которые не считаются в церковных книгах как живые, но заносятся в них, когда умирают, то число это окажется несколько преувеличенным. Но, полагая число этих временных жителей в 1/10 всего населения, мы все-таки получим, что на 100 родившихся приходится 123 умерших. Между детьми смертность составляла 38 %, тогда как в другие годы она не превышает 25 %. Возьмем для сравнения другие годы:

в 1861 г. родилось 567, умерло 802

в 1862 г. родилось 487, умерло 807

---

за два года родилось 1054, умерло 1609,

т. е. умерло почти в полтора раза больше, чем родилось. Замечательно, что в 1862 г. убавилось рождений. В 1867 г. здесь свирепствовала холера, следовательно, смертность была еще сильнее. Итак, имея данные для четырех лет в числе 8 (1861—1869), указывающие на превышение смертности над рождениями, мы не имеем никакого основания предположить, чтоб в остальные четыре года условия были лучше, и потому можем, кажется, не ошибаясь, допустить, что народением население Белграда не увеличивается, если не уменьшается преобладанием смертности.

Причина сильной смертности заключается прежде всего, конечно, в его климате, зависящем от его физического положения, о котором мы уже говорили. Резкие перемены погоды и множество низких сырых мест, окружающих Белград, производят здесь постоянные эндемические болезни, к которым относятся *косто-боля* (ревматизм) и *срдоболя* (дизинтерия). Кроме того, здесь часто эпидемически действуют лихорадки и горячки; наконец, много умирает от чахотки, вследствие необыкновенно слабого развития груди. Большая часть детей умирает от болезней желудка и горла.

Две первые болезни не составляют здесь явления нового. Ими страдали и померли многие из сербских королей и деспотов. Степан Лазаревич умер по всем признакам от ревматизма, хотя летописцы называют его болезнь одни подагрой, другие — апоплексией. Нередко вы читаете в сербской истории, что такой-то султан или визирь снял осаду с Белграда или с другой крепости в придунайских краях вследствие дизентерии. В 1439 г. умер от этой болезни Альбрехт, король Венгрии и Богемии, во время турецкого похода, и тем же самым переохворало все его войско; от той самой болезни сильно пострадало европейское войско, отправлявшееся к Никополю (1393 г.); в 1739 г. значительно пострадало от нее австрийское войско в Белграде во время осады его турками, и это помогло сдаче его. Ян Гуниад и другие предводители сербско-венгерских войск в XV и XVI ст[олетиях] померли от горячки.

В прошлом году дизентерия спорадически была в Белграде, а эпидемически действовала в некоторых селах Крагуевацкого округа. Из Белграда каждый год множество людей отправляется на воды лечиться от ревматизма. От чахотки множество сербов умирает за границей, и не только в Петербурге, который у сербов слывет каким-то пугалом, и вообще в России, но и в Берлине, Гейдельберге, в Швейцарии и в самом Белграде.

Неблагоприятным климатическим условиям Белграда много помогают золотушность, которая особенно у детей делает смертельной всякую мало-мальски серьезную болезнь; незнание гигиенических и диетических правил; чрезвычайно плохое устройство домов, в которых всюду сквозит, и отчасти плохая вода, несмотря на существование множества водопроводов.

Счастье сербов, что их не коснулась еще язва пауперизма, что они покуда пользуются простором и свежим воздухом, а не скучены, не загнаны в сырые, лишенные света подвалы, в которых живет рабочее население в больших европейских городах; сравнительно с другими они имеют хорошую пищу и хорошо одеты. Опыт научил их также бережливости. Всякий почти серб, носящий немецкое платье, имеет под низом фланелевую или шерстяную рубашку, простой горожанин в сербско-турецком платье целое лето и в самые жары не скидает своей паликлини (ватной курточки) и кроме того носит всегда сверху одно или два платья; заменяющая ему пояс шаль обвертывает тело его в несколько раз, совершенно прикрывая желудок и всю грудь выше подложечки, а сзади немного не достигая лопаток. Женщины также постоянно носят сверх платья или род курточки (шкуртелька), часто, несмотря на лето, опушенной мехом, или род кафтанчика (антерия), то и другое из сукна, атласа или бархата.

Есть еще одна причина, которая ослабляет умножение народонаселения путем нарождения, — это вытравливание плода, которое, по свидетельству докторов, постоянно увеличивается и распространяется на все классы. Досталось ли это сербам от турок, у которых это в обычае, или явилось под влиянием других каких-нибудь причин, трудно решить без специального исследования; заметим только, что это делается не в бедных только классах, которых побуждали бы к тому бедность и невежество, но и в семействах людей богатых и считающихся образованными, и не из желания женщины скрыть грех, а часто с ведома и даже по желанию мужа. То же самое распространено и между австрийскими сербами.

Отсюда следует, что увеличение народонаселения Белграда происходит извне, путем доселения. Это видно из непропорционального преобладания числа мужских жителей над числом женщин: так, в 1866 г. в числе 22.928 д[уш] было мужчин 13.442, а женщин 9.486. Еще лучше это можно видеть из сравнения браков и рождений у православных и иноверцев. С 1846—[18]48 гг. у православных было 102 брака, а у иноверцев 8; следовательно, отношение было как  $102:8=12,5$ , т. е. иноверных браков было в 12 раз меньше, чем православных. С 1866—1868 отношение изменилось: стало как  $224:37=6,5$ , т. е. разница уменьшилась почти вдвое. Тот же вывод дает и сравнение числа рождений:

с 1846– 1848 гг.	у правосл[авных] было	399	а с 1866– 1868 гг.	у правосл[ав- ных]	621
	у иноверцев было	19		у иноверцев	115
		=21			=5,4

То есть в первый период у иноверных было новорожденных в 21 раз меньше, чем у православных, а во втором только в пять с половиной. Г. Якшич, сообщая эти данные, приходит к такому заключению: «Итак, у православных в продолжение последних 20-ти лет на 1.000 душ приходится 1.555 рождений, а у иноверцев 6.052 или, другими словами: иноверцы в продолжение прошлых 20 лет доселялись в Белград вчетверо сильнее, нежели православные сербы, так что Белграду предстоит в конце этого столетия быть только наполовину сербским городом, как, напр[имер], Земун» («Единство». 1869 г. № 41).

Признавая вполне факт сильной смертности в Белграде и слабого возрастания его народонаселения путем нарождений, мы не можем принять последнего заключения г. Якшича, потому что ему противоречит другое, весьма резкое явление, это то, что все поступающие в Белград чужие элементы скоро превращаются в сербство, принимают сербский характер.

Все доселенцы весьма легко ассимилируются с туземцами, потому что главным образом они приходят сюда из Турции и из Австрии, где нет одной цельной нации, нет, следовательно, национального языка, нет национального типа, где редко вы не встретите готовой уже смеси двух-трех народностей; и притом, где бы ни был австрийский или турецкий подданный в своем государстве, он везде приходит в соприкосновение с той или другой славянской народностью и волей-неволей выучивается какому-нибудь из славянских наречий, и поэтому, вступая в Белград, если не знает вперед по-сербски, то знает по-чешски, словацки или по-болгарски и легко выучивается сербскому языку и со временем даже совсем отстает от своего родного наречия. Больше всего доселяются свои же братья югославы — сербы и болгары, затем огромное число цинцар или куцо-влахов, которые иногда сами не знают, что они такое. Говоря языком смешанным — из валашского, который сам по себе представляет порядочную смесь, и греческого, но, живя постоянно между болгарами, сербами и арнаутами, они усваивают себе и язык своих соседей, и их



народность определяется той средой, в которой они живут. Больше всего они признают себя греками, но те, которые поселяются в Белграде на постоянное жительство и принимают сербское подданство, делаются вполне сербами, и уже через одно поколение цинцарский язык совершенно исчезает. Чуть ли не большинство белградских купцов цинцарского происхождения, а теперь они чистейшие сербы.

Жителей совершенно чужой национальности здесь очень немного. Между ними главное место занимают евреи в числе 200 семейств, которые живут здесь, как и в других славянских землях, исключительной жизнью и отнюдь не смешиваются с сербами. Затем следуют немцы, большей частью из Пруссии и Саксонии, немного больше 400 душ, рассеянные по разным местам Сербии как архитекторы, горные инженеры, простые зодчие, рудокопы и мастеровые. Они отчасти поддерживают свою особность, но со временем уступают сербскому влиянию.

Таким образом, здесь смешения с чужой национальностью в настоящее время почти не существует, кроме смешения с цинцарами, которые уже наполовину сербы или болгары. Вот почему, несмотря на сильное доселение в Белград жителей из других стран, он так невинно сохраняет свою сербскую физиономию, насколько она выражается языком, одеянием и отчасти образом жизни. Но при этом мы заметим одно: в одеянии и во внешнем образе жизни с давних пор уже вошло много турецкого. Турецкого происхождения их костюм: фесы, антерии, тозлуки, елеки, пафти, шами, тешайлии, папучи и т[ому] п[одобное]; предметы домашнего комфорта: миндерлуки, софы, ястуки, йорганы и т[ак] д[алее]; кушанья: тюфте, папозиянии, мезе, дьувече и пр. Я не говорю здесь об одних словах турецкого происхождения, но о самих предметах и понятиях, которые оказывают влияние на жизнь. Сербы утратили понятие о столе и заимствовали его у мадьяр в переименованной форме «астал», в доме богатого серба вы часто нигде не найдете стола, кроме той комнаты, где обедают; а это пристрастие к *паприке* (красный перец) и вообще к пряностям и к возбуждающим средствам разве не турецкого происхождения? Если строго разобрать образ жизни жителей Белграда, то окажется весьма много такого, что привилось им от турок и притом на счет их коренных славянских начал. А рiогi нельзя не допустить, что масса цинцар, в настоящее время наполняющих Белград и становящихся

наружно сербами, удерживает свой особый тип, свой характер, свои воззрения на жизнь, вынесенные ими из стран, где по сю пору господствуют турецкие нравы и куда нет доступа освежающему действию общеевропейской цивилизации. Так что сильная заботливость сербов (я разумею горожан и людей образованных) сохранить во всем сербский характер, не значит ли охранять какие-нибудь чужие начала — турецкие или цинцарские? И не выражается ли тем просто отпор прогрессу и цивилизации? На это мог бы ответить строгий анализ общественной жизни сербов, на что может отважиться только просвещенный же серб; мы, со своей стороны, при описании того или другого явления общественной жизни позволим себе делать мимоходные замечания в виде личных наблюдений или догадки.

В настоящем случае, когда речь зашла о национальном типе Белграда, я не могу не сделать одного замечания и о его политическом типе. Как средоточие всей сербской интеллигенции, он, конечно, должен бы стоять впереди во всяком умственном и политическом движении; так, по крайней мере, в целой Европе, где импульс к прогрессу во всем дают главные города. Белград, напротив, во всяком политическом движении отстает от провинции и, можно сказать, в руках хитрого правительства служит весьма надежным тормозом. Это особенно ясно видно на *скупщинах*<sup>75</sup> по выборам депутатов и по самой деятельности. Сербская скупщина при Михаиле низведена была на степень собрания единственно рго fogma<sup>76</sup>: это было нечто вроде торжественного представления, которое открывалось и закрывалось князем, а на сцене фигурировали министры; депутаты же, как позванная из милости публика, должны были всему рукоплескать. Находились, однако, люди, которые решались дать другой смысл всей этой комедии и со своей стороны заявляли правительству желанья и потребности народа и делали предложения. Все эти желанья и требования, не входившие в министерскую программу, выходили из среды депутатов провинциальных, а отнюдь не от белградских. Это можно видеть из печатаемых протоколов последней скупщины, бывшей при Михаиле в Крагуеваце (1867 г.)<sup>77</sup>. В нынешнем году выборы на скупщину показали то же самое. Провинции при всей их бедности людьми интеллигентными в сравнении с Белградом выбрали на скупщину по крайней мере по одному или два депутата более или менее либерального направления; Белград — ни одного

и высказал свое нерасположение к либеральной партии кулаками и палками. В Белграде слишком много раболепства перед правительством и нет свободного общественного мнения; тогда как в провинциальных городах общественное мнение выражается настолько свободно, что не раз приходило в столкновение со своими местными властями. В провинции больше предприимчивости во всех отношениях. Какой-нибудь ничтожный городишко Лозница<sup>78</sup>, имеющий едва тысячу душ жителей, основывает литературно-музыкальное общество, которое устраивает «читалище»<sup>79</sup>, покупает очень хороший дом с садом, дает литературно-музыкальные вечера и театральные представления, тогда как в Белграде «народное читалище» открыто почти по вынуждению и едва существует, «певческое общество» также существует как-то официально. Затеял в нынешнем году министр просвещения воскресные школы, — первые отозвались провинции. В провинции постоянно делаются попытки открыть какой-нибудь завод или фабрику. Попытки эти, конечно, не удаются по недостатку капиталов; но в Ужице<sup>80</sup> (в южной Сербии) все-таки открылась фабрика, на которой изготовляют косматые ковры и одеяла, а потом она перейдет к сукнам, конечно, грубым, которые в настоящее время Сербия закупает в Турции. Всякая идея в провинции находит отзыв скорее, чем в Белграде. В провинции я нашел больше свободы в семейных отношениях и меньше затворничества женщины. Вообще я нахожу, что Белград — не представитель Сербии и в то же время не представитель и западной цивилизации, как напр[имер], у нас Петербург; напротив, в нем больше, чем где-нибудь, отпор западной цивилизации. К сожалению, в последнее время в Сербии система централизации сделала такой громадный успех, так опутала сербский народ сетью полицейской опеки и военной дисциплины, что те начала, которые по сию пору еще коренятся в провинциальной жизни, вряд ли в состоянии будут развиваться, вряд ли в состоянии будут отразить напор сверху. Белград, как приют торговцев, не понимающий другой цели, кроме эксплуатации, и гнездо бюрократии, назначение которой быть слепым орудием правительства при совершенном отсутствии людей других свободных профессий, сделавшись политическим центром Сербии, конечно, сильно импонирует ей, оказывает сильное влияние и, к сожалению, весьма невыгодное; он воспитывает, так сказать, Сербию в своем духе, в духе спекуляций, грубого ма-

териализма, дерзкого отпора прогрессу, неуважения к идее и науке и самого непримиримого политического консерватизма. После этого странно и грустно вспомнить, как многие образованные и благомыслящие люди Сербии дрожат за какие-то сербские начала, боясь, чтоб они не уступили западной цивилизации. Неужели все это неперемennые свойства сербского характера? А если бы и были, неужели стоят они того, чтоб их свято хранить?

... Нам остается сделать еще несколько замечаний о национальностях.

В сербской конституции все подданные княжества называются общим именем сербов и православное исповедание считается господствующим. Другие национальности и вероисповедания совершенно не признаются, хотя они вполне терпимы, и не дозволяется только религиозная пропаганда в духе другой веры. Евреи свободно отправляют свое богослужение в своей синагоге, которая помещается в частном доме; католическая община для отправления своего богослужения собирается в домово́й церкви при австрийском консульстве, а протестантская имеет отдельную церковь; для магометан, которых здесь почти нет или которые бывают здесь временно, в нынешнем году отделана одна из старых мечетей и приглашен из Боснии ходжа (священник) с муэдзином, которые получают жалование от казны. Евреи имеют два низших училища: одно для мальчиков, другое для девочек; в обоих учитель и учительница, обучающие сербскому языку и другим предметам, — сербы и пользуются казенным жалованием, а учитель еврейского языка и закона получает плату только от общины. Греки, как ни мало их здесь, имеют также свое училище, в котором преподают два учителя, но от казны им не платится ничего. Протестанты имеют училище при церкви.

Между отдельными национальностями, как по численности, так и по давности пребывания в Белграде, первое место занимают евреи. Трудно с точностью сказать, когда они сюда доселились, но, во всяком случае, в очень давнее время и были постоянными спутниками турок. Собственно на Балканском полуострове они живут с начала христианской эры, по берегам и островам Архипелага. В IX столетии приняли иудейство авары и жили в Константинополе, в его окрестностях и на островах; в следующем столетии в одном Константинополе их было до 40.000. Жили они там особо, в Пирее, отделенные

от остального города рекой и морским заливом\*. В XI и XII стол[етиях] их множество живет в Солуни, откуда они ведут значительную торговлю на целом полуострове. Можно допустить, что уже в то время их торговцы были в Белграде. В Болгарии одно время они играли и политическую роль. В 1330 г. погиб болгарский царь Михаил в битве с сербским кралем Степаном Урошем III Дечанским<sup>81</sup>. На его место вступил племянник его Иоанн-Александр, который женился на одной еврейке. Жена его, конечно, предварительно была крещена и названа при крещении Феодорой, была благочестива и вполне православная, строила церкви и монастыри, но в то же время покровительствовала своим единоплеменникам; евреи при ней взяли такую силу, что сделались бременем народу и вызвали негодование. Это было время сильного распространения богомилства и множества других сект, из которых иные имели связь с иудейством. Еретичество зашло так далеко, что вызвало серьезные меры со стороны духовной и светской власти. Созван был собор, на котором изобличали различных ересиархов, причем, конечно, нераскаявшихся казнили, и составилось решение как против еретиков, так и против иудеев. О последних в «Житии Феодосия Тырновского»<sup>82</sup> (в первой половине XIV столетия) сказано: «Царским же и патриаршеским и всего собора изволением написан бысть свиток, *яко да (иудеи) пребывают яко раби, а не яко властели*»<sup>\*\*</sup>). В то время они лишены были всех гражданских прав. Таким образом, в христианско-славянском мире они рано подверглись преследованию и лишению прав. Совершенно иначе отнеслись к ним турки. В продолжение целого XV столетия, особенно в конце его, евреи подвергались страшным гонениям в Испании и Португалии и вследствие этого стали искать нового отечества: одни поселились в Малой Азии, другие в Италии, где им дал приют в Риме расчетливый папа Александр VI Борджиа, а, наконец, когда турки овладели Константинополем, множество их стало селиться на Балканском полуострове. Султан Баязид II принял их под особое свое покровительство, желая колонизовать ими свои новые владения в Европе. Он дал им полную автономию гражданскую и религиозную, которой они пользуются до сих пор, имея даже свой особый суд. С того времени они — неразлучные спутники турок и постоянно

\* *Ubicini*. Lettres sur la Turquie, стр. 369.

\*\* Чтения Моск[овского] Общ[ества]. 1860, кн. I.

помогают им. В 1821 г., во время греческого восстания, константинопольские евреи несколько часов волочили по улицам труп патриарха Григория и, наконец, обезобразив его, надругавшись над ним досыта, бросили в море. В Солуни в то же время они охотно становились под турецкие знамена и бились против греков со страшным ожесточением. Их связи с турками отчасти основываются на сходстве некоторых религиозных обрядов, как обрезание, неупотребление мяса нечистых животных, непризнание икон; потом их связывает одинаковая ненависть против христианской веры. Вот как определяет современные отношения евреев и турок Убичини (*Lettres etc.*, стр. 381): «Евреи составляют предмет ужаса для турок, как и для христиан. Но турки их не ненавидят, не преследуют; они только держат их в отдалении, как отверженных, на которых тяготеет небесное наказание. Но если провинились отцы, то не должны за то страдать дети; поэтому османли, презирая еврея, давая ему ругательный эпитет *чифут*, синоним *низкого, скряги*, никогда его не преследует. Евреи со своей стороны терпеливо сносят ярмо, которое не имеет ничего ни тягостного, ни унижающего их, потому что оно не допускает никакого различия перед законом между ними и христианами, допускает им управляться своими собственными законами и сохраняет таким образом за ними некоторую тень национального существования, чем они не пользуются ни в одном из других государств».

К этому нужно добавить, что турок по преимуществу господин и нуждается в хорошем слуге, а еврей этой потребности вполне удовлетворяет, потому что в целом свете, кажется, нет людей более услужливых и более ловких для того, чем евреи. Еврей любит турка еще за то, что он по своей недеятельности никогда не может быть его конкурентом. Совсем иные отношения к христианам, которые меньше нуждаются в их услугах, и, что касается торговли, сами не терпят конкуренции. Грек в этом отношении главный конкурент еврея, и потому им трудно уживаться вместе. Серб также неплохой торговец: ни к чему он не чувствует такой склонности, как к торговле; в Сербии скоро, кажется, торговцев будет больше, чем земледельцев. На этом пути сербы постоянно сталкиваются с евреями, которые, кроме торговли, никакой другой профессией не заняты.

Большая часть евреев, живущих в Белграде, испанского происхождения, судя по языку, а судя по физиономиям, можно предполагать,

что в кровь их много вошло от аваров, принявших иудейство и сильно размножившихся в Константинополе. Сравнивая их с нашими или, вернее, с польскими евреями, я нахожу некоторую разницу не в одной физиономии, но и во многом другом (я разумею, конечно, одних простых евреев). Белградский еврей смотрит вообще степеннее: в нем нет тех ужимок, нет ни крайне заискивающей, ни спесивой манеры; он держится ровнее и с большим достоинством; в их говоре меньше шепелявых и гортанно-картавых звуков, потому они чище говорят на всяком иностранном языке; в их costume и манере вообще меньше особенностей, которые резко отличали бы их от остального населения. Замечательно, что в конце января, во время их праздника, продолжающегося дня три, по вечерам в их домах даются шляющимися масками театральные представления из сербской истории, напр[имер], «Смерть Мурата», «Построение Раваницы» или «Скадра», причем сюжет берется обыкновенно из народных песен. Национального или религиозного антагонизма между сербами и евреями нет; но зато сильна конкуренция торговая, и в этом отношении евреи терпят ограничения.

Милош Обренович ценил их заслуги, успел ими пользоваться и давал полную свободу торговли по всей Сербии; он был настолько тверд характером, что не уступал требованиям туземных торговцев, которые всегда добивались их ограничения. Однажды, проезжая по Пожаревацу<sup>83</sup> и видя, что вместе с сербскими заперты и еврейские лавки по случаю воскресенья, он наотрез запретил это им допускать под тем условием, чтоб и сербы запирали свои лавки во время еврейского шабата. Александр Карагеоргиевич был настолько слаб, что, если б и желал ради своих кое-каких выгод оказать им покровительство, был не в состоянии поддержать их и должен был, уступая народному требованию, издать указ, которым евреям запрещалось торговать во внутренности Сербии. При возвращении Милоша в 1858 г. евреи также возвратились было в свои прежние жилища внутри Сербии, но при Михаиле они снова ограничены. Несколько евреев живут еще в Пожареваце и Шабаче<sup>84</sup>, но право это не распространяется на их потомство. Во внутренности Сербии они могут быть только как ремесленники. Во время бомбардирования Белграда в 1862 г. они пострадали больше всех, потому что жили на Дартюле, в части, самой близкой к крепости. По удалении с Дартюла всех турок сербы заняли

его как самый важный пункт для действий против крепости, а турки также больше всего обстреливали эту часть, потому что там засели сербы. С того момента евреи не могут еще вполне оправиться, а некоторые, перейдя на австрийскую сторону, уже больше не возвращались. Большого значения в торговле Сербии евреи не имеют.

По числу за евреями следуют чехи во всех возможных профессиях. Чеха вы найдете здесь профессором, лекарем, фотографом, архитектором, артиллеристом, инженером, в войске от солдата до майора, в военном оркестре (где они составляют большинство), на пивоваренном заводе, в типографии, в различных ремеслах, садовником, поденщиком. Многие живут здесь давно, имеют состояние и оказывают некоторое покровительство своим вновь прибывающим землякам. Один из них, Байлони<sup>85</sup>, имеет гостиницу, в которой по преимуществу собираются чехи, и потому он известен здесь под именем *чешского консула*, у которого вы найдете всегда хорошее пиво, порядочное вино и простые, но очень вкусно изготовленные кушанья. В нынешнем году они основали «Чешскую беседу», в которой есть уже около 100 чехов членов. Нельзя не питать глубокого уважения к этим людям; и многие из них оказали уже весьма важные услуги сербскому народу.

Между ними известно уже нашей публике имя Янка Шафарика<sup>86</sup>, библиотекаря и хранителя Народного музея. Я не стану говорить о его ученых заслугах, которые достаточно оценены г. Ламанским<sup>87</sup> в его брошюре «Сербия в Княжестве и в Австрии» (1864 г.); замечу только, что навык разбирать старые надписи у него доведен до удивительной степени; библиотека и музей, можно сказать, если не им созданы, то в настоящее время только им и держатся; а каждый, занимавшийся в них, без сомнения, вспомнит его с особенной благодарностью за то радушие, с каким он принимает всякого, серьезно интересующегося его делом, и за ту готовность, с какой он отдает в ваше распоряжение не только то, что находится в народной библиотеке-музее, но и из библиотеки своей собственной; что касается славистики, он в ней большой знаток и в Сербии почти единственный. Жаль только, что для ученой деятельности он решительно не имеет досуга, потому что на нем лежит обязанность вести всевозможные каталоги и записки. Музей и библиотека на одном человеке! Это можете найти только в Сербии, потому можете судить, в каком неуважении здесь наука.



За ним следует упомянуть подполковника Заха<sup>88</sup>, который в 1848 г. с волонтерами бился против мадьяр, а потом, когда увидел, как поступает с ним австрийское правительство, оставил свое отечество, поступил на сербскую службу и с тех пор всю свою деятельность посвятил Сербии: им устроена военная академия в Белграде, и ему обязаны своим образованием многие лучшие офицеры Сербии. Сербское правительство по своей манере помыкает людьми, три раза отрывало его от академии и давало другие поручения — то устройство оружейной фабрики в Крагуеваце, то исследование лучшего направления дорог, которые служили бы стратегическим целям и т[ому] п[одобное]. В нынешнем году он снова назначен директором академии, и это обрадовало всю учащуюся молодежь. Г. Ган, путешествовавший по Турции и издавший описание пути от Белграда до Солуна с картой, значительной долей труда обязан Заху.

Г. Немец, о котором я упомянул в начале статьи, не только приносит Сербии огромную пользу своей собственной паровой мельницей, которая находится близ Белграда при потоке Мокри-Луг, но еще устроил мельницу на р[еке] Млаве по поручению сербского правительства, которая находится также в его распоряжении и приносит значительный доход казне.

Между лекарями лучшей репутацией пользуются Мишин, Валента и Голец — также чехи. Из них Валента очень много делает как управитель городской больницы. Кроме того, он имеет замечательное собрание картин, эстампов, гравюр, фотографий и иллюстрированных изданий, касающихся в особенности славянских земель, и интересующимся он показывает его с большой готовностью.

Наконец, несколько слов скажу о поляках, которых здесь так мало, что о них нечего было бы и говорить, если б меня не обязывала к тому необходимость изобличать ложь, пронесенную на счет их в одной из корреспонденций «Голоса»<sup>89</sup> в прошлом году, писанной *будто бы* из Белграда. Там говорится о какой-то польской агитации против России в Белграде, об их влиянии на сербскую политику и т[ому] п[одобные] несообразности, которые никак не могли бы попасть в известие, если б оно действительно писалось из Белграда. Поляков в Белграде всего человек 10, из числа которых один переводчик во французском консульстве, человек совершенно невинный, не имеющий ровно никакого политического значения, живущий

с нашим консульством в самых приятных отношениях и написавший всего-навсего одну французскую брошюрку по поводу Восточного вопроса; остальные — медики, давно живущие в Сербии и совершенно устранившиеся от политики, и официального положения ни один из них не занимает; два трубочиста, один слесарь и ламповщик, один сапожник; есть, может быть, между простыми рабочими, но им, конечно, никто не станет приписывать никакого политического значения; три поляка было проездом, профессии которых точно не знаю, но следствий их проезда не оказалось никаких, и замечены они единственно потому, что в Белграде все знают друг друга в лицо, и ни один вновь прибывший скрыться не может. Во внутренности Сербии также есть несколько поляков лекарей. Между лекарями в Белграде Клиновский пользуется репутацией лучшего врача в детских болезнях и, вообще, как человек, который никогда не откажет помочь; другой там же постоянно даром лечит студентов и гимназистов, а еще одного мне самому приводилось приглашать к бедным людям, и я всегда находил у него самое горячее участие. Во время путешествия по Сербии мне случилось тяжело захворать в одном городке, где был доктор-поляк, когда-то сосланный в солдаты на Кавказ на 12 лет. В воспоминание того, что он в то время был обласкан русскими на Кавказе, он страшно обрадовался мне как русскому, не допытываясь, кто и что я, принял к себе на квартиру и ухаживал так, как за самым близким себе человеком.

Вот вам и весь национальный состав Белграда. О цинцарах и болгарях не говорю ничего, потому что они составляют с сербами почти одно. Болгары в окрестностях Белграда занимаются огородничеством, да и по целой Сербии они, кажется, единственные огородники. Многие занимаются торговлей, один комиссионерством, один хороший живописец и при князе Михаиле был чем-то вроде дворецкого, один имеет очень порядочную фотографию и, кроме того, занимается иконописанием, один лучший портной — и все они самоучки; многие занимаются постройками; и, наконец, два воеводы — бывшие гайдуки, имена которых громки на Балкане. Цинцары, подобно болгарам, занимаются постройками и торговлей, но особенная их профессия — содержание *механ* (гостиниц), и везде по внутренности Сербии содержатель гостиницы непременно цинцар. И надо отдать им справедливость, что они это дело умеют вести лучше сербов.

Правда, нередко у них встречаются мелкие плутни, так что у сербов вошло в поговорку: «*Цинцарски посо*» (цинцарская работа), что значит «кое-как, только бы деньги взять», но что же делать, когда там вся почти торговля не чужда разного рода проделок?.. Зато между ними есть некто *кир*\* Таса, содержатель кофейни на *Малой пияце* (Малый базар) близ Савы, человек необыкновенно честный и вполне независимого характера: для него все равно, будь какой угодно важный чиновник или простой человек; у него всегда найдете хорошее пиво и утром отличный кофе с густыми сливками, чего в других местах нигде нет. Я упомянул о независимости характера, потому что эта черта в Белграде необыкновенная редкость.

Еще живут в Белграде 26 семейств цыган, которые занимаются кузнечным и слесарным ремеслом, ловлей рыбы, и они же на всех свадьбах, пирах и других торжественных случаях постоянные музыканты и певцы. В Белграде их бывает постоянно больше, но те все временные жители из внутренности Сербии или из Турции. Между ними резко различаются два типа: одни смуглые с европейскими чертами лица, другие почти черные с синеватым отливом, с толстыми губами и всеми чертами лица напоминают эфиопский тип.

Загляните вы в сербское регулярное войско, и вы там найдете, наверное, людей из Старой Сербии<sup>90</sup>, Болгарии, Македонии, Черногории и из австро-венгерских земель. В прошлом году была целая рота, состоявшая из одних болгар, но они разошлись; и теперь, однако, есть одна рота, состоящая из одних почти иностранцев. В жандармах большую часть, кажется, составляют иностранцы. Есть, наконец, целая канцелярия, состоящая почти из одних далматинцев: она состоит в ведении известного своей репутацией Бана<sup>91</sup>.

Очень мало здесь валахов, хотя их в целой Сербии довольно много (больше 100.000).

Несмотря на такое разнообразное смешение народностей и типов, все это сливается под одним общим именем сербства.

Перейдем теперь к общественной жизни в Белграде.

---

\* *Кир* отвеч[ает] серб[скому] *газда* — господин, хозяин.

## II.\*

В Белграде трудно найти центр для общественной жизни. Где искать этого центра? Клубов и обществ литературных, торговых или промышленных здесь не существует (нынешним летом только что открылся один клуб под именем «Гражданское казино»); общественных балов и других увеселений там нет; нынешней только зимой открыт театр; есть, правда, «общество певцов», но это горсть людей, которых не связывает ни идея, ни даже любовь к искусству, многие поют, совершенно не имея ни слуха, ни голоса, и существует это общество как-то бесцельно и бесследно, заявляя о своем существовании два раза в год литературно-певческими вечерами, которые больше бывают неудачны; потом есть «читалище», которое слабо посещается и едва существует; каких-нибудь вечеров, балов и других собраний семейных здесь также не имеется; такие собрания существуют только в кругу здешнего дипломатического корпуса, у начальника таможи и у двоих-троих немцев.

Довольно значительные собрания сербов вы можете видеть только в дни так называемой *славы*. Всякое семейство имеет патрона своего рода и этот день славит, т. е. празднует. Если кто не посетит родного или знакомого в день *славы* — это великая обида. А так как в Белграде все почти между собой знакомы, то посетителей на *славе* бывает великое множество. Это происходит обыкновенно так. С утра служится молебен, при котором освящается особенно для того испеченный *колач* (плоский круглый хлебец, сдобный, сладкий и с разными пряностями) и *коливо* (вроде нашей кутьи и риса); затем на столе зажигается восковая свеча аршина полтора в вышину, тут же ставят *колач* и *коливо*, и хозяева ждут посетителей. Всякий, войдя, поздравляет хозяина; гостю подают *коливо* и *колач*, он съедает того и другого понемногу; потом хозяйка или дочь (служанка почти никогда) подают *сладкое* (варенье): вы съедаете ложечку варенья и запиваете водой; тут же подается рюмочка *ракии* и *черный*

---

\* Впервые опубликовано в журнале «Вестник Европы» (1870. Т. III. Кн. 5. С. 132–188).

*кофе*, иногда вместе с ракией или отдельно — стакан вина. Выпивая ракию или вино, вы выражаете ваши пожелания дому. Кроме колива и колача остальное подается непременно трижды. Тем кончается визит, и вы уходите. Визиты эти делаются утром или после обеда, что все равно, так что они продолжаются целый день до вечера часов до семи, и перебивает, может быть, в день человек до 100, а то и до 200, если личность более или менее популярная. Людей близких хозяин приглашает если не на обед, то на ужин. Вечером то и дело обносят гостей вином и кофе, подают также разные сласти и закуски: конфеты, пряники, орехи, фрукты. Все пьют чрезвычайно понемногу, потому что нужно рассчитывать иногда на целую ночь. Для увеселения гостей являются непременно музыканты, несколько человек цыган-скрипачей, иногда тут же являются две цыганки, которые забавляют публику пляской. Воодушевившись, и сама публика принимается петь свои любимые песни, а если есть простор, то бывают и танцы. Большею частью *играют коло*, взявшись за руки и проходя из комнаты в комнату (о *коло* мы будем говорить после). За ужином обыкновенно после *печенья* (жареного) начинаются *здравицы* (тосты), сначала за хозяина, а потом за гостей, за народ, за славянство и т[ому] п[одобное]. При этих здравицах можно порядочно упиться, когда здравицы предлагаются задирающего свойства и притом людьми влиятельными в том кружке и с добавкой: «Пить до *темеля*», т. е. до дна. Впрочем, до такого одушевления дело доходит обыкновенно только в провинции, а в Белграде почти никогда.

В другие дни посещение семейных домов довольно затруднительно. Если хозяина нет дома, то хозяйка редко вас примет. Вы только входите, а уж она вам вперед отвечает: «Господина дома нет»; это значит, вы должны отправляться назад, а господина дома нет обыкновенно целый день. Господин обыкновенно, если чиновник, целый день на службе до обеда и после обеда, а норовит улучить свободную минуту, чтоб сходить в кофейню, выпить известную порцию пива или вина, и, пожалуй, прочитать какую-нибудь газетку. Некоторые, как профессора гимназии, страшно заняты всю неделю, имея около 30 часов, а праздники посвящают на приготовление лекций или просматривают какие-нибудь ученические работы: таких людей, конечно, и в праздник посещать — значит отнять

у них время; а если он не занят в праздник, то норовит и сам куда-нибудь уйти. Таким образом, если вы желаете с кем-нибудь видаться, то поневоле должны идти в кофейню. Купец, разумеется, целый день в лавке и также в кофейне. Итак, серб целый день в лавке или в канцелярии; если дома, то занят также работой в кабинете, его отдых в кофейне; семье он принадлежит только ночью. Жены у людей небогатых заняты целый день по-своему: они часто не имеют ни кухарки, ни другой прислуги, так что такой жене некогда заняться и детьми, вследствие чего она торопится сдать их в школу, и в Сербии не редкость, что школу посещает шестилетний ребенок. У людей зажиточных зато жене уже совершенно нечего делать, и она должна страдать от скуки, если не найдет каких-нибудь развлечений, потому что чтение и вообще занятие какими-нибудь свободными профессиями здесь еще очень мало распространены. Впрочем, нужно заметить, что барствовать женам удается немногим: мужья сознательно, кажется, не держат лишней прислуги, хотя бы и имели средства, чтоб жена не имела досуга, и жены людей зажиточных часто целый день проводят на кухне, заботясь, чтобы кушанье вышло непременно во вкусе супруга, а вкус этот иногда довольно причудлив и в требованиях своих деспотичен.

Не думайте, чтоб муж, целый день не бывающий дома, не был попечительным мужем. Напротив, заботливость о семействе — одна из главных его добродетелей; он заботится, чтоб семейство его ни в чем не нуждалось, и потому входит часто в мельчайшие подробности кухонного хозяйства, костюма жены и детей, любит во всем чистоту и аккуратность. От его зоркого глаза не укроется ни одна пуговка, недостающая в костюме его ребенка, ни одно новое пятно на стене. Это не только у семейного человека, но и у всякого холостяка: первая потребность — быть чисто и порядочно одетым, без роскоши и щегольства, и содержать в порядке и чистоте свой дом или квартиру; затем тотчас следует служение желудку и прочим материальным потребностям. При аккуратности и расчетливости эта цель достигается легко, и затем делается экономия, и мало-помалу копится капиталец, покупается домик и отдается под постой. И все это достигается путем экономии и расчета и отчасти капиталцем за женой, без чего никто не женится. Взятничество в этом случае редко помогает, потому что оно вообще в Сербии не распространено,

да в больших размерах и невозможно, исключая некоторые места, как окружных начальников<sup>92</sup> и капетанов<sup>93</sup>, которые до сих пор составляли нечто вроде кормлений. Конечно, министры и другие высшие чиновники, имеющие в своем распоряжении значительные казенные суммы, порядочно нагревают руки; но большинство чиновников с этой стороны почти безукоризненно, зато и жизнь их на низших степенях очень бедственная. Вот почему несчастный практикант, вроде нашего писца, получающий 4 дуката (12 руб[лей] сер[ебром]) в месяц, постоянно твердит о своем *сиромашестве* (бедности) и ждет *аванжиранья* (повышения) в протоколисты и далее, как узник свободы, и на беду не имеет права жениться, так что звание практиканта — что-то ужасное. Он постоянно ноет и стонет, но по этим стонам вы уже можете судить, что за идея гвоздем сидит в его голове, и можете быть уверены, что он добьется своего, получит повышение, а там, глядишь, женится и заживет в довольстве, по своему нраву, хотя по временам все-таки не перестает жаловаться на бедность, потому что ему мало того, что живет хорошо, ему нужен капиталец, он хочет скорее обеспечить свою будущность, чтобы ему не угрожали никакие превратности судеб, на которые в Сербии постоянно нужно рассчитывать. «*Ми смо сиромаси*» (мы бедняки) — ходячая фраза в устах каждого сербина, богатого и бедного одинаково, и указывает ясно, что главная цель всех — обогатиться, и нет сомнения, что так упорно преследуемая ими цель в непродолжительном времени будет достигнута. Это громко исповедуемое сознание своего *сиромашества* отнюдь не похоже на что-нибудь вроде нищенского клянчанья. Нищенства в Сербии нет: в Белграде есть один нищий увечный, постоянно сидящий близ бывшей Гайдук-Вельковой<sup>94</sup> кофейни, и одна цыганка, также как-то больная, близ делийской чесмы<sup>95</sup>, которые, однако, не просят, а просто сидят молча, и проходящие иногда им подают. Побираются иногда какие-нибудь странники, и то редко, потому что все они имеют своих земляков, которые и помогают им общиной. Сербь довольно скупы или, вернее сказать, расчетливы, и потому помогать даром не любят и нищих не терпят; зато трудно себе представить, чтоб и сербин из княжества протянул руку за милостыней.

Литература, наука, искусство покуда не составляют насущной потребности серба. Что касается литературы, то сербы до стра-

сти любят сами сочинять, но читать положительно не любят: в науке ищут непременно практического применения сейчас же, в данный момент, польза отдаленная их не прельщает; музыку и пляску сербы любят, но их вполне удовлетворяет народная песня и коло. Я знаю некоторых из молодежи со средствами, которые, взявши несколько уроков на скрипке, потом продолжают доходить сами и целые часы пилят свои народные мелодии, не чувствуя ни малейшей потребности изучить пьесу хорошего европейского композитора. К рисованию и лепному искусству у них очень много способности, что можно видеть на выставках белградской реальной школы, причем нельзя не пожалеть, что школа эта бедна как по личному составу, так и прочими средствами.

Серб — практик в самом тесном смысле этого слова. Это можно видеть по лицейской молодежи. Все они изучают право, хотя по юридическим наукам не имеют профессоров, которые могли бы привлечь своим чтением. Скажите любому из них: «Почему вы не изучаете естественных наук, для которых вы имеете такого отличного профессора (Панчича) и в знании которых в настоящее время чувствуется всеми насущная потребность, тем более что из вашей Великой школы вы не можете выйти даже порядочным юристом и по самой программе школы видно, что назначение ее дать общее образование, а не готовить специалистов, для чего вас после отправляют в заграничные университеты?» Всякий, наверное, начнет свой ответ словами: «Мы, сербы, — практики» и т. д. Высшая цель их быть адвокатом и получать таким образом не меньше 1.000 дукатов в год, или высоким чиновником. Даже профессура не привлекает (впрочем, в ней нет ничего привлекательного), и даже сами профессора постоянно смотрят, как бы выйти на какое-нибудь другое место. Я был свидетелем, как в комиссии для устройства школ педагогические вопросы решались фразой: «Мы, сербы, — практики». Считая реализм тождественным с грубым материализмом и узкой практичностью, сербы уверены, что в своем узком направлении они идут за духом века. Много заблуждений существует у них именно вследствие узкого понимания вещей, чему, конечно, помогает узкий принцип практичности, положенный в основание их школ и всего образования.

Сербу совершенно чужд идеализм, в смысле преданности какой-нибудь идее; но поидеальничать дешевым образом,



посантиментальничать он не прочь. Он любит часто поговорить о красотах природы, восхищаться звездным небом и углубляться в непостижимые тайны мирового пространства, отдаваясь притом самым мистическим толкованиям, любоваться нежным цветком, воспевать голубиные чувства, которые дает семейная жизнь, любоваться идеальной красотой женского портрета на фотографии и т. д. Но в то же время я положительно знаю, что он всем мировым задачам всегда предпочтет хорошее жалование, все красоты природы готов отдать за жирные *сармы*<sup>96</sup> в виноградном или капустном листе (рубленное мясо) или за хороший кусок молодого барашка, испеченного на *рожне*<sup>97</sup> (вертеле), прошпигованного чесноком и посыпанного паприкой, и вовсе не идеальность прельщает его в красоте женщины.

Такое сантиментальничанье, невинное смешение действительности с фикцией, противоречие слова с убеждением, конечно, дело неважное; но оно вносит ложь во всю жизнь общества: вы встретитесь с ним в явлениях жизни общественной и политической, где оно принимает вид гнусного ханжества и может иметь весьма серьезные следствия. Во время прошедшей катастрофы 29-го мая<sup>98</sup> сантиментальные люди, движимые пиететом к погибшему князю, громко на улицах и на сборищах требовали казни, ни много ни мало, как всех, кто стоял в оппозиции к прежнему правительству: это значило вырезать не одну сотню лучших людей Сербии! И не подумайте, чтоб это был слепой фанатизм; нет, тут был расчет выставить свою приверженность к династии Обреновичей, когда видно было, что она взяла верх, или чтоб отклонить от себя подозрение в участии в заговоре, или, наконец, чтобы погубить того, кто стоял ему поперек дороги. Да, я был свидетелем, как смертный приговор над преступниками произносили сами преступники; я видел, как один из приближенных покойного князя, человек в чинах и почете, плевал в лицо людям, обреченным на казнь, в то время как их вели к столбу для расстреливания; недавно целая Европа могла читать проклятия, занесенные в устав новейшей сербской конституции<sup>99</sup>. Люди, стоящие во главе Сербии, конечно, понимают всю несообразность и гнусность подобных вещей; но они, собравши кучу простаков, называемую народной скупщиной, рисуются тем перед ними, делают поблажку тем именно дурным инстинктам, которые есть во всяком народе и проистекают от его простоты и необразованности.

Все это, конечно, остатки туретчины и варварства, сверху только покрытые лоскутами европейской цивилизации, и должны пасть с распространением истинного образования. Но где оно, это истинное образование?

Если измерять образованность народа количеством школ и одной грамотностью, то Сербия в короткое время сделала громадный успех. В ней и теперь уже между молодежью редко найдется безграмотный. На 1.200.000 жителей она имеет около 400 низших школ, в которых учатся около 20.000 обою пола детей; две полных классических гимназии и четыре полугимназии, одну среднюю реальную школу и три низших, военную академию и лицей; для духовенства — семинарию. Для довершения образования кончившие курс в лицее отправляются на казенный счет в заграничные университеты каждый год до 40 человек, а из академии — в высшие военные заведения за границей, из семинарии поступают в русские духовные академии. Кроме того, есть несколько стипендий от сербского и русского правительств в различных средних и высших учебных заведениях России. Многие молодые люди отправляются за границу для усовершенствования в каких-нибудь специальных знаниях или для общего образования на свой счет, так что встретить в какой-нибудь канцелярии на низшей должности человека с заграничным образованием в Сербии не редкость. Но отчего эта образованность так мало сказывается в науке, литературе и общественной жизни?

Всякий серб на это ответит: «Чего вы хотите от нас? Мы недавние; слава Богу, что и то имеем!» Этот ответ я слышал от сербов сотни раз и на сотни вопросов, и в основании его лежит одна черта сербского характера — самодовольство. Нельзя действительно не признать, что Сербия сделала по времени значительные успехи во всем; но, зная, какими она располагала средствами, сколько тратится на все, как много и как охотно на это жертвовал сербский народ, нельзя не потребовать больше того, что сделано, и не обратиться за отчетом к тому, кто этими средствами распоряжается. Не требуя многого, можно, кажется, требовать, чтоб в том, что делается, был толк и польза, а мы вот этого-то последнего не находим.

Рассматривая сербскую литературу с половины прошлого столетия до настоящего времени, нельзя не заметить ее застоя в последнее

десятилетие. Число сочинений возрастает, но в каком направлении? Значительно увеличилось число сочинений на случаи, лирические сочинения, по богословию, повесть и роман, и календари, а наука совершенно остановилась: естественные и математические науки неподвижны, по историческим наукам и по филологии стало меньше, учебников стало издаваться также меньше, прибавилось только сочинений по политической экономии и несколько педагогических трактатов; я не говорю об эпической поэзии, о драме, для полного развития которых, может быть, еще и не пришло время. Много явилось сочинений юридических и военных, которые, впрочем, если не переводы, то простые толкования или руководства для практического употребления\*. В политической и общественной жизни Сербия [18]68-го года отстала от Сербии [18]58-го года<sup>100</sup>. В торговле также не видно прогресса: как была мелочной, так и осталась. Промышленность не развилась ни на волос. Остается только войско и чиновничество (считая в том числе адвокатов), с умножением которых увеличились расходы и число тяжб. Мы решительно утверждаем, что с теми средствами, какими постоянно располагало сербское правительство, и при той степени зрелости, на какой давно уже находится масса сербского народа, Сербия должна бы сделать несравненно большие успехи, и если не сделала, в том виновато правительство и сербская так называемая интеллигенция, которым народ вверил свою судьбу безотчетно.

Народ сербский желает прежде всего просвещения и жертвует на эту цель охотно, сколько может; а как распоряжается этим правительство? Оно из общего бюджета почти ничего не тратит на учебные заведения, а пользуется для этого народным фондом, который несколько лет собирался по 1 рублю с порезской души<sup>101</sup> и назначен был для одних народных школ, что дало бы возможность прибавить жалованья сельским учителям по крайней мере в полтора раза и во всех отношениях значительно улучшить школы. А теперь эти школы содержатся весьма бедно, и ни один порядочный учитель не идет в них. Положение высших и средних заведений также не улучшилось. Профессора гимназий завалены работой, занимают-

---

\* См. статистические заметки о сербской литературе, составленные по вышедшей в прошлом году «Сербской библиографии» Новаковича, в «С[анкт]-П[етер]б[ургских] Ведом[остях]» 1869 года.

ся непомерно большое число часов (до 30 и больше в неделю) и получают за то несоразмерно малое жалованье (в Белграде не больше 600 талеров). В одной провинциальной гимназии я знаю профессора, который преподаёт сербский и французский языки и историю, получая за то 300 талеров; тогда как *капетан* (то же, что наш становой) получает от 400 до 600 (чуть ли не больше) тал[еров] с отличной квартирой и отоплением; и профессоров не больше 30, а капетанов до 60, и при том у каждого помощник, получающий жалованья только на  $1/3$  меньше.

Вообще просвещение, медицина и почта получают самое малое содержание, и на их счет процветают полиция и войско.

Не входя в разбор школьной системы, методов и средств преподавания и личного состава школ, мы укажем только на программу предметов в лицее, из которой можно убедиться, что даваемое там образование решительно не приготавливает ни к чему. В нем три отделения: философское, юридическое и техническое. На философском, заметим, что всю философию, как классическую, так и новую, преподаёт один профессор, для истории также один; на юридическом, кроме специально юридических предметов, на одном курсе читается зоология, ботаника и неорганическая химия; на другом — минералогия и органическая химия; история в юридическом отделении не читается, кроме того, во всех отделениях читается логика и психология. Подобного странного смешения предметов, кажется, нельзя найти ни в одной из европейских школ. Здесь не получает человек ни общего образования, ни специальных научных знаний; а главное, он получает еще ложное понятие о науке, выносит не любовь, а, скорее, отвращение к ней и занимается ею единственно для того, чтоб потом получить какое-нибудь место с жалованьем. Это имеет еще то дурное следствие, что, и отправляясь за границу, молодые люди являются туда совершенно неприготовленными, или занимаются без охоты. Да и трудно иметь охоту, когда он знает, что, как бы он ни занимался, больше практиканта ему не дадут, и продержат на этом месте год-два, и всячески будут помыкать, если он не сумеет заискать в начальстве. Чтоб лучше познакомиться с современным положением Сербии, интересно бы были более подробные сведения о школах, и вообще следовало бы рассмотреть целый бюджет Сербии, но мы не можем останавливаться на этих подробностях, так как цель нашей

статьи — не представить подробности, а захватить сколько возможно больше общих предметов и сторон жизни современной и отчасти прошлой, чтоб в приводимых отдельных фактах и явлениях отразился хоть сколько-нибудь цельный тип с его национальными, местными и историческими особенностями, и потому ограничиваемся этими немногими замечаниями о состоянии сербского образования, имея в виду возвратиться к этому при другом случае.

До сих пор я не сказал почти ни слова о сербской женщине, а по той роли, которая ей в настоящее время приписывается в общественной жизни человечества, мы не должны бы обойти ее совершенным молчанием. Но писать о женщине мужчинам вообще не совсем легко, а писать иностранцу, да еще о женщине сербской, еще труднее.

Я уже заметил, что сербская семья собственно состоит только из мужа и жены и из одних кровно родных, семейного же круга почти нет: у мужа свои знакомые [мужчины. — *А. Ш.*], у жены свои знакомые [женщины. — *А. Ш.*], и между ними сношений весьма мало. Таким образом, несмотря на то, что у сербов нет затворничества женщин в настоящем смысле, женский круг для постороннего человека малодоступен. Разделение знакомств мужа и жены отчасти происходит оттого, что между самими супругами большая разница в образовании, следовательно, совершенно различны должны быть их вкусы и в выборе знакомых. Действительно, вы часто встретите мужа с заграничным образованием, а жена его получила едва первоначальное образование; он занят наукой и политикой, она же не знает ничего кроме своей кухни, шитья, вязанья и других ручных работ. До недавнего времени для женского образования существовали только низшие школы да несколько частных пансионов, в которых у какой-нибудь сербки из прека собиралось девочек 10 и обучались они почти тому же, чему и в низших народных школах. Все преподавание в них до сих пор ограничивается первыми началами грамотности, выучиваньем наизусть нескольких плохих учебников, и отчасти лепетаньем самых обычных фраз на немецком или французском языке, и, наконец, рукоделием. О методе здесь и говорить нечего, а вспомогательными средствами служат обычные наказания — за уши, за волосы, на колени, и вдобавок сажание на несколько часов в подвал, где ребенок может натерпеться разных страхов и еще схватить ревматизм. Такое варварство

существует поныне. С недавнего времени существует здесь высшая женская школа, отвечающая нашему институту, и директрисой в ней от самого основания воспитанница одесского института. Из этого заведения сербы теперь могут получать своих образованных жен; а прежде этот недостаток пополняли единственно сербками из прека, а иногда даже немками: и то, и другое сербам очень не по нутру, потому что они любят непременно все свое. Есть несколько человек, женатых на русских, которыми, к чести их должно сказать, мужья очень довольны, а это уже много! Итак, огромная разница в образовании кладет первую разницу между мужем и женой, а затем эта разница становится еще больше вследствие совершенно различного образа жизни, о которой мы уже говорили: его никогда почти нет дома, а ей из дома почти никогда нельзя выйти. При всей этой разнице в жизни их вы не найдете ни малейшего разлада. С одной стороны, муж имеет весьма ограниченные требования от жены; а с другой, нужно отдать справедливость сербской женщине, что она умеет подойти как раз под уровень нравственных понятий мужа, которыми обуславливаются все их семейные отношения, напр[имер], к детям, к знакомым и к различного рода житейским потребностям. Мало того, попав за порядочного мужа, она старается вознаградить недостаток образования чтением. Я знаю несколько сербских женщин, которые при недостаточности образования умеют держаться в разговоре с таким тактом, что недостаток ее становится почти неприметным, и, сравнивая с какой-нибудь институткой, вы поставите ее выше. Вообще я не встречал здесь, чтобы у хорошего мужа была плохая жена. Детей содержат в своем роде хорошо, по крайней мере, чисто, и не преследуют дисциплиной. Они отлично готовят кушанья, особенно хороши у них различные пирожные из теста — паты, штрудли, крофли, ливанцы, миндальные и т[ому] п[одобное], и хороши всевозможные варенья. Говорят, что они слишком любят наряжаться, я этого не заметил. Их костюм почти униформа: на голове красный суконный фес с кистью, но он обматывается кругом косой, перевитой с какой-нибудь лентой, и концы кисти прихватываются так, что сверху вы видите только красную маковку, к одной стороне которой широкая сторона кисти, а кругом в два или три ряда косы, которые вместе с фесом составляют как бы одно. Спереди волосы с прямым пробором, туго

натянутые и плотно приглаженные. За недостатком своих хороших волос косы употребляются накладные. У иных весь этот головной убор как-то нахлобучен и довольно некрасив; другие же умеют покрыть им только незначительную часть головы, поставить немного на сторону, спереди выпустить больше волос, не натягивая их как на смычке, а пустив свободно, сделав по бокам височки, — и тогда это бывает очень красиво. У богатых верхушка унижается бисером или золотыми монетами, а сзади мотается на шнурке золотая пластинка, ромбовидная, с изображением какого-нибудь святого и называется *тёшайлия* (что значит, не знаю). Остальной костюм составляет юбка, потом корсет, иногда атласный и шитый серебром или золотом, из-под него виднеется кисейная рубашка и на шее носится платок, который на груди перекрещивается так, что формы резко обозначаются; вместе с тем на шее различные ожерелья, часто тоже из монет; сверх всего короткая до пояса кофточка (шкуртелька) с широкими рукавами из атласа или бархата, опушенная дорогим мехом и иногда тоже расшита золотым или серебряным шнурком. Сверх всего теплый костюм, род кафтанчика ниже колен (антерия). Все это, правда, дорого, но носится долго. Многие румянятся и белятся, что сильно портит лицо, особенно зубы, которые постоянно у них болят и чернеют. Волосы красят хиной так, что у всех почти они имеют рыжеватый оттенок. Красят волосы и детям (девочкам) и тем их страшно мучат. Я долго был в недоумении, откуда в одной улице все почти дети рыженькие, тогда как взрослых рыжих почти нет; оказалось, что все это крашенные.

Сербская женщина все еще живет под деспотией мужчины, но в Белграде она значительно эмансипировалась, и разнузданная жизнь мужа не обходится ему даром: жена может развестись. По этому поводу митрополит белградский имеет множество дел, причем в Белграде и вообще в городах часто требуют развода жены, а в селах — мужа. Поводом служит большей частью супружеская неверность, а истинные причины, конечно, коренятся глубже, в ненормальных отношениях супругов и в способе женитьбы, не зная почти друг друга.

Действительно, женитьба здесь совершается даже между образованными людьми очень странно. Мужчина совершенно не знает девушку, кроме того, что видел ее в лицо несколько раз, и она ему

понравилась лицом; он даже не разговаривал с ней ни разу, а только расспросил людей, справился о приданом и делает предложение. Обручившись, он бывает уже каждый день; но после обручения разойтись неловко. Впрочем, отказ может быть только со стороны мужчины, а со стороны девушки никогда: у нее единственная цель — выйти поскорее замуж, об ее женихе говорят хорошо, другого мужчины она не знает, следовательно, выбора с ее стороны никакого быть не может. Немудрено, что, женившись, потом каются. Девушки обыкновенно не заперты, но видеть девушку довольно трудно, а поговорить с ней и вовсе нет случая. Если вы пришли в дом в гости, она подает вам сладкое, ракию и кофе; подаст и станет перед вами немного поодаль; опустивши глаза в землю, и ждет только, чтоб исполнить троекратный обряд угощения, затем скроется в другую комнату: она выходит всегда точно напоказ. Молодые люди обоих полов не только не оставляются ни на минуту наедине, но девушка ни на шаг не смеет отойти от матери, отца или какой-нибудь близкой пожилой родственницы. При недостатке общественных собраний и увеселений сербская девушка действительно растет как затворница. Ее не пускают даже в церковь. На вопрос мой одной молодой женщине, почему это так, она мне ответила: «Что делать девушке в церкви? Она не станет молиться, а будет только на молодых мужчин смотреть». «А замужняя?», — спросил я. «Замужняя не станет смотреть на чужих, потому что имеет своего».

Опыт показывает, что часто бывает совершенно не так; но этот принцип вкоренен глубоко, и девушка растет так, что не видит ни солнца, ни месяца, «*нити знаде на чем жито расте*»<sup>102</sup>, по выражению народной песни.

Мужчины, впрочем, даже получившие заграничное образование (кроме воспитывавшихся в России), не чувствуют ни малейшей потребности в женском обществе, взгляд их на женщину слишком материальный и односторонний, и покуда не изменятся их понятия, не изменится и положение женщины; от полузатворничества ей будет постоянно только два исхода: быть работницей в тесных границах своего собственного дома или, подобно мужчине, отдаваться самой разнузданной жизни.

В Белграде много красивых женщин, в особенности девушек. Вот вам тип: правильный профиль, тонкие все черты лица, большие глаза



черные или темно-голубые, спокойно глядящие через бархатные ресницы из-под тонких смежных черных бровей; лицо белое как мрамор, и редко увидите на нем игру румянца; как мрамор, оно холодно и неподвижно. Когда молодая женщина, сидя дома, окутает голову легким платком так, что он прикрывает и часть подбородка, она напоминает те классические головки в таких же покрывалах, с которых у нас в школах учатся рисовать. Вечно потупленный взгляд и какая-то неподвижность в лице молодой сербской женщины как будто скрывают тайну ее мыслей и желаний и отнимают у него жизнь и выражение. Вся она тонкая и стройная, но грудь впалая, в движении неловкость и вялость. Такая красота проходит очень рано: вскоре после замужества такая женщина теряет всю свежесть лица и прибегает к вспомогательным средствам. Многие из них в молодых годах умирают чахоткой; поэтому у сербов очень много людей, которые женятся два или три раза, а между духовенством в Белграде из 12 лиц четверо вдовцов, людей еще молодых. Не следствие ли это ненормальной, слишком замкнутой жизни? Им, вероятно, обязано целое поколение сербов стройных, с хорошо развитыми, крепкими мышцами, но с слабой грудью и так же, как их матери, часто умирающих от чахотки. Есть, впрочем, и другой тип женщин, более крепких, мясистых, которые в годах становятся довольно широкими, но все-таки не столь дебелыми, как некоторые наши женщины, живущие в изобилии и довольстве. Толстых и жирных людей, как у нас, в Сербии вовсе нет.

Вот вам сжатая характеристика различных элементов, из которых состоит белградское общество. Мы коснулись несколько и их образа жизни, и обыденных привычек; сделаем теперь легкий очерк изменений этой жизни по временам года или по различным его разделением церковным уставом и гражданским обычаем, по праздникам и годовщинам.

Я приехал в Великий пост, который здесь, однако, не отличается от обыкновенного времени ни особенным протяжным звоном в церквях, ни прекращением увеселений (первый год не было этих увеселений<sup>103</sup> совершенно по другим причинам, а на второй год продолжался весь пост театр), и пища в большей части гостиниц, да и в частных домах, продолжалась скоромная. Каждый день можно было видеть, как почтенный сербский гражданин, надев на палец лопатку барашка, торопливо шел с базара домой, чтобы дать жене пораньше приготовить

к обеду его любимое *печенье*; иные для разнообразия постятся только в среду и пятницу. Первый народный праздник, который мне привелось видеть в Белграде, был *Цветы*<sup>104</sup> (так называют здесь Вербное воскресенье). Праздник этот тем особенно важен для сербов, что на него совершилось второе восстание для освобождения от турок под предводительством Милоша Обреновича (в 1815 г.), и от него ведет свое возрождение княжество Сербия<sup>105</sup>. Наконец, за вечерней было освящение вербы, но при этом присутствуют почти одни дети. Получив по вербочке в соборной церкви из рук митрополита, дети двинулись через весь город по Абаджийской улице к церкви Вознесения, оттуда поднялись на Теразии и пошли назад. Впереди несли свечи, рипиды и другие какие-то церковные принадлежности, за ними шли певчие в особенных костюмах, а остальные все с вербочками, и все одни дети до нескольких сот; все это идет и поет со всем усердием, а у многих в руках колокольчики, которыми они то и дело позванивают. Воротившись в собор, все оставили там свои вербочки до заутрени. На другой день праздник был на весь город: все лавки и гостиницы заперты, везде вывешены трехцветные флаги, все консульства также распустили огромные флаги на высочайших шестах, а в чаршии узенькие улицы до того были увешаны ими, что приходилось идти почти под ними. До обедни все войско, регулярное и народное, собралось перед конаком на улице, князь вышел на крыльцо в своем дворе и войско перед ним дефилировало. Затем все отправились в церковь. Вечером была иллюминация, состоявшая в том, что в каждом доме на окнах выставлены были свечи, а в одном месте на Теразиях на столбе в железном сосуде горела смола и, кипя, огненным потоком лилась через края. Это зрелище в особенности привлекало публику. Около 8 часов из крепости вышел военный оркестр и играл все время, направляясь к княжескому конаку. Впереди шла толпа ребятишек под предводительством жандарма и то и дело кричала «ура». Перед конаком музыка играла до 9 часов, а мальчишки три раза прокричали «ура», и потом все разошлись. В то самое время несколько музыкантов из граждан ходили по всему городу, играя страшную разладицу и тем забавляя публику, которая важно прогуливалась. Публика, надо заметить, никогда не принимает участия в этих криках «ура» и в других выражениях подобного восторга; она считает это ниже своего достоинства и предоставляет такие

демонстрации детям, что последние очень усердно выполняют как гражданскую обязанность. Один простой мальчишка ходил отдельно по всему городу и громким речитативом пел все одну песню, как кажется, свою импровизацию.

Пришла наконец Страстная неделя. Я все не замечал поста, потому что меня в гостинице продолжали кормить скоромным. Однажды утром я схожу вниз в кофейню, чтоб получить свой белый кофе<sup>106</sup>, сажусь на обычное место и в приятном ожидании читаю газету. Но кельнер решительно обо мне не заботится; а между тем сам преспокойно наслаждается у шкапчика, пропуская рюмочку *лютой раккии*<sup>107</sup>. Я решил напомнить о себе. «Э! Так господин ждет белого кофе?», — спросил он, как бы удивленный. «Нынче Великая пятница, нынче белого кофе нельзя получать; а если хотите черного?» — «Ну, хоть черного». — «Это можно». Подавши мне черный кофе, сам снова приложился к шкапчику; видимо повеселев, он подошел ко мне и, утирая губы, начал поучительно говорить, какой страшный грех не почитать Великую пятницу. «Завтра суббота — ну, тогда можно опять», — заключил он свое поучение. Это был истинный славянин и вполне был бы добрым русским.

С четверга Страстной недели до вечера субботы непрерывный базар, но уже продается не фасоль, лук, чеснок и корни, а целая батальджамийская площадь покрылась гурточками овец и ягнят: другой живности, птиц и свиней, на этом базаре вовсе нет; птицы — на обыкновенных базарах, а свиньи больше осенью. Вы всюду встречаете такую сцену: взваливши целую овцу на плечи и держа ее за ноги, свесивши наперед, тащит ее простой серб за своим покупателем-горожанином, или сам хозяин несет ягненка; кругом слышится бляенье ягнят и овец, разговор покупателей с продавцами, которые, впрочем, держатся важно: одни выбирают пожирнее, другие норовят продать подороже.

Пасха в праздновании не представляет ничего особенного: крашенные яйца есть, но недостает нашего христосования. На пасхальной же неделе случился и Юрьев день (23 апр[еля]), играющий важную роль в жизни сербов. Юрьевым и Дмитровым днями определяются сроки наймов: кухарок, горничных, кучеров и других рабочих людей; сроки найма квартир; с Юрьева дня начинается настоящая весна, лес оденется листом, земля покроется травой; с этого дня там, где есть общее

стадо, все сгоняют коз и овец, доят их в один раз всякий своих, а потом уже в продолжении года доят, не разбирая, кто чьих, а соображаясь только с припадающим ему количеством. «Юрьев данак — гайдуцкий состанак (сбор)», — гласит сербская поговорка: в этот день каждый гайдук приходил к условленному дереву, делал засечку, и после по этим засечкам каждый соображал, сколько их осталось в живых, сколько убыло и сколько прибыло, и насколько, следовательно, можно развернуть свою юнацкую деятельность. Много разных обрядов и поверий соединено с этим днем. Между прочим, добрый скотовод раньше этого дня не заколет ни одного ягненка; первый заколотый ягненок посвящается Юрьеву дню. Причина тому естественная, потому что ягнята до этого времени малы и не успевают еще напасть; но для прочности к этому присоединяется нечто вроде завета, соединенного с религиозным преданием. Народная религия и народная поэзия так тесно связаны между собой, в такой степени влияют одна на другую, что решительно невозможно полное понимание одной без другой. В этом отношении в белградской библиотеке и в библиотеке «Ученого общества» есть несколько рукописей, интересных для изучения этого взаимодействия литературы, связанной с христианской религией, и народной поэзии, живущей в устах народа и в его преданиях, ведущих свое начало от язычества. В одной рукописи, между прочим, среди других весьма любопытных статей (там же сказание о «Стефаниде и Ихнилате» — известный животный эпос), есть «Слово и чудо великомученика Георгия, когда оживи животная Теописту», из которого видно, откуда в народе вошло верование в Георгия, как патрона скотоводства. Вот этот рассказ вкратце.

Некто Теопист потерял волов и, перебрав напрасно сначала всех святых, призвал, наконец, Георгия, обещая для него зарезать вола, и тотчас нашел. Жене стало жаль вола, и она зарезала только курицу. Георгий три раза являлся во сне Теописту все грознее и грознее, и, наконец, довел его до того, что он порезал всех волов и позвал гостей. Явился и Георгий и под страхом смерти запретил гостям ломать и перегрызать кости. Когда угощение кончилось, то по слову Георгия съеденные животные встали и пошли, и с тех пор у Теописта стала всякая скотина непомерно умножаться. Тон и манера рассказа вполне народные, так что не знаешь, сложилось ли устное предание под влиянием книжного, или наоборот.

У сербов и вообще у югославян Бог и святые являются необыкновенно грозными и веру своих адептов подвергают страшным искушениям. То требуется живую мать от живого ребенка замуровать в стену, то сам Саваоф, путешествуя по свету для испытания веры своих людей, является к одному бедному человеку и заставляет его испечь собственного ребенка.

Тот Юрьев день, который я провел в Белграде, был довольно холоден и ненастен, и потому собрание народа было малое, была музыка, было и коло, но видеть было нечего. Зато через день *Марков день* был вполне удачен.

Этот день не имеет у сербов никакого особенного значения, но в Белграде на него слава в палилулской церкви, на кладбище, и потому собирается народу множество и довольно из отдаленных мест. Пропущу религиозную церемонию, которая в городе не имеет той интересной обстановки, какой она отличается в селах, и перейду к тому, что делается после нее и после обеда.

Праздник этот происходит на обширной площади между Баталджамией и кладбищем. На ней выставлено несколько лавок или палаток, загороженных из жердей, обставленных досками; они сверху покрыты свежими ветками с листьями; а иные и кругом обставлены такими же ветками вместо досок. В них продается вино и ракия, пряники, конфеты, жареное мясо, плоды, простые детские игрушки; кроме того, разносчики продают шербеты различных цветов — от ярко-зеленого до ярко-красного; тут же один разносит *бозу* — белый кисловатый напиток из проса вроде браги. Как ни велика площадь, но она полна народу. Женские костюмы самые разнообразные. Главное разнообразие в головном уборе. У замужних женщин Белградского окружья на головах нечто вроде тарелок, поставленных ребром кверху на манер кокошника, которые сверху покрываются платком красным или желтым с концами, пущенными назад; у других шапка вроде кивера, суживающаяся кверху и также покрытая платком; наконец, у иных подобная шапка довольно высокая и вся унизанная бусами, монетами, блестками, украшениями из фольги и др[угим]: это — молодлица, и носит она такую шапку год, имея право все это время не работать наряду с другими. У девушек голова не покрыта, на левой стороне довольно низко пробор, волосы заплетены в одну косу, зачесаны на правую сторону, где и положены чупом

(так в тексте. — *А. Ш.*) на виске, и в них непременно цветы естественные или искусственные. Остальной костюм составляют: юбка шерстяная с продольными полосами ярких цветов, корсет и белая рубашка, на шее и на груди монисты и монеты. У некоторых девушек волосы пущены по спине, разделенные на мелкие пасмы, и на конце связаны лентами. Других сельских костюмов не касаюсь, потому что на мужчинах на всех такой, как мы описали на рабаджии, а описание всех женских костюмов заняло бы много места. Но следует упомянуть главные части мужского костюма горожан. Во-первых, фес ярко-красный или чаще малиновый с черной или редко синей шелковой кистью; гуня из синего сукна, обшита шерстяным шнурком и выложена по краям узорами. Под этим рода жилета — елек, запахивающийся довольно далеко, расшитый серебряным шнурком, со множеством пуговок металлических и с петельками из серебряного же шнурка; поясом служит широкая шаль, большей частью белая с темными небольшими цветами; штаны особенной формы: начиная от пояса необыкновенно широкие, со множеством крупных складок, идущие до колен и сзади мотаются как короткая юбка; у колена стягиваются, и вся голень обтянута тозлуком, который вдоль голени застегивают крючками; к низу над штiblетами делают шире, и нога становится точно у мохноногого голубя; но зато стройность ноги от колена до стопы выказывается вполне, ноги вообще у сербов небольшие, и обувью они любят щеголять.

Все это прогуливается, беседует, но яствию и питию предается весьма мало. Главное дело — коло. В нескольких местах вы слышите однообразный звук сербской *свиралы* (простая деревянная дудка), и вокруг играющего кругом скачет коло. Остановимся перед одним из них. Вперед выступает *гайдаш*: в полинялом фесе, с таким же полинялым морщинистым лицом, со светло-голубыми безжизненными глазами, белобрыйсый; в кафтане белого сукна немного ниже колен, по швам отороченном чем-то черным; на ногах нечто вроде онучей и башмаки. Не знаю, это серб или болгарин из Македонии. У него инструмент *гайда*, по которому и он сам называется гайдаш: это сшитый из бараньей кожи пузырь, в который вставлены три дудки — одна, через которую он надувает его, другая, очень длинная, перекидывается через плечо и издает все время один ревуший звук, третья — в самом низу с ладами, которые он и перебирает пальцами;

пузырь он держит под мышкой, слегка прижимает, что и заставляет дудку издавать звуки.

Едва гайдаш начал наигрывать, как несколько парней — три или четыре — схватили друг друга за пояса и стали перед ним скакать, топчась на одном месте и выделявая ногами какое-то па. К ним живо пристают парни и девки, горожане и поселяне, прицепляясь друг к другу за пояса: один конец, находящийся на краю *коловодья*, идет вперед в правую сторону, окружая музыканта, а к другому постоянно пристают новые лица, и таким образом составляется круг человек во сто. Движение этого кола совершается с некоторой важностью: мужчины с гордой осанкой, а женщины, потупив глаза в землю, пресерьезно выделяют ногами па, припрыгнут на одном месте и двинутся вперед, потом опять будто остановятся и даже будто несколько подадутся назад, и снова в несколько прыжков двинутся вперед. Таким прерывисто-поступательным движением коло завивается в несколько рядов, движения постоянно делаются живее, лица у всех одушевляются; мужчины начинают делать скачки все крупней и крупней, по временам вскрикивают, девушки подымают свои скромные взгляды и не смотрят больше на свои некрасивые ноги, обутые в опанки, точно в лапти; при всяком сильном, порывистом движении вперед кисти на фесах горожан откидываются на одну сторону, раздается звонкий топот ног, обутых в штиблеты, и крепкое шлепанье ног в опанках; косы девушек, распущенные сзади, треплются, их головные и шейные уборы мерно звякают. Наконец, коловодье заворачивает назад и идет в противоположную сторону, так как левый конец все еще продолжает идти по первому направлению: здесь коло сплетается в два ряда так, что одни идут вперед, другие назад спинами друг другу, смотря друг на друга через плечо, и одни с другими почти касаются лицами. Это продолжается, покуда весь круг не развернется. Музыкант также не относится к этому пассивно: его игра становится громче, такт становится живее, в его ноте слышится больше страсти; под конец, надув сколько возможно больше свой пузырь, он, закрыв глаза, откидывает голову назад, действует только руками, перебирая пальцами лады дудки и локтем слегка надавливая пузырь; одна нога выступила вперед, мерно бьет такт, и как будто по его волшебному движению целый круг быстро носится перед ним, высоко подпрыгивая кверху: от него веет ветер, из-под

него взбивается пыль, и слышится только звяканье, топот и страстное вскрикивание парней, сильно опьяневших в этой дико упоительной пляске. Снять эту живую, полную страсти и сильных движений картину, почти нет возможности.

Коло бывает нескольких родов и называется различно: *мачванка*, *паратинка*, *влашка* и др[угие]. Разнятся они тактом; самая живая — мачванка, которая похожа на наш трепак. Становясь в коло, берутся или за пояса, или за руки, или кладут друг другу руки на плечи, как бы обнявшись. В Ягодинском окружье и других окружающих юго-восточной Сербии оно называется *оро* (т. е. хоро, но серб «х» никогда не выговаривает); это уже приближается к болгарскому. Говорили мне, что есть у них также нечто вроде нашего хоровода, в котором совершается некоторое лицедейство, но я этого не видал.

Вообще коло существует у сербов очень давно. В «Архиве» Кукулевича есть снимки с рисунков на могильных камнях в Боснии. Там, между прочим, на двух камнях изображены люди, взявшиеся за руки, и, по-видимому, пляшущие. На одном мужчины и женщины разделены на две партии, а на другом все вместе, и притом так, что каждый мужчина держит за руку женщину. Взглянувши на эти плохие рисунки, нельзя не удивляться тому, как верно схвачена манера в держании рук, в положении корпуса и ног, точно таком, какое теперь принимается при пляске кола. Резавший эти фигуры был плохой художник, но видно, что коло ему было слишком хорошо знакомо и что он не раз водил его сам. Камни эти во всяком случае положены до прихода турок и, по всей вероятности, во время господства в Боснии ереси богумильской, на что указывает отсутствие на них христианских атрибутов; следовательно, они могут относиться к XII или к XIII столетиям.

Коло — это не простая пляска, а скорее военная игра: то двигаясь порывисто вперед, то приостанавливаясь и как будто подаваясь назад, оно выражает как бы движение войска в бою и как будто с боя берет пространство впереди. У сербского историка и последнего сербского воеводы Юрия Бранковича<sup>108</sup>, умершего в конце XVII ст[олетия] в австрийской тюрьме, сохранилось описание кола XV ст[олетия], которое игралось на месте побоища во время одной победы сербов над турками. Вот это описание, помещенное в «Истории слав[янских] народов» Раича<sup>109</sup>: «Так как столь славно была одержана победа



(в 1480 г. в Трансильвании, под предводительством сербского вождя Павла-князя и трансильванского Батори) и турки были прогнаны, то Павел-князь с равным ему сановником и другом своим, воеводой Батори, и со всеми полками, веселяся, положили ужинать между мертвыми телами. И, поставивши трапезу, сели они на мертвых телах есть и веселиться, а потом, вставши, начали играть воинственное хоро, припевая воинственные юнацкие песни. И Павел-князь, *понуdiv себя в скакательное игранье, среди того круга схватив зубами мертвую неприятельскую телесину (труп), долго скакал с ней, держа ее зубами.* Действием этим он всех смотрящих привел в великое удивление и убедил всех в своей геркулесовой силе».

Перед сумерками понемногу стали все расходиться. По Теразиям под густым навесом каштанов важно прогуливались белградские граждане под руку со своими почтенными супругами, иные с целыми семействами, и направлялись уже по домам. Я с одним приятелем повернул на Дартюл. Пройдя глухие улицы пустырей, мы вступили на дартюлскую чаршию, где жизнь еще кипела: туда и сюда сновали цыгане и разные довольно отрепанные люди; перед кофейнями за рядом высоких олеандров сидели гости, попивая кофе, вино, пиво, закусывая овечьим сыром с молодым чесноком; выпили и мы по чашке турецкого кофе и пошли дальше. Свернув в сторону, чтоб подняться в главный город, мы увидели на площадке перед закоптелой избушкой, прилепившейся к какому-то разрушенному *палаццо*, цыганское коло. Двое цыганят играли на скрипках, а вокруг них плясало десятка полтора тоже цыганят. Потом явилась цыганка лет 14, вся в белом, подпоясанная красной лентой, двумя концами спускающейся почти до земли; густые черные волосы природными локонами раскинулись по плечам; черты лица довольно красивы, только смуглость еще резче выступала при белом костюме; она тоже вступила в детское коло. За ней является старый цыган в сербском костюме, только в высоких сапогах и в шляпе, из-под которой выбиваются его почти совсем седые кудри, и также пускается в коло. Удивительная смесь возрастов! В этом коло нет той важности и стройности, как в сербском; здесь каждый пляшет почти сам по себе, выделяет самые удивительные пассажи ногами и всем телом. Музыканты играют попеременно, но пляшущие не знают устали. Цыганка вся отдалась движенью, цыган сильно топает и гикает, ему вторит пронзительным

визгом весь хор цыганят. И длится эта пляска добрых полчаса. Есть что-то чарующее в этом необузданно-диком движении вечно веселых и беззаботных скитальцев света.

Полная луна, плавно поднимаясь над горизонтом, незаметно плыла по темно-синему небу, а неподалеку на бугорке, лежа на спине и заложивши руки под голову, покоился безучастный зритель этой сцены, тоже цыган. Он, кажется, не видел пляски, не слышал ни музыки, ни диких криков, в каком-то неподвижном созерцании смотрел он в глубокий свод неба, на плывущий месяц и сверкающие звезды и, видимо, по-своему наслаждался, предаваясь полнейшему бездействию.

В городе движение уже унялось и все затихало; проходя мимо нас, колбасник в последний раз почти под нос нам крикнул пронзительным голосом: «Ээ! Вррруть... ссисе са ррреном (горячие колбасицы с хреном)»! Пора и нам по домам.

Но ведь еще рано, нет 9-ти часов; а деваться некуда, как идти на квартиру, потому что посещать знакомых в это время нельзя: они если не спят, то собираются спать. Прихожу домой. Ключ, как оставлен был мной в дверном замке, чтоб убрали мою комнату, так и торчит, а комната все-таки не убрана, хотя в то время в моей гостинице было три каких-то штумадли. Целый почти дом пуст; по крайней мере не слышится присутствие человека. По коридору, впрочем, еще шлепает в избитых сапогах, как тряпка по полу, мой хаускнехт, напевая какую-то песню, в которой слышатся тоска, и голод, и всякая нужда, потому что он не получает ни жалованья, ни пищи и существует одними бакшишами<sup>110</sup> (на водку), а вот уже целый месяц, как гостей почти я один. Скрылся и он куда-то. Бьет 9 часов, сначала в крепости, потом на соборной колокольне или где-то, должно быть, в Великой школе. На крепости заиграла труба. Слушая этот звук целый год, я не мог привыкнуть к нему, чтобы не замечать его и не чувствовать какого-то особенного впечатления. Слышно, что трубач трубит, ходя по стене взад и вперед. Он начинает не очень громко и довольно протяжно, делая повышения и ударения на предпоследней ноте и тихо оттягивая последнюю, и будто тихо вызывает кого-то; но, не слыша отзыва, он трубит громче, как-то нетерпеливо, торопливо, сильно ударяет на первом высоком звуке, а потом разом его опускает и заканчивает опять тихо. Едва замолчала труба, в воздухе еще носится последний звук и кажется, будто вы слышите, как трубач

нетерпеливо ходит туда и сюда, как вдруг, словно ринувшись на кого-то, посыплется бесконечная ровная дробь барабана; потом она будто смешается, и бьет барабан отрывисто, неровно, как-то сердито, на различные манеры и в различные такты, затем снова зальется дробью, и льются эти дробные звуки долго, и разом оборвутся. (Так хорошо барабанят еще только в России; в Австрии так не умеют).

Тишина настает окончательная. Слышно только, как по коридору ходит легкий ветер: то потрясет растворенным окном, то где-то скрипнет дверью; да из крепости доносится наводящий тоску однообразный и целую ночь неумолкающий звук какой-то ночной птицы, которую сербы прозвали *тюк* по издаваемому ею унылому звуку «*тью!*».

Да, с 9-ти часов здесь все уже по домам и собираются спать, а в 10 наверное все спят, вкусно поужинавши и выпивши положенную порцию вина или пива. Так было по крайней мере первые два месяца (март и апрель 1868 г.), проведенные мной в Белграде. В следующем году стало несколько живее, потому что открылся театр, и легче стал политический гнет; но все-таки и теперь жизнь в Белграде недостаточно жива, и слишком рано обитатели предаются сну, проводя целые дни в каком-то обрядном официальном существовании.

За несколько месяцев до топчидерской катастрофы чувствовалось в обществе какое-то ненормальное состояние. Общественных увеселений нет, а если и устраиваются, то не удаются; даже по домам и семействам не собираются, все будто боятся друг друга; в кофейнях молчаливое чтение газет, питье и еда, и никаких разговоров; полное недоверие друг к другу (это взаимное недоверие не совсем прошло в Белграде и до сих пор, вошло как будто в плоть и кровь). Часто слышался ропот на министров и на князя; говорилось, что из внутренней Сербии являлись к князю люди и лично ему заявляли недовольство народа; говорили о каких-то письмах князю, министру внутренних дел и митрополиту; носился слух о существовании какого-то заговора; по ночам иногда ходили конные патрули, необычные в обыкновенное время, — значит, и полиция что-то заметила. Были различные предсказания и предупреждения в иностранных газетах. Министры продолжали действовать, игнорируя общественное мнение, которое ясно высказывалось тем, что оппозиционный журнал «Сербия»<sup>111</sup> с каждым днем приобретал все больше подписчиков, а полу-

официальный орган министра внутренних дел «Видовдан» с каждым днем терял их, что, однако, не мешало ему, лая на луну, успокаивать своего хозяина и уверять, что все обстоит благополучно.

В Белграде правительство собрало эмигрантов из разных турецких провинций, сербов и болгар, размещало их по разным своим полкам, а из болгар сформировало отдельную роту и поэтому сносилось с болгарским комитетом; оставалось в интимных отношениях к России, и в то же время заключался тайный договор с мадьярами; г. Блазнавац<sup>112</sup> отправлялся для каких-то совещаний с австрийским генералом Габленцом, объезжавшим в то время австрийскую Военную границу; г. Ристич<sup>113</sup> маневрировал в Париже и при других западных дворах. Князь со своими министрами вел *высокую* политику, производя в своих дипломатических сношениях величайшую путаницу и старясь всех обмануть, всем обещая и всех уверяя в своей дружбе. Сербскому правительству удалось совершить два довольно важных акта: через своего агента обманом убедить хорватов пойти на сделку с мадьярами<sup>114</sup> и возбудить ненависть в болгарях тем, что их постоянно обманывали, и обман этот обнаружился, и что девятерым болгарским волонтерам предварительно отсыпали по 25 ударов палками.

Князь не показывался нигде в обществе. Два литературно-музыкальных вечера «певческого общества» не удостоились посещения ни его, ни его министров; на вечер, данный чехами, он обещал быть, его ждали до последней минуты, он велел только дать знать ему, когда все соберутся, и не был, вследствие какой-то сплетни, а сплетен в то время была тьма, потому что ими занималось и само правительство. Почти каждый день князь отправлялся в общество своей двоюродной сестры Анны Константинович<sup>115</sup> и ее прекрасной дочери Катарини<sup>116</sup> в Топчидере, но и здесь они тоже не оставались там, где были все, а удалялись в глухие места *кошутника*<sup>117</sup> (загороженный лес, где содержатся дикие козы, по-сербски кошуты).

Все отношения были самые натянутые; во внутренних делах гнет и несправедливость; в политике ложь и путаница; в обществе много шпионов; провинциальные начальники то же, что паши в Турции; жандармы и пандуры, набранные из разных стран, заменили янычар.

Не того я ожидал от Сербии, не то я думал найти в Белграде — и в первых же числах мая предпринял экскурсию во внутренность.

В конце мая я прошел уже половину Сербии и готовился перейти на другую ее половину через Мораву<sup>118</sup>, как пришло известие об убийении князя. Тогда было не до путешествия, и я поспешил вернуться в Белград.

Не доезжая немного до Белграда, я встретил телегу, набитую пассажирами, и между ними нашелся один мой знакомый. Он вышел ко мне из повозки: на фесе креп, на руке также, держит в руках какую-то восковую свечу, тоже всю обвитую черными лентами; мне показалось, точно весь он залит чернилами. Не здороваясь, он показывал мне свечу, с которой присутствовал при погребении князя, и бессмысленно лепетал: «Вот... дождались... нет нашего отца! Мы теперь пропали!» — и начал хныкать передо мной. Другие тупо смотрели на эту сцену и сами старались настроиться печально; а я припоминал себе, что этот самый человек за несколько дней перед тем бранил и князя, и все его правительство.

Это была прелюдия того, что я должен был найти в Белграде.

Я воротился в Белград 5-го июня, когда князя уже схоронили, главные преступники были схвачены и продолжались аресты их соучастников. В наружности Белграда произошла большая перемена: все дома были решительно укрыты черными флагами, на ином доме было их несколько, и такие большие, что от крыши спускались до земли; весь город стал точно какой-то закопченный. Но еще более резкая метаморфоза произошла с людьми: иных совершенно нельзя было узнать; таким образом, эта катастрофа показала мне людей в настоящем их виде.

Ничтожество в эту минуту ударилось в ханжество, подлость пустилась в доносы, тупость и варварство требовали пыток и казней; но к чести граждан Белграда должно сказать, что в общем итоге они держались с достоинством, были сдержанны и умеренны как в выражении сожаления к князю, так и в обвинениях. Большинство, как это оказалось потом на скупщине, винило во всем полицию и требовало реформ. Были люди, которые когда-то либеральничали, а тут на них напал такой страх, что они спешили куда-нибудь уехать. Напротив, я знаю одного человека, который, больной, осужденный докторами на смерть, в день катастрофы был уже в Земуне, чтоб отправиться за границу; когда это случилось и брошена была клевета на всю оппозиционную партию, в которой он был не последним звеном, он

остался, чтоб разделить долю своей партии. Убогие журналы вместе с толпой не находили ничего больше сказать, как предаваться плачу на всевозможные вариации. Благо, что скоро провозглашен был Милан<sup>119</sup> князем, по крайней мере, явилась новая тема: поздравления молодого князя в стихах и прозе и прославление его будущих подвигов. В это время «Сербия», редактора которой таскали уже для допросов в крепость, не предаваясь праздным lamentациям, смело говорила, что не плакать время, а подумать о своем положении, что Сербия находится в состоянии переворота и ей предстоит великая задача внутреннего переустройства и поддержания своего положения во внешней политике. Нашлись люди, которые ухватились было за это, как за доказательство причастности редактора к делу; но опять-таки общественное мнение было серьезнее мнения этих «кукавиц»<sup>120</sup>, как их называют сербы, и всякий честный человек в то время от души сказал ему: «Спасибо и слава!»

Я не стану говорить о самой катастрофе и ее ближайших следствиях, потому что о ней так недавно и так подробно печаталось во всех газетах; скажу только, что с этого момента собственно начинается политическая жизнь сербского общества. Несмотря на весь террор в первое время, политические убеждения даже тогда высказывались смелее, нежели то было прежде: явилась борьба партий, выступили наружу их различные оттенки; много было и страха, нельзя было ручаться, что по какому-нибудь показанию, добытому палками и другими подобными способами, не потянут и вас туда же в крепость, но все-таки было какое-то движение, была жизнь между страхом и надеждой, а не прозябание, подобно растению, когда в нем весь жизненный процесс скован зимней стужей.

По цели и объему статьи мы не можем останавливаться на политике, потому что это само по себе составило бы отдельную тему, но сделаем несколько замечаний о политических деятелях.

Политические деятели в Сербии разделяются на чиновников и журналистов, которые усвоили название интеллигенции, в отличие от другого фактора в политической жизни — *скупщины*, которая должна бы служить представителем целого народа и всех слоев его общества, но в сущности есть не что иное, как представитель исключительно необразованной массы горожан и поселян; из образованных классов сюда могут попасть только священники, но, к сожалению,

и большинство священства по развитию должно поставить в один разряд с массой. Следовательно, *скупщина*, главный фактор политической жизни, вследствие неразвитости ее активной деятельности, инициативы ни в чем иметь не может и бывает пассивным орудием в руках правительства или какого-нибудь демагога. Но с 1858 г. в продолжении последних 10-ти лет Сербия настолько перевоспиталась, что появление какого-нибудь демагога вроде Вучича<sup>121</sup> невозможно. Сербия с того времени слишком централизована. До 1858 г. внутри Сербии постоянно происходили движения независимые от Белграда; теперь без Белграда оно немыслимо нигде. Это показала прошлогодняя катастрофа. Внутри Сербии никто не знал, да и не хотел знать Милана, и когда Блазнавац произвольно провозгласил его с помощью войска, т. е. главным образом с помощью жандармов, собранных, как у нас говорится, «из-под борка, из-под сосенки», внутри Сербии против этого было неудовольствие: явно говорилось, что это что-то не так, что до скупщины никто не смеет назначать князя и т[ому] п[одобное]; но всякий почти серб теперь солдат, с первого же момента все были поставлены под ружье, а как скоро человека поставили во фронт, он перестает быть человеком и делается слепым орудием дисциплины, следовательно свободное, независимое движение невозможно. Я уверен, что народному войску Сербии никогда не придется освобождать своих братьев из-под турецкого ига, для чего оно будто бы назначено, но оно служит и уже успело значительно услужить той самой цели, для которой Сербия опутана целой сетью полицейских чиновников с их помощниками — пандурами и кметами<sup>122</sup> (сельские старшины и городские головы), т. е. централизации. Эта система, над которой особенно много работала целая история Франции и которая Наполеоном доведена до совершенства, усвоена всеми деспотическими правительствами Европы, и в Сербии имела самого преданного адепта в лице князя, а главным творцом ее был Гарашанин<sup>123</sup>; министр внутренних дел при Михаиле, Никола Христоч, был только верным ее последователем и исполнителем.

Итак, главный фактор парализован невежеством и централизацией; остается интеллигенция, между которой чиновники не могут быть деятелями, потому что в скупщину они не допускаются, а чиновник в канцелярии то же, что солдат во фронте. Итак, остается только посредственный способ действия, т. е. действие на общественное

мнение посредством журналистики, в которой участвует вся интеллигенция. Следовательно, говоря о политических деятелях, мы должны ограничиться одними журналистами.

К сожалению, несмотря на то, что у сербов есть значительное количество журналов с общественно-политическим характером, централизация видна и в них. Две газеты чисто правительственные: «Сербские новины»<sup>124</sup> (официальная) и «Единство»<sup>125</sup> (полуофициальная, получающая от правительства субсидию); одна, «Видовдан», постоянно заявляет, что ее принцип служить правительству; другая, «Световит»<sup>126</sup>, собственно политического характера не имеет, но в своей тенденции ставит на первом плане услуги правительству, и потому ее страницы всегда открыты для статей Бана — бессменного слуги постоянно меняющихся правительств. Следовательно, все эти четыре органа не представляют никакого общественного мнения, никакого политического принципа, так как принцип служения лицу, династии или клике не заключает в себе ничего политического. Остается поэтому одна «Сербия», как орган по крайней мере одной партии, и именно партии либеральной, о которой единственно и можно говорить как о политическом деятеле.

Во время самого тяжелого гнета при князе Михаиле\*, в особенности направленного против либеральной партии, люди, принадлежащие к ней, держались 10 лет с твердостью и мужеством, какие можно найти только у людей крепких убеждений других просвещенных наций: многие подвергались изгнанию из отечества, другие терпели тюремное заключение, ссылку во внутренность, лишение гражданских прав и устранение от всякой общественной деятельности; с одинаковым мужеством они держались и во время террора после 29-го мая 1868 г. Можно было сказать, что это люди идеи, крепких убеждений и железного характера. Но настало другое время, гнет снят, повеяло как будто бы свободой, в правительстве говорится о либеральных

---

\* Сербы из ханжества и пиетета к покойному князю вместо имени князя Михаила постоянно употребляют имя Н. Христича, когда говорят о той системе, которая, собственно, и была радикальной причиной катастрофы и осуждена всем народом и новым правительством. У сербов этот пиетет поставлен каждому в обязанность: цель этого как можно возвысить династию Обреновичей и тем втоптать в грязь Карагеоргиевичей. Мы, не имея никаких обязанностей по отношению к той или иной династии, обозначаем тот тяжелый период именем Михаила, так как он был главою, а все другие были только его орудия.



принципах как единственных, могущих осчастливить Сербию и избавить ее на будущее время от переворотов; либеральные люди с правителями в самых интимных отношениях, некоторые из них получили важные государственные посты, один даже получил портфель двух министерств, другие министры, кроме одного, все с более или менее либеральным направлением. Одним словом, либеральная партия и правительство, явно называемое всеми либеральным, слились воедино. В это время и «Видовдан», кричавший прежде постоянно, что сербский народ незрел для свободных учреждений, стал проповедовать, что сербский народ способен к тому больше, чем всякий другой. Но, конечно, тот был бы крайне глуп, кто поверил бы в такую неестественную и быструю метаморфозу. Либералы в этом отношении, изобличая неискренность «Видовдана», не замечали той дисгармонии, которая была, очевидно, в их союзе с правительством. Источник этого заблуждения двоякий: с одной стороны, неясное понимание, а с другой, как будто, желание отдохнуть и нежелание продолжать оппозицию, которая уже начинала сильно утомлять их. Впрочем, последнее эгоистическое побуждение было причиной второстепенной, главной причиной остается то их заблуждение, будто возможно моментальное изменение убеждений, и неопределенность их собственных принципов, так что, собственно говоря, между либералами и консерваторами коренной разницы в политических принципах не существует. В Сербии всякий демократ и либерал, но для ясного понимания этих принципов и проведения их в жизнь необходима известная доля просвещения, которой *всякий*, конечно, не обладает. Проводя параллель между консерватором и либералом в Сербии, перебирая по одиночке людей того и другого направления, мы не найдем между ними большой разницы, если не сказать почти никакой. В либералах найдем только больше стремления мотивировать свою деятельность чистым принципом, но стремление к цели не есть еще постигнутая цель. На либералах наглядно видны следствия ложных оснований, положенных в их образование. Слишком материально понимаемый реализм и узко понимаемая практичность и здесь, как в науке, сбивают серба с истинного пути. Во всем у них компромисс, вечная сделка ума с капризной волей, реальной истины с ее практическим ограничением, и бродят они без этой истины, как в темном подземелье без света, и не находят выхода из своего тес-

ного лабиринта. Смешно и жаль было смотреть на этих людей, когда они, служа подножием хитрому эгоисту, с детской наивностью говорили: «Мы — правительство». Теперь и им стало ясно их положение; но что они, бедные, пострадали! Правительство третировало их как своих рабов, которые не смеют поднять головы, консерваторы с полным правом упрекали их в холопстве, а со стороны либеральной молодежи, которая единственно была за них, дожили до скандала. Имевши в провинции прежде доброе имя людей честных и служащих народу и идее, они в последнее время потеряли там уважение и всякое значение.

Я несколько долго остановился на том политическом процессе, который совершился в последнее время в сербском обществе, потому только, что и в этом высказываются основные черты сербского характера. Серб отважен и не боится насилия: силой и страхом из него ничего не сделаешь. Но вы можете всего достигнуть, действуя на его самолюбие, что очень легко, потому что он крайне самодоволен и легко поддается самообольщению. Он любит, по сербскому выражению, «уживати», т. е. наслаждаться жизнью, и это его главная цель; он боится умереть, не вкусивши этой сладости, и потому, перенесши очень много, терпя и страдая, он вдруг останавливается, схватывает то, что ему дают, и сорвав эту, иногда самую ничтожную, ставку, забастует. Он упрям и, сделавши ошибку, понимая ее сам, не сознается перед людьми и будет действовать вопреки своему убеждению, чтоб не выдать себя; сознаться в своей ошибке по указанию другого он еще меньше способен вследствие крайнего самолюбия. Не имея достаточного просвещения, но, сделавши некоторый успех настолько, что это заметно и постороннему, сербы преувеличивают свои успехи и приписывают их каким-то особенным способностям, которыми обладает их народ. Этому помогают отчасти и отзывы путешественников, между которыми иные лгут из политических видов, а иногда просто из материального расчета, так как эта ложь иногда награждается деньгами, а другие вследствие того, что не в состоянии войти в жизнь народа, и судят о нем по одной выставке, которая готовится часто правительством. Вследствие этого самодовольства является самонадеянность, парализующая их энергию и деятельность: они мало трудятся, не заботятся об основательности, не любят ни во что углубляться, любят схватывать вершки —

и тотчас с ними напоказ. Действуя на эти слабые стороны сербского народа и оставляя его в иллюзиях, не затрагивая только национального чувства, им можно владеть как угодно.

Произнося такой строгий приговор, можно сказать, не щадя ни мало ни национального чувства сербов, ни самолюбия отдельных личностей, из числа которых он заденет весьма многих, отрешившись вполне от своих личных симпатий по отношению ко многим, я надеюсь тем оказать мое уважение к сербскому народу больше, чем снисходительно-сантиментальными похвалами тому, чего я не одобрил бы и у себя дома. Мерка, по которой я оцениваю сербский народ, служит та самая, которую я применяю к России и ко всякому другому народу, а не составляю особенной, принимая в соображение различные обстоятельства: время, средства, посторонние влияния и т[ому] п[одобное], с чем я соображаюсь только тогда, когда касаюсь исторического процесса, который произвел то или другое явление, и к этому я прибегаю нередко, чтобы связать следствия с их причинами. Надеюсь, что сербский народ нисколько не унизит то, что он во многом окажется стоящим гораздо ниже других. Правда, от Сербии, существующей политически всего полстолетия, я требую в некоторых случаях тех самых успехов, которые другие государства достигли в продолжении двух-трех столетий, следовательно, как бы упускаю из виду одного весьма важного фактора во всем — время. В этом отношении Сербия, как и всякое в новое время возникающее государство имеет ту выгоду, что многое, до чего другие доходили долгим путем поисков и борьбы, она находит уже готовым: ей не нужно отыскивать, а только суметь применить к своим потребностям; время ей нужно только для укоренения того или другого учреждения, той или другой принадлежности современной жизни; потом, она имеет выгоду выбора: ее молодежь воспитывается в различных университетах Европы. И еще одно преимущество Сербии пред другими государствами: она не связана преданиями, в ней нет многого, от чего другие рады бы отказаться, если б это не навязала им история и не связала со всей народной жизнью так, что трудно затронуть одно, не коснувшись целого организма. Так, напр[имер], резкое разделение на сословия, которое мешает успехам социальной жизни, привычка к бюрократическим формам и правительственной опеке, ханжество религиозное и политическое, нерав-

ноправность и неравенство в распределении богатств, множество предрассудков в жизни политической и социальной, которые теперь признаются всеми в образованной Европе, но против которых трудно бороться, потому что время связало их с коренными основами народной жизни. Все это чуждо сербскому народу, но, к сожалению, вносится в жизнь его государственными людьми и учителями в жизни культурной и общественной. В этом отношении нельзя не пожалеть, что Сербия стоит под сильным влиянием Австрии, и еще какой Австрии? — баховской<sup>127</sup>. Это неприятно поражает вас на каждом шагу. Начнем с администрации. Полиция в Сербии не только охраняет порядок, но во многих случаях отправляет должность судейскую (в последнее время в этом отношении сделано какое-то преобразование), и от нее вполне зависит начало всякого судебного процесса; она заведует отчасти и государственным хозяйством, распорядясь суммами, доставляемыми почтой и телеграфами, и имениями малолетних, состоящих под опекой; в общественном хозяйстве также ничего не делается без ее участия. Во всех городских и сельских общественных собраниях непременно участвуют окружной начальник (наш исправник) или капетан (становой). Ни один выбор сельского кмета (старшины) не происходит без участия капетана; поэтому кмет не что иное как пандур (сельский жандарм). Такой бюрократической опеки как в Сербии, нет даже у нас, где бюрократические формы введены гораздо раньше. В моей (Саратовской) губернии, которая имеет населения в полтора раза больше Сербии, а также больше ее и по пространству, 20 становых, а в Сербии их 60, и получают они каждый от 400 до 600 талеров, имея притом по одному помощнику, который называется *писарь* с жалованьем в 200–400 талеров, и по два *практиканта* (писца), получающих также казенное жалованье, и несколько пандуров, на которых в каждом срезе тратится по государственному бюджету 5480 р[ублей] (Министерство юстиции имеет своих пандуров особо). Такое множество охранителей порядка я находил (по крайней мере 8 лет тому назад) только в Австрии, где жандармы насажены были в каждом местечке. В Сербии община совершенно парализована полицией. Подчинивши всю общественную и государственную жизнь бюрократии, сербское правительство употребляет все средства, чтоб поставить непереходимую пропасть между чиновничеством и народом: чиновник

не может быть избран в члены какого бы то ни было народного собрания; он не смеет наедине сойтись с поселянином без того, чтоб его не потребовало к ответу начальство; зато на чиновника вы не можете жаловаться прямо суду, не спросивши на то разрешения его ближайшего начальства, а начальство это никогда не дозволит своего чиновника отдать под суд по частной жалобе и даже по жалобе целого общества, и таким образом чиновник стал лицом неподсудным, зависящим единственно от своего начальства, которое зато и помыкает им как хочет. Цель вполне достигнута: чиновник смотрит на народ как на нечто совершенно чуждое ему, которому он ничем не обязан, с которым он не должен иметь ничего общего; народ со своей стороны смотрит на чиновника еще хуже: он видит в нем своего врага, ненавидит его и не допускает в свое общество. Напрасны усилия людей благомыслящих с той и другой стороны; всякая попытка к их сближению отбивается взрывами негодования. Такое же разделение было только в Австрии, где в каждую провинцию посылали чиновниками людей другой национальности. Ей же Сербия должна быть благодарна за то, что все дела, мельчайшие тяжбы между простым народом решаются на бумаге с помощью адвокатов. У нас на сотни тысяч торговые дела ведутся часто без всяких письменных документов, а здесь каждый крестьянин знает облигации так, что торговля бланками облигаций довольно значительна в Сербии, и тут-то совершается большая часть мошенничеств, от которых наживаются многие адвокаты. В одном окружьи не только горожане, но и поселяне между собой все почти в тяжбе. Серб теперь ненавидит адвоката, но не может жить без него, ища постоянно случая, чтобы с кем-нибудь потягаться. В самой Австрии это зло не так велико, но известно, что всякое зло, входящее в менее развитую массу из более развитой, если только привьется, становится ужаснее; так случилось во многих отношениях и с Сербией. Не только различные учреждения Австрии пересаживаются целиком на сербскую почву, но даже самые чувства, политические симпатии и антипатии. Сербское правительство никак не решается открыть в своей Великой школе преподавание славянских наречий и особенно боится русского языка и панславизма. В Австрии это имеет смысл и резон существования; а в Сербии что же, как не австрийский прививок? Явление это понятно, когда вспомним, что все государственные люди Сербии, не исключая и по-

койного князя Михаила, вскормленники Австрии. В то же время сербская интеллигенция, увлекаясь примером своих братьев в австрийских провинциях, бонится швабизма и вместе с тем вообще европейской образованности, и старается разбудить в своем обществе национально-патриотические чувства, которые покровительствуют многим привычкам чисто варварским. А это постоянное тасканье всех школ в церковь и с учителями, регулирование даже религиозного чувства, разве не следствие влияния австрийского католицизма? Результатом этого является религиозный индифферентизм, прикрываемый исполнением формы, и этот индифферентизм, соединенный с ханжеством, вообще оказывает вредное влияние на всю жизнь, внося во все отношения ложь и формализм, убивая всякий свободный порыв, всякое стремление к идее и к ее осуществлению на деле. Я заметил даже в молодежи какое-то неестественное отвращение от всего идеального, отсутствие всякого увлечения наукой и идеей, одно исполнение формы и обязанностей. Индифферентизм в религии, которым сербы отчасти похваляются, порождая собой индифферентизм в жизни и науке, не приносит им того великого блага, которого ищут в нем другие образованные народы, широкой терпимости, не только религиозной, но и национальной, гражданской и научной. В них много нетерпимости ко всему чужому, и в этом отношении они много грешат против своих братьев *преко*, приписывая им все дурное, не сознаваясь в том, что в этом заключается их свободный выбор. Виноваты ли их братья в том, что сербское правительство ищет там только Милошей Поповичей, Банов, Христичей и подобных им людей, которыми сербы Княжества постоянно попрекают австрийских сербов, забывая, что от них же они имели Доситея Обрадовича<sup>128</sup> и что теперь еще Австрия имеет много людей, которые всю свою деятельность, честную и плодотворную, посветили Сербии? Указывая на вредное влияние Австрии, мы остаемся при том убеждении, что там есть много и хорошего для заимствования, что братья оттуда дурное или хорошее зависит от самих же сербов. В этом случае ответственность падает на правительство и на сербскую интеллигенцию, от которых зависит дать направление политической, социальной и умственной жизни народа, и мы становимся требовательны, потому что лица, которым досталась роль народных вождей, имели все средства стать на одном уровне с подобными

людьми других просвещенных народов; у них было время и возможность из всего выбирать лучшее, и если они сделали иной выбор, в том не оправдывает их ни недавнее существование их государства, ни общий низкий уровень народного развития, ни вредное влияние варварской Турции и никакие другие обстоятельства. В Сербии меня одно удивляло: везде в других странах люди, составляющие интеллигенцию, развиты непропорционально больше, чем масса; в Сербии напротив — интеллигенция стоит ниже того уровня, на котором должна бы находиться, чтобы вполне отвечать развитию своего народа; она, в сущности, слишком мало отделяется от массы. Может быть, в этом залог будущего счастливого, гармонического устройства Сербии, но покуда это весьма неблагоприятно отзываяется на общем прогрессе.

От этих общих рассуждений снова возвращаюсь к своей жизни и наблюдениям в Белграде после первой экскурсии в провинцию.

Во всем произошла перемена, которая коснулась и меня. Хозяин моей прежней гостиницы оказался также участником заговора: он был посажен в тюрьму, гостиница его закрыта, и я должен был поместиться в другой. Теперь поселился я у «Греческой Королевы», хозяин которой во время нашего последнего Турецкого похода был марки-тантом и в то время нажил некоторую копейку, научился несколько русскому языку и с тех пор питает некоторую симпатию к русским. Поэтому мы с ним от начала до конца остались приятелями и, живя вместе целый год, мы ни разу не имели случая жаловаться, чтоб между нами, как говорится, проскочила черная кошка. Эта гостиница была совершенно другого характера от моей прежней. Как та была пустынна, так эта полна людей и подчас очень шумна. В ней останавливались по преимуществу *паланчане*<sup>129</sup>, т. е. провинциальные торговцы, священство, чиновники, поселяне — все тут было. Помещаются здесь по несколько человек в одной комнате, платя за кровать 25 коп[еек]; а некоторые комнаты имеют только миндерлук и подушек нет, там вовсе ничего не платится, только гость непременно обязан в этой гостинице обедать и ужинать, платя за то и другое, с сайдликком вина и рюмочкой ракии перед тем 30 коп[еек] сер[ебром]; впрочем, и другие не совсем изъяты от того же условия. Здесь, собственно, познакомился я с внутренней Сербией больше, чем во время самого путешествия по ней, потому что имел случай жить по неделе и больше

с людьми из всех решительно краев Сербии, даже из Турции. Благодаря этой гостинице, после, когда я пускался в экскурсии, не было местечка, где бы меня не встретили знакомые.

Говорить о том, что я в некотором смысле изучил в этой среде, значило бы говорить о провинции, но это выходит из моей настоящей задачи. Но не могу не сказать хоть несколько слов, передать хоть несколько черт и сцен.

За обед и ужин мы садились человек по 10, а иногда по 20, это называлось *таблето*. Меня, как русского, сажали всегда на первое место, я первый начинал каждое кушанье. Всякий вновь прибывший, узнавая, что я русский, задавал мне вопросы о России, которые были такого свойства: какая у нас зима, есть ли горы, какой хлеб сеется, есть ли железные дороги, сколько жителей и пространства, какова у нас скотина, чем торгуют, есть ли фабрики, какие школы, как велика подать, окончилось ли рабство, есть ли народное войско<sup>130</sup> (милиция), как у них, что думает Россия о них, хочет ли она на турка, и затем шла политика, впрочем, исключительно внешняя, в которой каждый серб знает толк дать; многие из них постоянно читают газеты и очень хорошо знают по именам всех главных современных политических деятелей. Из наших особенно хорошо знает всякий имена Горчакова<sup>131</sup> и Игнатьева<sup>132</sup>, и постоянно спрашивают меня, каковы эти люди; а им они, видимо, очень нравились. К России во всех них величайшая симпатия.

О сербской внутренней политике они в обществе говорят неохотно, выражаются официально, хваля правительство за его мудрые распоряжения, выражая к князю Михаилу глубочайшую признательность, ставя ему в особенную заслугу приобретение крепостей и видя в заведении народного войска и устройстве оружейного завода в Крагуеваце<sup>133</sup> неперемное ручательство того, что он освободил бы и остальных славян от турок, если бы пожил побольше. Наедине и в маленькой кучке шли разговоры интимные, и дело доходило до критики действий правительства прежнего и настоящего. Один из них, с которым я несколько времени помещался в одной комнате, выразился по этому случаю так: «Вы не судите сербский народ по толпе, толпа идет за вождем, своей головы у нее нет; а вы поговорите с ним между четырех глаз, или придите ко мне, я позову своих близких людей, да и поговорите, тогда



и увидите, что такое сербин, что он думает и чего он хочет». В этих словах много истины и смысла. Наедине и в малом кружке выражаемое мнение у сербов сплошь да рядом противоречит заявлениям тех же людей на каком-нибудь официальном собрании. И я всегда при этом припоминаю вышеприведенные слова «толпа идет за вождем»; а кто у нее теперь вожди, кроме правительства? Либеральная партия не может выставить ни одного человека, который мог бы стать во главе народа, в противной также нет; и идет теперь народ за правительством, не разбирая, кто стоит во главе: «Кто ни поп, тот и батька!» Все прежние перевороты, не принесшие народу ровно ничего, постоянно революционное настроение, вызывающее особенные меры, вечное ожидание чего-то — все это утомило народ, надоело ему, и он дошел до политического индифферентизма. Мы можем говорить о различных гражданских добродетелях сербского народа, о его достаточной политической развитости, пожалуй, о его либеральном духе, но не можем придавать этому никакого политического значения. Факторами его политической жизни остаются правительство и образованный класс.

Торговцы из внутренности приезжают в Белград в продолжении года три или четыре раза и живут здесь по неделе и больше. Здесь они от белградских купцов набирают различного товару, а с ним вместе тут же берут уроки и в торговле, по которым, конечно, и поступают у себя дома. Иные ездят за товаром в Пешт и в Вену, и все-таки на перепутьи останавливаются в Белграде.

Какой это живой, оборотливый и деятельный народ! Он в день раз 10 сбежит вниз на Саву, спускаясь и поднимаясь по лестнице в 140 ступеней, и все выбирает товар, и не станет он вам брать весь товар в одной лавке, а обойдет все и осмотрит предварительно, где что есть, на это убивает дня два, а потом уж берет. В одну и ту же лавку он приходит по несколько раз и норовит попасть, когда хозяина лавки нет, напр[имер], в обеденную пору, чтоб от его приказчиков, особенно если они молодые неопытные люди, выпытать всю истину, какая настоящая цена товару. Затем идет нагрузка и отправление товара на телеги (с рабаджиями) или на лошадей, оседланных особенными седлами (с кириджиями<sup>134</sup>). Товара всего на две-три телеги, но нагрузка идет долго, потому что это самый разнообразный товар и собирать его нужно, может быть, из двадцати лавок.

Во время обеда и ужина тоже нет покоя: в это время являются в гостиницу разносчики с различными товарами; от них паланчане покупают очень охотно, потому что с ними торговаться можно не стесняясь, обедая и будто бы в шутку давая вместо рубля гривенник; торговля эта поддерживается целым обществом, и действительно удается купить несравненно дешевле, чем в лавке.

В это же время приходит и Еремия Караджич, слепой поэт, издатель календарей, сонников, стихотворений на случаи, романов оригинальных и переводных, и вместе с тем книжный торговец. Писать и читать он, конечно, сам не может, но ему заменяет глаза, во-первых, его жена, а во-вторых, какой-нибудь гимназист или лицеист-бедняк, которому он за это платит какую-нибудь безделицу. Средства у него, конечно, самые ничтожные, но он всякий год издает по нескольку книжонок, которые расходятся в народе. Произведения эти вроде наших, сбывающихся на толкучих рынках, но он не прочь издать что-нибудь и порядочное, если есть кому надоумить, он в своем роде тоже либерал и терпит иногда от цензурных запрещений и прибегает к печатанию за границей. Сербские либералы, впрочем, относятся к нему свысока, как к человеку совершенно простому и консерватору, чем делают очень важную ошибку, потому что он деятельнее их и мог бы им помочь, распространяя их книги, если б они имелись. К несчастью, таких книг не имеется; календарь Омладины выходит в середине года, а Еремия свой календарь вовремя составит, и он уже давно в руках народа.

Еремия человек уже лет 50, высокого роста, статно сложен, хорошо одет по-сербски, сверху постоянно короткий кафтанчик, на голове феса никогда не носит, а шапку из черного барашка; он не стрижется гладко, как все сербы, а из-под шапки у него висят седые кудри; он рябоват вследствие оспы, которая лишила его и зрения. Как вообще слепцы, он держит голову высоко, что придает ему гордую осанку, а Еремия в самом деле не лишен некоторой гордости как литературный деятель. Входит он, ошупывая путь тросточкой, и направляется к той комнате, где все обедают. Через плечо с левой стороны у него кожаная сумка с книжками, под мышкой несколько больших приходо-расходных книг, на спине в большом платке узел также с книгами и разным бумажным товаром. Подходит он близко к столу, остановится, как будто окинет всех взглядом и проговорит:

«На здоровье ручак (обед), господа торговци!» — «Фала (спасибо), газда Еремия», — отвечают ему несколько человек. — «А, это вы, Миния? Когда вы прибыли?» — приветливо спрашивает Еремия, узнав одного из гостей по голосу. «А меня знаешь?» — испытывает его другой. Узнает и этого. Отзывается еще один. «Тебя не знаю», — отвечает слепец. «Как же я-то тебя знаю?» — «Меня знают все; я один, а вас много, да должно быть покупаешь ты товар мой редко», — отвечает он с гордостью и как будто с упреком. «Не нужно ли, господа торговци, календарь “Таковац”, с картинками, протоколи, тефтери (приходо-расходные книги), облигации, буквари? Песенки у меня есть хорошие, новые, князю Милану». Больше всего покупают приходо-расходные книги и облигации; в свое время идут хорошо календари, но «Таковац» Еремии оказался слишком дорог — три цванцига (60 коп[еек] сер[ебром]), и покупался немногими; но любовался им всякий: на обертке хромолитографированная картинка, представляющая, как Милош в 1815 г., на Цветы в Такове является перед народом, держа в руке знамя восстания и говоря: «Вот вам я, вот вам война!»; в середине календаря портрет князя Милана, министров и министров. Любо смотреть, да дорог, а смотришь, иной расщедрится и купит. Так-то он ведет свою торговлю; а в лавочку его вряд ли кто заглядывает; большинство, мне кажется, и не знает, где она, кроме его сотрудников и знакомых. Иногда он придет, подойдет к столу, слышит, что нового почти нет, и молча, не сказав никому ни привета, уходит. Вся почти торговля его здесь только зимой до поста или до масленицы.

Торговцы являются здесь как-то периодически, наплывом; то появится их столько, что и поместиться негде, тогда и мне приходится пустить кого-нибудь в свою комнату, то несколько времени ровно никого нет, и за столом только три-четыре человека постоянных посетителей.

Первое время отчасти надоедало мне отвечать одно и то же на одни и те же вопросы постоянно вновь приобретаемых знакомых; а после это устранилось: кто не прибудет, наверное, уже знаком со мной, и тогда, вместо расспросов, шел обычным чередом разговор о разных вещах, собственно интересовавших меня. Они стали смотреть на меня как на своего человека, стали, не стесняясь, разговаривать со мной о своих делах, иногда даже советуясь со мной;

да и я привык к ним, втянулся в их жизнь, познакомился с их делами настолько, что понимал многое не хуже их и действительно мог дать совет.

Бывало, пойдешь к знакомым из интеллигенции, побываешь у того, у другого: все они стали какие-то странные, точно разбитая армия, нет у них между собой никакой тесной связи, потому что нет связывающей общей идеи и общей деятельности, нет определенных отношений к правительству, стали они сами какими-то консерваторами и носят только звание либералов, которое в последнее время стало очень жалким и ничтожным. Посидишь у них немного, им неловко передо мной, мне тоже нечего делать с ними, и убираешься от них поскорее к своим милым паланчанам, которые, наверно, сидят уже за столом и ждут к ужину своего руса.

Целый день шел дождь (было в конце ноября); вечером тихо, дождь мелкий, как густой туман так все и застилает; темнота страшная; фонари, расставленные довольно редко, смотрят сиротливо и едва мелькают своим тусклым масляным освещением; они едва в состоянии осветить самих себя, а уж где там освещать ваш путь. И идете вы по мостовой, ступая иногда в ямы и попадая по щиколотку в воду, разбираете-разбираете, да и начнете шагать как попало, смело шлепая по грязи и по воде, и так бывает иногда лучше. Прихожу домой, меня действительно ждут. Гостей мало, и мы усаживаемся за небольшим круглым складным столом. Наслаждаемся сначала «киселой чорбой» (род солянки из потрохов или из бараньей грудинки), потом паприкашем, печеньем, и запиваем положенным сайдликом вина. Ужин бывает обыкновенно рано (в 7 часов) и только вследствие неуправки оттягивается до 9. После ужина компания не расходится еще: спросят кто вина, кто чистого кофе, и ведут дружественно беседу. Позвольте представить одну из таких бесед в ненастный зимний вечер.

Компанию нашу составляют, кроме нас, еще 5 человек. Ужичанин, молодой человек, служивший сначала в сербском войске, потом в греческой гвардии в Афинах, в нынешнем лете совершил путешествие по России, через Одессу, Киев на Москву и Петербург; человек он одинокий, имеет некоторое состояние, свободный, но не знает, куда деваться со свободой, и направить его некому: он снова хочет поступить в сербскую военную службу, для

чего и приехал в Белград. Вид его такой добродушный, взгляд довольно смысленный; в обществе он больше молчит и будто все наблюдает. Затем следует практикант: молодой, недавно окончивший курс в Лицее, прежде был очень благонамеренный, теперь стал филистерски либерален и в оппозиции к новому правительству; одет всегда очень прилично; имеет небольшую итальянскую бородку и необыкновенно белые зубы. Один — пожаревлянин (из города Пожареваца): высокий брюнет; лицо продолговатое, черты лица тонки, говорит басом, но мягко и плавно; в сербском костюме. Неготинец — лет 50, из первых тамошних торговцев и привез вина на продажу; у него круглое лицо, нос короткий, широкий у основания, с заостренным концом, все черты лица мелкие, руки и ноги маленькие, во всем теле полнота; он в европейском сюртуке, но сверх сербская шубка с широкими рукавами, опущенная лисичей. Он держится с достоинством, на поклоны отвечает внимательно, но сдержанно, как будто не узнает или старается узнать; в движениях плавность, а иногда будто порывы нетерпения; он то и дело барабанит по столу пальцами, плоскими с тонкими оконечностями и унизанными перстнями. Наконец, унтер-офицер в сером мундире с красным кантом и такой же шинели, в фуражке, сдвинутой на затылок. Вся его фигура топорной работы: высокий и широкий, нос закругленный, лицо рябоватое, серые глаза, темные волосы; простота и желание казаться очень умным и даже несколько ученым. Он прилежно читает журнал «Воин», вычитывает оттуда кое-какие сведения по географии и истории и при случае может высказать свои знания. Кстати, замечу, что «Воин» составляет весьма порядочное чтение и на солдат производит действие несколько развивающее. Этот унтер-офицер — бывший сослуживец ужичанина и по его приглашению ужинает с ним. Севши за стол, он широко расставил ноги, так же раздвинул руки под шинелью, облокотившись всем корпусом на стол, так что одна половина сильно угнулась, чего он, однако, не заметил; крепко прижал мою ногу к ножке стола и также не почувствовал ничего; высморкнулся в салфетку совершенно откровенно, несколько раз утерев нос туда и сюда, а не так, как это делают другие: будто утирая губы, захватывают нос. У него все просто. В движениях — самоуважение, в убеждениях — лояльность, в целой фигуре — слонобая сила.

После ужина завязался разговор весьма разнообразный и интересный объективно, по тем сведениям, какие можно было из него почерпать, и субъективно, по той характеристике, которая вытекала сама собой из высказывавшихся тут мнений.

Сначала говорили о плавании по Дунаю от Неготина до Белграда, где на пути представляют большое неудобство так называемые дердапы, т. е. каменные пороги, пользуясь которыми, австрийское пароходство только непомерно возвышает плату за провоз и не делает никаких улучшений. Неготинцу особенно не по нутру были воскресные школы, которые вздумало новое правительство заводить везде через посредство полиции. Говоря о школах, неготинец приходил в странное негодование на то, что он должен посылать в школу своего работника или приказчика: «Да разве я его для того держу, чтобы он в школу шлялся? Мой приказчик и в воскресный день не смеет у меня отлучиться: неравно на что понадобится. Хотят также, чтоб мы своих девочек туда посылали. Это еще к чему? Да моя дочь и дома выучится всему, что ей надо. Выдам я и без того свою дочь за лучшего человека, войдет она в богатый дом, в полное хозяйство; не книжки ей тогда читать. Да и учить-то некому». Последнее заключение он сделал на том основании, что лучший, по его мнению, учитель не принял участия в этих школах; а достоинство того учителя, по словам его же, заключалось в том, что у него дети по струнке ходят, а что он много знает, видно из найтого им имени и из того почета, в каком он состоит у своего начальства.

Из этого не следует, однако, выводить, чтоб серб не понимал важности учения; напротив, сербы очень охотно дают на школы, и на каждой скупщине делаются предложения новых пожертвований; но они не терпят навязывания, и особенно через полицию, которая у всех в страшной ненависти. «Да как и не быть ненависти! — заметил пожаревлянин. — Ведь начальники у нас все общество расстроили. Мы-то пошли друг на друга, друг к другу веры нет». «У нас тоже, — подхватил неготинец, — чуть что поговоришь в кофейне, уж начальству все известно. На другой день зовут к начальству: ты говорил то и то? Говорил. Взять его на протекан. А там от министра приказ: немедленно чтоб явился в Белград; а не явится волей, препроводят с жандармами. А за что? И куда жаловаться?

Если мне сделают какую неправду в суде, я пойду в апелляцию; там не найду управы, — в кассацию; а на полицейских и суда нет».

Унтер старался во всем обвинить общество, так как откуда, как не из него же и берутся и шпионы. На это возражал пожаревлянин: «Легко найти дурного человека в каждом обществе. У нас есть один такой, который тем только и живет, что лжет, да обманывает, да чужие дела расстраиивает. Бывало, узнает кто, что у нас сладилось какое-нибудь дело, которое хотелось бы ему самому, — подойдет его, и дело расстроилось. Вот такого-то человека найдет начальник и мутит через него целое общество. Все его боятся, потому что он всегда может оклеветать. Или возьмет начальник какого-нибудь пандура, просто *геака*<sup>135</sup> (поселянина, ничего, кроме земледельческого труда, не понимающего), научит его, он и шпионит».

Что это не пустые жалобы, подтверждением служит скупщина 1869 г.<sup>136</sup> и то упорство, с каким все скупщины не допускают к выбору чиновников. Как ни старался унтер отстоять начальство, все ему не удавалось: что ни скажет — все невпопад. Никто не проникся даже уважением к его учености, и он сосредоточился на беседе со своим приятелем ужичанином, который держался все время очень скромно, не вступал в споры, а только рассказывал, как учителя собирают с учеников дань яблоками, как они в школах держат гусей и другую домашнюю птицу, заставляют детей работать в огороде и т[ому] п[одобное]. К нему-то теперь обратился унтер: «Ты знаешь, — говорил он как-то особенно конфиденциально, — я теперь так узнал науку, умею вести всякие счета и канцелярские порядки и умею так *фино* (тонко) обмануть, что сам Бог не узнает».

Через несколько времени он перестал быть лояльным, потому что его обошли при производстве, вышел в отставку и стал выражать недовольство правительством. Встретившись однажды с ним, я спросил его, почему он вышел в отставку. «Не могу выносить, чтоб мне приказывал человек, который стоит ниже меня по познаниям, — ответил он и потом таинственно добавил: — Вы не знаете, ведь я *либералец!*» С этого времени он почувствовал сильное призвание к дипломатическому поприщу, на котором в Сербии подвизаются многие вроде его, и почему-то принялся искушать русский консулат, но и тут потерпел неудачу.

Практикант был молчалив и только, когда ругали прежних чиновников, многозначительно заметил: «Посмотрим, каковы-то будут новые». Весь этот разговор я сообщаю в том виде, как записал его в тот самый вечер с точностью, какую допускала моя память, ни прибавивши, ни убавивши и не изменивши ни йоты, и предлагаю его здесь читателю, как образчик того материала моих ежедневных бесед, из которых я в других случаях предлагаю читателю одни выводы.

Живя почти год в одном и том же обществе, как в одной семье, имея для наблюдения сотни лиц, я заметил некоторые характеристические черты, отличающие не личности, а целые группы одну от другой и отвечающие отдельным местностям. Разница эта выражается иногда всей физиономией, иногда языком, а иногда особенной манерой и особенными тенденциями. У сербов, как и у нас, жители одной местности дают различные прозвания жителям другой и рассказывают о них разные характеристичные анекдоты. Удивительно встретить такое сознание разности в жителях Сербии на таком незначительном пространстве и при таком незначительном населении; но эта разница существует действительно, и причина ее заключается в том, что княжество Сербия населялось, и до сих пор продолжают в него доселяться из различных местностей: из Боснии, Герцеговины, Старой Сербии, Болгарии и др[угих]. Не пускаясь в подробную характеристику всего сербского народа, я представлю здесь несколько характеристических черт того только общества *паланчан*, в котором жил в Белграде.

Шабач и Смедерево после Белграда самые важные торговые города Сербии — первый на р[еке] Саве, близ западной границы, второй на Дунае, к востоку от Белграда; поэтому из них больше всего наезжает торговцев; но в характере торговцев того и другого рода есть разница. Шабчане являются редко, но всегда довольно большим обществом и держатся между собой дружно и особняком от других, в разговоре либеральны, но неподатливы на разговор; их занимает больше всего торговля, и они стремятся поставить ее на те же самые основания, на каких она находится в остальной Европе; большая часть их большого роста, говорят чистым сербским наречием. Смедеревцы являются чаще, врассыпную, и иногда как будто избегают друг друга, но с другими сходятся легко, третируют их несколько свысока, как люди более просвещенные, любят говорить о политике, поэтому иногда читают газеты, они тщеславятся своим либерализмом



и сразу же его заявляют; сильно желают казаться европейцами и осуждают варварство и необразованность других из своей братии, все меры правительства подвергают строгой критике; общего типа не имеют, представляют значительную смесь, но все-таки в физиономии преобладают черты мелкие и тонкие, в языке некоторая изысканность, однако не совсем сербская. К смедеревцам примыкают пожареваляне, только в последних больше связи друг с другом, больше духа общности во всех делах, как в торговых, так и в общественных, напр[имер], в оппозиции против полиции держатся необыкновенно дружно между собой и с другими классами, с чиновниками юстиции и просвещения; в них много гуманного развития, есть любовь к театру, литературе и другим свободным искусствам; тип более общий и чисто сербский, чем у смедеревцев. Крагуевчане вместе с рудничанами представляют самый чистый тип серба: смотрят солидно, понимают хорошо всякое дело, но ничем посторонним не увлекаются, так они относятся и к политике; торговля как бы не составляет их призвания настолько, насколько у других. К ним значительно подходят валеvцы, хотя последние менее сдержаны и сосредоточены на одном своем деле, политика внутренняя их сильно интересует; в них нет нисколько скрытности, но держатся в то же время с тактом, прямо и без всякой манерности; в них меньше, чем в других, самодовольства, они сильно жалуются на *каишарство* (мошенничества, совершаемые с помощью чиновничьих проделок), которое, как зараза, вкоренилось у них с недавнего, впрочем, времени, именно около десятка лет; по наружности они одинаковы с предыдущей группой: высоки, стройны, наречие их считается самым чистым сербским. Ужичанина вы отличите прежде всего по его наружности: высокий и тонкий, продолговатое лицо с тонким носом, блондин; в нем смесь добродушия с хитростью, у него много песен и рассказов, он любит и умеет сосрить, но совершенно наивно, никого не оскорбляя, это его потребность; в политике слаб. Подринцы отличаются некоторой застенчивостью и скромностью, они несколько подходят под ужичан, но держатся больше в обществе шабчан, от которых учатся всему. Ягодинцы<sup>137</sup> плохо говорят по-сербски: в выговоре слышится какое-то пришепетывание, неправильно употребляют предлоги, часто пренебрегают падежными окончаниями; веселый и бойкий народ, горячи и суетливы; любят наслаждения, больше других сербов проявляют

черты турецкого характера; хорошие торговцы и в политике довольно либеральны. Другие не имеют особенно резких отличительных черт. Так, тюприйцы<sup>138</sup> совершенно бесхарактерны и напоминают то смедеревцев, то ягодинцев, то крагуевчан; находящиеся в том же окружении паратинцы отличаются торговой предприимчивостью, несмотря на то, что живут глубоко во внутренности Сербии, стараются войти в непосредственные связи с границей, и многие отправляются за товарами в Вену. Торговцы из Алексинаца<sup>139</sup> наружностью напоминают несколько ужичан, из Княжеваца — любят щегольство; и те, и другие заняты идеей о заграничной торговле; крушевляне мне знакомы меньше всех, но те личности, что я видел, показались мне менее развитыми, чем другие, и заняты были мелкими счетами до того, что в беседах остального общества не принимали никакого участия. Заечарцы<sup>140</sup> и неготинцы — представители особого типа восточной Сербии. У заечарца короткое лицо, значительно выдавшееся вперед, нос кругловатый или несколько вздернутый, глаза большие навыкат, все почти брюнеты; в манере — простота, в разговоре — резкость, в образе мыслей они самостоятельны и к правительству относятся критически; угрюмы, земледелие предпочитают торговле. Неготинец — смуглый, с круглым лицом, с коротким, несколько заостренным носом, глаза также навыкат, но чрезвычайно живые, во всей манере подвижность; он любит повеселиться сам и угостить другого, любит поплясать, любит цыган, музыкантов, которые в Неготине славятся на целую Сербию и воспевают тамошнего героя Гайдук-Велька. Во всех сербах, даже в поселянах, меня поражали необыкновенно маленькие и деликатные руки, стройность, ловкость и некоторое изящество манер. Серб не станет размахивать целой рукой до плеча, как наш брат русак, вся жестикуляция ограничивается у него кистью руки; в лице необыкновенно развита мимика, но тонкая, легкая, быстрая. Облекаясь из своей гуни в военный мундир или в немецкий сюртук, он несколько не кажется неловким и в этом новом костюме. Все формы европейской жизни усваиваются ими весьма легко.

Этим мы закончим характеристику моего провинциального белградского общества, из которого я вынес много воспоминаний лично для меня весьма дорогих; этим можно почти покончить и с Белградом, потому что жизнь до катастрофы и после нее существенной разницы не представляет. Жизнь во время осадного положения,

продолжавшегося полгода, была совершенно такая же, как и в первые два месяца. По снятии его все как будто несколько ожило, но общественных собраний по-прежнему не было никаких. В частных домах стали собираться чаще и свободнее для празднования *славы* или других годовщин, чаще и громче стали раздаваться здравицы, причем заявлялось, что «вот, мол, до какого блаженного времени мы дожили, как свободно собираемся и как свободно можем говорить!». Но все, что говорилось в этих собраниях, было узко частного свойства и по-прежнему не касалось никакого ни политического, ни общественного, ни научного или культурного вопроса, и заявления о свободе показывали только, что прежде было ужасное стеснение. Много лет более свободной жизни нужно, чтоб жители Белграда исцелились от той сдержанности, доходящей до скрытности и недоверия друг к другу, к чему их приучила вся предшествовавшая жизнь.

Впрочем, новая жизнь меньше чем в год успела заявить себя некоторым движением в обществе. Она дала существование некоторым новым журналам: «Единству» (политич[еский]), «Школе» (педагогич[еский]), «Правде» и «Судскому листу» (юридич[еские]), «Селяку» (земледельческо-промышлен[ный]), «Заре» (литературн[ый]); вызвала учреждение банка и общества для перевозки товаров; между ремесленниками также явилась идея ассоциации; по разным городам стали то и дело открываться «читалища» и общества с художественно-литературными целями; во всех отраслях государственной жизни предприняты реформы; составлена комиссия для преобразования всех школ Сербии. Все это только движение, из которого покуда еще ничего не видать, но от которого во всяком случае можно ожидать большего, чем от прежнего застоя. Если Сербия будет продолжать идти хоть по этому скромному пути, можно будет довольствоваться и тем. Покуда это зависит от личностей, в руках которых находится регентство, но через год, кажется, власть и с ней судьба Сербии перейдет в руки ее молодого князя, которому можно пожелать, чтоб он, следуя дяде и деду, усвоил их добрые качества и отказался бы от тех, которые задерживали народную жизнь и были причиной их собственной гибели. На регентах и наставниках князя, конечно, лежит обязанность открыть ему и то и другое со всей искренностью, какой требует от них доверие поставившего их народа, поручившего им воспитать хорошего правителя.

Следовало бы поговорить о театре, но тогда привелось бы коснуться целого репертуара, что завело бы нас слишком далеко; поэтому я ограничусь только двумя-тремя замечаниями о том, как относится к нему публика. На театр сербы смотрят очень серьезно и с точки зрения чисто реальной: они требуют, чтоб он изображал им действительную жизнь, настоящую или прошлую, и в этом изображении ищут разрешения занимающих их политических и общественных вопросов. К сожалению, сербская литература, хотя для изображения прошлого имеет кое-какие исторические драмы и трагедии, но к настоящей жизни и не прикасалась и потому угощает свою публику переводами, и то неудачно: она довольствуется только пустыми водевилями и фарсами или странными, рассчитывающими на один грубый эффект мажарскими комедиями, в которых не знаешь, плакать или смеяться, и вся основа держится на небывалой и невероятной случайности. Поэтому публика к театру довольно равнодушна; но нужно посмотреть на эту публику, когда дается пьеса, задевающая ее чувство: она вся отдается сцене и шлет свое одобрение или неодобрение не актерам, а тому или другому действию или личности, выведенной на сцене. Я слышал, как вся публика с актерами вместе пела песню «Восстань, восстань, сербин, восстань за свободу! На ноги, сербы-братья! Свобода нас зовет!». Один раз на сцену выведен был шпион и пролаза, публика пришла в ярость и крикнула: «Вон Бана, вон!» — и Бан, чиновник каких-то тайных поручений, презираемый всяким честным человеком, но ласкаемый всяким сербским правительством, должен был уйти из театра. В нынешнем году Субботич<sup>141</sup> поставил на сцену ничтожнейшую и нелепейшую пьесу «Сон наяву», где сначала служится панихида по князе Михаиле, а потом является св. Савва<sup>142</sup> и, точно фокусник, показывает прошлое Сербии таким образом, что по сцене проходят при освещении бенгальским огнем все бывшие сербские крали, и Савва поясняет историю каждого точь-в-точь, как в зверинцах показывают зверей. Театр в продолжении трех спектаклей был полон, потому что публика не знала вперед пьесы, но теперь эта пьеса не смеет больше появиться на сербской сцене: она забракowana публикой на основании критики чисто реальной. В этом смысле у публики несравненно больше смысла и вкуса, чем у господ сочинителей, которые, однако, третируют публику свысока и винят ее в равнодушии к искусству.

Мы видели с читателем, как шьется обувь и платье, как подковываются быки и лошади, как пекутся хлебы, как строятся сербские дома и т. д.; прошу теперь заглянуть в лаборатории, приготовляющие пищу, которой насыщается ум сербского народа. Мы пропустим поэтов, поющих в одно и то же время и слезные иеремиады, и хвалебные гимны; не затронем и философов, думающих об том только, чтоб выдумать то, чего никто другой не выдумает; но заглянем в те святилища, откуда идет импульс политической жизни в форме различного рода «Новин»<sup>143</sup>.

Вот вам один из этих жрецов отыскивает самое видное место в своем журнале для помещения статьи, *присланной ему* без авторской подписи, в которой побивается в прах все, чем он прежде жил, чему он отдал лучшие годы своей жизни, за что он шел в тюрьму и готов был пойти хоть на виселицу. Взглянувши на него в этот момент, можно было заметить, что он теперь страдает больше, чем когда-то в тюрьме, в сырости, на голой земле без постели, не зная, что его ожидает впереди; а между тем он старается всех уверить, что это так и следует, что эта гнусная статейка вполне согласна с его убеждениями. Это — сербин, который не поддался ни страху, ни корысти, но за *инат*<sup>144</sup> (наперекор), по упрямству, готов отрицать целому свету очевидную истину.

В другом подобном святилище происходит другая сцена. Сочиняется корреспонденция из Лондона: «Непроницаемый туман покрывает столицу Альбиона, еще непроницаемое туман, покрывающий действия здешней дипломатии» и т. д. Это пишет один, другой на основании такой корреспонденции сочиняет целую передовую статью в таком роде: «Наш лондонский корреспондент очень метко выражается, что туман покрывает истинные мысли английской дипломатии» и т. д. Таким образом, весь номер составляется двоими лицами. Но как ни трудились они, остается еще на листе значительное пустое пространство, несмотря на непрошенное объявление множества объявлений.

«Ваша передовая статья, доктор, великолепна, — говорит корреспондент, — но вы могли бы написать еще что-нибудь по вашей специальности относительно народного здоровья, вот хоть бы напр[имер] по поводу анатеринской воды». Об этой воде объявление вы могли найти в каждом номере той газеты, а теперь специалистом на-

писана целая статья в том смысле, что, мол, мы объявляли об ана-теринской воде для полоскания зубов недаром; послушайте, что это за вода: она полезна старым и молодым, для больных и здоровых зубов и т[ому] п[одобное]. Таким образом номер наполнился и выходит в свет. Иногда, несмотря на все усилия, он не в состоянии наполниться, тогда в следующем номере является статья, объясняющая причины невыхода: во-первых, новая почта опоздала вследствие идущего по Дунаю льда, а во-вторых, в свете нет ничего интересного, поэтому публика ничего не теряет, — что, между прочим, она давно уже догадывается и сама, и постепенно перестает читать эту газету.

Есть газета «Световид», которая выходит в неделю три раза. Она напускает на себя характер *всеславянский* и потому, вероятно, пишется особенным языком, составляющим нечто среднее между сербским, болгарским и русским, от последнего в особенности заимствует правописание и упорно держится *ъ* и *ѣ*; в ней часто помещаются целиком статьи на болгарском языке, и все-таки не на чистом, а с подмесью — все же ради всеславянства. Политические известия играют второстепенную роль, но главное — передовые статьи и корреспонденции. В составлении первых часто отличается Бан и разные славяне, а последние сообщают ужасные истории, изобличающие варварство турок. В фельетоне много переводов с русского, так, «Смерть Иоанна Грозного» (соч[инение] Толстого) переведена почти целиком, да местами вовсе не переведена, а просто перепечатана. В каждом почти номере стихотворение, оплакивающее смерть покойного Михаила или пророчащее великую судьбу новому князю Милану, а то, пожалуй, поздравление черногорскому князю Николаю<sup>145</sup>. Замечательно следующее: не знаю, платит ли кому-нибудь из сотрудников редактор, но знаю, что ему некоторые платят за напечатание от одного и до двух дукатов за одно какое-нибудь небольшое стихотворение.

Есть, наконец, сатирический журнал «Ружа» («Роза»), наполняющийся остроумием одного лица, но для наполнения помещающий также перевод с русского, напр[имер], «Ревизора» — Гоголя, в сокращениях, переделках, а отчасти почти целиком перепечатывая оригинал.

Поэзия и журналистика составляют достояние целого народа, потому что на этом поприще подвизаются решительно все классы: поселянин, торговец, чиновник, учитель и ученик, священник, солдат и т. д. Написать какое-нибудь стихотворение на случай или

настроичить корреспонденцию из внутренности Сербии обличительного свойства, а то, пожалуй, представить свои соображения по случаю той или другой реформы или экономической затеи, может всякий. Этому помогает довольно распространенная грамотность, следовательно, чтение и легкость сербской орфографии, которая отбросила все исторические ненужности и следует одному выговору. Потом нельзя не заметить, что в сербском народе довольно развито участие к делам общественным и политическим, что прямо вытекает из его непосредственного участия в этих делах: как ни недавня Сербия как независимая страна, как ни низок там уровень наук, но общее развитие в массе стоит несравненно выше, чем у нас, и масса несравненно больше живет политической жизнью, чем в России так называемое общество.

Зайдем, наконец, в народное читалище. Оно помещается в одном доме с училищем, рядом с соборной церковью. Несмотря на весьма тесный и невидный вход с улицы, вы там найдете весьма просторное помещение, состоящее из трех больших комнат. В одной библиотека, в которой замечательно собрание всех сербских журналов и газет от старого времени и до новейшего; другая назначена собственно для чтения: в ней несколько столов, больших и малых, три диванчика, стулья и кресла; в третьей тоже читают, но могут посетители курить и беседовать, и от второй она отделяется стеклянной дверью. Молодежь и люди средней руки читают во второй комнате, а старики и люди более почтенные и важные читают в комнате, назначенной для бесед и куренья, во-первых, чтоб не смешиваться с мелкими людьми, а, во-вторых, потому что там кругом миндерлук с мягкими тюфяками и подушками, следовательно, больше комфорта. По стенам во всех комнатах картины и ландкарты, большей частью старые, и вообще в этом *украшении* не видно ни плана, ни цели, так как все это попало сюда случайно, потому что пожертвовано; не случайно попал только во весь рост портрет Милоша Обреновича. Между портретами знаменитостей рядом с царями и юнаками, с Релей-Крылатым и Кралевичем-Марком красуется портрет Субботича, из чего можно, пожалуй, заключить, что он составляет первую знаменитость в современном сербстве. Газет достаточно: все сербские и главные или, по крайней мере, одна или две газеты других славянских народов и, между прочим, три русских («Русские

Ведомости», присылаемые даром, и «С[анкт]-Петербургские Ведомости»<sup>146</sup> выписываемые, и «Иллюстрация»), одна польская и одна чешская. Между ними больше всего читаются «С[анкт]-Петерб[ургские] Вед[омости]», чешская газета «Наши листы» читается много меньше, а польскую (краковский «Час») я постоянно находил нетронутой. Немецких газет достаточно, есть две специальные (медицинская и судебная), все они большей частью австрийские; две французских: «Débats» и «Indépendance». Французские большей частью уносятся в комнату старичков; а аугсбургская «Всеобщая Газета» почти не трогается с места: ее мало читают, потому что она непохожа на газету, а точно книга какая. Английских нет ни одной. Вообще, в читальнице достаточно газет и довольно комфортно, но существование его весьма шатко. Комната, назначенная исключительно для чтения, не представляет большого интереса: все только читают, и разговоров почти никаких. Но зато в другой комнате, с миндерлуками, есть что послушать. Утром обыкновенно мало посетителей, и все пожилые, досужие люди. Их разговоры утром не оживлены, и с толков о предстоящей войне у кого-нибудь, на основании каких-нибудь грозных и задираательных против России статей в «Пестер-Ллойде», вместе с необыкновенными явлениями в природе, вроде грома в декабре месяце, переходят на рассуждения о том, какая баня лучше: илиджа, которая называется также русской, или амам — турецкая баня. А часов в 5 вечера соберется здесь много старичков, профессоров и чиновников, и ведется живая беседа о политике, впрочем, только об иностранной, а о своей, домашней — ни слова. Одно только время перед созванием «Конституционной комиссии» (6 дек[абря] 1868 г.) сенаторы<sup>147</sup> здесь чрезвычайно свободно выражали мнение, что новое правительство не имеет права изменять Устав Сербии; но, когда слово стало делом, они больше уже не говорят этого.

Когда-то эти старички стояли близко к народу и играли важную роль в судьбе Сербии: они сменяли князя, два раза прогоняли Обреновичей и один раз Карагеоргиевича; они знали народ, и народ их знал. С 1858 г. благодаря тому, что в делах приняли участие люди с европейским образованием и ныне находящиеся во главе сербской либеральной партии, появление демагогов уже невозможно больше. Последним демагогом был Вучич, который в 1858 г. уступил свою роль либеральной партии и, конечно, пропал. С тех пор в Сербии



все делается не именем народа, а именем князя и его правительства; с тех пор, можно сказать, Сербия сделалась вполне европейской монархией и старички больше уже не бушуют, дорожа своими местами, приносящими им хороший доход от правительства.

Как ни серьезен, ни расчетлив, ни практичен серб, он часто отдается мечтам и фантазиям.

Вот, напр[имер], один из важных чиновников, человек с французским образованием, в скучный зимний вечер опочил от государственных забот, весь отдался какой-то мечте, задумал что-то и просит свою молодую супругу с великосветским образованием, раскинуть на картах, сбудется или не сбудется. Она раскидывает карты несколько раз, и все выходит какой-то удар в виде пикового туза, и удар этот от червонного короля. Оба супруга словно чем опечалены и озабочены. Но что это за мечта? Того нам, конечно, не отгадать. Мы можем, однако, сказать вообще, какие мечты обуревают серба, стоящего на различных степенях: чиновник, будучи еще практикантом, мечтает сделаться министром или сенатором, основываясь на том, что многие попадали в эти высокие звания, едва зная грамоте; всякий министр или сенатор мечтает сделаться если не князем, то каймаком<sup>148</sup> или по крайней мере первым лицом после князя; а сколько теперь готовятся в кандидаты на различные высокие посты, которые должны открыться, когда Сербия присоединит к себе Боснию, Герцеговину и Болгарию! Один, напр[имер], производя свой род от Искендер-бега, живет надеждой сделаться государем Албании. А таких в Сербии не один.

Не удивляйтесь тому, что образованный человек прибегает к гаданью. В кабинете также важного и образованного чиновника вы найдете книгу «Сановник и рожданик» («Сонник и угадывание судьбы по дню и году рождения»), к которому прибегает если не он, то его супруга, великосветская дама. И в то же время этих людей нельзя назвать суеверными, потому что они не верят ничему. Это напоминает мне многих у нас, которые в особенно важных случаях жизни ставят свечи и заказывают молебны, а во все остальное время не вспомнят ни о Боге, ни о церкви. Неужели они верят?..

Оставим важных людей мечтать и гадать и обратимся к особенному, отдельному маленькому миру, не занимающему никакого общественного положения, но тем не менее в просвещенных государ-

ствах составляющему главный предмет заботливости, — я разумею мир детей. В Сербии нельзя сказать, чтоб об детях заботились очень много, что, может быть, и лучше; благодаря отсутствию педагогики дети развиваются довольно свободно и самостоятельно, и в этом детском мире вы встретите явления, противоречащие всей общественной жизни.

В моих воспоминаниях детские образы занимают далеко не последнее место. Сколько раз мне случалось, приходя к одному знакомому и не заставая его дома, от старших получать деликатно выпроваживающую фразу: «Господина дома нет», а семилетний ребенок в то же время как полный хозяин приглашал войти в комнату и подождать отца, тащил за руку, усаживал, давал мне последний номер газеты или занимал разговором, спрашивая, давно ли я получил письмо от своих, когда я поеду домой и т[ому] п[одобное]. Откуда в нем такая серьезность и такое умение, когда при нем же другие поступали совершенно иначе?..

А вот вам другой экземпляр. Этот летами еще моложе. Он лежит на кровати отца, а отец велит ему идти в свою комнату спать. «Не пойду», — отвечает он отцу. — «А я тебя ремнем!» — «Бей, а я все-таки не пойду». Такая решимость на этот раз озадачила отца, который в другое время не замедлил бы привести угрозу в исполнение. «Почему же ты не хочешь меня послушаться?» — «Да ведь сам же ты сказал, что мы должны ложиться спать в 8 часов, а теперь только 7». Действительно, отец, рассудив, что нелепо гнать ребенка так рано, да и самому перед ним нарушать закон, оставил его в покое.

В одном переулке постоянно сидела полунагая больная, нищая цыганка. Один мальчик вертелся перед ней, фиглярничая и задирая несчастную. Это увидел другой, несколько не больше, не старше того, и как истый сербин кинулся на него с самой яркой бранью за то, что он трогает бедную цыганку, и тот не смел ему противоречить и поторопился убраться. Я никогда там не видел, чтобы дети глумились над каким-нибудь уродцем или нищим; я видел, как эти мальчишки с каким-то презрением или сожалением сторонились от вечно пьяного Миши, который сам втирался в их толпу и напрашивался на обиды; только одного идиота иногда преследовали, и то больше по наущению взрослых, но этот идиот сам назывался на обиды: кланясь перед каретами и перед важными людьми, он с презрением

относился к простым людям и иногда заявлял претензии приказывать что-нибудь детям.

В этих детях я не заметил ни боязни, ни застенчивости; а по разговорам и поступкам они точно взрослые. Вспоминаю я одного сельского мальчика. В субботу он воротился из школы (за два часа от той деревни), где он обыкновенно оставался целую неделю. Его трясла лихорадка. Мать уложила его и закутала. Через несколько времени хватились, а его нет. Едва успел несколько отдохнуть, он побежал посмотреть лошадей и, воротившись оттуда, обратился к отцу с упреком, почему лошадь похудела. «Если вы будете так скряжничать, не станете как следует кормить, не будет она вам как следует и работать», — заключил он свое увещевание родителю и снова полез, бедный, под шубу, потому что лихорадка еще не оттрясла.

Случилось мне у одних знакомых быть в гостях. Дома была только жена и повела меня в сад кормить черешнями. Вдруг раздался резкий плач ребенка. Мать побежала на крик. У ребенка (четырёхлетнего) вся левая сторона под ухом была в крови. Это его ударил камнем товарищ. На осмотре оказалось, что рана незначительна, сорвана только кожа за ухом и немного с уха; мать успокоилась, обмыла ему рану, но ребенок ревет без уйму. «Что ж ты плачешь, — урезонивала его мать. — Разве ты не юнак и не можешь сам его камнем?» Ребенок сию минуту стих, схватил камень, который едва мог поднять, и спокойно уже сидел на пороге калитки, поджидая своего врага, тогда как глаза полны еще были слез.

Хватить друг друга камнем им нипочем, впрочем, большие ушибы почти не случаются, но рукопашные драки очень редки. Плач детей также редко мне приводилось слышать.

Их постоянные игры: или в лапу (в мяч), для чего гурьбой отправляются на Врачар или на Калимегдан, или в купу, в которой ставят несколько орехов (грецких) на кон и сбивают их издали также орехом, стреляют из пистолета, но чаще всего вы увидите, что они бросают камни: берут камни большие и стараются кидать их, кто дальше.

Надзора за ними нет почти никакого, они совершенно предоставлены сами себе, и при всем том проказ у них очень мало. Шляющихся детей без дела там нет: они непременно исполняют какие-нибудь службы, так, напр[имер], носить кувшинами воду от чесмы

(водопровода) — их постоянная обязанность, или они в школе, а в свободное время играют, иногда в кучку и хором поют, расхаживая по Калимегдану.

Учатся они и ходят в школу очень охотно. Один знакомый мне маленький мальчик пешком пришел в Белград из Ужица, чтоб поступить в реальную школу, и это было его собственное сильное желание. Но в то же время случалось видеть, как шестилетнего ребенка барского воспитания, тащит в школу лакей.

Вообще здесь детей очень рано отдают в школу, чтоб избавиться от обязанностей заботиться о них дома. Держат их дома довольно порядочно, т. е. не мучат дрессировкой и чисто одевают. Но иногда вы встретите довольно оригинальное домашнее обучение. Так, отец спрашивает маленького сына (большей частью при гостях): «Кто ты?» Он отвечает: «Сербин». — «Где пропало сербское царство?» — «На Косовом поле». — «Кто погиб на Косовом поле?» — «Царь Лазарь, девять Юговичей и все сербское юнацтво<sup>149</sup>». — «А еще кто?» — «Царь Мурат». — «Как он помер?» — «Его зарезал Милош Обилич». — «Чем же мы помянем царя Лазаря, Милоша Обилича и всех сербских юнаков?» — «Вечная им память». — «А Мурата?» — «Будь он проклят». — «Кто неприятель серба?» — «Турок». — «А еще кто?» — «Шваба»<sup>150</sup>. — «Чего же ты им желаешь?» — «Я возьму саблю и посеку им головы»... Конечно, такой оригинальный катехизис преподается не во всех домах; но где только родители принимают на себя роль воспитателей своих детей активно, там воспитание это идет, если не в той форме, то в том же духе.

На такой почве, конечно, трудно ожидать, чтоб могли пустить глубокие корни гуманизм и гражданственность. Один отставной капитан, человек редкой честности и, несмотря на то что не получил хорошего первоначального образования и развился так сказать в казарме и в войне, принадлежащий к лучшим людям либеральной партии, именно в этом воинственном духе и в системе строгой дисциплины воспитывает своих детей; но, как человек очень умный, понимая всю несообразность такого воспитания, нередко пояснял мне: «Видите, в каком мы положении: мы должны из наших детей готовить вместо гуманных граждан диких солдат, потому что нам еще грозит война с турками и борьба с варварами, с которыми нужно меряться тем же самым оружием, каким пользуются и они против нас». Конечно, все

это только извинения, не имеющие за собой истины, но на этом основании делается очень многое в Сербии: во имя постоянно грозящей войны Сербия жертвует своими истинно человеческими интересами. Вот откуда выходят эти характеры, в которых столько твердости и упорства на время, и которые так легко меняются и уступают в борьбе продолжительной и ведущейся на иных началах; отсюда в сербе развивается упрямство вместо твердости, жестокость вместо истинного мужества.

Я уже говорил, что дети у сербов — главные деятели при различного рода торжествах и невинных демонстрациях; где нужно надеть шуму и крику «ура!», туда не только пускают, но еще нарочно посылают детей. Роль эта, конечно, незавидная и отчасти невыгодно действующая на их моральное развитие и направление, но они исполняют это как гражданскую обязанность и бывают участниками в демонстрациях более серьезных. Когда турки занимали крепость и жили вообще в Белграде, дети постоянно делали атаки на крепость, пуская туда град камней, и нередко вступали в бой с часовыми турецкими солдатами, а в городе постоянно завязывали бой с турками, и не с равными себе детьми, но с взрослыми. В 1862 г. в одном из подобных столкновений у чесмы турки убили одного мальчика, и это послужило поводом бомбардирования Белграда. И во время самого бомбардирования, в то время как взрослые граждане от страха спрятались в подвалы, а многие бежали без оглядки в Топчидер или куда попало, дети смело шли под выстрелы и оказывали разного рода услуги войску; а одна кучка подкралась под самую крепость, украли турецкую пушку и скатила ее под гору. В 1858 г., в то время как в конце города в пивоваренном здании собралась скупщина и, решившись прогнать Карагеоргиевича, рассуждала, как это сделать, один преданный династии офицер вывел из крепости отряд конного войска, чтоб напасть на скупщину. Этот маневр первые заметили дети, они засели в одной узкой улице и, когда показалось это войско, осыпали его камнями, так что оно смутилось и задержалось: поднятый ими крик обратил внимание людей, действовавших со скупщиной, и заставил их принять свои меры. Один из офицеров несколько раз наскокивал на толпу детей и, замахнувшись саблей, заставлял их кричать: «Живио<sup>151</sup> Карагеоргиевич!», но они всякий раз, рассыпавшись перед ним, кричали: «Живили Обреновичи!».

В них чрезвычайно много истинной отваги, много сметливости и ловкости; но что из них выходит впоследствии? Можно ли подумать, что из этого бойкого, смышленного и смелого мальчика со временем выйдет филистер, бюрократ и унижающийся перед всяким, кто стоит выше, торгаш? Куда деваются впоследствии все эти добрые качества, где портятся и пропадают все эти живые, здоровые силы? Загляните в школу, разберите господствующую там систему среднего и высшего образования, и вопрос решается сам собой: вы удивитесь, как еще находятся люди, которые, несмотря на все усилия испортить их, попав в более благоприятные условия, успевают развиться и впоследствии являются крепкими и здоровыми деятелями, и если до сих пор не могли оказать сильного влияния на положение дел своего отечества, то под их влиянием приготавливаются новые силы, образуются новые борцы свободы и просвещения, и в то время как прежние либеральные силы, одряхлев, постепенно переходят в лагерь консерваторов, на их место готовы уже новые деятели с более глубокими принципами и более твердого закала. Сербская молодежь, в настоящее время оканчивающая образование в различных местах за границей, стоит несравненно выше предшествующего поколения, а молодежь, остающаяся в Сербии, состоя в живой связи со своей заграничной братией, идет по тому же направлению, и из этого организуется новая сила, молодая Сербия.

Что же остается в результате? Настоящее положение Сербии незавидно; ложный путь, на который она выступила с самого начала под неблагоприятным влиянием таких государств как Австрия и Турция, принес ей уже много зла, подвергая ее ряду революций, за которыми постоянно усиливается централизация и деспотия, принес ей систему, отнимающую у народа возможность правильного и самостоятельного развития.

Но в народе много еще нетронутых, свежих сил, пусть их гнетет политическая система, портит школа, зато их воспитывает дух времени, господствующий в целой Европе, против которого напрасны усилия всей сербской интеллигенции, ищущей спасения в каком-то оригинальном «сербстве».

## Примечания

<sup>1</sup> Земун (Землин) — город в Воеводине (Срем). Расположен на месте впадения Савы в Дунай. В XV в. принадлежал деспоту Джордже Бранковичу. В XVI–XVIII вв. — в составе Турции. С XVIII до начала XX в. — пограничный пункт Австрии (Австро-Венгрии). В 1918 г. вместе со Сремом был передан Королевству сербов, хорватов и словенцев. Ныне Земун — один из районов Белграда.

<sup>2</sup> Т. е. Австро-Венгрии.

<sup>3</sup> Авала — гора в Сербии высотой 511 м над уровнем моря. Расположена в 14 км к юго-востоку от Белграда.

<sup>4</sup> *Пандур* (сербск.) — стражник, полицейский.

<sup>5</sup> От сербск. *ћумрук* — таможня.

<sup>6</sup> Соль, привезенная из румынского города Галац.

<sup>7</sup> *Код вароши* Крагујевца (сербск.) — у города Крагуеваца.

<sup>8</sup> *Рабаџија* (сербск.) — ломовой извозчик.

<sup>9</sup> *Фес* (сербск.) — феска.

<sup>10</sup> См. комментарий № 1 к очерку «Два месяца в Сербии (из путевых воспоминаний)».

<sup>11</sup> *Сараф* (сербск.) — меняла.

<sup>12</sup> Калемегдан — парк рядом с крепостью в старой части Белграда, при слиянии Дуная и Савы. Название происходит от тур. *Kale Meydan* — замковая площадь. Делится на Малый Калемегдан и Большой Калемегдан. Теперь Калемегданом часто называют саму Белградскую крепость, которая в 1521–1867 гг. принадлежала Османской империи.

<sup>13</sup> См. комментарий № 20 к очерку «Два месяца в Сербии (из путевых воспоминаний)».

<sup>14</sup> *Хаускнехт* (сербск.) — дворник.

<sup>15</sup> Неготин — город в Тимококой краине в восточной Сербии. Первый раз упоминается в 1627 г. Центр виноградарства и виноделия. Известен тем, что в его окрестностях действовал и погиб герой Первого сербского восстания Гайдук-Велько Петрович.

<sup>16</sup> *Љубим руку* (сербск.) — целую руку.

<sup>17</sup> *Из прека* (сербск.) — имеется в виду: из австрийских сербов, живущих на другой стороне Савы и Дуная. *Преко* (сербск.) — через.

<sup>18</sup> *Град* (сербск.) — крепость.

<sup>19</sup> Врачар: во время указанных событий — село под Белградом. Ныне — район (община) сербской столицы.

<sup>20</sup> Мокри Луг — в настоящее время один из районов Белграда, расположенный к юго-востоку от центра города. Богат источниками воды, которая использовалась для снабжения Белграда. До Первого сербского восстания

был покрыт лесом, слабо населен. В дальнейшем население пополнялось за счет людей, прибывавших из южных районов Сербии.

<sup>21</sup> Топчидер — южное предместье Белграда, железнодорожная станция. Его название происходит от турецкого *Тобджи-Дере* — пушечная (артиллерийская) долина.

<sup>22</sup> Фрушка гора — невысокая возвышенность в Воеводине (Срем), на которой располагается 18 православных монастырей.

<sup>23</sup> Срем, от лат. Сирмиум (*Sirmium*) или Сирмия (*Sirmia*). Историческая область между нижним течением реки Савы и Дунаем. До 395 г. н. э. входила в состав римской провинции Паннония, одним из центров которой был город Сирмий, стоявший на месте современного города Сремска Митровица. В 1521 г. Срем захватили турки, а в 1718 г. он перешел под власть Австрии. В 1918 г. Срем был передан Королевству сербов, хорватов и словенцев. Ныне большая его часть входит в Сербию (в составе Воеводины), меньшая — в Хорватию.

<sup>24</sup> Дрина — река в западной Сербии. Правый приток Савы. Длина — 461 км. По ней проходит граница между Сербией и Боснией.

<sup>25</sup> 28 июня 1389 г., в день святого Вида, на Косовом поле (котловина в южной Сербии, близ города Приштина) произошло решающее сражение между объединенными силами сербов и босняков, которыми командовал князь Лазар Хребельянович, и армией турецкого султана Мурада I. Поначалу войска князя Лазара несколько потеснили турок. К тому же в разгар боя серб Милош Обилич пробрался в шатер Мурада и заколол его. Командование турецкой армией принял сын Мурада — Баязид. В конечном итоге сражение закончилось победой османов. Князь Лазар попал в плен и был ими убит. Погибли также многие представители сербской аристократии (властелины), в том числе старый Юг-Богдан и девять его сыновей — Юговичей. После Косовской битвы Сербия стала вассалом Османской империи, а в 1459 г. в результате падения Смедеревской деспотовины окончательно вошла в ее состав. Битва на Косовом поле, а также подвиги и страдания сербских воинов, нашли отражение в героическом эпосе сербов.

<sup>26</sup> Имеется в виду «Жития королей и архиепископов сербских» — памятник сербской средневековой литературы. Его составление начал архиепископ Даниил II (1324–1337).

<sup>27</sup> Стефан Лазаревич (1377–1427) — князь (1389–1402) и деспот Сербии (1402–1427), один из крупнейших средневековых сербских писателей, сын князя Лазаря. Как турецкий вассал принимал участие в битвах на Ровинах (1395 г.), у Никополя (1396 г.), у Ангоры (1402 г.). Одновременно Стефан был и вассалом венгерского короля, от которого получил Белград (1403 г.) и провозгласил его столицей своего государства. Однако после его смерти Белград снова отошел венграм. Стефан владел обширными имениями в Венгрии.



<sup>28</sup> Дубровник (ит. — Рагуза) — город в Далмации, в южной части Хорватии. Основан в VII в. и до X в. принадлежал Византии, сохраняя определенную автономию в общественно-политической жизни. В начале XI — середине XIV в. находился в составе Венецианской республики. В 1358–1808 гг. — центр независимой Дубровницкой республики. В 1808–1813 гг. — под властью Наполеона, а в 1814–1918 гг. — австрийских (австро-венгерских) Габсбургов. В 1918–1941 и 1945–1991 гг. входил в состав Югославии. С 1991 г. — часть независимой Республики Хорватия.

<sup>29</sup> *Савамата и Палилула* — районы Белграда.

<sup>30</sup> *Теразије* (сербск.) — «фешенебельная» часть Белграда между дворцом и улицей князя Михаила. Название получила от водонапорных башен системы водоснабжения, построенной в XIX в. турками. Башни носили турецкое название «Теразије» — весы.

<sup>31</sup> Абаджийская улица (от сербск. *абаџија* — портной) — старое название улицы королевы Натальи. Пролегала параллельно Теразиям.

<sup>32</sup> *Варош-капија* (сербск.) — городские ворота.

<sup>33</sup> *Чаршија* (сербск.) — торговые ряды, базарная площадь; (перен.) торговый люд, мещане, мнение толпы.

<sup>34</sup> Имеется в виду Дорчол (сербск. *Дорћол*) — район Белграда.

<sup>35</sup> Великая школа — первое высшее учебное заведение Сербии. Была открыта в 1863 г. Имела три факультета: философский, юридический, технический; число отделений внутри них постоянно росло. Предтеча Белградского университета, основанного в 1905 г.

<sup>36</sup> Анастасиевич Миша (1803–1885) — сербский судовладелец, крупнейший торговец солью и меценат. На фронтоне здания Великой школы надпись: «Миша Анастасиевич — своему отечеству».

<sup>37</sup> Обреновичи — княжеская (1815–1842; 1858–1883), затем королевская (1882–1903) династия в Сербии, основанная Милошем Обреновичем (1815–1839; 1858–1860). Его наследники — Михаил (1839–1842; 1860–1868), Милан (1868–1889), Александр (1889–1903).

<sup>38</sup> Имеется в виду Джордже Карагеоргиевич — сын старшего сына Карагеоргия Алексия. За него Миша Анастасиевич выдал замуж свою младшую дочь Сару. Он рассчитывал, что со временем его зять может стать князем Сербии. Для чего им и было выстроено роскошное здание, переданное после неудачи вокняжения зятя в 1858 г. «своему отечеству».

<sup>39</sup> Карагеоргиевич Александр (1806–1885) — сын Карагеоргия и князь Сербии (1842–1858). Во время правления находился под сильным влиянием Австрии.

<sup>40</sup> *Миндерлук* (сербск.) — низкий диван.

<sup>41</sup> Дукат — австрийская золотая монета, эквивалентная трем рублям серебром.

<sup>42</sup> Имеется в виду *ракија* (сербск.) — фруктовая водка, чаще всего из сливы.

<sup>43</sup> *Дућан* (сербск.) — лавка, магазин.

<sup>44</sup> *Пијаца* (сербск.) — рынок, базар, базарная площадь.

<sup>45</sup> *Дунђер* (сербск.) — плотник.

<sup>46</sup> Правильно: Парачин — город в центральной Сербии на реке Црница. Упоминается в источниках с XVI в.

<sup>47</sup> В 1716 г. Австрия, войсками которой командовал полководец и государственный деятель принц Евгений Савойский (1663–1736), вступила в очередную войну с Турцией. Согласно Пожаревацкому мирному договору, подписанному в 1718 г., под власть императора, помимо прочего, перешли северные области Сербии (включая Белград) до Западной Моравы на западе и до впадения Тимока в Дунай на востоке. В 1739 г. австрийские войска потерпели поражение в битве под Гроцкой. Согласно Белградскому мирному договору, Османской империи возвращались сербские земли южнее Савы и Дуная.

<sup>48</sup> *Батальджамия* — турецкая мечеть в Белграде. Время постройки неизвестно. Частично разрушена в 1806 г. во время штурма Белграда сербскими повстанцами. Окончательно разрушена в 1878 г.

<sup>49</sup> Кладово — город на востоке Сербии. Расположен на правом берегу Дуная.

<sup>50</sup> Королевич Марко — Марко Мрнявчевич (ок. 1331–1395), сербский король. В 1366–1371 гг. — соправитель царя Уроша. В 1371–1395 гг. — самостоятельный правитель области Прилепа и турецкий вассал. Сын короля Вукашина Мрнявчевича и самый известный герой балканского и южнославянского фолклора.

<sup>51</sup> См. комментарий № 11 к очерку «Два месяца в Сербии (из путевых воспоминаний)».

<sup>52</sup> Неманичи — средневековая династия правителей Сербии (1166/68–1371), основанная великим жупаном Стефаном Неманей (1166–1196).

<sup>53</sup> Сирмий (лат. *Sirmium*) — город в римской Паннонии. До прихода римлян в I в. до н. э. на месте Сирмия находилось иллирийское поселение. Сегодня на его месте — город Сремска-Митровица. От Сирмия происходит название исторической области Срем.

<sup>54</sup> Правильно: Захумле — сербское средневековое княжество, в состав которого входили южная Далмация, а также части Боснии и Герцеговины. Старейший известный правитель — Михаил Вышевич (910–950). В XI в. приморские княжества Захумле, Дукля и Травуния попали под власть князя Воислава, которому наследовал его сын Михаил (1055–1092). Более поздние правители происходят от князя Завиды, сыновьями которого были Стефан Неманя, Мирослав, Тихомир и Страцимир и т. д.

<sup>55</sup> Византийский император Константин VII Багрянородный (Порфирогенет) правил в 913–959 гг. Известен как один из образованнейших людей эпохи, автор сочинений «О фемах», «О церемониях», «Об управлении империей», являющихся важнейшими источниками по истории славян.

<sup>56</sup> Ровинский ошибается. Первый король венгерского королевства Стефан (Иштван) I Святой правил в конце X — начале XI вв.

<sup>57</sup> Стефан I Неманя (1114–1200) — сербский правитель, основатель династии Неманичей. Отец св. Саввы Сербского. За несколько лет до смерти отрекся от престола и принял постриг под именем Симеон. Умер на Афоне. Канонизирован Сербской православной церковью.

<sup>58</sup> Стефан Драгутин Неманич — король Сербии в 1276–1282 гг. Зять венгерского короля Бела IV. С его помощью сверг с престола отца — короля Уроша. В 1282 г. добровольно уступил престол брату Милутину. После этого Драгутин получил во владение территории на западе Сербии — вдоль течения Савы и Дуная. Около 1300 г. под его контролем находились некоторые земли Венгерского королевства и области, отвоеванные у болгарских аристократов.

<sup>59</sup> Стефан Урош I Неманич — сербский король, правивший в 1243–1276 гг. Стремясь сохранить целостность государства, вступил в конфликт со старшим сыном Драгутином, в результате чего был свергнут с престола. Был вассалом венгерского короля.

<sup>60</sup> Стефан Урош II Милутин Неманич — сербский король, правивший в 1282–1321 гг. Был вторым сыном Уроша I. Сумел существенно расширить границы сербского королевства.

<sup>61</sup> Призрен — город в южной Сербии (Косово). Один из главных центров средневекового сербского государства. Столица царей Стефана-Душана и Уроша. С 1455 г. находился под властью турок. В 1912 г. освобожден сербскими войсками.

<sup>62</sup> Стефан Душан (1308–1355) — сербский король (с 1331 г.), царь (с 1346 г.). Сын Стефана Уроша III Дечанского. В результате войн с Византией присоединил к Сербии Македонию и Албанию (1345 г.), Эпир и Фессалию (1348 г.) и создал обширное Сербо-греческое царство, вне которого, однако, оставались коренные сербские земли — Хум и Мачва. На соборе 1346 г. провозгласил сербскую архиепископию патриархией, а сам был коронован «царем сербов и греков». В 1349 г. издал «Законник», укрепивший феодальные порядки.

<sup>63</sup> Мачва — историко-географическая область на северо-западе Сербии, между горой Цер и реками Сава и Дрина. Славилась своим плодородием и богатством.

<sup>64</sup> Лазарь Хребельянович (ок. 1329–1389) — князь, последний независимый правитель Сербии (с 1372 г.), основатель многих монастырей, канонизирован. Он происходил не из царского рода и называл себя князем, самодержцем всей Сербской земли. В 1375 г. ему удалось примирить Сербскую и Константинопольскую церкви, и Византия официально признала сербского патриарха. Понимая необходимость сербского сплочения перед лицом турецкой опасности, он стремился объединить сербские земли. Князь Лазарь 15 июня 1389 г. вывел на Косово поле сербское войско на битву с войском турецкого султана.

<sup>65</sup> Крушевац — город на юге Сербии. Основан в 1371 г. князем Лазарем Хребельяновичем как столица сербского средневекового государства. В 1454 г. захвачен турками; в Османской империи носил имя Аладжа Хисар. В 1833 г. вошел в состав Сербского (на тот момент — еще вассального) княжества.

<sup>66</sup> Правильно: Стефан Лазаревич. См. комментарий № 27.

<sup>67</sup> Георгий (Юрий) Бранкович — деспот Сербии (1427–1456), племянник деспота Стефана Лазаревича, внук князя Лазара.

<sup>68</sup> Смедерево — город в северной Сербии. Расположен на реке Дунай. Основан (как крепость) в 1427–1430 гг. деспотом Георгием Бранковичем — внуком князя Лазара.

<sup>69</sup> Кукулевич-Сакцинский Иван (1816–1889) — хорватский политический деятель и историк. Редактировал журнал «Архив истории южнославянской» («*Arkiv za povjestnicu jugoslavensku*»), который выходил в 1851–1875 гг.

<sup>70</sup> Троноша — монастырь в северо-западной Сербии, близ города Лозница.

<sup>71</sup> Сулейман I Великолепный — турецкий султан (1520–1566), при котором Османская Порта достигла вершины своего могущества.

<sup>72</sup> Фон Лаудон Эрнст Гидеон (1717–1790) — выдающийся австрийский военачальник. Состоял офицером на русской службе. Участник Семилетней войны. Главнокомандующий австрийскими войсками в войне с Турцией в 1788–1789 гг., командовал взятием Белграда.

<sup>73</sup> От тур. *sipahi* — воин-всадник в Османской империи, условный землевладелец.

<sup>74</sup> 29 мая 1868 г. в Топчидерском парке был убит князь Михаил Обренович.

<sup>75</sup> Народная скупщина — высший представительный орган у сербов. До 1858 г. являлась институцией обычного права, созывалась время от времени, исходя из конкретных потребностей режима. Не была народным представительством в полном значении данного понятия. 14 января 1859 г. Свято-Андреевская скупщина приняла закон, согласно которому деятельность Народной скупщины приобретала регулярный характер. Отныне она должна была собираться строго ежегодно для обсуждения текущих государственных дел. Депутаты же избирались населением в пропорции: 500 налогоплательщиков — 1 депутат.

<sup>76</sup> Князь Михаил Обренович во время своего второго правления (1860–1868) низвел значение института Народной скупщины до положения чисто формального собрания, автоматически одобряющего все распоряжения исполнительной власти. За восемь лет было создано всего три скупщины (1861, 1864 и 1867 г.).

<sup>77</sup> Так называемая Михольская народная скупщина (от сербск. *михольско лето* — бабье лето), заседавшая в Крагуеваце с 29 сентября по 13 октября 1867 г.

<sup>78</sup> Лозница — город в западной Сербии. Расположен на реке Дрине, на границе с Боснией и Герцеговиной.

<sup>79</sup> От сербск. *читалиште* — читальня.

<sup>80</sup> Ужице — в настоящее время город в западной Сербии. Известен с IV в.

<sup>81</sup> Стефан Урош III Дечанский (ок. 1271–1331) — король сербский (1321–1331), сын короля Стефана Уроша II Милутина, отец первого сербского царя Стефана Уроша IV Душана, ктитор монастыря Дечаны.

<sup>82</sup> Феодосий Тырновский (ок. 1300–1363) — деятель болгарской церкви, монах-исихаст, ученик преподобного Григория Синаита, основатель Килифаревского монастыря, канонизирован. Житие преподобного Феодосия написано вскоре после его смерти патриархом Константинопольским Каллистом. Греческий текст был утрачен, сохранился болгарский перевод Владислава Грамматика (XV в.).

<sup>83</sup> Пожаревац — город в северной Сербии. Расположен в междуречье Дуная, Моравы и Млавы. Вошел в историю после заключения в нем в 1718 г. мирного договора между Австрией и Турцией («Пожаревацкий мир»).

<sup>84</sup> См. комментарий № 10 к очерку «Два месяца в Сербии (из путевых воспоминаний)».

<sup>85</sup> Байлони Игнат (1811–1875) — сербский предприниматель чешского происхождения. Переселился в Сербию в 1855 г. Кроме гостиницы, построил в Белграде пивоваренный завод. Занимался сельскохозяйственным производством. Основатель предпринимательской «династии».

<sup>86</sup> Шафарик Янко (1811–1876) — известный сербский ученый (филолог, историк и археолог); профессор Лицея, основатель Народного музея в Белграде. По происхождению словак, племянник П.И. Шафарика. Образование получил в Новом Саде, Братиславе, Будапеште и Вене. В Сербию прибыл в 1843 г. В 1869–1876 гг. — член Государственного совета.

<sup>87</sup> Ламанский Владимир Иванович (1833–1914) — крупнейший русский историк-славист. Профессор Петербургского университета, академик. Автор многочисленных работ по истории славян, важнейшей из которых была опубликованная докторская диссертация «Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе» (СПб., 1871). Являлся деятельным сотрудником этнографического отделения Русского географического общества, основателем и редактором его печатного органа — журнала «Живая старина». Состоял членом Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества и ряд лет возглавлял журнал «Славянские известия». Создал школу ученых-славяноведов. В первом томе антологии «Русские о Сербии и сербах» помещен отрывок из его воспоминаний о путешествии по сербским землям в 1863 г. (см.: *Ламанский В. И.* Сербия и южно-славянские провинции Австрии // Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. I. Письма, статьи, мемуары. С. 27–37).

<sup>88</sup> Зах Франтишек Александр (1807–1892) — сербский военный деятель, генерал. Выходец из Чехии. Участник польского восстания 1830 г. Тесно связанный с польской эмиграцией в Париже, в 1843 г. прибыл в Сербию как

агент А. Чарторыйского. Участвовал в составлении «Начертания» И. Гарашанина. В 1849 г. снова приехал в Белград. В 1850–1859, 1860–1865, 1867–1874 гг. — начальник и профессор Артиллерийской школы. Являлся советником князя Михаила Обреновича. В 1876 г. — начальник Генерального штаба. Руководил подготовкой Сербии к войне 1876–1877 гг., в которой в чине генерала командовал Ибарской армией. Во время войны был ранен и потерял ногу. В 1882 г. по инвалидности вышел на пенсию и вернулся в Чехию.

<sup>89</sup> «Голос» — ежедневная политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге в 1863–1884 гг. Издатель-редактор — А. А. Краевский. С середины 1870-х гг. одна из самых читаемых газет в России. Выступала за продолжение реформ 1860-х гг. Из-за усиления цензурных стеснений в условиях поворота правительства Александра III вправо, Краевский в январе 1884 г. прекратил издание «Голоса».

<sup>90</sup> Старая Сербия — историческая область, являвшаяся ядром сербско-средневекового государства. Включала в себя Санджак (Рашку), Косово и часть Вардарской Македонии.

<sup>91</sup> Бан Матия (1818–1903) — сербский писатель, публицист, политик. Образование получил в Дубровнике и Константинополе. В Сербию прибыл в 1844 г. как воспитатель детей Александра Карагеоргиевича. Был близким соратником Или Гарашанина. Впоследствии — многолетний шеф правительственного пресс-бюро.

<sup>92</sup> В административно-территориальном плане Сербия делилась на округа (области), срезы (уезды) и общины (волости). Начальник округа — чиновник, высшее должностное лицо в округе.

<sup>93</sup> *Капетан* (сербск.) — чиновник, глава исполнительной (полицейской) власти в срезе (уезде).

<sup>94</sup> Гайдук-Велько Петрович (1780–1813) — герой Первого сербского восстания.

<sup>95</sup> *Чесма* (сербск.) — источник, ключ, родник; колонка (водопроводная).

<sup>96</sup> *Сарма* (сербск.) — голубцы.

<sup>97</sup> От сербск. *ражањ* — вертел.

<sup>98</sup> Имеется в виду убийство князя Михаила Обреновича в 1868 г.

<sup>99</sup> В 1869 г. в Сербии была принята первая национальная конституция (взамен формального к тому времени Турецкого устава 1838 г.). В ней представители династии Карагеоргиевичей объявлялись вне закона и им запрещалось проживать в княжестве.

<sup>100</sup> Сравняются две эпохи, разделенные десятилетиями и олицетворенные двумя ключевыми событиями — убийством князя Михаила Обреновича (1868) и созывом Свято-Андреявской скупщины (1858).

<sup>101</sup> От сербск. *пореска душа* — налогоплательщик. *Порез* — налог.

<sup>102</sup> «*Нити знаде на чем жито расте*» (сербск.) — Не знает даже, где хлеб растет.

<sup>103</sup> Во время первого визита в Сербию (1868) Ровинский прожил там полтора года. Отсутствие «увеселений» в тот год объясняется трауром по убитому князю Михаилу.

<sup>104</sup> *Цвѣти* (сербск.) — Вербное воскресенье.

<sup>105</sup> Имеется в виду Второе сербское восстание 1815 г., которое началось спустя полтора года после подавления турками Первого сербского восстания 1804–1813 гг. В апреле 1815 г. на тайной сходке сербских кнезов и старейшин в селе Таково предводителем повстанцев был избран Милош Обренович. После первых военных успехов положение сербов осложнилось. Турки двинули против них две армии: с юга — во главе с румелийским вали Марашли Али-пашой, и с запада — под предводительством боснийского визиря Хурашид-паши. Милош был вынужден начать переговоры с турецкими военачальниками. Используя противоречия между ними и опираясь на дипломатическую поддержку России, он сумел заключить с Марашли Али-пашой сначала перемирие (28 августа), а затем и *устное* соглашение (10 октября), по которому сербы получали право собирать налоги султану; регулировать размеры податей спахиям (турецким помещикам); носить оружие и участвовать в заседаниях суда, наравне с турецкими чиновниками. Кроме того, была учреждена Сербская народная канцелярия как высший административный и судебный орган для сербов. Милош Обренович стал верховным кнезом Сербии.

<sup>106</sup> От сербск. *бела кафа* — кофе с молоком.

<sup>107</sup> От сербск. *љута ракија* — крепкая водка.

<sup>108</sup> Георгий Бранкович (сербск. Ђорђе Бранковић, 1645–1711) — сербский политический деятель, историк, самопровозглашенный деспот — наследник средневековой сербской династии Бранковичей. Предложил австрийскому правительству план создания на освобожденных от турок территориях Илирийского королевства. Однако обращение Бранковича к поработанным турками народам с призывом поднять восстание независимо от планов Австрии привело к аресту его австрийскими властями в октябре 1689 г. и пожизненному заточению. В австрийских тюрьмах (в Вене, позднее в Хебе) написал «Славяно-сербскую хронику», в которой излагал историю Сербии и прилегающих к ней стран.

<sup>109</sup> Раич Йован (1726–1801) — сербский митрополит (Сремские Карловцы), историк, писатель. Окончил Киевскую духовную академию в 1756 г. Первая книга его главного труда «История разных словенских народов, наипаче же болгар, хорватов и сербов» была переведена на русский язык и издана в России.

<sup>110</sup> От сербск. *бакшиш* — чаевые. Слово персидского происхождения, перекочевавшее в турецкий язык и позаимствованное сербами.

<sup>111</sup> «Сербия» («Србија») — политический и экономический орган либеральной направленности. Выходил в 1867–1870 гг. под редакцией Любомира Кальевича.

<sup>112</sup> Блазнавац (Петрович) Миливое (1824–1873) — сербский военный и государственный деятель, генерал (1872 г. — первый в княжестве). Обучался в артиллерийской школе в г. Мец (Франция). Адъютант князя Александра Карагеоргиевича. Затем — соратник Михаила Обреновича. С 1865 г. — военный министр. После убийства князя Михаила провозгласил (с помощью контролируемой им армии) его двоюродного племянника Милана Обреновича наследным князем Сербии. Входил в состав регентства при малолетнем князе. В 1872 г. стал председателем правительства и военным министром. Год спустя (при невыясненных до конца обстоятельствах) скоропостижно скончался.

<sup>113</sup> Ристич Йован (1831–1899) — сербский государственный и политический деятель; историк, академик, президент Сербской королевской академии наук; многолетний председатель Народной либеральной партии. Образование получил в Гейдельберге и Сорбонне. В 1850-е гг. служил в министерствах просвещения, иностранных, внутренних дел. Был близок к И. Гарашанину. В 1861–1867 гг. — посланник в Турции. В 1867 г. — преемник Гарашанина на посту главы правительства и министра иностранных дел, однако быстро вышел в отставку, сблизившись с либералами. В 1868–1872 гг. — член регентского совета при несовершеннолетнем князе Милане Обреновиче. В 1869 г., по настоянию Ристича, был принят первый национальный Основной закон Сербии. В дальнейшем занимал должности премьер-министра (1873, 1878–1880, 1887) и министра иностранных дел (1872–1873, 1875, 1876–1880, 1887). В 1878 г. представлял Сербию на Берлинском конгрессе. В 1889–1893 гг. — первый регент при малолетнем короле Александре Обреновиче. Во внешней политике стоял на прагматично-русофильских позициях, выступая против откровенно проавстрийского курса князя и короля (с 1882 г.) Милана Обреновича. Автор значительных историко-мемуарных сочинений.

<sup>114</sup> Имеется в виду Хорватско-венгерское соглашение 1868 г., определившее положение Хорватии и Славонии в составе венгерского королевства как части дуалистической Австро-Венгерской монархии.

<sup>115</sup> Константинович Анка (1812–1868) — двоюродная сестра князя Михаила Обреновича (дочь его дяди Еврема Обреновича). Стремилась выдать за него замуж дочь Катарину после неудачного брака монарха с венгерской графиней Юлией Хуньяди: они так и остались без потомства. Погибла 29 мая 1868 г. в Топчидере вместе с князем Михаилом.

<sup>116</sup> Константинович Катарина — дочь Анки Константинович. Во время покушения на Михаила Обреновича была ранена. Впоследствии — жена генерала Миливое Блазнаваца. После его смерти в 1873 г. вышла замуж за Михаила Богичевича.

<sup>117</sup> От сербск. *кошутњак* — загон для оленей.

<sup>118</sup> Морава — наиболее значимая для экономики река в Сербии. Правый приток Дуная. Образуется слиянием Южной и Западной Моравы. Длина от



истока Южной Моравы 563 км, длина собственно Моравы — 217 км. В верхнем течении пересекает горы, в среднем — холмы и низкогорья, в низовье течет по густонаселенной и плодородной Моравской долине, ближе к устью разделяется на рукава. Несудоходна. Используется для орошения в низовье и для лесосплава в верховье.

<sup>119</sup> Обренович Милан (1854–1901) — князь (1868–1882), затем король (1882–1889) Сербии. Во внутренней политике стремился к установлению режима абсолютной власти. В 1875 г. впервые в парламентской истории Сербии распустил Народную скупшину. После русско-турецкой войны (1877–1878) и Берлинского конгресса, признавшего независимость Сербии, занял проавстрийскую позицию. В 1881 г. заключил с Веней торговый договор и Тайную конвенцию, лишившие Сербию экономической и политической самостоятельности. В 1885 г. развязал войну с Болгарией, в которой сербы потерпели поражение. Чтобы сохранить власть за династией, отрекся от престола (1889) в пользу своего сына Александра. В 1897–1900 гг. являлся командующим регулярной армии. После помолвки короля Александра с Драгой Машин подал в отставку и остался за границей. Скончался в Вене.

<sup>120</sup> От сербск. *кукавица* — кукушка, (перен.) трус, подлец.

<sup>121</sup> Вучич-Перишич Тома (1790–1859) — сербский политик. Соратник Милоша Обреновича, один из организаторов убийства Карагеоргия в 1817 г. В дальнейшем разошелся с Милошем и изгнал Обреновичей из Сербии. Являлся главным столпом режима уставобранителей (1842–1858). Выступил против решений Свято-Андреевской скупщины 1858–1859 гг. Умер в тюрьме после реставрации династии Обреновичей.

<sup>122</sup> См. комментарий № 13 к очерку «Два месяца в Сербии (из путевых воспоминаний)».

<sup>123</sup> Гарашанин Илия (1812–1874) — крупнейший сербский политик и государственный деятель (наряду с Йованом Ристичем и Николой Пашичем). Один из лидеров режима уставобранителей. В 1843–1852 и 1858–1859 гг. — министр внутренних дел. В 1852–1853 гг. — во главе правительства и министр иностранных дел. Активный участник Свято-Андреевской скупщины, противник возвращения Обреновичей на сербский престол — во время второго правления Милоша Обреновича (1858–1860) оставался не удел. Но князь Михаил доверил ему пост председателя Совета министров и министра иностранных дел (1861–1867). В 1844 г. составил внешнеполитическую программу Сербии — «Начертание», предусматривавшее освобождение югославянских народов из-под власти Турции и объединение их под эгидой Белграда. Инициатор создания Первого балканского союза (1866–1868).

<sup>124</sup> См. комментарий № 28 к очерку «Два месяца в Сербии (из путевых воспоминаний)».

<sup>125</sup> «*Јединство*» — «полуофициальная» газета сербского правительства. Издавалась в Белграде в 1868–1873 гг. Особое внимание уделяла внеш-

неполитическим вопросам и новостям из сербских земель за пределами княжества.

<sup>126</sup> «Световид» — научно-популярная и развлекательная газета. Издавалась в Темишваре и Вене в 1852–1870 гг.

<sup>127</sup> Бах Александр (1813–1893) — барон, австрийский государственный деятель. В 1849–1859 гг. — министр внутренних дел. Творец послереволюционной (имеется в виду революция 1848–1849 гг.) системы бюрократического и централистского абсолютизма.

<sup>128</sup> Обрадович Досифей (1739–1811) — сербский общественный деятель и выдающийся просветитель-энциклопедист. Выходец из Австрии. Основал Великую школу в Белграде (1808) и стал первым министром (попечителем) просвещения (1811). Выступил за единый для всех сербов литературный язык на основе народной речи. Заложил основы сербской светской литературы. Среди сочинений Обрадовича: «Жизнь и приключения Досифея Обрадовича» (1783), «Собрание разных нравоучительных вещей в пользу и увеселение» (1793) и т. д.

<sup>129</sup> От сербск. *паланка* — местечко; провинциальный, захолустный город. Паланачки — провинциальный, захолустный.

<sup>130</sup> Народное войско (от сербск. *народна војска*) — народное ополчение, в котором состояли все совершеннолетние сербы, проходившие регулярные военные сборы. Создано указом князя Михаила Обреновича в 1861 г. Являлось основой милиционной системы вооруженных сил Сербии. В 1883 г. указом короля Милана было распущено и заменено регулярной армией. Хранившееся у населения оружие было изъято властями.

<sup>131</sup> Горчаков Александр Михайлович (1798–1883), князь, русский дипломат, государственный деятель. Министр иностранных дел (1856–1883), последний государственный канцлер Российской империи. Воспитывался в Царскосельском лицее. На дипломатической службе с 1817 г. Возглавив МИД, стремился снять ограничения, наложенные на Россию Парижским трактатом 1856 г., чего и добился в 1871 г. Повернул курс внешней политики в сторону сближения с Пруссией (Германией). Участвовал в создании Союза трех императоров (1873). Успехи русских войск во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. привели к подписанию прелиминарного Сан-Стефанского мирного договора, результаты которого, из-за протестов Австро-Венгрии и Англии, были пересмотрены на Берлинском конгрессе (1878). Неудачный для России исход конгресса подорвал престиж канцлера и ослабил его влияние на внешнюю политику — в 1879 г. он фактически отошел от управления министерством.

<sup>132</sup> Игнатьев Николай Павлович (1832–1908), граф, русский дипломат, государственный и общественный деятель; генерал-адъютант. На дипломатической службе с 1856 г. В 1861–1864 гг. — директор Азиатского департамента МИД; в 1864–1877 — посол в Турции. Принимал активное участие

в формулировании условий Сан-Стефанских прелиминарий 1878 г. После Берлинского конгресса дипломатическая карьера Н.П. Игнатьева закончилась. В 1881–1882 гг. — министр внутренних дел. С 1888 г. — председатель Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества.

<sup>133</sup> Оружейный завод в Крагуеваце — первое и единственное крупное промышленное предприятие в Сербии. Основан в 1857 г. Особо быстрыми темпами стал развиваться во время второго правления Михаила Обреновича. На нем изготовлялись орудия, ремонтировалось и усовершенствовалось стрелковое оружие, производились боеприпасы. Выполнял функцию главного склада вооружений (арсенала) сербской армии.

<sup>134</sup> *Киридгия* (сербск.) — извозчик.

<sup>135</sup> *Геак* (сербск.) — мужик, деревенщина, невежда.

<sup>136</sup> 29 июня 1869 г. в Крагуеваце Великая народная скупщина приняла конституцию Сербии, согласно которой скупщина состояла на две трети из народных депутатов, избравшихся населением, и на одну треть — из княжеских, назначавшихся князем. При этом чиновники не имели права баллотироваться в скупщину.

<sup>137</sup> Ягодина — город в центральной Сербии. Расположен на реке Белица. Под названием Ягодня упоминается в исторических источниках с XIV в.

<sup>138</sup> Чуприя — город в центральной Сербии. Расположен у места впадения реки Раваницы в Великую Мораву. На месте современной Чуприи располагалось древнеримское поселение *Netreum Margi*. В Средневековье город назывался Равно. С древнеримских времен он известен своей переправой через Мораву. В 1660 г. турки построили здесь большой мост. По этой причине средневековый город Равно стал называться Чуприя (от сербск. *чуприја* — мост).

<sup>139</sup> Алексинац — город в южной Сербии. Известен с 1516 г. Стоял на пути в Константинополь.

<sup>140</sup> Заечар — город в восточной Сербии, расположен на реке Тимок. Центр Тимокской краины.

<sup>141</sup> Суботич Йован (1817—1886) — сербский политик, драматург, поэт. Деятель сербского национального движения в Австрийской империи. Участник Славянского конгресса (Прага, 1848 г.), а также Славянского съезда в Москве и Петербурге (1867). Депутат венгерского сабора, заместитель председателя хорватского сабора. Председатель Матицы Сербской.

<sup>142</sup> Савва (до пострижения Раство; 1174–1236) — сербский политический и церковный деятель, основатель автокефальной Сербской церкви. Младший сын Стефана Немани. В середине XIII в. причислен к лику святых (культ его был распространен в Сербии, Болгарии и на Руси).

<sup>143</sup> *Новине* (сербск.) — газета.

<sup>144</sup> *Инат* (сербск.) — упрямство, стремление делать наперекор, назло.

<sup>145</sup> Никола Петрович-Негош (1840–1921) — князь (1860–1910); король (1910–1918) Черногории. По окончании Первой мировой войны решени-

ем «Великой народной скупщины сербского народа Черногории» низложен. Умер в изгнании в Италии.

<sup>146</sup> «Санкт-Петербургские ведомости» — старейшая из русских газет, возникшая в 1728 г. при Академии наук и являющаяся до некоторой степени продолжением первенца русской периодической печати, созданного Петром Великим и выходившего с 1703 по 1727 г. под названием «Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти». Выходила в Петербурге до 1917 г.

<sup>147</sup> Ровинский ошибается: Сенат как верхняя палата парламента существовал в Сербии лишь в 1901–1903 гг. Скорее всего, он имеет в виду членов Государственного совета.

<sup>148</sup> От тур. *каутакат* (местоблюститель, наместник, заместитель) — звание и должность начальника каза (уезда).

<sup>149</sup> От сербск. *јунаштво* — геройство, доблесть; здесь — сербские герои (юнаки).

<sup>150</sup> *Шваба* (сербск.) — шваб; собирательное — австриец.

<sup>151</sup> *Живео!* (сербск.) — Да здравствует!

## Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году\*

Небольшая территория, около 1.000 кв. м[иль], с населением немного более одного миллиона, носящая в настоящее время название Сербского княжества, была свидетельницей многих исторических катастроф, имевших мировое значение. Здесь, на берегах Савы и Дуная, совершалась борьба древней цивилизации с европейским варварством: германские и славянские племена, а потом авары и гунны, попеременно вторгались в эту страну, известную тогда под именем древней Мёзии, прорывались сквозь цепь римских легионов, но, в конце концов, ослабленные физически и нравственно, признавали господство Рима и Византии. Здесь же разыгрался не один акт из борьбы христианства с язычеством, окончившейся также торжеством первого над последним. Позже, на развалинах дряхлеющего классического мира, возникают здесь новые государства из новых элементов, но на старых началах. Быстро возвышаются царства Симеона Болгарского и Стефана Душана, но так же быстро и падают, не успевши слить в одно целое разнородные элементы. Раздираемые династическо-родовыми расчетами и потрясаемые социально-религиозной разладицей, они оказываются слабыми, чтобы противостоять дикой силе азиатских кочевников, воодушевленных религиозным фанатизмом и успевших заручиться плодами арабской и византийской цивилизации. На развалинах христианских храмов и дворцов становятся мечети, гаремы, бани, базары...

Косовская битва, решившая участь Сербского царства, была только началом целого ряда войн, сопровождавшихся самыми ужасными кровопролитиями и опустошениями в течение пяти столетий, и мы не можем сказать окончившихся в наше время. Театром этой пятивековой войны, прерываемой только более или менее продолжительными перемириями, была опять Сербия — побережья Савы

---

\* Впервые опубликовано в журнале «Вестник Европы» (1875. Т. VI. Кн. 11. С. 5–34). Приведенная П. А. Ровинским дата (1867 г.) — ошибочна, следует: 1868 г. — А. Ш.

и Дуная и долины Моравы, Дрины, Колубары<sup>1</sup> и Тимока<sup>2</sup>. Сава и Дунай составляли вечный фронт двух армий — мусульманской Турции и христианской Австро-Венгрии. То первая овладевала этим фронтом и доходила до Вены, то вторая проторгалась за него и приближалась к Стамбулу...

В Белграде, как в фокусе, постоянно сосредотачивались все силы и стремления борющихся сторон; там видны до сих пор следы попеременного перехода его из рук в руки: на глубине трех и более сажен находятся остатки римских построек; груды мусора и полуразвалившиеся мечети свидетельствуют о последующем господстве турок; остатки дворца принца Евгения и укрепления Лаудона завещаны господством Австро-Венгрии; следы древнего Сербского царства составляют только монастыри и храмы, служившие царям станциями и приютами для отдохновения, а их преемникам, бедной сербской раёе, впоследствии они послужили убежищем и крепостями, из которых добыта сербская независимость. Рядом с шанцами Лаудона помещаются и окопы Черного Георгия.

В истории этой страны нет потому почти ни одной отрадной страницы: одна война, одни междоусобия, сопровождаемые кровавыми сценами; Сербия страдала и от турок, и от христиан, иногда вдобавок природных сербов. История Сербии есть история ее мученичества...

При всем несомненном сочувствии нашего общества к судьбам соплеменных нам народов, мы должны, однако, сознаться, что такому сочувствию далеко не соответствует наше знакомство с их современным положением и условиями их быта. Если бы у нас кто-либо и захотел поближе познакомиться со страной и народом, интересующими в настоящий момент всю Европу, то в русской литературе не найдется почти ничего, кроме сочинений Гильфердинга<sup>3</sup>, который только отчасти знакомит нас с современной жизнью сербов, а затем две-три книги, как у гг. Майкова<sup>4</sup> и Попова<sup>5</sup>, носят на себе характер специально ученого исторического сочинения. Мы не имеем карты. Разве у кого-нибудь уцелели почти лубочные издания карты Турции, сделанные с спекулятивной целью по случаю Крымской кампании. И теперь, если дела продлятся, наверное, не замедлят появиться такие же, которые бьют больше на наглядность, полагаемую в яркости красок и аляповатости.

Другое дело — у немцев.

Возьмем, например, хоть Тёммеля «Историческое, политическое и т. д. описание Боснии вместе с турецкой Кроацией, Герцеговиной и Старой Сербией»<sup>6</sup>. Он писал на основании очень многих сочинений на разных языках, между которыми стоит и русское, «очень важное произведение бывшего русского консула в Сараеве А. Гильфердинга»; так, где дело касается истории, он заглянул в самые источники; книга эта написана не для ученых специалистов и не для любителей занимательного чтения, а для людей, желающих серьезно познакомиться с краем. Поэтому его книга при чрезвычайно сжатом объеме (210 стр. in 8°), очень полна и увесиста. После исторического обозрения каждой страны он дает полное описание ее топографии со статистикой; затем идет административное деление, пространство, населенность, политические отношения между собой и к туркам, культура, школа, нравы, образ жизни, земледелие, торговля и т. д. «Сербия» Каница, помимо ее субъективностей, также довольно обстоятельное описание Сербского княжества. Оно бьет, правда, на литературность, но главная задача — удовлетворить известной деловой цели, а не пустому дилетантству.

Для нас современные события в Герцеговине нечто нечаянное, не потому, конечно, чтобы их так трудно было предвидеть, а просто потому, что нам вообще было не до них, и о герцеговинцах мы никогда не задумывались; австрийцы же прямо готовились к этому. В прошлом году один гонвед<sup>7</sup>, некто А. Теретянский, издал довольно плотную брошюру под заглавием: «Стратегическое положение сербо-боснийского и болгарского военного театра по отношению к австро-венгерскому государству»; он мотивирует свое издание таким образом: «Так как все увеличиваются признаки бури, которая рано или поздно должна разрешиться над Венгрией, то я предпринял в общих очерках осветить с военной точки тот пункт, где собираются грозные тучи, и являюсь теперь перед публикой с этим скромным трудом, который не имеет претензии на оригинальность, а составляет свод сведений из тех книг и статей, которые касаются упомянутых краев». Сочинение это напечатано в прошлом, а написано еще в 1873 г. После общего описания каждого края в отдельности А. Теретянский указывает и оценивает его стратегическое значение, дает целые маршруты, с расчислением, сколько до какого места можно сделать переходов, какие затруднения можно встретить

в продовольствии или смотря по времени года. Он принимает в соображение прежние походы, в особенности останавливается на войне 1853 и 1854 гг. Все сочинение проникнуто определенной и нисколько не скрываемою целью указать своим все крепкие и слабые пункты в позиции Австро-Венгрии по отношению к территории, занимаемой югославянами, и там откровенно высказывается, что ожидается война если не с турками, то со славянами.

Немцы имеют, наконец, превосходную карту Киперта<sup>8</sup>, изд[ания] 1871 г., при составлении которой он руководился не только изданными уже картами отдельных частей, но и снимками с неизданных еще съемок, как напр[имер], карты Сербии — капитана Йовановича, долины р[еки] Моравы — Алексича, а между прочим от Штубендорфа, из русского Генерального штаба, ему доставлен был фотографированный снимок с маршрутной карты одного русского офицера (собственно, кажется, не русского, а хорвата Каталинича).

Видно, что для людей это составляет серьезное дело, потому они так и стараются о распространении не столько чувств, сколько сведений, издают множество книг, которые, без сомнения, не только читаются, но и штудируются.

Впрочем, как ни мало мы знаем вообще о землях югославян, но Гильфердинг знакомит нас с Боснией и Герцеговиной так, как ни одно сочинение на всех иностранных языках; слабейшую часть составляет топография, но это было не его дело. Мы имеем еще описание Черногорья г. Попова, который был там до 1848 г., Е. Ковалевского<sup>9</sup> и, кроме того, было несколько журнальных статей. Меньше всего посчастливилось в этом отношении княжеству Сербии, о которой я знаю только статью В. И. Ламанского; но это не описание страны и народа, а, скорее, определение и оценка направления их интеллигенции в науке, литературе и политике.

В настоящее время Сербия становится весьма интересным пунктом. Она находится более чем между двух огней: она видит восставшую братию, которая, восставая, питала надежду, что ее свободные родичи не бросят ее на жертву; на ней лежит нравственный долг помочь своим не только ради их, но ради того, чтобы и самой через то стать прочнее и раздвинуть тесную рамку, в которую до сих пор поставлена ее жизнь как государства; а между тем с двух сторон тотчас готовы налететь на нее Турция и Австрия. Воздержаться и на этот



раз, как уже случалось не однажды, и снова отказаться на неопределенное время от выполнения задачи югославянского Пьемонта<sup>10</sup>! Но не вызовет ли это домашней революции? Что тогда? Не повлечет ли это за собой опять вмешательство Австрии и Турции? Положение Сербии очень трудное; задача правительства рассчитать и взвесить все шансы и решиться — *быть или не быть*.

Сербия не один уже раз попадает в такое положение: один раз, когда было движение в Герцеговине, когда Лука Вукалович<sup>11</sup> бился на Граховом, часть сербов княжества кинулась было туда же, их схватили и засадили в тюрьму, а перебежчиков оттуда прогоняли; также поступило сербское правительство, когда было движение в Боснии. То был акт *высокой политики*, которой держалось сербское правительство при покойном князе Михаиле; но эта высокая политика отнимала у сербов популярность в родственных ей краях и вызывала неудовольствие в своих патриотах. Высокая политика эта зашла так далеко, что общее неудовольствие в крае дошло до последнего предела, и кризис завершился *топчидерской катастрофой*.

В настоящее время Сербия находится в положении, подобном тому, в каком она была 8 лет назад; но теперь дела крупнее, положение правительства по отношению к внешним делам затруднительнее; оно слабее, но тем лучше: перемена министерства составляла уже уступку требованиям края, и в этой уступке было его спасение, а новое министерство вовсе не так радикально, как многие думают: все эти личности играли уже роль тотчас по убийстве князя Михаила и тогда не были ни красными, ни крайними, какими представляет их себе князь; с тех пор эти лица еще более унялись. Вопрос только в том, насколько радикальны требования народа, насколько движение в Герцеговине и Боснии успело затронуть сердца и головы в княжестве. Думаю, что это не зашло еще слишком далеко, кроме образованной молодежи и людей, кровно связанных с восставшими краями, мало кто будет рваться в бой. Сербский народ теперь не тот, каким он был во времена Черно-го Георгия: он тогда не имел ничего, и нужно было добиться чего-нибудь, а терять было нечего; теперь же он успел обжиться и кое-что понажить, и рисковать тем, что имеет, охотно не станет.

Сужу о настоящем по близкому прошлому, свидетелем которого мне привелось быть именно при подобном же положении. Воспоминания об этом прошлом, запоздалые по времени, но весьма аналоги-

ческие и вовсе нелишние, потому что это прошлое мало кому у нас известно, я предлагаю нашим читателям с целью дать хоть некоторое понятие о стране и народе, играющих роль в событиях дня.

Пишу, не имея под руками для помощи памяти ни одного лоскутка из путевых записок и заметок, которые по обстоятельствам остались в Сибири. Поэтому представляю только общие очерки, иногда забываю название или не припомню числа. Казалось бы, что при этом все мелочи должны совершенно изгладиться из памяти и остаться одни крупные черты и факты, а случается наоборот: какая-нибудь мелочь, картинка нецелого ландшафта, лицо, ничего не значащий разговор так крепко засели в памяти, точно сейчас вижу или слышу. И вот, такую-то мелочь, если она характерна, поневоле буду допускать в рассказе и восполнять ею недостаток забытых более крупных черт.

Говорить о географическом положении Сербии, я думаю, будет лишнее, так как все газеты заняты теперь описанием всех этих стран; делающихся театром войны; но нелишнее будет для связи рассказать, в каком положении и настроении находилось княжество в то время, когда я предпринял путешествие.

## I.

В марте 1867 г. приехал я в Белград и поселился в гостинице «У короны», недалеко от Калимегдана — площади, отделяющей город от крепости. Дом, где была эта гостиница, принадлежал Карагеоргиевичу, жившему в Венгрии в качестве прогнанного экс-князя. Устройство и порядок гостиницы такие же, как во всех австрийских гостиницах: буфетчик — серб из *прека*, прислуга — девушки, не получавшие вдобавок никакого жалованья, ни содержания. Дом большой, хороший, но большую часть времени пустой; кое-когда только заезжал кто-нибудь переночевать одну ночь, и то потому только, что все другие гостиницы заняты.

Впоследствии мне это объяснилось.

Его избегали все именно потому, что он принадлежал Карагеоргиевичам: останавливаться в этой гостинице значило поддерживать прогнанную династию и в некотором смысле действовать против династии господствующей.

А между тем, пользуясь пустотой, приверженцы Карагеоргиевичей, или, вернее, противники Обреновича, в числе которых был и хозяин гостиницы, собирались там и за чашами *черного* (*красного*) вина, также из имений Карагеоргиевича, совещались о том, как бы затеять *буну* (возмущение): князя отправить *преко Саве*, министров его, конечно, сбросить, на место засесть самим, а на княжеское место посадить сына Карагеоргиевича *Петра* (Петра).

В других местах шли совещания по тому же предмету, только в другом роде: были люди, которые не хотели никого из Карагеоргиевичей, а думали установить республику, благо народная *скупицина* есть; она же назначит ответственных министров, выработает весь порядок и вообще вступит только во все свои права, которые оттягали у нее Обреновичи. Были, однако, еще претенденты прямо на княжеское место. Партий было много и в различных сферах: в либеральной, не разделяющей никаких династических соображений, в старой консервативной, вздыхавшей о прежней династии, в министерской и экс-министерской, в кружке совершенно отдельном, готовившем создать новую династию; одним словом, партий и претендентов было множество.

Но скоро выдвинулась одна, так называемая либеральная партия (я говорю *так называемая*, потому что тут были люди крайне консервативного закала, а либералы играли роль второстепенную; они даже не действовали и привлечены были только как люди полезные для увлечения молодежи, которая могла агитировать в народе), и все остальные притихли: каждая из них сочла более удобным предоставить одной либеральной партии произвести переворот, а потом уже в мутной воде ловить рыбу, не рискуя предварительно со своей стороны ничем. Для этого все они, в этой активной партии, постарались иметь своего человека, который их обо всем оповещал, и в роковой момент действительно все были на своих местах; но один перехитрил всех, и либералы поплатились тем, что живьем выдали своих, которых расстреляли — кого на *Карабурне* (за городом), кого под крепостью; и сначала, в страхе иудейском, рады были пристать ко всему, только бы спасти свои кожи, а потом, мало-помалу очнувшись, сочли за лучшее примириться с настоящим положением и пошли на компромисс с новым правительством, чтобы подавить окончательно всех носивших на себе печать старого режима, и добились только того, что тот же самый режим стал проводиться новыми людьми.

Люди истинно либеральные, конечно, скоро поняли свое, можно сказать, глупое положение, снова возвратились к самим себе, отдались науке, литературе, школе, молодежи, которую сначала оттолкнули было от себя, и мало-помалу восстановили свою репутацию в стране, в народе, который одно время верил им, а потом изверился.

Либералы готовили переворот или, вернее, подготавливались к нему, помогая другим и не зная вполне, каким путем он будет произведен; иные из них не знали даже, когда это должно произойти: один, например, выехал из Белграда как раз накануне катастрофы и, как оказалось, ничего не подозревал о том, что должно было совершиться; искренность его видна в том, что он тогда же вернулся назад, когда один из его близких друзей был уже взят и вскоре после того расстрелян. Это была какая-то игра в жмурки: на одном из совещаний было лицо, составляющее правую руку одного из министров, которого решено было убить, и это лицо, когда решался вопрос о том, как поступить с князем, говорило: «Пуля, пуля — один конец!..» Это лицо осталось нетронутым.

Заговор, таким образом, делался чуть ли не на улице; о нем знали все. В иностранных газетах были очень прямые указания, что Сербия стоит накануне переворота. Были, говорят, письма к митрополиту, и он представлял их князю; письма были и самому князю. Крепко веруя в неусыпную бдительность своей полиции, которая под министерством Николы Христича отправляла всевозможные политические и общественные функции, князь был спокоен.

Странную смесь представляла Сербия как политический организм. Князь, призванный народом, преданным ему как сыну народного героя<sup>12</sup>, сподвижники которого не сошли еще в могилу, не верит народу, попирает его права в лице скупщины, и, окружив себя бюрократией на австрийской закваске, замыкается в своем *конаке* (дворце) и остается глух и слеп ко всему, что делается в стране. Все внимание сосредоточено на полиции и войске. Вся Сербия обратилась в огромное полицейское управление. Все функции в ней, не только полицейские, но судебные и экономические, отправлялись окружными начальниками (род наших исправников) и *капетанами* (становыми приставами) со стаяй жандармов и *пандуров*, власти которых не было предела. По Сербии шагу нельзя было сделать без паспорта, и даже капетан, зарвавшийся в чужой округ, преследуя воров

и убийц, отрешался от должности (конечно, он был уже прежде намечен как неблагонадежный). Каждый поселянин, какое бы ни встретил новое лицо, требовал паспорта, хотя не умел бы читать. Быстро также развилась страсть к даванью и получению векселей, самые мелкие грошовые счета делались на бумаге; потребность в письме явилась огромная; а при малораспространенной грамотности явилась масса фальшивых документов. Вся Сербия обратилась к тяжбам. Открылось широкое поле для сутяг. Пользуясь поголовным сутяжничеством, чиновники извлекали выгоды, не стесняясь самыми бесстыдными средствами. Один чиновник целое окружье так опутал, что не осталось ни одного почти селения, в котором все не были бы в тяжбе между собой, и он положительно грабил всех, начиная с настоятелей монастырей и до последнего бедняка, который, чтобы заплатить за тяжбу, должен был продать последнюю козу. Все было в его руках, и это сходило ему долго, пока он не расхвастал, что у него в руках и министр Н. Христич. Тогда только его отрешили и без достаточных, впрочем, улик в мошенничествах засадили в тюрьму в Топчидере, где он нашел себе компанию, чтобы составить заговор. С поразительным цинизмом он заявлял, что по совести он виноват, но по суду с ним поступили незаконно.

Промышленности в стране никакой, торговля вся основана на торгашестве и плутне; то и дело злостные банкротства, земледелие упадает; страна наполняется паразитами. Печать задушена. Цензура распространена даже на орфографию. Частное мнение доносится министру и князю и, если оно им не по вкусу, сопровождается преследованием. Шпионство кругом. Общественной жизни никакой.

«Скупщина» — законный орган страны — обратилась в пустой парад, на котором дебютировали министры и их клеветы, а остальные были безгласными свидетелями. «Сербская Омладина», задачу которой составляли объединение сербства и нисколько не касались политического строя и социальных отношений, заподозрена, и ее собрание в Белграде разогнано. Рядом с этим совершались колоссальные кражи и мошенничества в военном министерстве, на котором, после полиции, сосредоточено было все внимание правительства.

Какой-то общий гнет, тяжелое чувство выносил всякий, кому в то время приводилось жить в Белграде и вращаться в различных сферах.

А между тем несколько миллионов славянского населения ожидало от этого юного государства своего освобождения и готово было отдаться ему без завета и договора. Сербия считалась югославянским Пьемонтом, и ее правительство прежде всех чувствовало в себе то же призвание.

В то время, когда я был в Белграде, движение было в Болгарии, или собственно в Македонии, но производилось шайками болгарских гайдуков под предводительством знаменитых Иля, Панайота, Тоти и др[угих]. Потом эти герои явились в Белград, где получали содержание от правительства, и предполагалось, что, когда из Сербии двинутся отряды, они будут путеводителями; там же находилась целая болгарская рота, чтобы приготовить из них офицеров. Проживали агенты от Болгарского комитета. Говорили, что из России привезено было оружие, более 100 или до 200.000 тульских ружей, которые пошли на переделку в Крагуевац, где на оружейном заводе шла кипучая работа. После все это оказалось пуфом. Выводились огромные счета, но делалось мало и плохо. А между тем, по-видимому, Сербия сильно вооружалась. И все это делалось будто бы по тайному договору с Россией. Русские инженеры и артиллеристы приезжали туда, чтобы увидеть, что сделано уже, и чтобы помочь сербам советом, знанием и опытностью. Это было всего курьезнее: серб был в Париже и Берлине, а тут русак приезжает обучать его; обидно! Таких нежеланных советчиков от души ненавидели и принимали самым скверным образом, как не принимали последнего шваба; а между тем говорили, что это делается только для вида, чтобы иностранцы не узнали об интимных отношениях Сербии с Россией. Не знаю, как чувствовали себя наши офицеры, но все это было в духе «великой политики».

И тут опять является игра в жмурки. Очевидно было, что все, что ни делается, известно иностранным консулам из самого близкого к делу источника. Интимные отношения у сербского правительства были с Калаем, венгерским консулом, а также с французским консулом, с русским же велись какие-то тайные дела только для виду. Все равно как для виду только держали и болгарских вождей: им говорили, что им поручат вести отряды против турок; а туркам сообщали, что они нарочно отвлекают их, чтобы дать краю успокоиться. В таких же ложных ожиданиях, как болгары, вращались в Белграде и черногорцы. Придет ли кто из Старой Сербии, из Македонии — все

это призывается к Блазнавацу, военному министру, и тот развивает перед ними картину будущего освобождения, только нужно, чтобы они уже вперед присягнули на подданство Сербии и повременили немного, когда заготовят достаточно оружия и боевых снарядов, а над этим работают денно и нощно. Простота верила, и имя Михаила произносилось всюду с надеждой и благоговением. Блазнавац рисовался сербским Гарибальди; был, конечно, и свой Кавур.

Скоро, однако, эта игра в жмурки надоела всем. Надоели Блазнавацу и черногорцы, и болгары. Стал он их спроваживать, а болгар в одно прекрасное утро за то, что они не захотели исполнять черных работ и требовали настоящего учения, вздули палками. Возмутились несчастные, и все сразу двинулись вон из братских объятий. Агенту их много хлопот стоило, чтобы удержать от скандала, потому что они готовы были на все: они хотели убить Блазнаваца, и хотя бы это им не удалось, но тем не менее дело не обошлось бы без кровопролития, что между братьями было бы крайне неловко.

Все это, однако, перед светом было скрыто. За пределами Сербии публика уверена была, что Сербия готовится к бою. Поэтому симпатии славян обращались к ней. Тогда же явился чех Крнка, предлагая свое скорострельное ружье, которое при достаточной скорости отличалось простотой и грубостью механизма, что предохраняло его от скорого полома и порчи. Его приняли, поводили за нос, выудили из него, что было нужно, и отпустили ни с чем. Впоследствии туда явился один русский музыкант, дававший концерт во дворце абиссинского короля, с предложением особенной системы ружья, с помощью которого один будет убивать 500 чел[овек], и турки будут непременно прогнаны; тогда нужно будет восстановить Византийскую империю с царем из русского царствующего дома.

Забрел как-то русский офицер, чтобы попасть в волонтеры; натерпевшись всякой нужды, он рад-рад был, что его на время командировали на оружейный завод в Крагуевце. Всех принимали, всем подавали надежды.

Является туда и еще один соотечественник в начале мая: настали жары, а он в ватной шинели с меховым воротником; тоже прибыл искать какого-то дела. Но в это время близились уже к разрешению дела другого рода, в которых ему было бы неловко, и его постарались выпроводить, чтобы он не попал в какую-нибудь кашу, как кура во щи,

да еще дал бы повод говорить, что Россия посылала своих эмиссаров действовать против сербского правительства, о чем и поговаривали.

Откуда-то явился хорват, когда-то участвовавший в восстании в Боснии, тоже, видимо, прорюхавший о каком-то деле.

Хаживал ко мне один отставной *капетан* (становой), в синем вицмундире с красными кантами и с желтыми пуговицами и в фесе на голове, и вели мы с ним беседу о том, как бы высвободить нашу славянскую братию из-под турецкого ига, и тут же сообщал, как все больше и больше растет недовольство в Сербии против правительства, как оно бестактно поступает и у себя дома, и во внешней политике. Когда я ему замечал, что при таком положении нечего и думать об освобождении турецких славян, он всегда мне отвечал с некоторой запальчивостью: «Ама, веруйте ми, битье то битье (будет)»<sup>13</sup>, но всегда добавлял, что прежде должно совершиться еще что-то другое. Это был намек на переворот, которого все ожидали. Бродя с ним по улицам, мы встречали много новых лиц, с которыми со всеми он был знаком и раскланивался. И неудивительно: в таком маленьком государстве все между собой знакомы. Некоторых он называл мне по именам, видимо, желая обратить мое внимание на них. Много народу съезжалось из провинции по разным делам, но, в сущности, всех привлекало одно какое-то дело.

Полиция этого не могла не знать и не замечать: она и знала, и замечала, но, как полагали, ждала, чтобы дело довести до конца, дать побольше собраться народу и тогда уже накрыть всех сразу. Для этого только.

Никола Христич, не дозволявший никому заживаться в Белграде без особенной надобности, допустил сборище более обыкновенного и вперед торжествовал свою победу. Он сообщил свой план князю, и тот был вполне спокоен и уверен и также вперед торжествовал. А между тем ожидание охватывало всех.

Бывало, чуть услышишь бой барабана не в урочный час, бежишь смотреть, не произошло ли чего; оказывается что же: аукцион или объявление какого-нибудь указа. Часу в седьмом публика всегда собиралась на Врачаре против инженерных казарм, там, где шла дорога в Топчидер, по которой об эту пору обычно проезжал князь со своей племянницей, молоденькой, очень красивой девушкой. Публика собиралась недаром, а все чего-то поджидала. Ждет, бывало, публика



часов до девяти; выйдут трубачи из казарм к воротам, проиграют сначала марш «Всадники други», потом «Коль славен», и затем одна труба прокричит несколько вызывающих звуков, пробьет барабан зорю, все стихнет, а публика ждет, когда князь проедет обратно, и разойдется уже поздно.

Так было в первых числах мая. Зажился я в Белграде, дожидаясь только весны, чтобы пуститься вглубь страны; в конце апреля смело уже можно пуститься в путь, не боясь никаких невзгод; подождал еще три дня, думал, что будет, и, наконец, решил отправиться: и надоело отчасти, и нужно же видеть край и народ. Накануне простился со своими приятелями, которым невозможно было проводить меня, так как все они были люди занятые по утрам; пришел ко мне только мой приятель старик. «Идите с Богом, — говорил он мне, — здесь вы не увидите настоящих сербов; здесь народ дрянь, трус, торгаш; если б не дела, сейчас бы отсюда бежал; здесь всякое дело тянут». И начал он мне рассказывать о каком-то деле с Христичем.

— Да вы что мне о Христиче говорите; вы мне скажите, когда у вас будет то, чего вы все ждете?

— Ничего не будет у нас, а если и будет, то конец будет скверный. Сон мне виделся такой, по которому я знаю, что будет скверно. Нынешнюю ночь приснилось мне, будто я сижу в какой-то темной и холодной комнате.

— Ну так что ж?

— А то, что этот же самый сон я видел, когда мы хотели прогнать Карагеоргиевича. Дело не удалось, наши трусили, меня бросили в тюрьму, морили девять месяцев и приговорили к смертной казни, а тут как раз его и сбросили, опоздай на один день, меня бы не было. А теперь я не надеюсь ни на кого, ни на что.

— Зачем же вы идете?

— Э, брате, шта тью!<sup>14</sup> — ответил он, пожимая плечами, т.е. не знаю, что ответить: нужно, должен.

Поговорили мы с ним о том, что не следует верить снам; что по сербской пословице «Сан е лажа (ложь), Бог е истино»<sup>15</sup>, но старик мой, видимо, был смущен своим роковым сном, который, без сомнения, навел на него то обстоятельство, что дело, которому он служил, не клеилось, между самими заговорщиками видны были розни,

несогласие и нерешимость. И еще его смущало то обстоятельство, что к ним замешался монах.

— Боюсь я этого монаха, в нем капли крови нет, а говорит, так пламя мечет. Боюсь я его.

Было ли то темное предчувствие или сознательное предвидение, когда человек видит ложь, но по долгу присяги верит; потом я увидел его уже между подсудимыми, но об этом после.

Я стремился вон из Белграда, чтобы видеть скорее край и народ, чтобы отдохнуть и освежиться от тяжелого чувства, давившего каждого в Белграде.

## II.

Около 8-ми ч[асов] утра я был уже на пристани, на Саве. Движения еще было мало: два-три *хамала* (носильщики) и *рабаджии* (возчики кладей) составляли почти всю публику; отправляющихся было немного, и еще меньше провожающих. Но мой знакомый старик в красном фесе и светло-синем полицейском вицмундире был уже тут. Оказалось, что он пришел проводить меня и сказать два-три слова. Вид его был веселый, сияющий, совсем не такой, каким я его видел накануне. «Должно быть, видел хороший сон», — подумал я про себя.

После обычных приветствий и пожеланий мне вполне воспользоваться и насладиться предстоящим путешествием, он добавил: «Из Шабаца вы не уезжайте скоро; там вы услышите нечто дивное, и тогда поспешите обратно в Белград. Вам, как наблюдателю, будет что видеть и передать своим: вы увидите тогда, каков сербский народ; а вы нам также будете нужны». Дальнейшие расспросы были бы с моей стороны нескромностью, и я отправился в ожидании чего-то. Австрийский пароход, помнится, «Делиград», небольшой и довольно грязный, медленно тащился против течения реки, как бы намеренно давая нам налюбоваться видом Белграда; да и река повилась так, что, сколько ни едешь, все возвращаешься к прежнему месту.

Мутно-зеленоватая Сава, гладкая как зеркало, не вошла еще вполне в свое русло: там осталось от разлива длинное озеро в виде протока; там шел залив, а местами только что выступившая из-под воды почва успела уже покрыться яркой свежей зеленью или сплошь,

как снегом, укрылась белой звездчаткой. Левый (австрийский) берег плоский, низкий, чрезвычайно пуст; только вдали кое-где виднеется колокольня церкви или по гриве тянутся рощи и среди их где-нибудь чуть заметно выдастся деревенька. Белые чайки вьются над нами, а по берегу беспечно бродит цапля, лакомясь по мелкому заливу различной водяной снедью; завидев и заслышав пароход, она отбежала от берега, поворотилась к нам задом, подогнула ноги, собираясь лететь, но пароход отвернул, и она снова спокойно предалась своему занятию.

Но что за растительность на островах?! Они сплошь поросли дубом, темная шапка которого, как кудрями, убрана светлой зеленью дикого винограда, а середина его, сажени на две вышины, залита ярко-пурпуровым цветом шиповника, который, пробиваясь к свету сквозь гущу его ветвей и темной листвы, обсыпал его своими цветами. По лугу трава выше колена, и с разноцветного ковра его по временам обдает ароматом. Жизни только мало. На расстоянии более ста верст от Белграда до Шабаца только и есть одно местечко Палез или Обеновиц, да еще два-три селеньица, а то все лес да низменный луг. Кое-где только под лесом попадаются уединенные полоски посевов ржи или пшеницы.

Медленно тащится пароход. Сколько ни едем, а все не можем уйти из виду Авалы (гора над Белградом, с развалиной старого замка наверху); она как будто гонится за нами: то мы видим ее справа, то слева, то вдруг она опередила нас, будто идет к нам навстречу или мы поворотили к ней назад. Это все делают извилины реки.

Общество на пароходе немногочисленно и не разнообразно по народностям, но костюмы замечательны смесью общеевропейского с национальным. Один в черном сюртуке и с красным фесом на голове, другой, наоборот — в полном сербском костюме, а на голове шляпа, буфетчик, рыжий еврей, старался изобразить из себя мадьяра и серба вместе, только турок был вполне верен самому себе: на бритой голове — чалма, широкие штаны, стянутые у щиколотки, мягкие сапоги и сверху башмаки, в руках трубка на длинном чубуке. Сидит он на кучке своего багажа и товара, покрытых ковром, и покуривает трубку на длинном чубуке, без цели и без смысла поглядывая на рулевого, как он вращает колесо, кладя руль направо, налево, или совсем на борт.

Большая часть публики — торговцы сербские, шабачане и лозничане (из Лозницы), и турок-босняк, или собственно потурченец. Физиономия его несербская: черные глаза, смотрящие как-то тускло, не то важно, не то бессмысленно, нос длинный, но плотно прилегающий к лицу, скулы несколько больше выдающиеся чем у серба, редкие усы, несмотря на то, что ему далеко за тридцать, длинная шея с сильно выдающимся кадыком, точно в этом месте она изломана. Когда он ходит по палубе, закинувши руки назад и не выпуская ни на минуту чубука, голова у него сильно подается вперед и держится гордо на изломанной шее, а в то же время наклоняется вместе с верхней частью туловища. Особенность образа жизни и привычек, конечно, сообщили ему особенную физиономию, так что, во что бы вы его ни одели, вы сейчас признаете в нем турка или, по крайней мере, не признаете в нем серба, каким он есть по происхождению. Он даже говорит по-сербски, а по-турецки знает только сказать приветствие, ругань и кое-какие молитвы. «Какой ты турок, когда не умеешь говорить по-турецки?» — приставал к нему шабачанин. «Ни сам рая, есам сараф, био сам у Стамбул на хаджилуку, а сам добио царева фермане»\*, — ответил потурченец, отчеканивая каждое слово и ударяя себя в грудь, где за пазухой на зеленом шнурке держал действительно какую-то бумагу. Это разбогатевший меняла из Баня-Луки, успевший разного рода одолжениями расположить к себе местные власти; затем он отправился в Константинополь и там исхлопотал себе право собирать поземельную дань.

Он ехал из Константинополя, и с ним переводчик, плугавенький *цинцар*, который говорит решительно на всех языках, употребляемых на Балканском полуострове, и не знает сам, какой он народности. Цинцары родом большей частью из Македонии, где смешались вместе славяне, греки, румыны, албанцы и еще, может быть, остаток какого-нибудь исчезнувшего народа; бродя по всему полуострову, они чувствуют себя везде, как дома. Впрочем, специальность цинцар составляет содержание *механ* (постоялых дворов), и рядом с этим уже идут всевозможные другие занятия: торговля, хлебопашество, ремесло и т. д. Больше всего они любят называть себя эллинами,

---

\* Я не райя, я меняла, был в Константинополе на богомолье и получил царские указы.

но, поселившись на постоянное жительство в Сербии, охотно превращаются и в сербов.

Беседы велись крайне неинтересные, все вертелось на торговле в самом узком смысле. Некоторые из них были в Пеште и в Вене, но и там для них весь интерес сосредотачивался на ценах различных товаров.

Припоминая свои поездки, как сухопутные, так и на пароходе в пределах сербских земель, я замечаю одну странность: я не встречал никогда женщину; видно, что там она крепко сидит у домашнего очага, от которого боится оторваться, помня еще турецкие времена, когда это было действительно опасно. Так и в этот раз: на пароходе не было ни одной женщины, ни детей.

«Поневоле к полю, коли лесу нет», — говорит русская поговорка; так и тут — поневоле приходилось смотреть на берега да на воду, когда общества почти не было. К сожалению, и местность была крайне однообразна. Впереди на перерезе реки шли два хребта: к сербскому берегу Цер, к австрийскому — Фрушка-гора<sup>16</sup>, и издали казалось, будто они сливаются, а по мере того, как продвигались вперед, они все раздвигались, и, наконец, мы плывем между ними, но берега так же плоски, как и были. Стали попадаться *байдаки* (плавучие мельницы), какие попадаются на Дунае и Драве, а у нас на Дону и на Урале. По левую сторону от нас стелется *Мачва*, обширная равнина, на которой больше, чем во всех других местах, сеется хлеба, и потому она иначе не называется, как *урожайная Мачва*. Глушь понемногу исчезает; вместо леса вы видите только отдельно стоящие обгорелые дубы и между ними всюду засеянные поля. Река разбилась на островки, а там показалась темной полосой и стена Шабачкой крепости: серая, низкая, на низкой местности она совершенно не похожа на крепость, да и вряд ли может считаться крепостью; вдобавок она во многих местах разрушена.

Вот вам и Шабач.

Широкие улицы, чистенькие домики, множество лавок, каменная выбеленная церковь с необыкновенно высоким шпилем, суетня на базарной площади, публика, восседающая на скамеечках перед кофейнями, — все это вместе сообщает весьма живую и веселую физиономию этому окружному городку княжества, имеющему до 2 ½ тысяч жителей.

Особенность этого города та, что он меньше других смотрит чисто сербским городом; это заметно как в его наружном виде, так и в самой жизни; он больше всех других напоминает собой небольшие городки или местечки Баната или Срема. Отсутствие оригинальности в расположении и постройке делает его малоинтересным. Пошел я в церковь, где служба только что кончилась; священники повели меня в алтарь показать ризницу и, между прочим, показали сосуд, пожертвованный русским купцом (чуть ли не из Тулы), воздухи, шитые русской барыней, и еще несколько вещей, присланных из России. А, наконец, в стене церкви медная доска с надписью, в которой значит, что она построена в царствование такого-то турецкого султана, при сербском князе Милоше и под покровительством русского императора Николая.

В Шабаче находится епископская кафедра, в то время пустая, так как старый епископ помер, а новый еще не был назначен. Меня повели посмотреть его дом. Дом оказался запертым, а человека с ключом не оказалось дома, и потому мне привелось осмотреть его наружность, которая не представляла ничего особенного: довольно большой, длинный и, кажется, двухэтажный каменный дом, со множеством окон и плоским фасадом; вот и все тут. Но перед ним сад, составляющий двор, и в нем, рядом с кустами роз, я увидел желтые гвоздики (шапки), канупер, зарю (мобистон) и душистые васильки (базилика), которые составляют непрременную принадлежность каждого огорода у малороссиян. Откуда такое сходство? Занесено ли это духовными лицами, получающими образование в Киеве, или самостоятельная черта сербов, указывающая на их родство с южноруссами? На другой день мне привелось наблюдать еще некоторые черты, также напоминающие Малороссию.

Горожане сами собой представляли для меня мало интереса, потому что в них я видел копии белградских горожан, с которыми я уже достаточно познакомился. Поэтому мне хотелось скорее видеть сельский люд.

План мой был отправиться вверх по-над Дриной вдоль боснийской границы, потом выйти на Ужицу, оттуда перевалить в долину Моравы и т. д. Но Мачва также отличается особенностями, каких нет в других местах, и потому я решил сделать для нее отдельную экскурсию; но еще один день остался, чтобы видеть маневры. Утром

(помнится, это был Николин день) была торжественная служба в единственной церкви, а после обедни через город потянулось войско с обозами артиллерии, это была народная милиция, собравшаяся для обучения. Собрано было тысяч до 6 милиции: с утра по улицам двигались отряды из различных фезов (уездов), и нельзя было не заметить во всех них резкой разницы, какой трудно было бы ожидать, принимая во внимание незначительность района. Некоторые отличались большим ростом, крепким, воинственным видом, как, например, с Поцерья: что ни солдат, то *юнак*; другие были гораздо мельче, неуклюжи, так и смотрели простыми *селяками*. Но все были необыкновенно довольны, отдавались военному обучению с любовью. Стоя на границе Боснии, они все до единого проникнуты были мыслью об освобождении своей братии по ту сторону Дрины. Тут случилось несколько босняков, бедно одетых в истасканные *гуни* (верхняя одежда) и засаленные фесы, смотревших действительно какими-то пригнетенными *райями*; их приветствовали все как почетных гостей, угощали, водили всюду и, показывая маневры, утешали уверениями, что не в дальнем будущем готовится их освобождение. Воодушевленные мыслью о предстоящем освобождении славян из-под турецкого гнета, сербы охотно несут военную повинность; с обозом какого-нибудь батальона шло множество лишнего народа, приходили даже женщины полюбоваться на своих сыновей, мужьев или братьев. Маневры эти, продолжающиеся три дня (в промежуток времени между окончанием пахоты и началом покоса), не похожи на обычные военные учения, это было какое-то празднество, нечто вроде олимпийских игр древних греков. Меткость выстрелов артиллерии была удивительная; но конница была не совсем подготовлена: один эскадрон, встреченный выстрелами засевшего пешего отряда, весь рассыпался вследствие того, что лошади испугались, и при этом несколько человек свалилось.

День был жаркий; движения были бешеные, пальба не прерывалась ни на минуту; нельзя было ничего видеть в дыму и в пыли; и, только окончилось дело, раздался звук *свиралы* (деревянной дудки), и пошло *коло* (пляска). Вечером в каждой палатке шел пир: печеная на рожне баранина запивалась вкусным поцерским вином, люта паприка (красный перец) служила приправой ко всему, угощение это приносилось горожанами. В 9 часов пробили зорю; кругом по-

ставлена цепь, и уже никто не выйдет из лагеря и не войдет в него. Я не знаю солдата более веселого и более исполнительного, чем сербский солдат, его как будто самая жизнь дисциплинировала, он солдат по природе, по призванию. Поэтому вольный и непокорный вне строя серб делается безусловно покорным, как скоро вы успели поставить его в строй. Этим воспользовался Блазнавац как военный министр во время топчидерской катастрофы: известивши по телеграфу о случившемся, он тотчас же, не давши народу одуматься, по телеграфу же поставил всю Сербию под ружье под предлогом, будто бы угрожает нападение со стороны Турции, и затем уже мог делать что хотел. Блазнавац был истый серб; народ знал о его злоупотреблениях, но любил его за военные затеи, мечтая, что он из Сербии создаст такую силу, с которой можно будет целую Турцию разгромить и воссоздать царство Стефана Душана.

Затем я отправился в экскурсию вверх по Саве, в селение Дреновац, часах в трех от Шабача. Отличная шоссированная дорога, по бокам огромные тутовые деревья и черешни. Все это насажено по приказанию Милоша лет 25 назад. По сторонам сплошные нивы: рожь уже выколосилась давно, завязывается даже колос у пшеницы, и между ней по светло-зеленому фону краснеют цветы полевого мака; везде торчат обгорелые дубы, поднимая к небу свои черные обожженные ветви; иные свалились давно, но хозяин поля не забывается убрать их исполинские остовы и предпочитает обходить их плугом, жертвуя значительной частью годной для пашни земли; видно, что не дорожат лесом и чувствуют простор. Местами у обгорелого дерева уцелел один мощный ствол, и под его зеленым навесом теперь покоится пахарь, укрываясь от солнца и предаваясь сладкому сну после тяжелей работы. Время было послеобеденное, и мужчины спали все; даже дети угомонились, только женщины сидели, занятые ручной работой, шили или пряли. Из этого можно бы вывести, что женщина не принимает участия в тяжелой работе мужчины и потому не нуждается в отдыхе. Напротив, она все время ходила за плугом, водила лошадь и держа еще ребенка на руке; потом она успела сходить в селение, взять обед и принести на пашню, накормить всех, уложить ребенка и, когда все успокоились, принялась опять за работу. Мне приводилось встречать на дороге, что женщина идет с ребенком у груди, который привязан к ней полотенцем, на голове несет



пищу, и в то же время на ходу прядет, держа гребень с куделей под левой мышкой, а правой вытягивая нить. Когда едет на возу, она всегда прядет или вяжет крючком. Дреновац — бывшее селение из числа *ушоренных*, как называют сербы все селения, в которых дома расположены рядами, улицами, вместе, а не вразброс, как живут большей частью сербы. *Ушоренные* села созданы Милошем, который вообще любил все регулировать; образцом ему послужили австрийские селения, особенно огромные селения в Банате и Военной Границе. С тех пор сербское правительство постоянно заботится об том, чтоб как-нибудь все селения *ушорить*, но это мало удается.

Улицы в Дреноваце такие же широкие, как в Шабаце, и еще вдобавок обсажены деревьями; под навесами деревьев уютятся лавочки с различными товарами, с напитками и яствами, стоят извозчики из Баната; местами колодцы с журавлем (очепом).

Отыскиваю священника, чтобы попросить его быть моим руководителем. Скоро меня довели до *попа Ивки*, который на первый раз мало похож был на попа: одет в какой-то казакин, широкие штаны, башмаки; имея на голове какую-то серую суконную ермолку, с короткими волосами, без бороды, только с черными усами, он скорее похож был на малороссийского казака, чем на священника. Он что-то работал, и потому костюм его был приноровлен к работе. Узнавши, что я русский путешественник, он схватил меня за обе руки, притащил к себе, обнял и крепко поцеловал.

«Никогда еще я не видел русского», — говорил он и смотрел на меня так, как будто хотел сразу просмотреть насквозь. Затем появилось угощение, от которого я отказался, объявивши откровенно, что моя цель видеть житье-бытье простого народа, и что я намерен пораньше вернуться в город. Он понял меня и пошел только переодеться. Через несколько минут передо мной был уже настоящий русский священник: та же ряса с более узкими рукавами, и притом вся она не так широка, под низом полукафтанье с широким матеревым поясом розового цвета, на голове род камилавки, только пониже, с округлой верхушкой и небольшим перехватом. И пошли мы по селению. Первое, что кидается в глаза, это везде заборы перед домами и отсутствие окон на улицу, а если и есть, то с деревянной решеткой. Можно подумать, что там сильное воровство и даже разбои. Ничего не бывало, теперь в целой Сербии мир и тишина, воровство бывает

очень редко, вследствие всеобщего довольства; большая часть преступлений относится к разряду насилий вследствие запальчивости, ревности и мести, нередко также поджоги вследствие тех же побудительных причин; разбой и грабежи бывают только в местностях, пограничных с турецкими землями. А в таком благоустроенном селении, как все селения по Мачве, не слыхать ни воровства, ни разбоя, и решетки в окнах напоминают только прежнее время, когда было полное господство турок, и даже до недавнего времени, когда турки держались в крепостях. По той же причине все дома не смеют прямо выступить на улицу и прячутся за заборами, состоящими из плах, поставленных стоймя плотно одна к другой, со связями между ними.

Дом — собственно мазанка. Из дерева делается только остов, по углам и по середине ставятся столбы, которые связываются перекладинами, промежутки между ними крест-накрест забиваются обтесанным жердником; между ними делается переплет из тонких тесинок или из прутьев, и все это потом замазывается; сверху на стропила кладется решетина, и крыша кроется соломой, преимущественно кукурузной. Крыша эта очень толстая и высокая, так что небольшие домики и амбары кажутся совершенно кучами соломы.

Входим в первый попавшийся двор. Он очень обширный и застроен домиками меньшего размера и амбарчиками. Это целый хуторок: всего три домика и четыре амбарчика, в которых также живут, не считая амбарчика на столбиках для склада провизии, погреба и построек для домашних животных. Входя в дом, вы прежде всего попадаете в обширные сени с земляным полом и без потолка; влево дверь в комнату, и тут же у стены очаг; несколько отступя от стены, над ним висит цепь с крюком, чтобы навешивать котел для варки; на нем же готовится настоящее сербское кушанье — *печенье*, по-нашему жаркое, которое у них всегда печется на угольях; пекут таким образом на рожне целых баранов и свиней; тут же на угольях пекут лепешки и хлебцы. Из жидких кушаний употребляется только *чорба* (род похлебки) различных сортов, самое название которой показывает, что она перенята у турок, поэтому печки в нашем смысле у сербов не существует. Очаг же сербский напоминает огнище у азиатских кочевников в их юртах и кибитках. Для вывода дыма над очагом устроена труба, прислоненная к стене. Сплетенная из прутьев

и внутри вымазанная глиной с коровьим пометом, она идет, конечно, сквозь крышу, и там обмазана и снаружи. Совершенно такие же трубы я видел в малороссийских хатах. Влево из сеней, как я уже сказал, комната: это была обыкновенная комната с полом и вдобавок с печкой аршина полтора вышины, с топкой из сеней: это также отступление от чисто сербского устройства. Обычно пол в сербских домах битый из глины или кирпичный, и часть только у передней стены в виде эстрады или деревянного помоста поднята вершка на два над каменным полом — и называется *патос*. Он обыкновенно бывает устлан коврами, сукном или войлоками, и кругом по стене просто подушки или положенные на возвышении вроде низких лавок, и называются *миндерлук* — все это турецкое, так что утратился из мебели стол, а вместо него употребляется *совра* или *софра* — маленький столик вроде подноса на низеньких ножках. В описываемой мной комнате видно было австрийское влияние: кроме печи и мощеного пола, был стол крашенный, вроде тех, какие употребляются немецкими колонистами в России, несколько стульев; на стене, сбоку, были изображения Христа, Божией Матери и святых на бумаге — произведение австрийских дешевых литографий. Передний угол был совершенно пуст, но перед ним свешивался с потолка на шнурке голубь, сделанный из теста, с бумажным хвостом и таким же хохолком, и там же к потолку прикреплены были пучки васильков и шафрана (*crocus*) — опять непременно убранство переднего угла в каждой малороссийской хате.

Таким образом, иконы, занимавшие когда-то передний угол, исчезли, и заменившие их священные картины стали сбоку; но уцелел один атрибут, указывающий, что когда-то он был также убран образами, как у всего православного люда в России.

Остальные домики в этом же роде. Один из них был пустой, а в другом были маленькие дети, две замужние женщины-снохи, одна девушка и старуха. В комнатах были наставлены прялки, ткацкие станки, сундуки, висели колыбели и разложена была различная домашняя рухлядь. В амбарчиках находились вся одежда, подушки, шерстяные лохматые одеяла, по-сербски — *губеры*. В этой семье, или, скорее, *домашней общине*, как ее называют немцы (*Hauscommunion*), всех было около 30 душ, из них 17 чел[овек] находились на полевой работе. Это и есть сербская *задруга*<sup>17</sup>, в кото-

рой набирается человек до 40. Прежде она была еще многочисленнее, а теперь все упадает и рассыпается. О ней мы поговорим после, а теперь походим по двору и займемся находящимися перед нами личностями.

За этим двором, на котором находились жилые здания, идет другой, разделенный надвое: в одной половине — помещение для свиней, в другой — для рогатого скота и лошадей; за ним еще двор или, вернее, сад из сливовых деревьев, а посередине несколько деревьев тутовых и одно дерево грецкого ореха. Последнее раскинуло ветви свои сажени на 4 в диаметре, и под ним-то мы присели отдохнуть на скамеечке. Тут же неподалеку была *винница*, в которой хранились *сливовица* и *ракия*, два напитка, приготовляемые из сливы — первый простым настоем и брожением, второй — перегонкой. В другом конце сада был пчельник.

Покуда мы сидели, явилась девушка с подносом в руках; на нем стояли две чашки черного кофе, две рюмки янтарной сливовицы и варенье.

Девушка была в длинной холщовой рубашке, подпоясана широким ремнем, по краям рукавов, по обшивке — вышивка разноцветной бумагой, и так же вышиты плечи; волосы заплетены в одну косу сзади; на ногах *опанки* (род поршней или башмаков из мягкой кожи). Украшений ни на шее, ни на голове никаких, необыкновенно просто. Тут же стояла старуха в юбке сверх рубашки, и голова повязана бумажным синим платком с концами, пущенными сзади; стояла она, приложивши руку к щеке, и рассказывала о своем житье, отвечая на мои расспросы; священник пояснил ей, что я брат-рус, пришел издалека, чтобы познакомиться с сербами.

«Разве опять будет война с турками?» — спросила старуха. Ей нужно было пояснить, что кроме знакомства у меня нет никакой другой цели. Она же со своей стороны поясняла нам, что война должна быть, это говорят швабы (сербы австрийские). И еще есть одна примета, что перед войной всегда являются русские с образами, деревянными чашками и ложками, на высоких телегах и на своих лошадях, в упряжи с высокими дугами. Это были офени, приезжавшие к ним, и меня старуха приняла было за них.

Девушка стояла перед нами с порожним подносом, дожидая, когда мы кончим кофе; она смотрела прямо, с любопытством слушала

и рассматривала меня, нисколько не стыдясь и не потупляясь, как это делают наши девушки.

Старуха и молодая девушка напоминали мне малороссиянок, подле меня сидел православный священник, мы говорили на своем родном языке, густые листья ореха как шатром укрывали нас от жаркого солнца, наверху раздавались на разные лады крики иволги; во всем столько знакомого, родного, что невольно забываешь, где находишься.

Долго бы можно было тут просидеть, хорошо бы остаться и пожить, как предлагала старуха, отдавая в мое распоряжение лучшую *собу* (комнату), но везде жить не достанет времени. Путешественник не должен нигде заживаться, ему нужно больше видеть. Постоянно нужно делать различие между путешественником и исследователем: первый только намечает факты и явления, тогда как исследователь по его указанию будет их изучать и объяснять.

Осмотрел я еще церковь и школу. Школа велась порядочно, но ей грозило почему-то закрытие, потому что хотели отнять занимаемый ею дом, принадлежащий общине; по распоряжению административной власти и против желания общины его хотели обратить в помещение капетана. И тут та же неприятная нота, стонущая и жалующаяся на стеснение свободы, которая мне так надоела в Белграде.

В 6 часов вечера того же дня я был опять в Шабаце, где успел уже найти прежних знакомых по Белграду и приобрести новых. Все они накануне были в очень веселом настроении и, когда я любовался их народным войском, с самодовольством и уверенностью говорили: «Это войско должно послужить народному делу, а теперь оно служит не ему, как знать, не нынче, завтра, может быть, побредем и за Дрину!» Вечером же застал их совсем другими: они не удерживали меня больше остаться подольше погостить в Шабаце, как накануне, молча потягивали черный кофе, курили македонский табак, и по временам только кто-нибудь отрывисто процеживал сквозь зубы: «Рдяво, брате, рдяво!»<sup>18</sup> (худо!). На другой день в 10 часов утра я был уже на пути. Мой путь был к монастырю Петковице<sup>19</sup> на склоне Церского хребта, до которого, как мне говорили, часа три ходу, но оказалось больше, потому что говорили это люди, которые сами туда не ходили.

Начало пути было по хорошей шоссированной дороге. Кругом равнина, усеянная огромными старыми дубами, между которыми большие промежутки, занятые посевом или пущенные под луг, и при

этом все пространство обгорожено и разбито на участки. Свободного нет ни клочка земли, вся она присвоена как частная собственность. Огорожа везде состоит из дубовых плах, иной участок еще разгорожен на несколько частей, луг отгорожен от усадьбы, поле отгорожено от луга; одним словом, на всем пространстве вы видите клетки и деления, точно где-нибудь в середине Европы. А чего стоит такая огорожа! Она стоит того, что ради нее весь лес истреблен, остался только редко дуб; лес в Сербии сохранился только в горах, где нет жилья и откуда его нельзя вывезти. В хозяйственном отношении это деление имеет еще ту невыгоду, что каждый хозяин должен иметь отдельный выгон и отдельного пастуха; в больших задругах это еще не так ощутительно, но в мелких оно ведет к тому, что они мало-помалу сокращают свое хозяйство и, в конце концов, отдаются мелкой торговле, перебиваясь перекупкой и перепродажей. Такое деление всей земли совершено было при Милоше, и наделы производились крайне произвольно, сопровождаясь взяточничеством и насилиями. В основание было положено владение землей при спахиях (турецких помещиках): земледельцы, сидевшие на известном спахилуке<sup>20</sup> и платившие определенную дань за известный участок, после прогнания спахий признаны были владельцами того самого участка, но получили такие наделы и люди, никогда не обрабатывавшие земли, от которых богачи скупали участки, и таким образом возникли новые спахилуки, которыми Милош наделял свою родню и своих друзей.

Сербия — страна гористая, в ней есть превосходные земли, но их немного, они находятся рассеянно по долинам и расширениям их при слиянии рек; остальное же пространство занимают горы и узкие, крутые, ни к чему не годные места. Поэтому такой несправедливый, неровный раздел повел к тому, что хоть кругом и приходится на каждую душу не менее 20 десятин и, если отбросить все плохие места, то одних удобных земель было бы по 15 десятин; а там уже есть пролетариат — люди, которым не к чему руки приложить, вследствие этого непомерно плодится торгашество, а рядом много земель, лежащих втуне, без обработки; цены же на землю высоки, потому что владельцы не нуждаются в продаже их, хоть сами и не обрабатывают. Я знаю, что сербское правительство очень стеснялось приемом переселенцев из Герцеговины, Черногорья и других югославянских земель именно вследствие недостатка свободной земли.

На большой дороге мне привелось идти немного, а там был сворот, и вот тут-то нужно было уметь напасть на истинный путь. Маленькие селеньица, через которые я проходил, были пусты, потому что все были в поле на работе. Вижу впереди идущего *селяка* (жителя села), догоняю его. «Помози Бог!» — говорю ему я первый.

— Бог ти помого!

— Како сте? (как поживаете?).

— Фала Богу! (благодарит Бога).

— Йош како сте? (еще как?).

— Зафалюем (благодарю). Ако бог да? (куда идешь?21).

«У Петковицу», — отвечаю и начинаю расспрашивать о дороге. Растолковал он мне дорогу, и я хотел было идти, сказавши: «С Богом!», как он остановил меня вопросом: «Што си?» (что ты — т. е. кто ты таков?). Объявляю, что *рус*. «Какой веры?»

— Православной.

— Знаешь «*Отче наш*»?

— Знаю.

— Поговори.

Читаю «Отче наш», а он уставился в землю и слушает, взвешивая каждое произнесенное мной слово. «Ама добро, брате, читаш; па ти си србин»<sup>22</sup>. Начинаю пояснять, что я не серб, а русский, но что русские и сербы славяне, люди родственные по языку и одного православного исповедания.

«Нет, ты сербин, ты этого сам не знаешь; а вот ты хочешь видеть наши монастыри, так когда дойдешь в Студеницкую лавру<sup>23</sup>, там есть ученые монахи и у них старые книги, они тебе покажут, что русские все сербы».

Затем стал упрашивать меня вернуться назад в селение, к нему в гости, чтоб расспросить, как живут сербы там, далеко, в русской стране. Но, боясь запоздать и сбиться с дороги, я отказался от такого приятного приглашения и потянул дальше.

Путь был действительно не такой, чтобы можно было запаздывать: передо мной вилась тропинка, и представлялось совершенное безлюдье. Направление было прямо на полдень; солнце пекло и било прямо в лицо; рипсе-пез сваливается с носа, а без него я вижу все в тумане, вдаль же вовсе не вижу; два часа уж пополудни, а монастыря все не видать. Жажда нестерпимая, кругом ни реки, ни ключа. Поднимаюсь

в горы, и тут как раз невысокий каменный столбик, и из него по желобку течет холодная вода, чистая, вкусная, а подле — куст роз. Напился и стал рассматривать надпись, которая гласила в таком роде: «Помяни душу умершего такого-то», и больше ничего, ни креста, ни другого какого-нибудь религиозного знака. Но всякий, без сомнения, от души не только помянет того, кто соорудил этот памятник, но и благословит его память. А через несколько сажен и настоящий надгробный памятник, только не такой, как у нас: каменная плита не лежит, а поставлена, и на ней с одной стороны нарисована турецкая длинная тонкая винтовка, а с другой — надпись: «Такой-то погиб от руки турка соколянина, оставивши плачущих братьев и малых детей».

Случай этот относится к недавнему времени, когда небольшое укрепление в соседнем лозницком округе Сокол находилось во власти турок. Несколько десятков турок, составлявших гарнизон этой крепости, не имевшие никакого военного значения, потому что совершенно отрезаны от сообщения со своими, служили карой для края, производя в окрестностях грабежи и убийства и делая жизнь в этой окружности небезопасной, а при малейшем отпоре со стороны местных жителей возникали жалобы на неуважение со стороны сербов трактата и сузеренства турецкого султана.

В настоящее время такую же зацепкой служит тоже маленькая крепостца на берегу Дрины, против Малого Зворника<sup>24</sup>. Не имея никакого стратегического значения, этот пункт дает только повод к столкновениям, что собственно и нужно для Турции.

Почтивши память погибшего от руки соколянина и того, во имя которого холодный ключ утоляет жажду утомленного путника, отправляюсь дальше. Тут же показалось селеньице, разбросанное у подшвы горы, а дальше виднеется и монастырь, весь закрытый лесом, только чуть просвечивают стены, и блестит крест на церкви.

Селение это называется Прнявор, но это не есть собственное имя; таких *прняворов* много по Сербии близ монастырей: это были монастырские селения, обязанные на него работать и платить ему дань в различных видах. В настоящее время это уже кончилось; монастыри, однако, наделены угодьями в достаточном количестве, и так как они всегда помещались в самых лучших местах, то и земли, прилежащие к ним, богатством почвы и разными удобствами отличаются от всех прочих земель.



В Петковице от старого времени осталась только стена вокруг, да и то наполовину разрушенная, церковь же построена недавно, и тут же дом для монахов. Вхожу через калитку, на дворе никого, когда-то мощный, он зарос весь травой, по стене поросли деревья и кочками свешивается плющ; звонко раздаются мои шаги по каменному двору, но не только никого не видеть, не заметно даже следов человека. Однако, покуда я осматривался, подле меня оказался, как из земли вырос, монах лет тридцати: русые волосы и борода в беспорядке, глаза опущены к земле, и как-то механически спрашивает, кого мне надо. В это время увидел меня и настоятель обители, отец Пантелей, с которым я успел познакомиться еще в Белграде. Он узнал меня и принял в объятия. Первое, что он предложил, было — снять сапоги и надеть мягкие туфли: отказался я на первый раз, а потом, однако, согласился и вполне почувствовал всю благодетельность такого переобувания. Это хорошо, однако, если вам предстоит довольно продолжительный отдых, в противном же случае лучше не снимать сапог, иначе потом их не наденешь; вследствие чего я и отказывался, не зная еще, останусь ли ночевать.

Обстановка жилища игумена была самая обыкновенная для мирского человека: стол с письменными принадлежностями, как в какой-нибудь мелкой канцелярии, по обе стороны два кресла, старые, обтянутые кожей; несколько простых деревянных стульев, диван и кровать; в углу один большой образ распятого Христа, налейчик, а подле, в стене, шкафчик: в нем были *тефтеры* (приходо-расходные книги и инвентари), которыми отец-настоятель очень тяготился; запас бумаги и чернил, бутылочки с сливовицей и ракией и еще кое-какая мелочь. Над кроватью висела какая-то священная картина и рядом пистолет.

«Однако святой отец, как видно, действует не одним словом божьим, а иногда прибегает и к оружию смерти», — заметил я.

В ответ он приподнял мне подушку и показал там револьвер, а в углу, как оказалось, стояла и винтовка. Тут он стал пояснять, как небезопасно здесь положение ввиду близости боснийской границы, откуда нередко перебегают всякий народ.

— А главное, — добавил он, — мы должны быть готовы ко всему: турки ли перешагнут к нам через Дрину, нам ли придется предупредить их — я не отстану: с крестом на груди и с оружием в руках должен буду идти с народом, и не в задних рядах.

Отец Пантелей молодой еще человек, лет тридцати с небольшим, высокий, тонкий, чрезвычайно живой и задушевный.

Их всего было два монаха, да еще пришел недавно один монах из Черногорья — старик лет 60-ти, слепой на один глаз, с густыми черными с проседью кудрями. Этот человек был весь любовь и кротость; но, несмотря на природную мягкость, и он отдавался той же миссии, проповедуя войну за освобождение страждущей братии. Своим чередом шло угощение: ракия, кофе, молоко, сыр и хлеб были на столе, а от обеда я отказался, так как его нужно было еще готовить, и до вечера было недалеко, следовательно, обед лучше отложить на ужин.

Через час раздались удары в висящую деревянную доску (клепало), это был призыв к вечерне. Пошли в церковь. Тесенькая, темная, образа только в иконостасе; игумен пошел в алтарь, остальные двое стали на клиросе. Та же служба, как и у нас, совершается на том же языке, с некоторой разницей в произношении и иной напев. Черногорец не обладал слухом, но имел сильный, хоть и старчески хриплый бас, и никак не мог подладиться к другому монаху, который твердо держался своего напева и выносил высоким тенором; иногда становился на клиросе игумен, но не мог поладить ни с тем, ни с другим; но это несогласное трио, потрясавшее воздух в пустой церкви, поднималось под своды и раздавалось как будто откуда-то сверху, сливаясь там в один сильный звук, в котором, если не было гармонии, то слышалось много чувства. Кончилась вечерня, снял игумен священническое облачение, и снова передо мной Пантелей, будущий воин, считающий годы и дни, когда можно будет взять винтовку и пойти на врагов своего народа.

Дальнейшее знакомство показало, что он был хороший хозяин: у него было несколько свиней, корова, много кур и отличный подвал, уцелевший от старого времени и в нем не один бочонок вина.

Ужин был полный: главным материалом послужили куры, затем яйца и свиное мясо. Монахи вкушали все, и круговая чаша не миновала никого.

После ужина долгая беседа все на ту же тему. Видно, что и в монастырской келье знали происходившее в Белграде, и в конечном результате ожидалось движение в Боснию. Мне казалось, что и черногорец попал сюда неслучайно и что-то обдумывал.

## III.

## Дрина\*

Всем славянам известно слово *гора*, и во всех славянских наречиях оно употребляется в том самом значении, как у нас, русских; только серб горой называет лес, а для названия гор у него есть слова *планина*, *брдо*, *врх*. Откуда произошло такое отождествление горы и леса, не берусь объяснить, но для Сербии это оправдывается тем, что там все горы покрыты лесом, и они, собственно, составляют главное хранилище лесов, которые в низменностях и равнинах давно уже исчезли или продолжают исчезать. Кроме того, что горы в Сербии все вообще покрыты лесом и редко где представляют голые скалы, они редко где выходят из линии лиственного леса, редко где вступают в полосу лесов хвойных. Более распространенной породой в лесах Сербии является дуб, а на возвышенных местах, по горам, везде растет преимущественно один вид дуба, называемый по-сербски *цер* (*quercus cerris*). Это один из красивейших видов европейского дуба: ствол его ровный, постепенно доходящий до тонкой, стрелчатой оконечности; ветви тонкие, длинные; кора его вся в глубоких продольных бороздах, сквозь которые проглядывает красноватое тело; лист небольшой и с менее глубокими выемками; желуди гораздо крупнее, чем у других видов, и сидят кучей, штук по пяти в одном, снаружи мохнатым и колючем гнезде; в коре много смолистого вещества, и потому его считают хорошим строительным материалом и отличным топливом; а желудями его скорее всего откармливаются свиньи, составляющие один из главных источников богатства Сербии.

Цером преимущественно покрыты горы, при вступлении в которые находится монастырь Петковица, и потому, вероятно, горы эти называются *Цер-планина*. Хребет этот, не превышающий 1.000 [футов] высоты, дает множество притоков [реке] Саве и отделяет от них [реку] Ядар, впадающую в Дрину. Он не заключает в себе ничего ни величественного, ни неприступного, но, господствуя над целым пространством в углу между Дриной и Савой, всегда составлял пункт

---

\* Впервые опубликовано в журнале «Вестник Европы» (1875. Т. VI. Кн. 12. С. 699–725).

опоры, на что указывают существующие здесь развалины двух древних городов, Траянова и Милошева.

С первым народная фантазия соединила предание о царе Траяне, который здесь является в роли Икара: он имел возлюбленную в Митровице (на берегу Савы, в австрийских пределах) и летал к ней на восковых крыльях, избирая для этого время, когда солнце не сильно грело; враги его постарались задержать его до полудня, а когда он полетел, крылья растопились, и он упал в Саву, где и утонул.

С другим городом соединено воспоминание о герое Косовской битвы 1389 г., решившей судьбы сербского царства, Милоше Обиличе, который убил турецкого султана Мурата, сам погиб и навлек отчаянное мщение турок против сербов. Есть и еще предания о Милоше. Когда он явился на Косово поле один в сопровождении небольшой только свиты, царь Лазарь спросил: «Где же твои воины из Мачвы?» «Они остались дома пахать и сеять», — ответил Милош. Тогда разгневанный царь изрек проклятие, чтобы они сеяли, а им ничего не доставалось, кроме терния, чтобы жатвой их пользовались турки. Проклятие сбылось, и более трех столетий урожайная богатая Мачва не знала мира и была постоянным военным театром, переходя из рук в руки, то к туркам, то к австрийцам, и всякий раз подвергаясь опустошениям. С тех пор

Србин ради, а турчин се слади;  
Србин тече, а турчин растече<sup>25</sup>.

Но отсюда же выходят и сподвижники Черного Георгия, помогавшие ему в деле освобождения Сербии: Милош Поцерац<sup>26</sup> и Чарапич<sup>27</sup>.

При каждом вторжении турок со стороны Боснии через Дрину, теряя шанцы над Дриной, сербы искали убежище в Цер-Планине, скрывались в гуще его леса или в монастырях, которых там, кроме Петковицы, еще два: Чокешина и Троноша. Все они не раз выдерживали осаду, а последний известен еще найденной в нем летописью сербских царей, известной под именем *Цароставника*. Так попеременно им приводилось играть роль то прибежища литературы и подвижников веры, то военного укрепления. Теперь же они почти пусты и представляют из себя то же самое, что и Петковица. Отправляясь на Лозницу, я нашел в Троноше двоих монахов, а в Чокешине троих.

В первом я встретил юношу 18-ти лет, который был в полном монашеском постриге. Я удивился такому раннему пострижению. Оказалось, что все родные его перемерли очень скоро один за другим, осталась только сестра, которую взяли на воспитание, а его обрели монастырю, что он и исполнил. Но все же по уставу нельзя посвящать в полные монахи раньше 30 лет. На это мне юноша возразил: «А как же вы посвятили нашего митрополита в этот сан, когда ему еще не было 30-ти лет? То нужно было, так и тут: я пропал бы; а теперь волей-неволей я монах».

— Но вы тут ничего не делаете, тогда как могли бы приносить пользу другим.

— Как ничего не делаю? Я молюсь. Хотелось бы почитать, да книг нет. А вот если будет война, я пойду в солдаты.

В Чокешине я застал дома отца игумена: он с целой компанией сидел на миндерлуке. Перед ним стояло вино, кофе, и все курили трубки; сидели они, снявши обувь чисто по-турецки, и вели беседу о политических делах.

Меня они встретили очень радушно и жадно стали выпытывать о том, что делается в Белграде, не затевается ли чего с Турцией, не поможет ли тут Россия — и пошли тут здравицы, сопровождаемые чашами красного вина.

Так мало в этих людях аскетического, и такой живой интерес принимают они во всем мирском, что их никак нельзя считать чем-либо особенным от народной жизни: нигде, ни в одном монахе я не встретил отречения от жизни — такого, какое встретите в наших монастырях. Все они вместе с народом своим готовятся к чему-то, все живут жизнью накануне.

Напоив, накормив, монахи отпустили меня с миром и подарили два полотенца сербской работы, очень тонкие, с чрезвычайно изящным узором на концах.

Чтобы вывести меня на дорогу, мне дали проводника, потому что кратчайший путь идет через горы тропинками, а иногда мы бросали тропинки и ломились прямо через лес.

Лес этот, однако, не был так густ и непроходим, как наши лиственные леса. Кроме дуба, из глубины долин поднимались буковые деревья с беловатой корой и блестящим листом на тонких ветвях, раскинувшихся шатром; кряжистый вяз и граб, чрезвычайно высокий явор

(клен), из которого серб делает музыкальный инструмент — *гуслу* (однострунная скрипка), чтобы воспеть славу своих героев и погибшую славу своего отечества. Высокие стволы этих деревьев сплошь убраны яркой зеленью плюща, перепутаны виноградной лозой, голые ветви которой сажен на 20 перекидываются с одного дерева на другое; точно гигантские змеи толщиной в руку и больше. Тут же, в лощинах веером раскидывается папоротник, а к мощному дубу жметя цепкий шиповник. Благодаря сокращению пути, я очень рано вышел на дорогу, прошел селение Колубцы, и Лозница уже передо мной. Это небольшой окружной городок, приютившийся у подножия хребта *Гучево* над Дриной, в некотором отдалении от нее, потому что берега она затопляет. Ничем не кидаются в глаза его здания: дом начальника, небольшой гостиный двор, у каждого почти домика садик; но местоположение его очень живописно — между гор, кругом в зелени, и тут же, в виде четырехугольника, обнесенного высоким земляным валом с глубоким рвом, какое-то укрепление. По обсыпи кругом и заросшему травой пространству видно было, что оно давно уже служило свою службу: посредине его возникла уже церковь и еще кое-какие домики, но все-таки город в стороне от него, и построился в том виде, как теперь, гораздо позже. Это шанцы. Чьей они работы, не знаю, но в XVIII столетии они не раз служили австро-венгерской армии, а в начале XIX-го ими воспользовались сербы.

Немного выше Лозницы на Дрине существует перевоз, а в сухое лето она дает броды, и потому не раз случалось, что турки переправлялись здесь и делали вторжение внутрь Сербии; зато не раз приводилось им тем же путем возвращаться обратно, спасая только себя и бросая в воду все имущество. После одного такого бегства турок сербы в числе других вещей нашли несколько мешков вещества вроде гороха, которого употребления не знали. Догадываясь, что это нечто съедобное, они этот горох варили, толкли, и все-таки ничего не выходило: это был кофе, который теперь найдете в каждой, даже самой бедной избушке простолюдина.

После 1807 г., года освобождения Сербии, турки продолжали собираться на той стороне Дрины, но переходить не решались. И в 1810 г., 6 октября, 30.000 турецкого войска под предводительством визиря потерпели тут полнейшее поражение. При этом сербов поддержали русские: народное предание рассказывает, как русские

казаки вогнали босняков в реку и преследовали их на той стороне. А три года спустя лозницкие шанцы были снова окружены турками, и сидевший в них предводитель сербского отряда Петр Молер<sup>28</sup>, изнуренный голодом и не видя ниоткуда помощи, в темную ночь решил бросить шанцы и пробиться сквозь турецкое войско. Удалось это только ему с очень немногими, остальные все пали, и с тех пор на память бедного Молера легло несправедливое обвинение в том, что он изменил и не отстоял своего поста.

Это было моментом, когда счастье оставило сербов, и им пришлось снова покориться бесчеловечным туркам; а два года спустя Милош Обренович здесь же разбил и взял в плен боснийского пашу, но отпустил его назад, наделив всем необходимым для обратного пути и обдарив дарами его и его свиту, и тем обеспечил за собой дальнейшие победы, которыми он обязан именно тем, что великодушием обезоружил правителя Боснии.

В такой короткий период времени и столько катастроф, решивших хоть на время судьбу целого края! И это приводится сказать про всю Сербию, где каждое почти местечко полито кровью и покрыто славой побед или героической смерти сербских юнаков.

В стратегическом отношении Лозница представляет важный пункт, так как она, с одной стороны, находится в непосредственной связи с Мачвой, составляя ее естественное продолжение, с другой — посредством долины р[еки] Ядара от нее легко вступить в Валеvское окружье, в сердце Сербии, так называемую Шумадию<sup>29</sup>.

В трех часах от Лозницы к юго-востоку находится местечко *Тршиц*, родина Вука Стефановича Караджича, который, рядом с героями войны и политическими деятелями, основателями политической свободы Сербии, помогал возрождению сербской народной литературы и народного духа, собирая и перед целым светом выставляя на суд и удивление его превосходные поэтические произведения. Там, владея значительным участком земли, он обрабатывал ее, стараясь применить те способы, какие употребляются в других образованных странах, и научить им своих соотечественников.

Дух этого патриота и горячего ревнителя народной музыки и по смерти его дает себя чувствовать в общественной жизни Лозницы. Несмотря на весь гнет, лежавший на общественной жизни вследствие излишнего вмешательства в нее администрации, там образо-

вался кружок, который поставил себе задачей противодействовать убийственной системе, будя в обществе самосознание путем живых бесед и литературно-музыкальных вечеров.

Нашелся небольшой домик под сенью развесистых платанов, куда эти любители литературы и музыки стали собираться днем для чтения, а по вечерам для бесед и пения. Нашелся какой-то шваб, который взялся держать буфет. Итак, образовались *читалиште, беседа и певачко друштво* (певческое общество).

Придя в Лозницу перед вечером, я сразу попал в это общество. По форме — это копия тех обществ, которых встретишь много в Германии и особенно много у чехов; но здесь нет того буржуазного духа, нет той погони за услаждением себя, какое мне встречалось в тех обществах. Председатель этого общества прота (протопоп) Игнатий, старец лет под 60, а остальные члены — учитель, офицер, купец, какой-то чиновник и соседние крестьяне, по большей части все молодые люди. Домик, где собираются, — собственность Игнатия, и еще к нему прикупили местечко с садиком, в котором есть виноградник, несколько фиговых деревьев, груши, сливы и цветы. Гости здесь не гонятся за комфортом и вкусным угощением, что у австрийцев на первом плане, и нет здесь идола, которому бы курили фимиам: это все самые простые люди, и самая простая личность — председатель. Седые волосы с серебряным блеском густо заросли и обрамляют его смуглое лицо, несколько попорченное оспой; черты лица правильные и суровые, но смягчаются необыкновенно прямым добродушным взлядом светло-голубых глаз, полных жизни и огня. По движениям и выражению физиономии — это юноша, поэтому с ним так легко сходится молодежь и так не сходится он со зрелым возрастом, который иногда отнимает у людей искренность и благодушие и делает из них по большей части людей узкого расчета, «фаха» и партии.

Прота Игнатий не получил никакого почти образования; но на его глазах складывался юный организм сербского государства, он видел еще в живых борцов за сербскую свободу, привык понимать ее чутьем и здравым умом и ценить выше всего. Его политические убеждения заключаются в том, что Сербии нужно хорошее правительство; осуществит ли это князь какой бы то ни было династии, или какое-нибудь коллективное лицо — ему все равно: он знает только нужды и потребности своего народа, который все выносит в себе и знает,



что хорошее правительство должно их удовлетворить, и такому правительству он готов оказывать полнейшее подчинение; мало того, готов любить его до самой крайней преданности.

Так он отнесся к Александру Карагеоргиевичу, которого призывали вместо Милоша Обреновича<sup>30</sup>, доходившего в злоупотреблениях власти и народного богатства до нестерпимости. В новом князе он уважал сына героя, память которого священна каждому сербу, и в то же время видел в нем человека доброго и мягкого характера. Если он не обнаруживал в себе хорошего правителя, то народная скупщина каждому правительству облегчает дело, если ей дано надлежащее значение и к ней обращаются с должным доверием и уважением. Надежды не оправдались; скупщина не созывалась, а на дела главное влияние оказывали иностранные консулы, преимущественно австрийский, и в то же время были самые раболепные отношения к Турции. Противен сделался князь народу, и Игнатий явился агитатором в пользу Обреновичей. Во время собрания скупщины<sup>31</sup> он, в виду окружавшего ее войска, обратился к народу прямо с речью, убеждая призвать Обреновича. Он в это время не думал, что дело может не удасться, и тогда по меньшей мере ему грозила тюрьма, за которой в перспективе была бы медленно подходящая, но неперемнная смерть, а еще меньше думал он, что со стороны правительства этого же самого Обреновича он подвергнется гонению, как то случилось на деле. Накануне топчидерской катастрофы он был уже в оппозиции против князя Михаила, лично против которого не имел ничего. На последней скупщине<sup>32</sup> он высказал все, что имел против правительства князя, сохранивши привязанность к нему лично за его щедрость и за его намерение освободить бедную братию из-под турецкого владычества. Замечательно, что при князе Михаиле подвергались гонению лица, истинно преданные ему, а пользовались его доверием и всем распоряжались или бездушные бюрократы, каким был Никола Христич, или люди, действовавшие в своих личных видах и на гибель князя, каким, без сомнения, был военный министр Миливой Блазнавац.

Я остановился на личности отца Игнатия и взял его со стороны общественно-политической, потому что он представляет собой известный тип, — это тип серба провинциального, которого не тронула ни турецкая культура с ее фанатическим самодовольством, с ее

грубым деспотизмом, проявляющим себя варварством и азиатской хитростью и лестью, ни обратная сторона европейской цивилизации с ее бездушным, мелко-эгоистическим отношением к человеку и тысячей никуда не пригодных формул, под которые хотят подвести жизнь человека. Это простая, цельная, свежая, здоровая натура, работающая не по известной системе и не под влиянием теоретических соображений, а по своему разумению и по естественному побуждению действовать в духе и на благо того народа, с которым он живет нераздельной жизнью и в среде которого действовать есть его истинное призвание: вы можете заметить, что он изменяет теории, но он никогда не изменит народу.

К сожалению, таких личностей в Сербии становится все меньше; она успела обзавестись теоретиками, которые сумеют, хотя с натяжкой, оправдать свои действия под известным политическим взглядом, но служение народу является у них только вывеской.

Много симпатичного найдется в отце Игнатии и как в частном характере. Он имел несчастье потерять всех сыновей, и в той поре, когда особенно жалко всякого человека, именно в поре первой юности: один сын умер в Берлине, где слушал лекции в каком-то высшем военно-учебном заведении; другой был в петербургском университете и умер, кажется, по возвращении оттуда в Белград. Это его страшно убивает, но по наружности вы не заметите; только оставаясь один, он, говорят, отдается своему безысходному горю. Это несколько не парализует и его общественной деятельности. Всякое благотворительное или вообще полезное дело он всегда готов поддержать, сколько хватит его сил. Есть у него один талант или искусство — это фабрикация гуслы. Никто не сумеет так хорошо выбрать дерева, дать такую форму и отделку инструменту, чтобы простая шерстяная веревка, заменяющая струну, издавала звуки, которые стонут и задевают душу, несмотря на все их однообразие и негармоничность. Мне говорили, что он своей работы гуслу подарил одному русскому путешественнику, который обещал передать ее какому-то общественному учреждению.

До полночи провел я время в певческом обществе в беседе, сопровождающейся пением сербских и других славянских народных песен и здравицами с пожеланиями кому славы, кому счастья, а югославянству свободы и соединения.

Когда мы вышли из беседы, на улицах была полнейшая тишина; все спало мервым сном; только вддали слышно было глухое рокотание Дрины, которая в то время была в наводнении, и этот шум невольно обратил внимание и на ту же сторону, где те же сербы — бедная, угнетенная райя, безгласная, бесправная, потерявшая даже сознание своей народности; неволько подумалось: когда-то и им «блеснет свободы луч?»...

На другой день я взбирался на гору, любовался роскошной растительностью, диким стремлением мутной Дрины. По ту сторону, я видел, шел ряд невысоких гор, покрытых, как и в Сербии, сплошным лесом, поднимающихся, что ни дальше, все выше, покуда не терялись они совсем из вида, сливаясь в туманной дали с небом.

В тот же день я был уже на пути вперед. Самое лучшее было бы идти по берегу Дрины, где пролегает большая дорога; но мне не советовали, потому что там были бы постоянные остановки со стороны пограничной стражи. Впоследствии я имел случай убедиться, что это одна из наибольших неприятностей путешествия по Сербии. Итак, я направился на местечко Крупань<sup>33</sup>, в котором живет *капетан*, заведующий *срезом* (нечто вроде стана в полицейском делении наших уездов). Часть пути привелось мне сделать с попутчиком *сельяком*, который шел туда же. Помню я особенно одно место. Дорога шла по краю долины, в глубине которой пробиралась какая-то речушка. Внизу видны были нагроможденные камни известняка; видно было, что тут же добывали из него и известь; местами скалы стояли прямо над краем и как бы висели. Одна из таких скал особенно резко выдавалась своим монументальным видом: это точно башня с разрушенной крышей; на плоской верхушке ее одиноко стояла белая береза с висящими ветвями и обвившим ее виноградом; плющ со всех сторон свешивался вниз длинными густыми космами, все это так эффектно и как бы рассчитано, что невольно являлась мысль, не участвовала ли тут человеческая рука.

Попутчик мой предупредил меня.

— А вон девичья скала, — сказал он, указывая на нее.

— Почему же она так называется?

— Девка тут убилась.

— Нечаянно, или по своей воле?

— По своей воле, конечно: забралась на самый верх, да бух!

— Зачем же?

— Э! Глупая была, не захотела замуж идти.

Больше я от него не мог ничего узнать, да и разъяснить собственно нечего; дело так просто: девица здесь не выходит замуж, а ее выдают, не справляясь с ее желанием или нежеланием; эта несчастная, может быть, любила другого, или суженый ее был настолько ужасен, что она предпочла ему смерть, и, по мнению серба, сделала это по глупости.

Был ли в действительности подобный случай, или он приурочен к данной местности народной фантазией, для нас все равно. Легенда доказывает возможность подобного трагического происшествия и дает указание на положение сербской женщины, с которым мы еще познакомимся. А теперь мы отмечаем одну мелкую черту из картины природы, напоминающую нам черты из народной жизни. Незаметно дошли мы и до Крупня.

Маленькое местечко, почти в одну улицу, со всех сторон сжато горами так, что раздаться некуда. Указал мне попутчик дом начальника и самого начальника, сидевшего на галерее перед домом, и простился со мной, своротивши в сторону к мельнице, которая, как в щели, жалась между крутыми берегами горной речки. Капетан — человек уже немолодой, в обыкновенном немецком платье, с фесом на голове, подошел ко мне и, узнав, что нужно, показал механу, где мне остановиться, и затем попросил к себе.

Дома он встретил меня очень радушно и выразил радость, когда узнал, что я русский путешественник. По сербскому обычаю хозяйская дочь, девушка лет 15-ти, подала угощение, но, вместо того, чтобы удалиться или стоять с опущенными глазами, она села тут же и начала меня расспрашивать. С таким интересом и с такой живостью говорила она, что отцу негде было почти и слово вставить. Вскоре вышла мать, братишка и еще кто-то, так что собралась вся семья. Я почувствовал себя будто не в Сербии, где по большей части гость остается только с хозяином, а остальная семья разве покажется на минутку. Но всего больше меня удивила девочка простотой и смелостью обращения и любознательностью. Очень бы ей хотелось видеть, как живут образованные народы, и пожить между ними; хотелось бы выучиться иностранным языкам, чтобы читать на них.

Почти изгладился из моей памяти этот туманный образ: не вспомню имени ни ее, ни ее отца; но, глядя в то время на нее, невольно задавался вопросом: что из нее выйдет? Не то же ли, что и вообще из сербских детей: из живого, смелого, не по летам серьезного мальчика делается со временем филистер и чиновник по преимуществу, идущий только за местом, наживой и наслаждением?..

А какая кругом глушь в этом Крупне! На восток от внутренности Сербии отделяют его отроги хребтов Влашича и Медведника; между ними и Дриной высокий хребет Ягодня, и там, за ним, на берегу реки, по эту сторону турецкая крепостца Сакар, на той стороне Зворник, а к югу, тоже за горами, злополучный Сокол, не так давно покинутый турками. Отсюда я направляюсь уже к Дрине. Взбираюсь на гору, спускаюсь и опять поднимаюсь; Дрина уже подле, я вижу, как она сверкает сквозь зелень обступившего ее леса, извиваясь между теснящими ее горами; а вот и она вся: подбившись под этот берег, она подмывает целую гору; деревья сваливаются вниз, своими густыми вершинами, держась иногда корнями за берег. Рухнулась наконец целая глыба, полетело с ней и дерево, столетний дуб, затрещали ветви, посыпался камень, взвилась пыль кверху, и ринулось дерево в воду, где на время исчезло, а потом поднялось из воды, подставляя то голые корни, то зеленые ветки, точно утопающий. Глыба за глыбой валится берег, увлекая за собой ряд тополей, окаймлявших его, и все это сначала крутится в водовороте, потом, исчезая на несколько мгновений под водой, выносится на середину и покрывает реку сплошной массой, собирая на себя всякий мусор и грязную желтую пену. Из глубины водоворота, из образовавшейся в нем воронки, слышится глухое рокотанье.

Картина дикая и грозная. А там, на другой стороне, ровный зеленый луг у подножия такой же зеленой горы, и за ней ряд гор с мягкими очертаниями, исчезающих в синей дали; все это слегка подернуто тонкой мглой или неуспевшим еще убраться утренним туманом.

Засмотрелся я на чудную картину, заслушался дикого шума реки и не заметил, что подле пасется стадо овец: не видно ни пастуха и никаких знаков присутствия человека; единственным сторожем был огромный, серый, лохматый пес, который с остервенением устремился на меня. Подбежавши, он остановился, уставился на меня своими серыми, умными глазами и, как будто убедившись в моей безвредно-

сти, тотчас изменил свое обхождение; обнюхал, посмотрел еще и пошел прочь, как бы говоря: ступай себе своей дорогой.

Отделавшись от пса, я вскоре наткнулся на человека. Это был пандур, который завидел меня издали и ждал только, когда я подойду. Первый спрос был о паспорте; подаю, читать он не умеет и ведет дальше к *карауле*, которая не что иное, как четырехсторонний сруб вроде башенки; жилье собственно наверху и перед ним крылечко, а вход в эту верхнюю часть или *чардак* — по лесенке снаружи. Там был *булюкбаша*<sup>34</sup> — начальник караула, такой же простой серб и такой же безграмотный, пожилой и довольно разумный господин: сразу понял он, что я путешественник, которого нечего опасаться, и пошел проводить дальше, чтобы не остановили другие пандуры.

Не так легко было отделаться от более цивилизованных воинов, с которыми мне привелось иметь дело в Любовини, куда лежал мой путь.

Там в это время было военное учение и потому кругом были расставлены пикеты. Здесь меня сразу же взяли под конвой два солдата и повели к начальнику, т. е. к унтер-офицеру. Привели к нему в палатку, где сидело еще несколько милиционеров. Он с важностью взял мой паспорт и стал его рассматривать, не приглашая меня сесть: прочитал и понял, что было написано по-русски, но не мог понять, зачем рядом то же самое по-немецки, и начал усматривать в этом что-то непонятное. После множества вопросов, заданных мне отчасти попытаться, не собьюсь ли я, отчасти из пустого любопытства, он порешил отправить меня к срезскому капетану, и мне привелось еще тащиться порядочное расстояние, так как лагерь был вне местечка. Капетана не оказалось дома; он был в гостях, где играл в карты. Я прошу, чтобы меня отвели в механу (гостиницу), откуда я не уйду, но что мне пора отдохнуть, так как я далеко шел. Не тут-то было: пандур, которому передал меня солдат, самым грубым тоном крикнул на меня: «Ама тьюти!»<sup>35</sup> (молчи).

И я ждал до половины 11-го часа ночи в комнате, где не было ни стула, ни скамейки. Капетан пришел, посмотрел мой паспорт и, оставив его у себя, велел меня проводить в механу. Вследствие такой процедуры и там отнеслись ко мне как к человеку, состоящему под стражей.

На другой день я поднялся очень рано, но мне прислали паспорт только в 10 часов, потому что капетан все спал.

Признаюсь, мне приятно было оставить этих людей, креатур тупой дисциплины, и очутиться лицом к лицу с одной природой, тогда как человек собственно и интересовал меня и составлял главную задачу моих путевых штудий. Отсюда мой путь шел постоянно над Дриной.

К полдню, когда уже сильно припекало, я пришел в селение Бачевци. Селение собственно было подальше, а здесь одна механа, потому что Дрина тесно прижалась к горе, и это узкое пространство было усеяно свалившимися камнями; между ними многие были, видимо, обделанные человеческими руками в виде огромных сундуков, некоторые были с римскими надписями и изображениями, — это были остатки когда-то бывших здесь римских военных поселений. Войдя в механу, я поел мяса, выпил *сайдлик* (полбутылки) вина и лег уснуть тут же на скамейке. Когда я проснулся, то механа была полна народу. Все сидели за столом и пили кто вино, кто кофе. Один из них первый поздоровался со мной, предложил выпить вина и стал расспрашивать, кто я такой и пр. В конце концов привелось-таки показать паспорт. Грамотные читали и радовались, что они понимают русский язык, никогда не учившись ему; все решили, что русские говорят сербским языком. Скоро между нами завязалась самая живая и интимная беседа. Много, между прочим, они рассказывали об отношениях к боснякам. Постоянно они спрашивают, когда придут к ним сербы, и ждут они этого момента не дождутся, и не только христиане, но и магометане. Узнавши, что я интересуюсь стариной, они пошли показывать мне камни с надписями, таскали фесами воду, чтобы обмыть их, и радовались, когда мне удавалось снять надпись или срисовать какое-нибудь изображение с камня. Оказалось, что они знают белградский музей, некоторые доставляли для него различные древние вещи и вполне понимают, для чего делаются эти собрания вещей. Не обошлось дело без жалоб на Христича. Вдобавок, все просили меня остаться погостить у них.

Можно было бы здесь с удовольствием и с пользой прожить хоть денек, но я торопился к Троицыну дню попасть в монастырь Рачу<sup>36</sup>, где в этот день *сабор*, т. е. празднество, на которое собирается народ со всех сторон, следовательно, можно будет видеть различные костюмы и типы, а отчасти, может быть, и разницу нравов. Вот почему, как ни приятно было бы остаться, я отправился дальше. Расста-

вание было самое сердечное, и впечатление, произведенное на меня этими простыми людьми, совершенно изгладило воспоминание о мытарстве, претерпенном мной в Любовии.

Жар уже посвалил; шлось легко и весело. Дрина, точно в беспокойстве, мечется туда и сюда: то ударится глубже в Боснию и даст на этом берегу отлогость, то, наоборот, жметя к сербской стороне так, что решительно негде жизни приютиться. В этих местах все отлогие места были в Боснии, поэтому здесь такая пустота и дикость. И те маленькие пространства, на которых возможно поселиться, так изолированы и друг с другом, и с остальными краями, что, кроме физических неудобств, представляется постоянная опасность со стороны турецкой территории. На это очень ясно указывает одна сербская песня:

Дрински вуче, што си обрђђао?	Дринский волк! Что ты исхудал?
Неволья е мене обрђђати:	Поневоле исхудашь:
Око Дрине не има оваца.	Около Дрины нет овец.
Една овца, а три чобанина;	Одна овца, а три пастуха;
Едан спава, други овцу чува,	Один спит, другой овцу караулит,
Третьи иде кући по ужину <sup>37</sup> .	Третий идет домой на ужин.

К вечеру, впрочем, довольно еще рано, я добрался до Оклетца, но селение было в стороне, а тут стояла только механа.

Живописное местоположение.

Впереди, прямо из воды, поднимался отвесный утес с нагромождениями на самом верху; здесь Дрина делает крутой поворот и как будто вытекает из-под этого утеса; посредине ее торчала скала и надвое разбивала ее мутные воды, которые брызгами взлетали кверху и, огибая ее, с ревом крутясь, сливались в водовороте. Солнце рано скрылось за горами, и внизу все скоро потемнело; потом загорелась заря и красным заревом своим облила обступившие кругом горы, над которыми высилась вершина Медведника; побагровела и Дрина, отражая на темном фоне своем алое небо, и кровавым дождем разлетались над скалой ее брызги.

Довольно обширная, но вся закопченная механа смотрела каким-то вертепом. Грязно одетый хозяин сосал трубку, сидя перед дверью; у очага копался *момак* (слуга) с попорченным носом, оттопыренными татарскими ушами и вдобавок немой. Неприятное впечатление



производило его объяснение с хозяином посредством мимики, которая еще более уродовала его и без того несчастную физиономию.

Подойдя к механе, я положительно решился не вступать внутрь ее и расположился на дворе. Хозяин с красными болящими глазами и сонливым выражением смотрел так безучастно на все, что прямо его не задевало; он даже не расспрашивал меня ни о личности моей, ни о том, не желаю ли я поесть, а последнее, конечно, было бы кстати. Как бы мне хотелось уйти дальше, но не знаю, встречу ли близко селение. К счастью, подошла целая толпа крестьян из села, и ими только оживилась дикая местность. Через несколько времени представилась довольно странная сцена: слепой старик сидел верхом на лошади, которую вел в поводу молодой парень. Старик с плачем, поднимая руки кверху, жаловался, что его ограбили в каком-то месте, где он был на ярмарке или на базаре. Лошадь была поставлена у лавки и, пока он покупал товар, ее увели. Полиции удалось отыскать лошадь, но седло пропало, а в нем были и деньги. Вся эта сцена была для меня непонятна; я видел только, что здесь нужно беречься.

Пора, однако, и поесть; но кроме домашнего сыра и *прои* (хлеб из кукурузы) нет ничего. Сыр твердый, кислый, покрытый плесенью, вино вроде уксуса, что, пожалуй, и кстати при таком сыре: лучше растворить; проя — совершенно бесвкусное вещество. Но разбирать нечего.

Вторая забота о ночлеге. Летом это не составляет большой заботы: где стал — там и стан. В механе же спать было невозможно: несмотря на полную ночь, рои мух жужжали точно пчелы в улье; других насекомых, по сознанию самого хозяина, также изобильно; главное же дело — грязь страшная. Выбираю себе местечко на пригорочке: внизу, под ногами, шумит Дрина, а с боку журчит поток, на котором тут же неподалеку стоит мельница; чтобы не скатиться к ручью, кладу бревно, а в ногах нагромоздил камней; под себя плед, им же накрылся; под голову сумка.

Кругом совершенная тишь, точно нигде нет живого существа, только шум от воды, но шум приятный, убаюкивающий. Крепко я заснул, однако ненадолго. Тяжелый, неприятный сон заставил меня пробудиться. Мне снилось, будто с той стороны знакомый мне голос ребенка зовет на помощь и плачет; я кидаюсь в волны, борюсь с ними, переплываю, выхожу на берег, ищу ребенка и вместо него

вижу безобразную фигуру немого момка с ослабленной миной; возвращаюсь, снова слышу голос и снова тот же обман, и под тем же тяжелым впечатлением просыпаюсь. Плед с меня свалился; ночь светлая; кругом так же все безмолвно, так же шумит Дрина, так же обдает плеском скалу, взбивая кверху серебристые брызги. Пропищала неподалеку сова; кинулась от моего изголовья собака, искавшая какой-нибудь поживы; фыркнула кошка, испуганная ею, и кинулась на дерево; за рекой раздался выстрел: должно быть босняк, стоя на карауле, от скуки выпалил в воздух или ударил по месяцу в зайца. Не спит и хозяин: я вижу его сидящего перед очагом, и с ним еще какие-то личности; у дверей привязаны две лошади. Был 12-й час, когда гости уехали. А за ними явились и еще гости.

Станным показалось это тогда, а потом меня уверяли, что сербский механджия, как бы он беден ни был, пользуется таким доверием, что всякий, приехавший к нему, смело отдает ему кошелек с деньгами, если боится, что у него их могут вытащить. Но нравы меняются, и это могло быть когда-то прежде; в этом случае такой поздний прием гостей наводил некоторое сомнение. Мне, впрочем, нечего было бояться, потому что у меня было слишком мало имущества, чтобы кто-нибудь на него польстился; в этой уверенности я снова заснул.

Рано утром, когда я проснулся, была сильная роса, с деревьев просто капало, трава приклонилась, точно от дождя, а на моем пледе насела она мелким бисером. В Дрине вода поднялась вровень с берегами и по лощинке пошла в разлив; скала исчезла, и шуму стало меньше.

Выпил я чашку кофе, закусил прои и, заплатив за все со вчерашним ужином 2 ½ гроша или 12 ½ коп[еек], отправился дальше.

\* \* \*

Десять дней я брожу все по Дрине или около нее и не видал еще на ней не только ни одного судна или дощаника с грузом, но и ни одной лодки, ни одной снасти рыболовной, а между тем, такое изобилие воды! Правда, я видел ее в наводнение, но и в обычное время она мало где дает броды, и на всем пройденном мной пространстве и несколько выше, по отзывам людей знающих, по ней свободно можно бы сплавлять плоскодонные суда с грузом, по крайней мере,

по полутора тысяч пудов. Выше Любви есть несколько перекатов, которые, однако, легко уничтожить, и в 1865 г. турецким правительством и было предпринято очищение русла до Вышеграда<sup>38</sup>, лежащего уже в Боснии.

Долина Дрины довольно тесна для того, чтобы вместить значительное население и чтобы развилось в ней в широких размерах земледелие; но при обилии вод, со всех сторон стремящихся к ней в виде сильных ручьев и горных потоков, при богатстве леса, она представляет возможность развить в широких размерах промышленность; кроме того, здесь открыты, только вполне не исследованы минеральные богатства, есть серебряные руды и медные. Но главное ее значение — служить путем сообщения. Теперь из соседних турецких областей идут караваны на лошадях вьючным способом, потому что кругом горы, представляющие большие затруднения даже там, где проложены шоссированные дороги, вследствие их значительной крутизны и трудности содержания их в исправности при незначительности населения. Поэтому в целом крае здесь телега — большая редкость, и почтовое сообщение по единственной главной дороге совершается если не верхом, то на одноколке; а о возе с грузом нечего и думать.

А между тем, посмотрите на карту, какую обширную область она захватывает: вершины ее Пива, Тара и Лим обнимают всю северную границу Черногорья, половину Герцеговины и Старой Сербии, и на них находится несколько городков, как Вышеград, Фоча, Преполье, Сеница<sup>39</sup> и недалеко Новый Базар<sup>40</sup> — города, которые когда-то процветали благодаря свободному сообщению.

В настоящее же время, благодаря политическому неустройству и личной небезопасности, вся эта область остается дикой и пустынной.

Дрина в народной песне везде называется «зеленой» и «холодной»: можно добавить к этому, что она очень живописна, можно любоваться ею, но оживить ее должна свобода, которой так жадно ждут и просят ее несчастные обитатели по ту сторону.

Мы, между тем, сделаем еще один переход вверх по Дрине. Часа через два хода Дрина изменяет направление: она делает изгибы к югу и к востоку — и совершенно переменяется характер местности. По обе стороны идут значительные отлогости; тут стелется луг,

пересыпанный отдельными рощами смешанного леса и кустарниками, там зеленеет высокая кукуруза; на той стороне также виднеются полосы обработанной земли и сады; в одном месте лежит до десятка женщин; все в белом, как в саванах, растянулись они на зеленом пригорке, предаваясь безмятежному сну — должно быть, успели уже наработаться. Становилось жарко и душно, чего я не испытывал во все время, покуда шел по-над Дриной. Довольно мертво: ни один лист не шелохнет, ни одна птица не подает голоса; мелкие ящерицы быстро снуют туда и сюда, а на самой дороге большая зеленая ящерица с голубыми щеками покоится перед солнышком, перекинувшись через чурбачок. Видимо, она нежится и находится в приятном полужабытьи; хоть и открыты глаза, она не замечает, что я стою над ней и любуюсь, и шмыгнула тогда только, когда я протянул руку, чтобы дотронуться. Не знаю научного названия ее, а по-сербски она называется *зеленбач*. Тут же, под липой, сидит галка, разинувши от жара рот; зашевелилась она, увидев мое приближение, но не летит, а, вскочив на ветви, пробирается по ним вверх, не желая покинуть свое тенистое убежище.

Делаю роздых в Баиной Баште<sup>41</sup>, где застаю большое стечение народа, отправляющегося в Рачу на праздник. Механджия, рассчитывая на посетителей, припас всего, а главным образом хорошего вина и молодых барашков. Лучшего мяса мне не приводилось есть нигде в Сербии, как здесь: не знаю, было ли причиной тут свойство мяса, или умение механджии испечь.

Тут завязываются у меня знакомства; между прочим, знакомлюсь с капетаном, которого все называют: «Господин Мита (Дмитрий)». После иду в монастырь целой компанией. Игумена не было дома, и меня повели к нему на кукурузу. У него *копали* (подбивали) кукурузу, и он как ревностный хозяин не только присутствует на всех работах, но и сам работает. Это крупный, довольно полный мужчина лет сорока с небольшим, с крупными чертами лица, тип работяги и добродушного человека. Он имеет страсть к хозяйству, и потому прежде всего мы занялись им. Отличные лошади, множество разной птицы, между прочим множество индюшек и павлинов, свиней откармливает, а на потоке Раче устроил лесопильную мельницу. Устройство, конечно, самое простое, но строитель ее серб не из княжества, а из Старой Сербии. Водяной столб, приводящий

весь механизм в движение, вышиной в три сажени, и все-таки мастера этого мало: ему хотелось бы взять воду еще повыше.

Припомнилась мне при этом другая страна, также населенная славянским племенем, также сжатая горами и обильная только лесом и водой, — это Шумава и Чешский лес в южной части Богемии. На каждом шагу заводы и фабрики: лесопильные, дереводельные, хрустальные, зеркальные, которые приводятся в движение водой. Только войдете туда, отовсюду доносится до вас стук колес и шум падающей на них воды; суровая природа, очень холодный климат и скудная болотная почва уступают усилиям человека, и местность полна жизни.

Что же могло бы быть здесь, когда и почва, и климат дают возможность развить до высшей степени земледельческую культуру?

Недостает Сербии развития и промышленного образования. Игумен хотел бы и мог бы развернуться, потому что имеет все средства, только не имеет людей. Взять *швабу* (т. е. австрийца) он боится, потому что случалось обманываться, и остается он со своим самоуком, съедаемый неудовлетворяемым желанием поставить хозяйство на широкую ногу. Эксплуатация леса также идет странным образом: он продал из своей дачи все деревья известной меры и достоинства, так что через несколько времени у него не останется ничего годного леса.

Покуда мы осматривали хозяйство, со всех концов набирался народ и группами размещался на луговине под навесом тополей и лип у подножия горы, на которой красовался монастырь Рача.

Забило клепало, призывая к вечерне; потянулся народ к церкви. Мужчины входили внутрь, а женщины останавливались у крыльца: молились и потом, как немые, стояли молчаливо, сложив руки и смотря на церковь не то с благоговением, не то со страхом.

Большинство расположилось ночевать на дворе, внизу; другие поместились на монастырском дворе, а иным нашлось помещение в монастырских покоех, и в то время как одни скромно закусывали, сидя у маленького огонька, другие шумно пировали. Заутреню я пропустил; но и обедня была рано, часов в шесть утра. Народу было не особенно много, потому что большинство приходило ненадолго и, немного помолившись, удалялось. По окончании обедни был крестный ход вокруг Рачи и Баиной Башты. В это время происходили приготовления к празднеству: устраивались временные лавки и механы

в виде навесов из жердей и веток, жарили мясо, разливали из бочек в мелкую посуду вино и ракию, и с возвращением образов из крестного хода все было готово, и началось народное торжество.

Торжество это было очень несложное: оно состояло в продаже и покупке яств и питий и в истреблении их, и в пляске коло; а в отдельных группах шли тихие беседы или шумные возгласы. Для почетных лиц у отца игумена был обед; а после все вышли и расселись на горке, кто на скамеечке, кто прямо на земле, любясь пестрой, необычайной картиной внизу.

Я уже замечал о необычайной сдержанности сербов. Как бы ни разгулялся серб, он никогда не выйдет из пределов благопристойности. В этой массе народу до тысячи или более вы видите веселых людей, которые пришли с тем, чтобы погулять, повеселиться и при этом, конечно, выпить, но вы не видите здесь пьяных, разгульных, до неприличия распущенных, каких вы непременно найдете у нас даже при самом малом собрании.

В одной механе собралось человек до 100, все пьют, едят и ведут шумную беседу; из них два-три человека затягивают песню, но песня нейдет; приходит гайдаш (гайда — музыкальный инструмент вроде волынки), его угощают вином, он наигрывает, а публика, увлекаясь, вторит ему и выкрикивает; явился какой-то толстый, высокий парень в одной рубашке, без пояса, с зобом на шее, и пошел плясать, топчась на месте как медведь; по лицу видно, что это дурачок. Потешился кое-кто над ним, кто-то дал ему шлепка по его жирному телу, так что бедняга заплакал. Не понравилось это публике, сделали окрик на ударившего, а несчастному бросили несколько денег и прогнали. Тут же из публики кто-то оказался с *гуслой*. Вытащил он ее, заскрипел на ней однообразно скрипучую ноту, и все насторожилось. Запел он про сербских юнаков, про царя Лазаря, про Косовскую битву, и все замерло, только и слышен стонущий голос певца, да в антрактах нетерпеливо ревуший звук гуслы.

А что делается снаружи?

Там идет коло от самого обеда и будет идти до поздней ночи.

Коло — это не пляска собственно, хоровод, только без песни, которую заменяют дудка или гайда; а может заменять дудку и скрипка. Оно изображает не обыденную житейскую сцену вроде аллегорического изображения отношений жениха и невесты, мужа и жены, или

других сторон семейной жизни, как это в большей части русских хороводов, это скорее пляска, выражающая или отправление в бой, или торжество победы.

Два или три парня схватили друг друга за пояс, или, положивши друг другу руки на плечи, прыгают на одном месте, переминаясь с ноги на ногу; к ним пристают другие парни и девки, и когда их наберется целый ряд, передний *коловодья*<sup>42</sup> заворачивает его в круг спиралью, и таким образом человек до ста прыгают, держась друг за друга, на одном месте, потом подвигаются вперед, завивая круг до тех пор, пока будет уж некуда; тогда коловодье оборачивается назад, идет в обратную сторону, и тут встречаются два тока — один вперед, другой назад, и это самый живой момент и самая красивая фигура: мужчины страстно несутся вперед, делают порывистые прыжки и стремительно увлекают за собой женщин, которые тоже оживляются и отдаются общему порыву; лица у всех горят; мужчины и женщины, смотря друг на друга через плечо, в обратном движении чуть не касаются страстными лицами, раздаются гиканье, топанье и шлепанье ногами и звяканье нанизанных на шее и груди женщин монет и других металлических украшений, и все несется, как вихрь, крутясь и двигаясь вперед. В коло участвует не одна молодежь, но и пожилые люди — все, кто не утратил еще способности скакать и увлекаться, а сербы сохраняют юношеский жар до глубокой старости.

Коло в Раче совершенно было такое же, какое мне привелось видеть в Белграде. Разница в том, что здесь было поменьше горожан и больше разнообразия женских костюмов, которые, впрочем, главным образом разнились только головными уборами. У большинства девушек волосы заплетены в одну косу сзади, у многих они зачесаны с левой стороны на правую и, заплетенные в мелкие косицы, положены на правой стороне корзинкой, убранный цветами, у некоторых волосы заплетены в мелкие косички или просто распущены сзади, а на голове венки из лент, убранный цветами; у иных косы положены вокруг головы, посередине против лба павлинье перо или зеркальце — повернется она против солнца, так и засветит; некоторые на головах имели фесы без кисточки; прочий костюм состоит из рубашки, сверх которой у иных юбки с поперечными полосами по низу, разных цветов. У замужних волосы скрыты под повязкой, сверх которой у иных надевается в виде коронки позолоченный ободок; под

платком иногда положена тарелка, так что верхняя часть выдается вперед гребнем. Надо заметить, что костюм здесь разнится по местности, а не по личному вкусу, и потому я удивился разнообразию на таком небольшом пространстве. Разность по местности сопровождается различием происхождения населения: здесь вы имеете представителей большей частью из Герцеговины и Старой Сербии, затем из Боснии, из Болгарии, из Македонии, и все это выражается в физиономиях.

Мужчины были чрезвычайно красивы, но между женщинами красавиц очень мало. Выдавалась из всех своей миловидностью одна белокурая ужичанка с русой косой, с голубыми глазами под темными ресницами и правильным очертанием лица; это было красивое личико, только казалось тупым или глупым, вследствие особенной манеры держать себя — манеры, усвоенной всякой благовоспитанной девушкой и обязательной для нее.

Лучше всего передает это и поясняет народная песня:

У Милице дуге трепавице  
Покриле јој румен' јагодице,  
Јагодице и бијело лице.  
Ја јој гледа[х] три године дана,  
Не мого[х] јој очи сагледаати,  
Црне очи и бијело лице.  
Већ сакупи[х] коло дјевојака,  
Не би[х] ли јој очи сагледао.  
Када коло на трави играше,  
Бјеше ведро, па се наоблачи,  
По облаку засјеваше муње.  
Све дјевојке небу погледаше,  
Ал' не гледа Милица дјевојка,  
Већ преда се у зелену траву.

Дјевојке јој тио говораху:  
Ој, Милице, наша другарице!  
Ил' си луда, ил' одвише мудра,  
Ти све гледаш у зелену траву,  
А не гледаш с нама у облаке.

У Милицы длинные ресницы  
Закрыли ей румяные щечки,  
Щечки и все белое лицо.  
Я смотрел их времени три года,  
Не мог рассмотреть у нее глаз.  
Черных глаз и белого лица.  
Тогда собрал я девиц коло,  
Не подсматрю ли ее глаз.  
Когда коло на траве играло,  
Было ведро, потом нашла туча,  
По туче засверкали молнии.  
Все девицы стали смотреть к небу;  
Но не смотрит Милица,  
А (смотрит) вперед себя  
в зеленую траву.

Девицы ей тихо говорили:  
Ой, Милица, ты наша подружка!  
Иль глупа ты, иль мудра уж очень,  
И все смотришь на зеленую траву.  
А не смотришь с нами на тучу.



Ал' говори Милица дјевојка:	Отвѣчает тут Милица девица:
Ни сам луда, нит' одвише мудра,	Не глупа я, и не слишком мудра я,
<i>Већ дјевојка, да гледам</i>	<i>На то девица я, чтоб смотреть</i>
<i>преда се</i> <sup>43</sup> .	<i>вперед себя.</i>

Внимание публики привлекала не бледная и немая красота блондинки, а с огненными глазами и страстными порывами брюнетка лет под 20, с круглым лицом, с толстыми черными косами и зеркальцем наверху; она также смотрит вниз, но для того только, чтоб потом скинуть глаза и как огнем опалить.

Любуются ею, сидя наверху на скамеечке, расточают ей похвалы, и отец игумен ласково улыбается; один старец тут же затянул песню, приблизительно такого содержания и чуть ли не собственной композиции: «Ой, девица, убей тебя Бог! Когда я проходил мимо твоего окна, ты смотрела в него своими огненными очами и сквозь стекло зажгла мое сердце». Есть и у Вука песня, которая очам придает такую силу, что от них загорелся даже город:

Што се оно Травник замаглио!	Что это Травник затуманился?
Или гори, ил' га куга мори?	Иль горит он, иль чума его морит?
Ил' га Јања очим' запалила?	Иль зажгла его глазами Янья?
Нити гори, нит' га куга мори,	Не горит, не морит его чума,
Већ га Јања очим' запалила:	А зажгла его глазами Янья:
Изгореше два нова дућана,	Сгорели две новые лавки,
Два дућана и нова механа,	Два кабачка и новая механа,
И мешћема гдје кадија суди.	И палата, где кадия судит.

Коснувшись эстетической стороны серба, его понятия о красоте, кстати будет его собственными образами, словами его народной песни охарактеризовать его идеал красоты. Вот как песня описывает девицу Хайкуну, сестру бега Любовича: «Лучший цвет, какой только когда-либо расцветал среди ровного поля Невесиньи» (в Герцеговине, откуда нынче началось восстание<sup>44</sup>):

У струку је танка и висока,	Станом она тонкая и высокая,
У образу б'ела и румена,	Лицом — белая и румяная;
Као да је до подне узрасла,	Как будто выросла она до полдня

Према тиом сунцу прољетноме.	Против тихого весеннего солнца.
Очи су јој — два драга камена,	Глаза у нее — два дорогих камня,
А обрве — морске пијавице,	Брови — пиявицы морские,
Трепавице — крила ластавице,	Ресницы — ласточкины крылья,
Руса коса — кита ибришима;	Коса русая — плетенка из шелка
Уста су јој кутија шећера,	Уста ее — коробочка сахара,
Б'ели зуби — два низа бисера.	Белые зубы — две жемчужные снизки;
Руке су јој крила лабудова,	Руки у нее — лебединые крылья,
Б'еле дојке — два сива голуба,	Белые груди — два сизые голубя;
Кад говори — канда голуб гуче.	Когда говорит — словно голубь воркует;
Кад се смије — канда сунце грије.	Засмеется — словно солнце греет.
Љепота се њена разгласила	Красота ее разгласилась
По свој Босни и Херцеговини.	По всей Босне и Герцеговине.

Красота девицы еще больше возвышается, если она растет, что называется, не видя света Божьего и в невинности, доходящей до полнейшего неведения самых обыденных вещей. Не раз в песне говорится:

Дјевојка је у кавезу расла,	Девица росла в клетке,
Кажу, расла петнаест година,	Росла, говорят, пятнадцать лет,
Ни видјела сунца ни мјесеца,	Не видела ни солнца, ни месеца,
Нити знаде како жито расте.	Не знала, как хлеб растет.

Нельзя не заметить, что тут уж видно влияние турецкое, потому что только у турок женщина содержится в гареме, в стороне от всякой работы и вне забот о житейских нуждах. Поэтому такими красавицами в сербской песне являются или Хайкуна, видимо, турчанка, хотя и называется сестрой бега с сербским именем, или венецианка Роксанда, но не простая сербская девушка.

Еще особенность сербской народной поэзии: она не любит изображать красоту в деталях, как в приведенной выше песне, которая, по-моему, не совсем чистого происхождения, и если не подправлена, то составила под чужим влиянием; она не довольствуется голым описанием красоты, а ловит момент, чтобы показать, как она действует; даже не позволяет вам рассматривать, а старается только чуть приподнять скрывающее ее покрывало и поразить вас моментально, неожиданно.

В одной песне рассказывается, как сваты вели невесту к жениху и не могли никак увидеть ее, так как она была все время под покрывалом; шли они несколько дней и ночей, и только когда проходили ущельем, из гор неожиданно ударил ветер и приподнял покрывало: тогда от лица ее лес и горы осветились.

То же самое повторяется и в другой песне:

Дјевојка је крај горе стајала,  
Сва се гора од лица сијала,  
А од лица и зелена венца.

Девица возле лесу стояла,  
Целый лес от ее лица сиял,  
От ее лица и зеленого венца.

И еще:

Тек што они у ријечи бјеху,  
На граду се отворише врата,  
Изиђоше два банова сина,  
Изведоше коња зеленога,  
Са сувијем окићена златом,  
И на коњу Роксанду дјевојку,  
Обасуту мрежом од бисера  
Савр главе до зелене траве.

Только они стали говорить,  
Отворились городские ворота,  
Вышли два банова сына,  
Выводили коня серого,  
Убранного червонным золотом,  
И на коне девицу Роксанду,  
Осыпанную жемчужной сеткой  
С головы до зеленой травы.

В песне, изображающей, как три югославянских юнака — Марко Кралевич, воевода Милош (Обилич) и Реля Крылатый<sup>45</sup> — отправились в Венецию сватать известную красавицу Роксанду, сестру капитана Леки, чудную картину представляет выход ее пред женихом. Лека, предупредив сестру, сам пошел к гостям, повел их на высокий *чардак* (светлица, комната наверху) и угощает вином; в это время:

Стаде звека висока чардака,  
Зазвечаше ситни басамаци,

Поднялся звук по высокой светлице,  
Зазвучали мелкие ступеньки  
(на лестнице),

Потковице ситни на папучам',  
Ал' ето ти буљук дјевојака,  
Међу њима Роксанда дјевојка.  
А кад Роса дође на чардаке,  
Сину чардак на четире стране,

Тонкие подковки на башмаках,  
И вот вам толпа девиц,  
Между ними Роксанда девица.  
А когда Роса в светлицу вступила,  
Просияла светлица на четыре стороны

Од њезина дивна одијела,	От ее дивного одеяния,
Од њезина стаса и образа.	От ее стана и лица.
Погледнуше три српске војводе,	Посмотрели трое сербских воевод,
Погледнуше, па се застидише,	Посмотрели и застыдились,
Заиста се Роси зачудише.	Поистине Росе дивовались.
Много Марко чуда сагледао,	Много Марко видывал чудес,
И виђао виле на планини,	И видел он вил (русалки нимфы)
	в горах,
И имао виле посестриме,	Были у него вилы посестримы,
Ни од шта се није препануо,	Ни от чего он так не полошился,
Ни с' ода шта Марко застидио;	Ни от чего Марко не стыдился,
Баш се Роси бјеше зачудио,	А вот Росе задивился,
И од Леке с' мало застидише,	И перед Лекой несколько стало
	стыдно,
<i>Погледнуше у земљицу црну.</i>	<i>Опустил глаза в черную землю.</i>

Надеюсь, читатели не посетуют на обилие выписок и особенно на то, что я привожу их в оригинале на языке, мало кому понятном. Последнему обстоятельству помогает, конечно, мой подстрочный перевод, но один перевод не передал бы всей прелести поэтических образов, пластичности форм и гармонии языка, что, однако, так доступно русскому слуху и чутью, даже и тогда, когда бы не был вполне понятен самый смысл.

Мне остается еще досказать, чем кончился праздник. Я не дождался его конца и покинул в тот момент, когда все разгулялись. Господин Мита (капетан) был в числе самых неутомимых коловодей, а когда он отставал, то подгулявшие поселяне запросто тянули его, и он не мог отмолиться. Этот капетан был больше сербин, чем чиновник, впоследствии я узнал его ближе и убедился, что он действительно был хороший человек, значит — народное чутье не ошибается.

Здесь был последний пункт, до которого я доходил на Дрине, и отсюда, двинувшись на Ужицы, я вступал уже в бассейн другой сербской реки — Моравы. Так как я отправлялся рано, то мне не было и одного попутчика, только одна женщина отправлялась туда же в одно время со мной, и с ней я мог сделать хотя бы часть пути, что для меня было очень важно, так как легче всего сбиться с дороги около селенья.

Скоро мы с ней разделились, и я, как и всегда, остался один. Скоро смерклось, настала ночь, но светлая, тихая; дорога отличная и красивая местность: слева гора с лесом, вправо глубокая долина, также наполненная лесом, и на самой глубине ее шумит поток, а за нею при лунном освещении в легком силуэте рисуются горы. На дорогу передо мной беспрестанно падают светляки и рассыпаются искрами, вспыхивая фосфорическим светом. Местность не совсем пустая: в нескольких местах стада овец в огороженных пригонах, но людей не видать, ни собак; должно быть, подле и самое селение. Шмыгнул через дорогу волк, подбираясь к овечкам; а вон выходит из лесу на дорогу и человек с длинной винтовкой за спиной (машицей) и с большим ножом за поясом. Он мне и попутчик. Вышел он на дорогу и идет так медленно, без сомнения, поджидает меня. Догнал я его, поздоровались и идем рядом. После обычных расспросов, он щупает мою сумку и спрашивает, что в ней.

— Все, что мне нужно, — отвечаю ему.

— И деньги есть?

— Есть.

— Что же, ты не один здесь, за тобой, верно, едет лошадь?

— Нет, один — и весь тут.

— Как же это! Ты ведь здесь в первый раз и не знаешь дороги?

Поясняю ему, что у меня есть карта и описание, а к тому же я везде расспрашиваю людей. Еще больше удивился, когда узнал, что со мной нет ни револьвера, ни другого оружия.

— Как же так: один, без оружия, с деньгами, в чужом краю? Ведь здесь всякие люди есть?

— Ну, слушай, я тебе объясню все: если б кто-нибудь захотел убить меня, он убьет из леса, так что я его не увижу, и тогда револьвер не помощь; но убивают людей только разузнавши наперед, есть ли у них деньги и стоят ли эти деньги того, чтобы убить человека; если же это наверное неизвестно, то зря убивать человека никто не станет; увидевши человека в первый раз, да еще иностранца, всякий прежде всего любопытствует узнать, кто он такой, и, узнавши, что я русский и путешествую для того, чтобы познакомиться и подружиться со своими единоплеменными и единоверными братьями сербами, никто никогда и не подумает сделать мне какое бы то ни было зло. Так ли?

— Хорошо ты говоришь, брат, — ответил незнакомец с видимым участием. — В сербской земле никто тебя не тронет, потому что русских все мы любим. Иди смело по всей сербской земле, и никто тебя не тронет.

И пошла у нас беседа на другой лад. Когда мы уже подходили к селению, незнакомец, сказав мне «С Богом!», пошел назад и только крикнул, чтоб я торопился, а то механу запрут.

Действительно, в механе все уже спали, кроме одного момака, который перемывал посуду. На мое счастье остался еще кусок мяса и, следовательно, я был с ужином. Рассказал я ему про все свои встречи, про волка и про человека, которого счел за лесного сторожа. Встревожило его известие о волке, тотчас побежал он послать кого-нибудь к стаду, а про человека спокойно сказал: «Але то е био [х]айдук, зао посо<sup>46</sup>» (то был разбойник, худое ремесло), потому что никаких лесных сторожей у них нет, и ни один сербин ночью не станет шляться, а норовит как можно раньше завалиться спать. «А ты скажи, — добавил он мне: — “[X]вала Богу, да сам добро дошо!”» («Слава Богу, что благополучно прибыл!»).

### Примечания

<sup>1</sup> Колубара — река в западной Сербии. Правый приток Савы.

<sup>2</sup> Тимок — река в восточной Сербии. Правый приток Дуная. Образуется слиянием Белого и Черного Тимока. Протяженность (от места слияния) — 88 км. По ней частично (на протяжении 15,5 км) проходит граница между Сербией и Болгарией.

<sup>3</sup> Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872) — русский славист, историк и собиратель былин. Член-корреспондент Академии наук. Окончил Московский университет. В 1856–1859 гг. служил консулом в Сараево; с 1863 г. (вместе с Н.А. Милютиным) — в Комитете по делам царства Польского. С 1870 г. был председателем этнографического отделения Русского географического общества. Научная и публицистическая деятельность Гильфердинга посвящена истории южных и западных славян, славянской филологии, а также русскому фольклору и этнографии.

<sup>4</sup> Майков Аполлон Александрович (1826–1902) — русский общественный деятель, филолог и историк-славист. Обучался на историко-филологическом факультете Московского университета (1843–1847). В 1857–1859 гг. — адъюнкт кафедры русского языка и литературы. Затем участвовал

в выборных дворянских и земских органах; состоял в должности управляющего Императорскими московскими театрами (1886–1888). Один из основателей и казначей Общества драматических писателей и оперных композиторов (1870–1902). Главный научный труд «История сербского языка по памятникам, писанным кириллицей, в связи с историей народа» (М., 1857) был дважды (1858, 1876) издан в Белграде в переводе Д. Даничича.

<sup>5</sup> Попов Нил Александрович (1833–1891) — видный русский ученый-славист (историк), член-корреспондент Академии наук (1883). В 1854 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1860–1888 гг. работал в Московском университете. С 1869 г. — его профессор. В 1873–1876, 1877–1880, 1882–1885 гг. — декан историко-филологического факультета. Автор самой значительной в российской историографии XIX в. работы по истории Сербии — «Россия и Сербия. Исторический очерк русского покровительства Сербии с 1806 по 1856 г.» (1869), переведенной на сербский язык. С 1867 г. — секретарь Московского славянского благотворительного общества.

<sup>6</sup> *Thoemmel G.* Geschichtliche, politische und topografisch-statistische Beschreibung des Vilajet Bosnien, das ist das eigentliche Bosnien, nebst türkisch Croatien, der Hercegovina und Rascien. Wien, 1867.

<sup>7</sup> Гонвед (венг. Honvéd — «защитник родины»), рядовой венгерской армии.

<sup>8</sup> Киперт Генрих (1818–1899) — немецкий географ и картограф.

<sup>9</sup> Ковалевский Егор Петрович (1809–1868) — российский путешественник, писатель, дипломат, востоковед, почётный член Петербургской Академии наук (1857), первый председатель Литературного фонда (с 1859). В 1837 г. по просьбе черногорского владыки Петра Ковалевский был направлен в Черногорию для поисков полезных ископаемых.

<sup>10</sup> Пьемонт — историческая область на северо-западе Италии. С XV в. — это герцогство Савойя и Пьемонт, с 1720 г. — основная часть Сардинского королевства (со столицей в Турине), которое впоследствии стало центром движения за создание единого национального итальянского государства.

<sup>11</sup> Вукалович Лука (1812–1873) — черногорский воевода, руководитель трех восстаний против Османской империи в 1852–1862 гг.

<sup>12</sup> Имеется в виду: как сыну Милоша Обреновича.

<sup>13</sup> *Ама, верујте ми, биће то, биће!* (сербск.) — Да, верьте мне, будет так, будет!

<sup>14</sup> *Е, брате, шта ћу!* (сербск.) — Эх, брат, что мне остается делать!

<sup>15</sup> *Сан је лажа, а Бог је истина.* (сербск.) — Сон — ложь, а Бог есть правда.

<sup>16</sup> См. комментарий № 22 к очерку «Белград. Его устройство и общественная жизнь. Из записок путешественника».

<sup>17</sup> Задруга — большая патриархальная семья у южных славян. Состояла из 20–30 человек, как правило, — нескольких сыновей одного отца с их же-

нами и детьми, живших в одном дворе. Хозяйство в такой семье было общим. Во главе семьи стоял выборный домохозяин (домачин, господарь), руководивший всей ее жизнью с помощью своей жены (домачица, господарица), которая ведала женской половиной дома. Высшая власть в задруге принадлежала совету всех членов — взрослых мужчин и женщин, — контролировавшему деятельность домохозяина.

<sup>18</sup> *Рђаво, брате, рђаво!* (сербск.) — Плохо, брат, плохо!

<sup>19</sup> Петковица — монастырь в северо-западной Сербии. Основан во второй половине XIII в. Современный облик сформирован в конце XIX в.

<sup>20</sup> *Спахилук* (сербск.) — поместье, имение.

<sup>21</sup> От сербск.:

— *Помози Бог* — Бог в помощь.

— *Бог ти помогао!* — И тебе Бог в помощь!

— *Хвала Богу* — Спасибо Господу.

— *Захваљујем* — Благодарю.

— *Ако Бог да* (перевод Ровинского неверен) — Ежели Бог даст.

— *Шта си?* — Кто ты по национальности?

<sup>22</sup> *Ама добро, брате, читаш, па ти си Србин.* (сербск.) — Да, хорошо, ты, брат, читаешь, значит, ты — серб.

<sup>23</sup> Студеница — монастырь в центральной Сербии, в долине р. Ибар. Основан в XII в. великим жупаном Стефаном Неманей — основателем династии Неманичей.

<sup>24</sup> Мали-Зворник — город в Сербии, располагается на берегу Дрины, напротив города Зворник (Босния и Герцеговина).

<sup>25</sup> *Србин ради, а турчин се слади; Србин тече, а турчин растече* (сербск.) — Серб работает, а турок наслаждается; серб течет, а турок растекается.

<sup>26</sup> Поцерац Милош Стоичевич (1776–1811) — герой Первого сербского восстания, поцерский воевода (с 1806 г.). Происходил из окрестностей г. Шабач.

<sup>27</sup> Чарапич Васа (1770–1806) — герой Первого сербского восстания, воевода. Погиб во время штурма Белграда.

<sup>28</sup> Молер Петар (1775–1816) — участник Первого сербского восстания, воевода. В 1815–1816 гг. возглавлял Народную канцелярию (правительство). Находился в оппозиции к Милошу Обреновичу, который и организовал его убийство.

<sup>29</sup> Шумадия — историческая область в центральной Сербии. Когда-то была покрыта густыми дубовыми лесами, отчего и происходит ее название: шума (сербск.) — лес.

<sup>30</sup> Ровинский неточен: Милош Обренович покинул Сербию в 1839 г., тогда как Александра Карагеоргиевича «призвали» в 1842 г. на смену князю Михаилу Обреновичу.



<sup>31</sup> Имеется в виду Свято-Андреевская (1858) скупщина, свергнувшая Александра Карагеоргиевича и возвратившая на сербский престол династию Обреновичей.

<sup>32</sup> Т. е. на Михольской скупщине 1867 г.

<sup>33</sup> Крупань — город в западной Сербии. Расположен в регионе Подринье. Под современным именем впервые упоминается в 1417 г. В средние века — крупный горнодобывающий центр, рынок цинка и олова.

<sup>34</sup> От сербск. *буљугбаша* — командир роты, отряда.

<sup>35</sup> *Ама ћути* (сербск.) — молчи.

<sup>36</sup> Рача — монастырь в западной Сербии, неподалеку от г. Баина-Башта. По легенде, в роли его ктитора выступил король Стефан Драгутин (конец XIII — начало XIV в.). Современный облик монастыря сформировался первой половине XIX в.

<sup>37</sup> От сербск.:

*Дрински вуче, што си обрђао?  
Невоља је мени обрђати:  
Око Дрине не има оваца.  
Једна овца, а три чобанина;  
Један спава, други овцу чува,  
Трећи иде кући по ужину.*

<sup>38</sup> Вишеград — город в Боснии на реке Дрине. Первое упоминание относится к 1448 г. Находился на торговом пути Дубровник — Ниш.

<sup>39</sup> Съеница — город в Нови-Пазарском санджаке. Первое упоминание о нем относится к 1253 г. Находился на важном торговом пути Дубровник — Ниш.

<sup>40</sup> Нови-Пазар — город в южной Сербии, в области Рашка (во время поездки Ровинского являлся центром турецкой провинции — Новипазарского санджака). Основанный турками Нови-Пазар (новое место для торговли) впервые упоминается в 1461 г.

<sup>41</sup> Баина-Башта — город в западной Сербии на границе с Боснией и Герцеговиной, на правом берегу Дрины.

<sup>42</sup> От сербск. *коловођа* — ведущий коло.

<sup>43</sup> Текст песен по-сербски приведен по: *Ровински Павел Аполонович. Записи о Србији 1868–1869. (Из путникових бележака). Нови Сад: Матица Српска, 1994. С. 211–214.*

<sup>44</sup> Герцеговинско-боснийское восстание 1875–1878 гг. — народно-освободительное движение в Герцеговине и Боснии против турецкого национального и феодального гнета. Началось 5 июля 1875 г. близ сербского местечка Невесинье. К августу охватило почти всю Герцеговину. Тогда же началось восстание и в Боснии. Герцеговинско-боснийское восстание положило начало Великому восточному кризису 1875–1878 гг.

<sup>45</sup> Реля Крылатый — сербский эпический герой, соратник Королевица Марко. Прототипом послужил сербский феодал и военачальник Хре-

ля Охмучевич, живший в первой половине XIV в. Его владения находились в северо-восточной Македонии. В 1334–1335 гг. реконструировал крупнейший в Болгарии средневековый Рильский монастырь, построив так называемую Хрелину башню.

<sup>46</sup> От сербск. *Али то је био хајдук, зао посао.*

## Сербская Морава. Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году\*

Путешествуя в Сербии по Дрине, все время чувствуешь какую-то тесноту: с одной стороны жмут горы и уединяют от остальных местностей, с другой — ряд сербских и турецких караулов, которых прямое назначение мешать всякому переходу с одной стороны на другую, чему помогает самая местность. Таков характер двух округов: Шабачкого и Подринского (окружной город Лозница); часть последнего, Рачанский срез, уже составляет окружье ужицкое, которое носит на себе совершенно иной характер.

Это возвышенная страна, отрезанная горными хребтами от северной половины Княжества и сливающаяся почти под одно с лежащими к югу от нее Герцеговиной и Старой Сербией. Только на западе поднимается довольно высокий и затруднительный для перехода хребет Ивица, заставивший Дрину сделать здесь крутое колено к западу; остальная же граница, идущая в юго-восточном направлении, совершенно открыта. Самая возвышенная часть — Златибор — представляет высокое плато, ровное, безлесное, покрытое превосходными травами; это вполне наша южно-русская степь, которая своим широким, открытым видом и привольем так и манит кочевника с его стадами.

Кочевая жизнь давно уже миновала для всего Балканского полуострова, но быт пастухов, круглый год бродящих с места на место, составляющий продолжение кочевого быта, вполне господствует и здесь. Златиборское плато составляет убежище этого остатка кочевой жизни. Тысячи различного скота, принадлежащие скупщикам, бродят здесь, порученные пастухам, которые от самого почти детства проводят жизнь, бродя со стадами с места на место. Оригинальный народ эти пастухи: большая часть их бессемейные, многие даже не из Сербии, а из какой-нибудь турецкой провинции; некоторые в свое время занимались разбоем. Теперь они бросили, конечно, это ремесло, но связь с «гайдуками» продолжается у них донныне,

---

\* Впервые опубликовано в журнале «Вестник Европы» (1876. Т. 2. Кн. 4. С. 517–558).

да иначе им не уберечь бы ни своих стад, ни самим не уцелеть. Гайдуцкие *четы* (шайки) живут здесь на одинаковых правах с пастухами: они кормятся с ними вместе от стад и получают от владельцев их известную контрибуцию. Рассказывают, что в случае неуплаты этой контрибуции, если из рук гайдуков ускользал хозяин, то они вырезывали целое стадо, голов в 200. Варварство порядочное! Но тут же поблизости был случай, что одного крестьянина, у которого предполагались большие деньги, изжарили на костре, стараясь вымучить у него показание, где у него деньги. Вследствие чего весь этот край, именно срезы златиборский, арильский и моравицкий<sup>1</sup>, находятся постоянно на особом положении, с полевым судом. Местная администрация, отчасти вследствие недостаточности средств, а частью по недеятельности и вследствие злоупотреблений — оказывается слабой; и вот однажды толпа местных поселян, раздраженная против местных гайдуков и полиции, которая иногда волочила решенные дела, напала на острог, вытащила 9 человек арестантов и всех их убила. Такая месть ужасна, но тем не менее ужасно и положение жителей, когда они не могут быть уверены, что на завтра непременно кто-нибудь из них не будет зарезан или не будет угнан скот, главное достояние его. И все это делает роковое турецкое соседство. Все почти без исключения грабежи и соединенные с ними убийства совершаются людьми, перебежавшими из Турции, куда они постоянно и укрываются. Национальность этих людей различна. В Старой Сербии жалуются на арнаутов (албанцев), которых турецкое правительство нарочно поселило так, что они с юга, от пределов Албании, полосой протянулись почти вплоть к Новому Базару; а в последние годы там же поселены черкесы, которые в городах совершают грабежи днем на базаре при большом стечении народа. Естественных преград, как я уже заметил, здесь нет никаких, и потому переход границы туда и обратно очень легкий. Тут же неподалеку, вдоль всей сербской границы, пролегает главная дорога из Константинополя в Боснию, и все городки, лежащие на ней, имеют от себя дороги через сербскую границу; именно такие дороги идут от Сеницы, Новой Вароши, Пребоя<sup>2</sup> и Вышеграда; все они идут по Ужицкому окружью и сходятся в Ужице. Можно поэтому судить, какая тесная связь этого края с Турцией и в какой зависимости он от этой последней. В настоящее время то и дело мы читаем заявления, что турецкие шайки переходят

сербскую границу и нападают на сербские селения; это совершенно вероятно, потому что и прежде бывало почти подобное. Жизнь этого края должна бы получить больше развития, если б не было указанных задерживающих причин. Край богат в естественном отношении и притом находится на самом широком торговом пути, а между тем он, говоря по-сербски, *чамит*<sup>3</sup>, т. е. не живет и не умирает, вследствие своей общественной необеспеченности.

Но пора нам вступить в самый город *Ужицы*.

В тот же день, как я вышел с ночлега, довольно рано был уже в городе. Это было в *Духов день*, по-сербски *Духове*<sup>4</sup>, и там в этот день была ярмарка. Не останавливаясь нигде в гостинице, я зашел прямо к г[осподину] К., к которому имел рекомендацию от его брата из Белграда. Хозяин был настолько любезен, что не отпустил меня от себя. Капетан Мита, с которым я познакомился в монастыре Раче, оказалось, женат на его сестре; сам он жил некоторое время за границей, женат на австриячке, образованной женщине, поэтому я нашел у него всю обстановку европейскую, которая, признаюсь, после продолжительного скитания по сербским механам была очень приятна. Я не имел тут предметов для этнографических изучений, но зато вполне отдохнул и телом и душой. При хорошей обстановке и в обществе, с которым не чувствуешь никакого разлада, можно скоро отдохнуть, — так и тут; несмотря на только что совершенный большой переход, часа через два я уже шлялся по ярмарке.

Главный торг был скотом, и преимущественно много было нагнано лошадей. Конечно, тут не было ничего похожего на ярмарки в нашем юго-восточном краю, где разного скота собирается сотни тысяч, где гуляют табуны лошадей, никогда не бывавших в руках; здесь же было нечто вроде наших больших базаров. Весь скот был на поводу, только овцы и козы были свободны, и их было немного. Остальной товар, так называемый *чаршийский* (красный, галантерейный, бакалейный и пр.), был весь иностранный, преимущественно австрийский, привезенный из Белграда. Из местных произведений были опанки, ягодинские ножи, дудки, чутуры, баклаги и другая деревянная посуда, сита из конского волоса, мешки и сумки из козьей шерсти, холсты и полотенца, сукно и некоторые железные изделия из Болгарии, но был один предмет местного произведения, на который нельзя было не обратить внимания, — шерстяные одеяла, по-сербски *губеры*, двух

сортов: плотная ткань, длинная мягкая шерсть — достоинства, которые ручались за их пригодность, т. е. что они будут теплы и носки. Я особенно указываю на них, потому что они производятся на тамошней фабрике местного купца г[осподина] Поповича. Это была в то время единственная фабрика в Сербии, и желательно было бы, чтобы она послужила началом промышленности в том краю; а между тем после я слышал, что у него своих средств не доставало, он обращался к правительству, которое отказалось, и фабрика, кажется, уже кончила свое существование. Важно еще и то, что она действовала водяной силой, и тут же была вместе мукомольная мельница.

Из других сербских краев, в особенности из крушевацкого, сюда привезено было много вина, которого здесь мало производится, вследствие того, что главный склон его на север, и притом он значительно приподнят над уровнем моря. Отсюда берут начало так называемая Сербская Морава и все питающие ее притоки.

Мало интересного представляла ужицкая ярмарка, так что мне оставалось много времени осмотреть весь город. Он состоит из двух частей. Одна часть жилая, где рядом с небольшими беленькими домиками мещан, лавками, открывающими каждому прохожему всю свою внутренность, выдаются дом окружного начальника, конак бывшего ужицкого епископа, отличная церковь; но вообще вид этой части такой, что как будто она недавно стала отстраиваться. Другая часть — город мертвых, вся в развалинах: там полуразрушенная *джамия* (мечеть), от которой остался только высокий минарет, там обгорелые стены какого-то большого здания, украшавшегося когда-то цветными арабесками, а местами просто кучи мусора и щебня, и тут же высохший виноградник и погибшие деревья персиковые, груши и пр. Это собственно турецкий город, оставленный турками только в 1862 г.

Подле города, на скале, почти конусом поднимающейся над протекающей здесь рекой Детиной, находятся развалины старинного замка, впоследствии турецкой крепости. Скала эта с трудом доступна и с берега, потому что вытянулась гребнем до края, а к воде она спускается отвесно.

Построение этого замка относится к Средним векам, к XIII столетию. К тому же времени, вероятно, относятся остатки и других построек из тесаного камня, из больших квадр. В одном подобном здании у турок здесь был меджелис (высшее судилище или совет),

внизу же была устроена тюрьма. Уцелели еще арки моста через реку, тоже из камня: по стилю он напоминает римские постройки, которых в окрестностях много и с подписями.

Судя по пространству, на котором попадаются следы построек времен римлян и сербских царей, должно предполагать, что это был обширный город, окруженный богатыми загородными домами с садами. И все это рухнуло без следа и памяти с приходом турок. Народная песня сохранила, однако, память о цветущем времени, которое миновало именно с того часа, как началось турецкое господство.

Вот так она передает это грустное воспоминание:

О, Ужице — мали Цариграде!	О, Ужицы — малый Цареград!
Док бијаше, — добро	Покуда был ты Цареградом,
ти бијаше!	хорошо тебе было!
Кроза те се проћи не могоше	Не пройти было сквозь тебя
Од ћошака и од ћепенака,	От множества углов и перекрестков,
Од дућана и од базерцана,	И от лавок и палаток,
Од момака и од дјевојака,	От молодцов и девиц,
Од зумбула и од каранфила.	От сирени и гвоздик.
А од кад те паше освојише,	А когда тобою паша овладели,
Све се пушиш, канда шљиве	Все дымишься ты, словно сушишь
сушиш.	сливы.

Перед вечером отправляюсь дальше, на Пожегу. По дороге множество народу, возвращающегося с ярмарки. Одни верхами скачут что есть мочи, другие на телегах, и вереницей тянутся пешеходы. Все это немного навеселе, кругом живой разговор, иной распевает песню. Я пристаю к небольшой партии, в которой один идет до Пожеги. Он утром купил на ярмарке телушку и погнал ее домой, а она с дороги бежала; воротился он, нашел ее у прежнего хозяина и теперь уже ведет на веревке. Он оказывается очень любознательным человеком. Как истый серб, он узнал мое *красно име* и звал меня постоянно братом Павлом. Трудно, конечно, припомнить все наши разговоры, которые мы вели дорогой, но некоторые расспросы были настолько оригинальны, что они до сих пор живо припоминаются:

«Скажи мне, брат Павел, ты всякие страны видел, правда ли, что в Мисирской земле (в Египте) жатву собирают два раза в год и не па-

шут земли, а зерно бросают не на паханную землю и она все-таки родит, как нигде не родится? Правда ли, что есть земли, где царя нет, и что одна такая земля — Америкой она называется — сильнее, чем все царства на свете?

Правда ли, что князь Михайло с кумом своим Ристичем ездили на край земли? Ехал он сначала просто по дороге, потом морем, потом на санях по льду; ехал, ехал, а там и конец: что же там такое?

Правда ли, что в России есть такие люди, которые скопятся? Ведь это вон турки насильно делают, а там, говорят, добровольно?»

Оказалось, что он человек безграмотный, но имеет книжки, и когда кто придет, заставляет себе читать. Особенно любит он книжку *землепис*<sup>5</sup> (география); а о скопцах в газетах читали. Ради чтения ходит он часто к учителю, и взял однажды к себе ученика жить с условием, чтобы он ему читал, так как сам не мог читать. «Удивительное дело это читать: учат, учат в школе, а дети все-таки читать не могут», — добавил он с полной верой, что иначе и быть не может.

Спутник мой провел меня в механу, потом отвел домой телушку и опять вернулся, потребовал вина, чтобы меня угостить, и, уходя, обещался на другой день прислать ко мне учителя.

На другой день утром я обошел город. Он представлял больше интереса со стороны археологической, потому что везде попадались памятники древности: там, на пороге дома, надгробный камень с римской надписью, там подобный же камень заложен под фундамент, а там из них сделана ступа. Подле Пожеги оказывается целое кладбище римское. В тот же день вместе с учителем я ходил часа за четыре от Пожеги, вверх по р[еке] Скрапеж, осмотреть подобное же римское кладбище, близ селения *Ежевицы*.

Судя по разбросанным везде памятникам видно, что и здесь когда-то жило большое население.

Интересной личностью для меня был учитель. Он мне показался очень разумным и вместе мягким, гуманным человеком, что в учителе составляет, конечно, одно из важнейших достоинств. В последнем качестве привелось разочароваться, потому что за жестокое обхождение он чуть не лишился места и оставлен только под условием воздержания от телесных наказаний. Осталось несомненным только, что он очень разумный человек и очень хорошо сознавал свою крайнюю неподготовленность для школьного дела. Он не только



не имел самых элементарных понятий из географии и естественных наук, но не имел понятия о дробях из арифметики, не знал, кто такие римляне, памятники которых попадались ему на каждом шагу. Трудно припомнить все факты, доказывавшие его невежество, но общее впечатление было такое, что он в школе учился только молитвам и кое-как священной истории и катехизису, преподаванием же всех других наук совершенно пренебрегали. Школа эта называлась *Богословие белградское*<sup>6</sup>, которое ставят выше семинарии, но в сущности ниже всякого нашего низшего духовного училища. Благодаря такому положению этой школы вы встретите в Сербии много священников, очень умных и вообще хороших людей, но совершенных невежд в научном смысле, и таких же народных учителей.

Очень многие сельские учителя пользуются своими учениками как работниками и на счет их работы заводят большие огороды, из которых извлекают свои выгоды. Некоторые учителя облагают своих учеников податью: у одного, наприм[ер], было заведено, когда созревают плоды и варят варенье, которого у сербов выходит очень много, то каждый ученик обязан был принести известное количество яблок или других плодов, а кто не имел своих, воровал и приносил. В летнее время школа иногда превращается в птичник и наполняется гусями, утками и т[ому] п[одобными]. И такой учитель иногда пользуется весьма хорошей репутацией перед своим начальством. Есть, правда, в Сербии два инспектора школ, которые объезжают их каждый год; но тут является вольная или невольная снисходительность по различным мотивам: откуда взять лучших учителей? И что в этом за беда? Грамотность распространяется, а дальнейшее потом; Сербия — «државица малена, младена» (государствице маленькое, молоденькое) — и дело идет так, чтобы нельзя было сказать, что ничего не делается.

Какое после этого неверное понятие составите о Сербии по тем отчетам, которые всякий раз читаются перед скупщиной. Так, в отчете за 1866 г. значится: 342 основных школы с 18.242 учениками (до конца года пробыли только 15.359); в 7 гимназиях и полугимназиях 1.270 учеников и около 50-ти учителей; сверх того в нижних реальных гимназиях более 200 учеников; в Богословии 189 учеников при 6-ти профессорах; в Высшей школе 210 учеников и 15 профессоров. В 1871 г. число это значительно увеличилось: число основных

школ возросло до 484 с 605 учителями и 25.270 учениками (в том числе мальчики и девочки).

Но к чести Сербии нужно сказать, что она сравнительно с другими государствами, считающими себя несравненно выше на лестнице цивилизации, тратит на народное образование гораздо больше. На народное образование государство тратит там только втрое меньше, чем на военное министерство. Сознывая неудовлетворительность домашней школы, Сербия каждый год содержит более 40 воспитанников за границей в различных средних и высших училищах.

Вообще замечу, что сербский народ, как, в частности, в лице простых поселян и горожан, так и в общем органе его, в скупщине, постоянно заявляет себя в пользу расширения образования, и не его тут вина, если исполнение этой миссии правительство предоставляет людям, неспособным удовлетворить этой насущной потребности.

От Пожеги перехожу по мосту Мораву, которая здесь течет небольшой речушкой по ровной местности: кругом виднеются небольшие поселки, изгороди; там идет подбивание кукурузы, а там еще сеют ее, конечно, наудачу, рассчитывая, что при продолжительном лете, может быть, еще и выйдет; и странный способ посева: разбрасывают по непаханному полю зерно и запахивают, точно в Мисирской земле. Морава идет здесь на север прямо в горы и скрывается там в теснинах. Я перехожу еще какую-то речушку. Все такое же открытое и оживленное место. В полдень прохожу мимо ключа, проведенного в каменный резервуар, откуда вода вытекает по каменному желобку и, падая в каменную же чашу, разливается, поливая лежащую под ним луговину.

Жарко становится; ключ так и манит, и я останавливаюсь. А подле, на лужайке, две девушки, две свежие румяные блондинки, по одежде и по всему внешнему виду точно наши русские крестьянские девушки, выстилают холсты.

Покуда я снял с себя сумку и собирался напиться, девушки подошли тоже к воде. Я отступил немного, но одна из них быстро подошла ко мне, схватила мою руку и поцеловала. Это было так быстро и неожиданно, что я не успел отдернуть руки и едва успел предупредить другую, которая готова была проделать то же самое.

Такое целование женщиной руки у мужчин — обычное дело в тех краях, куда не проникали еще новые нравы. Подгородная девушка

не подойдет к руке ни к кому, даже к священнику подойдет в том только случае, если он всеми чтимый старец или красивый юноша. Видел я, как девушки удалялись от *проты* (протопопа), чтобы не поцеловать у него руки. И, наоборот, я видел, как замужние женщины подходили к руке мальчика лет 16-ти, и он спокойно сидел, принимая эти знаки почтения от женщин, которые были, конечно, почтнее его.

Я сказал, что Морава ударилась в горы на север; встретивши там горный кряж, который составляет центральный узел Сербии и идет вплоть до Белграда, выступив мысом в Дунай, Морава вдруг поворачивает на юго-восток и идет у подножия центральной возвышенности Сербии, составляющей корень и сердце ее, так называемой Шумадии. При самом повороте она попадает в ущелье между двумя горами: Кобларом<sup>7</sup> на левой стороне и Овчаром на правой. Не для привольной жизни, не для земледельца или промышленника создавалась эта местность; но человек, ищущий уединения от мирского шума или убежища от гонений и преследований своего же брата, человека, найдет здесь истинный приют, куда редко заглянет любопытный и трудно пройти с погоней, трудно открыть и изловить кого бы то ни было.

И вот в то время, как сербские цари строили богатые монастыри и лавры: Студеницу, Жичу, Раваницу, Манассию и др[угие], обращая их в царские станции для отдохновений во время дальних путешествий в Царьград и обратно, пролагали к ним торные пути, мостили их и выравнивали, наделяли их землями и селами, в XVI и XVII ст[олетиях] бедная сербская райя укрывалась от преследований в этот тесный, неприступный уголок, складывая тут свои скудные пожитки и свои мечты и надежды, спасая и умиротворяя свою истерзанную душу. Убегали сюда монахи из разоренных монастырей в Герцеговине и Старой Сербии и, собираясь в кучки, водворяли здесь жилье анахоретов. Нет здесь простора и приволья, но множество укромных уголков, где неприступность дает покой и мир от внешнего врага, а прелесть видов и мягкий характер всей природы дают удовлетворение теплomu чувству добра и наслаждения. Из уединенных жилищ пустынников возникают общежительные монастыри, бедные, как их первые основатели, но гостеприимные для каждого, не разбираясловия и состояния, как то делалось в знаменитых монастырях, только бы была в нем христианская душа. Они сделались главным убе-

жищем сербов, нуждавшихся в спасении от турок. Турки, однако, проникали и сюда, и здесь вы найдете следы их варварства; в некоторых монастырях встречаются надписи: разорен тогда-то, а возобновлен тогда.

На берегу Моравы, сердито клубящейся в теснине, стоит монастырь Благовещенье. Простой квадратный сруб, к которому примыкают с боков порталы, вместе с трапезной придающие церкви крестобразную форму, наверху восьмиугольная башенка с окнами, крыша в виде плоского конуса, четырехконечный крест, — вот и все тут. Спереди галерейка с крышей в один скат, как у нас в старинных домах, крылец, подле колодезь с конической крышей и с крестом, один домик, в котором живут четыре монаха, — вот вам и весь монастырь. Стоит он у ног Коблара, любясь на противоположном берегу Овчаром. Местоположение так уединенно, что нельзя и подозревать присутствия человека вблизи. Но сделайте один перевал через распадок и через полчаса пути вы уже в другом монастыре — Преображенья, у подошвы того же Коблара. Здесь церковь не имеет даже вида церкви, а простой сербский одноэтажный домик с высокой крышей и маленькими окошечками, и подле него еще три домика, амбарчик на столбах, кругом низенький и реденький частокол. Зато как красиво расположились две горы, разделенные распадком, с голыми стенами, уступами и высокой конической вершиной.

И таких-то монастырей здесь до десятка или больше. Все они носят названия праздников: Введения, Вознесения, Сретения и др[угих]. Все они имеют свои сказания о святых подвижниках, в некоторых почивают тела знаменитых иерархов; так, в Благовещеньи — «Кир Софроний», митрополит смедеревский, умерший в 1813 г. Посредине реки лежит огромная скала, оторвавшаяся откуда-то сверху, она называется «мостна стена», что указывает на ее служение мостом. Неподалеку от нее на маленьком островке вытекает горячий ключ, там же есть пещера, называемая «турчиновац», в которой скрывались люди, когда турки вторгались и в эти пределы. Одним словом, в этом тесном, уединенном мирке есть своего рода драгоценные памятники и славные предания. Здесь же именно в Благовещенье в 1805 г., когда сербы, предводимые свинопасом Черным Георгием, впервые после пятивекового омертвления испугали Порту, здесь же было сделано народное собрание и выбраны люди, которым

народ вручал свою судьбу, и это временное правительство тогда получило название синода или совета.

Недолго, однако, народ сербский пользовался свободой, добытой кровью: в 1813 г. снова воротились турки; а в 1815 г. неподалеку от этих же мест, в глухом местечке Такове, в маленькой церкви, снова было народное собрание и не знало, что предпринять. Тогда является другой герой, продолжатель дела Черного Георгия, со знаменем в руках, в полном одеянии воеводы; он неожиданно вступил в собрание со словами: «Вот я, а вот вам война», и дело было решено; на другой день все, что могло вооружиться, двинулось к югу на Чачак<sup>8</sup>. Это было в Вербное воскресенье, наываемое у сербов *Цветье*, которое с тех пор каждый год празднуется как день освобождения.

Вот какую роль в судьбе сербского народа играли эти горы с их монастырями и бедными церквями, а теперь «сербский Афон», как справедливо называют Коблар и Овчар, не имеет никакого значения, к нему даже нет хорошей дороги, а главная дорога от Пожеги в Чачак оставляет его далеко в стороне, так что вы вступаете в долину Моравы только уже перед Чачаком.

Перед этим, однако, приводится перевалить хребет Елицу. Тут есть один пункт, с которого вы увидите вправо в несколько рядов идущие горы: Триглав, Чемерно, Столовая, и на самом заднем плане едва усмотрите плоскую вершину Копаоника, самый южный пункт Сербии: весь белый, покрытый еще в то время снегом, он едва отделяется от туманно-голубого горизонта. Копаоник, кажется, единственная гора в Сербии, носящая в себе альпийский отпечаток, и потому он составляет *desiderium* сербских натуралистов. Лучшее описание его природы принадлежит профессору белградской Высшей школы Панчичу.

Отсюда вступаем в долину Моравы, где она делается уже настоящей рекой, а не горным потоком. Отсюда до самого устья долина ее, то суживаясь, то расширяясь, представляет все условия для развития жизни. В ней сосредоточилась городская жизнь Сербии; тут идет целый ряд городов: Чачак, Карановац, Паратын, Тюприя, Ягодина и др[угие]. К этим городам примыкают богатые села, кроме хлебопашества и виноделия, здесь производится добывание шелку.

Спустившись с гор на долину, я поражен был роскошью растительности и красивым видом деревьев: на липе лист почти в чет-

верть, на берегу громадные серебристые тополи, и тут же виноград, взвившись до вершины дерева, покрыл его как шапкой, густой сетью своей светлой резной листвы; он спускался оттуда космами и купался в мутной воде Моравы, огромные яблони и деревья боярышника почти равнялись со стоящими тут же дубами. Изгороди все сплошь укрыты сплошным покровом винограда, который в то время цвел и отдавал своим ароматом: проходя между этими виноградными шпалерами, я чувствовал почти головокружение.

В это время навстречу мне ехал всадник на рыжем коне полной рысью и задержался немного только передо мной: это был священник. Черные вьющиеся волосы густо выбивались из-под невысокого клобука; орлиный нос и черные живые глаза, густая небольшая борода придавали его лицу выражение энергии, свежести и силы, выражавшихся в его походке и движениях, когда он, нисколько не напрягаясь, осадил своего мчавшегося, горячего коня. На нем была ряса, не очень широкая, с малиновой шелковой подкладкой, такого же цвета широкий пояс, на руках лиловые перчатки. Вся фигура его была необыкновенно красива и, казалось, составляла нераздельное целое с окружающей, также прекрасной, природой.

— Помози Бог, — сказал я ему.

— Бог ти помого, — ответил он, и еще больше оживилось его лицо.

Он хотел было сказать обычное у серба: «Шта си?», т. е. «Кто ты?», но недосуг его и мой заставил нас расстаться без дальних речей и распросов. Через четверть часа я вступал уже в Чачак.

Улица была вся в колеях и кочках засохшей, совершенно черной грязи, но домики были все беленькие, чистенькие, с высокими трубами, похожими на минареты, и перед каждым домиком садик и ряд роскошных роз, поднимающихся выше края крыши. Большая церковь, также белая, с несколькими башенками, довольно странной архитектуры, намекающей одной частью на турецкую мечеть, красовалась на обширной площади и кругом еще несколько довольно больших домов. Общий вид был таков, что зажиточность и порядочность кидались с первого раза в глаза; это было и в действительности.

В Чачаке я имел рекомендацию к одному из тамошних купцов, поэтому я скоро приобрел себе знакомства. Но знакомства эти нашлись не в частном доме, а на улице и в гостинице. Как только вы

пришли, вас угощают обычным порядком и затем ведут уже в гостиницу, из которой вы и не выйдете, или можете перейти только в другую гостиницу. Домашняя же, семейная жизнь совершенно отделена. Вот почему и нет интереса оставаться дольше в сербском городе.

Чачак лежит как раз на пути из Нового Базара в Сербию, и потому здесь постоянно находятся торговцы или *кириджи* (возчики) из Старой Сербии.

В гостинице, в которую меня привели мои новые знакомцы, было отсюда несколько сербов, люди все чрезвычайно рослые и крепкие: белый кафтан вроде черкески, туго стянутый на тонкой талии, ноги, обернутые очень плотно в суконные *ногавице*, обнаруживали крепкие мышцы, ступает он, точно на ногах нет мяса, а во всей этой обуви твердая деревяшка, только необыкновенная гибкость указывает на присутствие очень эластичных, упругих мышц.

Один из них был с *гуслой* и по просьбе публики заиграл нам сербские песни.

Странное впечатление производят звуки этого инструмента и сопровождающее его пение. Вы слышите какой-то однообразный, хриплый скрип, который варьируется только повышениями и понижениями, ускорением или замедлением темпа; нет тут ни аккордов, ни гармонии — это идет все один и тот же голос. Певец, сначала уставившись в свой инструмент, начинает вдруг высокой сильной нотой какое-то воззвание, потом откинется назад, поднимет голову кверху, к небу, как будто взывая к нему и припоминая, обрывая стоном, и смолкнет; а в это время только быстрее забегает смычок, громче и выше захрипит и застонет струна, потом опять начнется мерное движение, и опять из груди певца вырывается прежняя высокая нота, не сходя с которой он поет уже речитативом довольно долго, покуда не дойдет до патетического места, на котором она снова обрывает речь и только застонет, и этот стон как бы эхом отзывается в потупившихся слушателях.

Пел он сначала про Бановича Страхию<sup>9</sup>, и эта песня без перерывов длилась более часу. Сколько ни было публики, все молчало, лоя только слово, выдающее юначество сербского героя, и сопровождающая его возгласами одобрения. Затем последовал роздых: поставили перед певцом полбутылочки вина, попил он, пораздумал и снова начал. Запел он про царя Лазаря и жену его царицу Милицу, про Косовскую

битву, где погиб царь и доброе юначество, — Милош Обилич, старый Юг-Богдан с восемью соколами Юговичами и Банович Страхиня.

Тут уж не было почти речитатива, проговорит он два стиха, и обрывается его речь стоном, бьют об полы руками все присутствующие сербы, все шевелится и стонет. Эта короткая песня длилась также до часу благодаря продолжительным паузам, потому что певец собирается с силами, чтобы вытянуть из себя слово, собирается с духом и публика, чтобы выслушать это слово, которое, что ни дальше, становится все тяжелее и грознее. Вестник Милютин, сообщая царице о битве, покрытый семнадцатью ранами, держащий в левой руке правую, говорит только, что он видел, как Милош, убивши Мурата, гнал 12.000 турок; что было дальше, он не знает, а думает, что погиб он на краю р[еки] Ситницы; Банович Страхиня бродил в крови по брюхо коню и также, должно быть, погиб; где больше всего было навалено тел и поломано оружия, — там погиб царь Лазарь и с ним Юг-Богдан с восемью Юговичами, уцелел один Югович-Бошко и гонял по полю турок, словно сокол голубей пугливых. Это добавление в виде рефрена «думаю, погиб он также» сопровождалось паузами, которые наполнялись стоном и судорожно-быстрым движением смычка. А когда дошло дело до Вука Бранковича<sup>10</sup>, что выдал царя на Косове, и пропел ему певец: «Проклят будь и род его, и племя», «Проклят!» — крикнули тут все и повскочили с места, как будто бы ища изменника, предавшего все сербство.

Когда все унялось, выпили еще по стакану вина, вздохнул певец и снова начал:

Пуче пушка ниже Београда,  
 Даде гласе низ тијо Дунаво;  
 Друга пуче покрај воде Саве,  
 Покрај Саве, Шапцу на крајину;  
 Трећа пуче усред Шумадије  
 У Тополи, селу племениту,  
 Даде гласе по свој Шумадији.  
 Уздиже се бутум Шумадија,  
 И пред њоме Петровићу Ђорђе,  
 Задрма се турска царевина;

Грянуло ружье ниже Белграда,  
 Отозвалось эхо вниз тихого Дуная;  
 Другое грянуло над водами Савы,  
 Понад Савой по Шабачкому краю;  
 Третье грянуло среди Шумадии,  
 В Тополе, селе знаменитом,  
 Отозвалось по всей Шумадии.  
 Поднялась целая Шумадия,  
 И пред нею Петрович Георгий.  
 Всколебалось Турецкое царство;



Зачуди се седам краљевина,      Удивились семь королевств,  
Да што ради мала Србадија!      Что делает молодое сербство!

В этой песне, напоминающей восстание сербов под предводительством Черного Георгия, возмущенное сербское чувство находит утоление, и потому ею певец постарался загладить тяжелые воспоминания.

Позже пришлось мне слушать южнорусского певца Остапа Вереса; его пение мне сильно напоминало сербских певцов; та же манера стонать, варьируя тем однообразную мелодию, выражать чувство не самой мелодией, а известным жалостным тоном голоса, его дрожанием под напором сильного чувства, что невольно сообщается слушателю и заставляет его забывать недостаток мелодии и самого голоса, слабого, старческого; вас оковывает то горе, которое очевидно охватило певца, душит его и заставляет его голос дрожать и прерываться, и вы слушаете, боясь шелохнуться.

Но разница есть, и весьма ощутительная как в манере, так и в целом тоне и духе. В то время как южнорусский певец начинает тихо, с низкой, очень слабой ноты, так что вы едва уловите момент, когда он начал петь, и потом уже возвышает голос и начинает им вибрировать, усиливая тон и чувство, сербский певец сразу начинает сильной, высокой нотой, сразу возбуждает вас и потом уже разрешается скороговоркой, где каждое слово является отчеканенным, и им осмысливается чувство, выразившееся в первом возгласе. Южнорусская думка вас разжалобит, приведет в состояние грустной задумчивости; сербская песня доводит вас до отчаяния, и вас взрывает это чувство, не давая места никакому раздумью, потому что остается только или победить, или со славой погибнуть.

После Чачака я продолжал свое путешествие вниз по Мораве, дошел до Карановаца, где впадает один из сильных притоков ее, [ека] Ибар, берущая начало в Старой Сербии; был в Жиче<sup>11</sup>, монастыре, где когда-то короновались сербские цари и произносили присягу; съездил в Студеницкую лавру и шел уже на Крушевац, но дошел только до Трстеника, где застигло меня известие об убийстве князя Михаила. Продолжать путь было уже неловко. Пробыл я еще день-два, чтобы подметить, какое впечатление это произведет на провинции, и отправился в Белград, но уже не пешком, а сначала с почтой

до Крагуевца, оттуда же в компании с купцами нашли *кочияша* (извозчика) прямо до Белграда.

Ограничусь при этом описанием одной отдельной экскурсии в Валуевское окружье, где я провел больше недели в одном селении, следовательно, мог наблюдать жизнь и ближе, и более продолжительное время, чем это возможно было при постоянном переходе с места на место.

Вместе со мной был Живоин Жуйович<sup>12</sup> из Петербургского университета, в нашей литературе он заявил себя несколькими журнальными статьями, которые в свое время обратили на себя внимание публики. В Белграде он служил мелким чиновником, но в то же время занимался политической экономией, готовя сочинение и имея в виду главным образом экономическое положение Сербии. Кроме того, он был сотрудником газеты «Сербия» и в либеральной партии играл влиятельную роль, хотя вполне не сходил ни с кем и стоял постоянно особняком. Особенным расположением и уважением пользовался он со стороны молодежи. Хроническая болезнь сильно парализовала его деятельность, но никогда, в самые тяжелые минуты, он не падал духом. Когда все терялось, он оставался тверд и бодр; таким я видел его после топчидерской катастрофы, которая многих заставила примириться, с чем они не мирились прежде, или вовсе поворотить назад. Это был сильный характер чисто сербского закала, неиспорченного полуобразованием, и чрезвычайно симпатичная личность. Смерть рано порвала его деятельность, и место его как общественного деятеля надолго, вероятно, останется незанятым.

С ним-то мы и отправились в его родное село Врачевич в Валуевском окружье.

## II.

Часть пути мы сделали на пароходе, именно до Палежа или Обреновца, где ожидал нас двоюродный брат Жуйовича Марко.

Это был здоровенный детина лет 30-ти, рослый, плотный, румяный, в полном сербском одеянии: гуня, чакшире, чарапе, опанки, фес на голове и револьвер за поясом. Он приехал за нами из Уба (Хуба). Экипаж составляла полуфурка с дышлом, запряженная парой *зеленых* (серых) лошадок; с ним был мальчуган, шестилетний его племянник.

После короткого приветствия Машо<sup>13</sup> предложил нам ракию, вино, баранину и белую *погачу* (пшеничная булка).

«Зачем ты, Машо, взял с собой револьвер, когда пути всего два часа и время дневное?» — «Так мне отец мой завещал, а ему — его отец — ни шагу из дому не делать без оружия. Прежде, бывало, выедут на пашню — пистолет вечно за поясом, а у воза винтовка. Так турки нас приучили».

Как глубоко, значит, засела память о турках, когда почти полстолетия жизни на свободе не могло изгладить впечатления того страха, в каком тогда жилось народу. Нет сомнения, что не менее глубоко должны были засесть и другие впечатления, составляющие в настоящее время особенные черты в характере сербов, с которыми мы еще познакомимся.

Едем равниной по отличной шоссированной дороге, ведущей к окружному городу Валеву. Сплошь идет дубовый лес, довольно разреженный, перемежающийся пашней и лугом. Грустную картину представляет, однако, этот лес. Лист еще не опал, но многие деревья совершенно голые, видимо, засохшие. Что же их высушило? По их громадности и буйному росту нельзя предполагать, чтобы почва была скудна или климат суров. Вглядевшись, вы заметите на всех деревьях как вороньи гнезда пучками сидящее растение, это паразит — *омела*. Прицепившись своим липким зерном к коре дерева, она быстро пускает мочку и распускает свои корешки под кожей, перехватывая все соки, идущие кверху, и таким образом отнимает у дерева способ питаться, и оно пропадает. Нет дерева, к которому бы *омела* не пристала: кроме дуба, я видел ее на клене, вязе, вербе, боярышнике, несмотря на то, что у последнего кожа так гладка и плотна, что ни одной трещинки незаметно; не видал я ее только на осине, и то, может быть, случайно.

Таким образом, я видел целый лес, вымирающий от этого паразита, который и сам тут же умирает, будучи не в состоянии добывать себе пищу непосредственно из почвы.

В то время как *омела* уничтожает леса Сербии, другой паразит поражает народ: это по-сербски называется *кашшарство* (плутовская торговля, фальшивые банкротства и сделки). Покуда мы ехали, Марко объяснился Жуйовичу, что у него есть важное дело, в котором просит помочь. Дело заключается в том, что от соседа повадился к нему ходить козы; прогнал их Марко раз-другой, пригрозил

хозяину — козы не унимаются; тогда Марко всех их пострелял. Тот пожаловался общинному суду, и суд признал виновным обоих: одного заставляет платить штраф за потраву, другого — за коз, за то, что он распорядился без суда.

— Знать я не хочу никакого общинного суда, а ты мне найди хорошего адвоката, так я их всех разорю, не пожалею никаких денег.

Как ни уговаривал Жуйович Марка бросить это дело, покориться суду общинному, он ничего и слушать не хотел. И потом нарочно приезжал в Белград, чтобы найти адвоката. В то же время он старался разузнать, нельзя ли не заплатить по какому-то векселю. И этот самый Марко не только напоит, накормит бедняка, но и наделит его хлебом, рухлядью какой-нибудь, козу даст. Когда работают у него, он не гнетет работой и не стоит за угощением, это не кулак в нашем смысле, но его уму как-то не совсем ясно, что обмануть кого бы то ни было — нечестно, и сутяжничать — тоже худое дело; а недавно еще было иначе: большие суммы верились без всяких документов, и обманов не бывало.

А вот вам и Уб.

В одну улицу, приютилось это местечко под пригорком, составляющим берег или окраину низменности р[еки] Тамnavы, за которым начинается уже местность более высокая и холмистая. Местечко это не похоже на деревню, потому, во-первых, что все дома построены рядом, бок о бок, и не имеют обширных дворов, в которых было бы целое поселение со всеми хозяйственными угодьями; во-вторых, потому что здесь у каждого дома лавочка. Правда, товару немного, и товар некорыстный — опанки, пояса, простые ножи самодельные, конская сбруя, паприка и т[ому] п[одобный] товар, большей частью такой, который тут же и производится, и вы тут же видите хозяина лавки, работающего за прилавком или сидящего на самом прилавке. Кто пройдет или проедет, всех он видит и знает, кто, откуда и куда; иногo приостановит, чтобы поговорить с ним, — благо местечко лежит на большой дороге. Тут же есть и *кафана* — кофейня, это такая же лавчонка с маленькой печкой с плитой.

Въезжаем к Марку во двор. Нас встречает поп Живко. Во дворе налево амбары хлебные и кладовые, далее конюшня, против — винница, и перед ней на мостках стоят кадушки, над которыми роem вьются мелкие мушки, у которых брюшки налились какой-то красной

жидкостью; это винные мушки, и вьются они над сосудами, в которых киснут сливы. Направо дом с подклетью, в него входите по широкой лестнице, на *чардаке*. Тут встретила нас жена Марка в обыкновенном городском костюме: в красном фесе, обвитом косами, с которыми он образует шапку с красной макушкой, в *шкуртельке* (род курточки с широкими рукавами) с *елеком* (корсетом) под ней и в юбке. Красивая, еще молодая женщина, она смотрит как-то болезненно, составляя резкий контраст с мужем, от которого так и пышет здоровьем. Немедленно началось угощение с порядочной выпивкой; затем явились груши, виноград, — и все это свое, доморощенное. Дом у Марка — полная чаша. Живет он вместе с попом, который также приходится ему как-то родня, — кажется, деверь. Живко в немилости у правительства за то, что на прошлогодней *Михольской* скупщине весьма резко говорил против полицейской власти, которая в провинции совсем убила общественное самоуправление и бесконтрольно распоряжается общественными деньгами. За это его угнали было в какой-то дальний, бедный приход, от которого он отказался, соглашаясь лучше быть без всяких доходов.

С ним велась у меня беседа, показавшая мне, что в провинции много есть людей, которые гораздо вернее смотрят на положение дел, чем белградские политики.

А Марко между тем спал богатырским сном, свалившись на миндерлуке. Вечером такой же, как обед, ужин, и часов в девять — сон. У попа была маленькая библиотечка, в которой можно было найти все главные сочинения весьма необширной сербской литературы, получалась газета. Это было в то время, когда в России еще не были введены земские учреждения, привлекившие к общественной деятельности сословия, и в том числе духовенство, и потому для меня в то время сербское духовенство являлось стоящим неизмеримо выше и правильнее нашего, образующего касту, преследующую свои особые кастовые интересы. Но и теперь сербское духовенство, по-моему, стоит правильнее, потому что доступно для каждого не только в принципе, но и на деле: там не только все священники выходят из светского звания, но из священства я что-то не знаю никого; напротив, дети духовных лиц скорее выходят в светское звание. И еще одно замечание: сербское духовенство не отличается ни особенным здоровьем, как у нас, ни плодовитостью.

На другой день Марко везет нас дальше, во Врачевич. Тут уж пошла проселочная дорога с объездами и оврагами, с живыми мостиками и переправами вброд. Местность настолько глухая, что мы часа три ехали и никого не встретили на дороге. Наконец, дорога разделалась на много дорожек, пошли огороженные места, кое-где бродят лошади, а людей все не видать. Где же селение? Да мы уже в нем; только оно так разбросано между лесом, что его и не видать. Незаметно очутились мы у двора Жуйовича. Дом виднеется далеко в глубине двора, за сливняком. Навстречу выходит старик, отец Ж[ивоина], простой селяк, в чуне серого домотканого сукна, в потасканном фесе и в опанках. Подошел он к сыну, поцеловал, обнявшись, и пожал руки. Матери не было уже в живых, она умерла, напуганная слухом, что и сын ее Живоин попался по топчидерскому делу.

«Како си, Живоине?» — спрашивает отец.

«Што радишь, Дьоко?»<sup>14</sup> — в свою очередь спрашивает сын. Какие-то холодные, как будто официальные отношения.

Сели они на скамеечке под сливами, и тут только началась интимная беседа отца с сыном. Отцу хотелось узнать, в каком положении находился сын, что про него прошла грозная молва; сыну хотелось узнать про мать, и как теперь живетя отцу без старухи, почитают ли его сыновья, племянники и снохи, но каждый, по-видимому, боялся тронуть больную рану, и беседа шла какими-то обвиняками, и все-таки волнение пробрало и того, и другого, навернулись слезы у старика, сильно закашлялся сын, снова они обнялись, будто только что увиделись, а затем все прошло.

С первого раза родственные отношения сербов кажутся какими-то холодными; но это не что иное, как сдержанность. Серб будто боится всякого нежного чувства, которое нейдет человеку вечной войны, юнаку, каждую минуту готовому бросить семью и порвать все самые дорогие связи. Это видите вы во всех отношениях родителей и детей, братьев друг к другу, мужа и жены — эта сдержанность воспитана так же, как привычка постоянно иметь при себе оружие.

Через несколько времени появились и женщины: две снохи, сестра и еще одна девушка, родственница, принятая в семью, Павлия. Каждая прежде всего подходила к руке Ж[ивоина], который, конечно, не давал им целовать, а потом стали подавать *ракию*, кофе и *сладко*. Угощением занималась Павлия. Подаст она нам, а сама станет

перед нами: на ней рубашка с поясом, и вполне обрисовывается ее тонкий, стройный стан; волосы зачесаны на одну сторону, заплетены в мелкие косицы и, свернутые вместе, припилены на затылке немного ближе к правому уху; в косах цветы. Глубокие черные глаза слишком серьезно, сурово смотрели из-под высоких густых бровей. Одну руку она уперла в бок, другую опустила, держа в ней поднос, и стояла в солдатской позе. Лицо смуглое, черты все правильные, тонкие, но выражение какое-то холодное: она будто рассматривает вас, но в то же время следит и за вашим желанием, то несет огня закурить папиросу, хотя вы ни слова не сказали, то вдруг начинает искать глазами, заметивши, что вы чего-то ищете. Предупредительность удивительная. Там я хватил же таки лихорадку. Павлия была моим лекарем: каждый день варила какую-то горькую траву (кичицу) и пила ею три и четыре раза в день, с той же солдатской манерой, с тем же холодным видом, она не отходила от меня ни на минуту; находясь в бреду ночью, я иногда просыпался и постоянно видел ее подле меня — холодную, суровую, но глаза ее смотрели также внимательно, отыскивая желания больного.

Все население состояло душ из 15-ти и размещалось в двух домиках и по амбарчикам. В числе их и тут был поп: церковь приходская была подальше, а он жил тут, потому что тут была у него своя земля, и он имел особенный домик. Каждый день он садился верхом на лошадь и отправлялся совершать требы или служить в церкви. Один раз он ездил отчитывать какого-то больного припадочного — по мнению народа, одержимого нечистым духом; и это так бывает нередко, вследствие крайней нервозности сербов.

Кроме священника все тут составляли одну семью, состоящую из старика и его сыновей и племянников, из которых двое были женаты и имели по несколько детей. Замечательно в этой семье то, что старшим был не старик, а племянник Никола, который к старику относился совершенно как к отцу, тогда как один из сыновей от него отделился.

Тут в семействе жило вместе не более 10 или 12-ти человек, с детьми (кроме священника), но рядом двор также принадлежал к этой же семье, собственно, это один двор, который недавно только перегородили надвое. Еще две семьи, также вышедшие из этого же двора, поселились подальше. До разделения вместе жило душ до 30-ти, и со-

ставляли одну семейную общину — *задругу*, которая имела одного выбранного *поглавара* или *старейшину*, общее неразделенное имущество, и жила и работала сообща, повинуюсь распоряжению одного и семейному совету; теперь же они соединяются только на некоторые работы вместе, как *берба* и *комишанье*<sup>15</sup> (очистка кукурузы)...

Я заговорил об уборке кукурузы. Она разделяется на две операции: ломание и очищение от шелухи. Первое производится днем: обыкновенно надевают передники или пристегивают к поясу мешки и, обламывая початок, кладут его туда, а после сносят в несколько куч, куда поближе. К вечеру все эти отдельные кучки свозятся в одну кучу и в одно место, где должна производиться чистка ее ночью.

Для этой работы собираются все семейства, принадлежащие к одному роду и составляющие одну задругу, и работают поочередно то у того, то у другого.

Пришла очередь и для нашей семьи. Вечером, когда вся кукуруза была свезена в кучу, Никола пошел по соседним дворам приглашать всех на работу: стреляя из пистолета, он выкрикивал молодежь, парней и девиц, собраться к нему потрудиться, повеселиться и добрым вином труд запить. Это было уже в сумерки, а как только смерклось, все поужинали и начали сходить на дороге по задворам Жуйовичей. Первые пришли молодые парнишки и девчонки лет по 12-ти и 14-ти, и, как только пришли, сейчас заиграла дудка, ухватились за пояса и начали выплясывать в коло. Собирались взрослые и даже пожилые люди, примкнули и они к этому колу, и так колом пошли по дороге, выплясывая и выкрикивая.

На месте, куда пришли, разведен был костер, горело целое свалившееся дерево и освещало кучу кукурузы чуть не в сажень вышины. Берут початок, отламывают у нижней части комель, обдирают рубашку, и чистую уже бросают в сторону, в отдельную кучу.

Работа идет сначала очень живо: никто не говорит ни слова, только и слышится треск при отламывании комлей, шелест и потом шлепание при падении. Скоро края обобрались, а, чтобы всем не подвигаться по мере убывания кучи, на нее залезают мальчишки и ногами раздвигают во все стороны, так что работающие продолжают сидеть на своих местах. По временам кто-нибудь вынет из-за пояса пистолет и выстрелит, стараясь это сделать незаметно и ни для кого неожиданно; шевельнут костер, чтобы он жарче пылал, и искры фейерверком поднимаются



ярким столбом по темному небу. Кругом вдали виднеются такие же костры и слышатся всюду выстрелы. Хозяин тех, кто постарше, обносит вином, и *чутура* (деревянная фляга) переходит из рук в руки. Подле меня с одной стороны сидел Никола, который то и дело вставал, чтобы сделать какое-нибудь распоряжение, а справа тезка мой Павел, и постоянно обращался ко мне с разными вопросами относительно России и русских и всегда меня звал «brate Павле». Не помню, в чем состояли его расспросы, но однажды он обратился ко мне с вопросом: «Да ли има код вас лепе девойка, као што је эво наша Зора»<sup>16</sup>, — и указал при этом на сидящую подле него девушку. Тут только я обратил внимание на эту девушку: круглое личико с прямым носом, синие глаза с черными ресницами и бровями, русые косы, обвив вокруг голову венцом, убранные *смилем* и *босильем*, необыкновенно белое, даже светлое от горевшего напротив костра, при общем совершенно темном небе, было действительно прелестно. Имя Зоры шло ей как нельзя больше. В похвале ей Павла было столько простоты и наивности: он любовался ею, как художник, и желал, чтобы и другой так же любовался.

Небо было все закутано сплошными тучами, по временам спускался мелкий дождь, как роса; было влажно и тепло, брала какая-то истома и нега, а к полночи не одному захотелось уснуть; кучи мягкой шелухи, образовавшиеся за спиной у каждого, так удобны, чтобы привалиться и заснуть, но это дело не безопасное: как раз кто-нибудь заметит и пустит, как бы нечаянно, початком; ушибы бывают очень сильные, сдерет кожу на голове до крови и ушибет крепко, а жаловаться нельзя, потому — не спи! Тезка мой обращался ко мне с расспросами все реже и реже; наконец он отодвинулся несколько назад и повалился на мягкое ложе.

Зора наклоняется ко мне и говорит тихо:

— Павле, придвинься ко мне так, чтобы его было незаметно; будем бросать на него *комушу* (шелуху с кукурузы), пусть он уснет, бедный, он уже четвертую ночь на работе.

— А ты разве не работала?

— Нет, и я тоже, мы все вместе работаем.

— Ведь и тебе, я думаю, хочется отдохнуть и уснуть?

— Что ты! Мы девки!

Это было сказано таким тоном и в таком смысле, как будто девка не должна знать устали.

— А ты, верно, его любишь? — спрашиваю я.

— Да, он такой хороший, красивый и добрый, а в семье он главный работник.

— Что ж ты, верно, пойдешь за него замуж?

— Бога ми, што ти говоришь, — почти вскрикнула она, — нам нельзя с ним побрататься, потому что мы родня: он — сын моей неродной тетки.

Не стал я добираться, что это за родство, знаю только, что в Сербии очень строго соблюдается недопущение браков даже в весьма отдаленных степенях родства, и это поддерживается народным мнением; никто почти не может жениться в своем селе, так как села эти большей частью произошли от одного рода.

Зора сидела несколько времени, углубившись в работу, а потом тихо проговорила мне:

— У меня уже есть жених.

— Что же, он такой же хороший, как Павел?

— Не знаю; я его еще не видела; он придет после уборки кукурузы, его отец и мать знают.

Странно! И говорит она это так просто, как будто речь идет о постороннем. Ни тени грусти, жалобы или упрека, — так спокойно и покорно. Протестов никогда почти не бывает, или бывают очень редко, на что указывает предание, сообщенное мной в предыдущей главе по поводу Девичьей скалы, и сопровождаются иногда трагическим концом для протестующей.

И этого достаточно, чтоб видеть, как легко переживается девушкой эта отдача замуж, много перестрадает ее душа, только нет силы высказать, выразить эти страдания, а бывают же случаи, что и убиваются. Припомнилось мне все это, и жаль стало Зору, мне хотелось вызвать ее на откровенность, но она вдруг веселым тоном сказала: «Но мы с ним побратим и посестрима», — это значит, они обменялись крестами, и между ними установилась духовная связь — такая, которая крепче всех уз родства. Посестрима является самым верным другом своего побратима, она жертвует для него жизнью; переодевается мужчиной и отправляется к туркам, чтобы выручить его из плена; и побратим так же относится к ней. Эта дружба является заменой любви, и потому в ней так много горячего, возвышенного чувства; только в этом случае девушка и может располагать своим чувством.

Это простое, чисто духовное отношение мужчины и женщины сохранилось только в глухих селениях; горожанам же, наполовину отуречившимся, оно недоступно.

Зора вдруг принялась искать что-то, потом, найдя шляпу Павла, подала ее мне и, указывая цветы на ней, сказала: «Это я ему сделала».

Действительно, цветы были искусственные, но так хорошо сделаны, точно живые. Нужно отдать справедливость, что, несмотря на недостаток вообще промышленности в Сербии и слишком малое знакомство сербов с ремеслами, женщины их необыкновенно искусно ткут холсты, в особенности полотенца, вытыкают самые мелкие, нежные, вполне художественные узоры шелком и золотом, и так же хорошо делают искусственные цветы.

Незаметно проходила ночь, пропели уже вторые петухи, и куча кукурузы была к концу, тогда только Зора решилась пробудить своего побратима, чтобы при конце он мог еще немного поработать.

Работа кончена: с одной стороны лежала куча початков, будто обсыпанных крупными янтарными зернами, с другой — ее шелуха, такая мягкая, что так и хотелось бы на нее лечь и уснуть.

Но хозяин зовет откушать. Раздается несколько выстрелов, и все двинулись в ту сторону, где были уже расставлены яства и дымилось какое-то горячее кушанье.

Кушанья, однако, были не обильные, потому что был постный день, да и скуповат Никола. Ужинали под открытым небом, сидя на земле, на которой были поставлены два низеньких стола — *совры*. За одним столом сидели более почтенные люди, а за другим молодежь, в том числе и женщины; самая же молодая молодежь вовсе не ужинала, а все время то пела, то плясала, как будто и не работала, и еда ей вовсе не нужна.

Перед нами был костер, а чтобы лучше осветить самые столы, две женщины сбоку у каждого стола держали по пучку зажженной соломы. С одной стороны была знакомая уже Павлия, с другой — Селена, одна из снох. Последняя невольно обращала внимание своей наружностью: высокая, стройная, в белой рубашке, с белой повязкой на голове, с бронзовым ободочком вокруг вроде коронки, стояла она, держась одной рукой за ветку старой яблони, в другой держала лучину. Безукоризненно правильные черты лица, большие голубые глаза, взгляд спокойный, следящий за всем, что делается вокруг, придавал

ей еще больше вид какого-то высшего существа, точно для нее все суе-  
етилось, пило и ело, пело и плясало: она за всем только наблюдала.  
Другие женщины тоже больше прислуживали, таская полные миски  
на столы; чутура то и дело обходила вокруг стола более почтенных  
людей, разговоры пошли живее, пошли здравицы и пожеланья, точно  
специально все собрались на пир, а не на работу.

Рассветало уже, когда все тронулись домой; небо заволкло се-  
рыми тучами, только на краю горизонта тонкой полосой алела заря;  
воздух сырой, но теплый, — так и парит.

Все разошлись, и большинство этой рабочей дружины в то же  
утро снова было на работе, а на ночь опять куда-нибудь на комиша-  
нье. Когда же эти люди спят и отдыхают? Положительно они не зна-  
ют отдыха и все-таки бодры и веселы.

Благо, если этот труд дает возможность хорошо жить, — в об-  
щем, сербы живут без нужды. Но это, как я уже заметил, поку-  
да от простора. Между тем население Сербии прибавляется силь-  
но: так в три года (с конца 1863 г. до конца 1866 г.) с 1 милл[иона]  
и 100 тысяч оно поднялось на 1.200.000, следовательно, на 9 %, или  
на каждый год на 3 %; в том числе 5.077 доселилось со стороны.  
И уже теперь начинает чувствоваться недостаток в земле. В продол-  
жении трех лет роздано на 3.559 семейств до 4.166 десятин земли  
или немного более одной десятины на семейство — количество весь-  
ма ничтожное.

Вот почему земля в Сербии составляет очень ценный капитал: де-  
шевле 100 рублей, кажется, и не купишь десятину, и потому каждая  
семья носит в себе заветную мечту увеличить свой участок, прику-  
пить где-нибудь к меже. *Жмется* она, теснится все из-за того, чтобы  
увеличить свое хозяйство. Так и Жуйовичи. Нужно бы им другой до-  
мик поставить, а в то же время хочется и приобрести землицы еще.  
В этом отношении хорошо большим семьям, где душ 30 или 40, где  
одних рабочих человек душ 15, — там все спорится, и двор представ-  
ляет целую колонию. С большими семьями связывается благосостоя-  
ние, но эти большие семьи, иначе называемые *задруги*, видно, отжи-  
ли свое время, и как народ, так и правительство замечают этот факт.

На скупшине 1867 г. было на это обращено особенное внимание.  
Министр внутр[енних] дел сообщил, что в 1861—[18]63 гг. было всего  
4469 случаев раздела задруги, а в последние три года 5024; по этому

расчету на каждый год приходится по 1700 дележей. «Если, — заключает министр, — это деление продолжится в той же самой мере, то можно предвидеть, что скоро не станет этого учреждения, столь полезного для нашего народа и государства, и останется оно только как сказка, и будут его напоминать те семейства, которые до сих пор еще сильны и зажиточны благодаря задружной жизни. Поэтому мы все должны внушать нашему сельскому населению, что его высшая сила и мощь для благосостояния лежит в задруге, и ради любви собственного блага они не должны бросать задруги».

Разделение задруги поэтому обставлено некоторыми формальностями, и тот, кто послужит поводом к разделению, подвергается наказанию как за преступление.

Народу нечего внушать: каждый селяк знает и видит это с пригорбьем, и все-таки дележ с каждым годом усиливается.

И странное дело: прежде о задруге не заботились, и она существовала сама собой; а теперь — несмотря на всевозможные усилия поддержать — сама собой рушится.

Ясно, кажется, что она отжила свое время, выполнила известную задачу в жизни народа, а теперь настали иные условия жизни, которым она не в состоянии удовлетворить, и потому она падает, и никакими усилиями наперекор духу времени удержать ее нельзя, как это предполагают некоторые теоретики, старающиеся доказать, что в ней спасение народа от пролетариата и других зол общественной жизни. Есть люди, которые признают полезность ее для охранения даже чести женщины.

Передавая только личные наблюдения сербской жизни, я не имею ни цели, ни надобности подробно говорить о задруге; я скажу о ней настолько, насколько мне нужно то, чтобы осветить и уяснить некоторые явления современной жизни, указать их происхождение и определить их современный смысл и значение. Нет надобности входить в детальные рассуждения о ней и потому еще, что у нас было о ней говорено не один раз.

Это учреждение или, вернее, эта форма народной жизни очень древняя; она тесно связана с патриархальным бытом, какой представляют нам времена, предшествовавшие княженью у чехов Любуши<sup>17</sup>, когда, по словам повествователя о ее временах, «каждый отец управляет (vojevodi) своими домочадцами (или челядью): мужчины

пашут, женщины готовят одежду, а когда умрет глава, все владеют сообща имуществом, выбравши себе главу (владыку) из своего рода». Это было размножившееся семейство, разросшееся в целый род, в котором были иногда и посторонние лица, приемные или находившиеся в услужении военнопленные, соединявшиеся под одним общим именем домашней челяди. Это была уже государственная клеточка, община, в которой связь основывалась на естественном родстве, а главой был естественный старшина или старший в роде. Главной характерной чертой такой общины была общность имущества, отсутствие всех видов частной собственности, кроме, конечно, носильного платья, оружия, коня и еще некоторых вещей, да и тут многое было общим; а вследствие того был общий интерес, чтобы дело велось как можно лучше, и, так как оно зависело от того, кто руководит, то общая забота была о том, чтобы во главе стояла лучшая личность, и старшинство тут нередко уступало способности: тут не могло быть ни партий, ни пристрастий, потому что все руководилось одним чувством — желанием себе блага. И таким образом главой является лицо выборное, и лицо это никогда не могло иметь абсолютной власти, а во всем сообразовалось с мнением родичей. Всякое злоупотребление с его стороны властью отзывалось бы дурно на хозяйстве, и тогда он был бы удален непременно как оказавшийся неспособным: это был глава не для выставки только, а хороший хозяин, управитель. Тогда весь строй жизни основывался на родовом начале. В государственной жизни родовой быт теряет свой смысл и сохраняется только в смысле знатных родов, которые играют роль и в государстве, но это уже не тот естественный род, а также выработанный под влиянием известных политических теорий. В жизни простых классов род сохранился, но без всякого политического значения, он имел, однако, большое значение экономическое, как всякая работа, а более обширное хозяйственное дело возможно только при совокупном действии, сколько возможно, больших сил; а таким совокуплением сил и обладал род, в смысле большой семьи, который в то время играл роль современной нам ассоциации. Там, где народу предстоит большая борьба с природой или необходимость защиты против постоянно угрожающего неприятеля, род представлял больше шансов для защиты, чем одна семья, особенно при том способе его жизни, — вразброс, особняком, отдельным хозяйством, которым до сих

пор еще живут многие славяне, избегая соединения в большие села и соединения в одном месте общих угодий.

*Задруга* у сербов именно исполняла эти две роли: экономическую и оборонительную. Она представляла в то же время некоторые удобства и для правительства, какое бы оно ни было — турецкое и сербское: тогда приходилось все сношения иметь с одним лицом, за которым стояла не только его собственная семья, но несколько семейств, составлявших вместе один род, иногда душ до ста; это послужило причиной того, что задруга у сербов явилась и политической единицей.

Понятно, что по миновании внешней опасности, в которой сербы себя чувствовали при господстве турок, одной причиной стало меньше; в экономическом отношении ее может заменить свободная ассоциация, до которой, впрочем, сербы не дошли еще, хотя такие примеры нередки, что братья, разделившись домами и скотом, оставляют в общем владении землю, иногда не всю, а только часть, и обрабатывают ее вместе.

Следовательно, внешней причины — вроде угрожающей опасности — нет, экономическое же положение дает выход, и народ расстается с этой древней формой, которая в свое время была благодетельна, он расстается с ней, потому что не видит неизбежности ее и видит возможность выйти из нее, и расстается, сохраняя к ней полное уважение, привязанность вследствие сознания, что ей он многим обязан, и все-таки расстается. Здесь не может быть прихоти или непонимания своей пользы, и потому совершенно напрасно сербское правительство поручает делать народу внушения, чтобы не делились задруги; нет: есть, значит, причины, которые вынуждают народ бросать задругу и обрекать себя на экономическую слабость, причины очень важные, которые заставляли держаться задруги до тех только пор, пока грозила опасность, с которой главным образом связана ее *raison d'être*. Обратимся же к устройству задруги.

Задруга иначе сербами называется *кутя*<sup>18</sup>, что значит *дом*; следовательно, сколько бы ни было построек и отдельных жилищ на дворе, все они считаются одним домом, и, сколько бы ни было семейств, все они считаются одним семейством; связующим звеном служит общее имущество и общие как прибыль, так и потери. Все совершеннолетние мужчины считаются владельцами общего имущества.

Женщины же и дети моложе 15-ти лет только пользуются из-за тех мужчин, с которыми они связаны родством. Девушка имеет право только на приданое. Никто не может иметь отдельной собственности, хотя бы приобрел ее где-нибудь на стороне или нашел по какому-нибудь случаю. Никакая часть имущества не может быть ни продана, ни заложена без согласия на то всех членов. Если кто-нибудь из членов задруги задолжал в счет своей части, то кредитор может получить не иначе, как если докажет, что заем сделан для пользы дома и что займом этим воспользовалась вся община.

Собственность, как я уже заметил, могут составлять предметы личного потребления, которые приобретены им с разрешения общины и признаны ею как его личная собственность: такого рода собственность по смерти его может перейти его вдове.

Смерть члена не производит никакой перемены: жена его пользуется тем самым, чем пользовалась при муже, если остается в его доме; если же хочет уйти к родным или выйти замуж, то сверх своего приданого и личного имущества своего мужа, по обычаю получает на обзаведение по усмотрению всей задруги.

Малолетние дети считаются наследниками отца с правом на общее имущество, хотя мать их и вышла из той задруги; но если кто выделился из задруги, то, хотя бы он был в более близком родстве с задругарями, чем некоторые лица, оставшиеся в задруге, последние в праве наследования имеют преимущество, хотя бы то был признанный очень отдаленный родственник.

Выступление из задруги возможно с разрешения всех членов, и тогда выступивший получает свою часть натурой или деньгами; если же кто вместе с тем наносит вред задруге, то его частью прежде покрываются нанесенные им убытки, а ему отдается только остаток. Задруга прекращается только при совершенном разделении ее или вследствие смерти всех женатых или совершеннолетних мужчин. Покуда остается хоть один член и находящееся в его распоряжении имущество не требуется никем, суд не предпримет ничего; но если будет требование, то часть малолетних или выделяется и берется в правительственное заведывание, или оставляется для дальнейших хозяйственных манипуляций, но предварительно составляется инвентарь.

Закон не имеет права вмешиваться во внутренние отношения членов задруги, насколько они не нарушают общественного порядка



и не грозят опасностью государству или не совершается уголовного преступления. Управление задругой принадлежит старейшине (*старейшина* или *доматын*<sup>19</sup>), который, как уже было сказано, выбирается всеми, причем руководятся только его качествами, а не летами или естественным старшинством: он должен отличаться из всех умом, опытностью и справедливостью. Он пользуется властью над всеми и распределяет все, что относится до работ и пользования задругарей, но относительно имущества власть его ограничена: без общего согласия он не может ничего ни отчуждать, ни заложить; он за каждый убыток и тягости для задруги отвечает по закону и может быть сменен домашним советом. Он распорядитель общего имущества и опекун всех малолетних, воспитать из которых хороших, честных, деятельных и полезных граждан лежит на его обязанности вместе с матерями их, но не на отцах.

Старейшина есть представитель дома перед общиной, с которой только и сносятся правительство. В частнопроводном отношении дом или задруга есть частный владелец имущества, а в финансовом — податная единица, хотя государство и принимает за такую единицу всякого женатого. Задруга выставляет ежегодно из числа мужского населения одного рекрута для народного войска; правительство во всех отношениях имеет дело постоянно с задругой, а никак не с отдельными единицами. Только в полицейском и уголовном отношениях личность одинаково прямо отвечает перед государством в простом семействе, равно как и в задруге; во всех других отношениях старейшина отвечает перед общиной, а община перед государством\*<sup>20</sup>.

Приведенного, кажется, совершенно достаточно, чтобы составить себе понятие о задруге как о государственной единице. Остается определить и охарактеризовать ее внутреннюю жизнь и положение ее отдельных членов.

Равноправность всех членов и одинаковое участие в имуществе — полнейшая; разумное начало выбора в старейшины способнейшего дает ручательство в хорошем ведении дела, усердном, добросовестном, вполне честном и беспристрастном отношении к делу и ко всем лицам; постоянный семейный совет, зависимость от него всякого более или менее важного решения не дает места никаким злоупотреблениям. Действительно, я не слышал жалоб на какие бы

\* Tkalac. Das Staatsrecht des Fürstentums Serbien. 1858, стр. 60–66.

то ни было злоупотребления и несправедливости старейшин. Вот хоть бы Никола: он постоянно становится на сторону двоюродного брата против своего родного; никогда не забудет чужого ребенка и к дяде относится совершенно как сын. Сколько неусыпной деятельности, такта, сдержанности, внимания к нуждам каждой самой незаметной единицы! Он заметил, что у одной снохи ребенок тощий и слабый, и настаивал, чтобы матери его давалась лучшая пища, и поручил эту заботливость Павлии, которой не было повода быть пристрастной ни к кому. И какая у всех заботливость о Павлии, которая им почти чужая! Зато как все идет стройно, ровно, покойно, и как все спорится. Несмотря на недостаток рабочих рук, он каждый год отвозит в Белград пшеничку или *свинарям* сбывает кукурузу и обращает их в дукаты; а теперь норовит прикупить участок земли, да и домик еще можно построить с небольшой помощью, которую и обещал ему Живоин, если не из своих денег, то достать, потому что и он не выделен из задруги.

Вот у них есть младший брат Дьока (Георгий), ему уж 16 лет, нужно побывать в людях: в ближнем монастыре Врачевщине<sup>21</sup> *слава* (праздник); пусть он отправляется туда: снарядили его, как следует быть молодому *момку* (парню), дали коня и денег карманных, чтобы, если угостят, и сам мог ответить. Это входит в бюджет и не считается мотовством, да и не замотается парень из задруги.

Хороший Никола хозяин, но только дома, в деревне; умеет он вовремя посеять и убрать, и во всем видна распорядительность; продать, однако, не его дело, на это у них есть дядя, старик Дьока. Никола будет только возчиком, а все дело уладит старик; ему же отдает он и деньги на хранение.

Распределен также и женский труд, и тут выбирается одна хозяйка на неделю, которая в доме все делает: готовит кушанье, прибирает, заботится о детях и выносит еду своим работникам в поле или на покос; она называется *редуша*, потому что всему дает *ряд* — распорядок; остальные женщины отправляются на полевые работы, а зимой — прядут, ткут и т[ому] п[одобное] и помогают редуше, исполняют ее поручения. Но старшинством с окружающим его почетом и правом на общие услуги пользуется старшая в роде; на ней не лежит никаких обязанностей, и она помогает по желанию. Свободна также каждая женщина в первый год замужества. Конечно, это

только номинальное право, которым она не пользуется, а напротив, старается тотчас же приняться за работу, чтобы расположить в свою пользу семью; в противном случае ей же потом будет худо: во-первых, она отвыкнет от дела; во-вторых, на нее, по справедливости, будут негодовать остальные члены, работавшие на нее и за нее.

Старики имеют преимущество помещаться в теплой избе, тогда как вся молодежь, даже замужние, имеющие грудных детей, помещаются в амбарчиках и зимой, запасаясь, конечно, мягкими *ястуками* и *душеками* (перинами и подушками), теплыми *губерами* (косматыми одеялами или попонами).

Среди такой стройности, равности отношений друг к другу у мужчин меня всегда поражало в больших сербских семьях необыкновенная молчаливость их женщин и спокойствие детей. Редко вы услышите писк и крик детей: они также как будто все чем-нибудь заняты, даже самые маленькие, пяти и шести лет; а ползающие и бродящие годовички и двухлетки крепко держатся своих мест, видимо, указанных им. Еще реже услышите щебетанье и веселый смех женщин: они работают и переговариваются больше взглядами или мимикой, да и говорит женщина каким-то особым, исходящим из груди голосом — сильно, задушевно, но глухо, как будто боясь, чтобы в стороне не услышали ее. Нет здесь ребенку ласки от отца или матери, потому что дети все вместе находятся на попечении *редуши*, бабы и старейшины; нет никаких признаков интимных отношений между мужем и женой. Это не натуральная семья, а домашняя община (*Hauscommunion*, *Hausgemeinschaft*). Только удалившись в свой амбарчик, интимное чувство супругов, если оно только есть, выливается в задушевной беседе, нежной ласке, вне общего надзора, только там мать прижимает к своей груди свое родное детище, к которому не смеет почти признаться, находясь постоянно в общине с другими. Взятая из чужого рода, никого не знающая, никому не знакомая, она не имеет ни времени, ни места сблизиться даже с мужем, и еще крепче, ревнивее льнет она к своему ребенку, в коем видит единственную родную душу. Отсюда, может быть, происходит необыкновенная серьезность детей и потом сдержанность у взрослых, за которой, в случае вспышки, следует такая ярость, что вы его примете за взбесившегося. Это пригнетение семьи во имя общины, подавление естественного чувства и кладет тот тяжелый отпечаток, который

скоро замечается посторонними наблюдателями. Вам с первого же раза чувствуется, что здесь живет только мужчина, а женщина только работает и терпит. Не участвуя в общественной деятельности, она лишена ее и в семье, которая у нее отнята; ей-то поэтому больше, чем мужчине, и еще тяжелее выносить это вследствие того, что здесь ей все чужое, да и ее никто не признает своей, если она не постарается купить расположение угодливостью, принесением в жертву всей своей индивидуальности.

Ни на кого так тяжело не ложится задружная жизнь, как на женщину, поэтому справедливы мужчины, когда они разрушение задруги приписывают женщине.

Да и в самом деле, что приносит женщине задруга, кроме страшного физического труда и душевных мук и терзаний, оканчивающихся общим притуплением всех ее чувств и какой-нибудь трагической катастрофой?

Единственный человек, с которым она могла и должна бы быть ближе — муж, а между тем муж любит мать, которая выкормила его своей грудью, родную сестру, с которой вырос у той же груди; он будет любить до самоотвержения избранную им посестриму; наконец, он найдет и любовницу; но жена для него всегда — чужой человек, если она не угодила его родным, свекрови и золовкам своим, — а угодить им иногда бывает невозможно, — она становится врагом его и всего рода. Лучше всего эти семейные отношения рисуются в сербской народной песне.

Какая крепкая и нежная любовь братьев к сестрам! Зная, что ей не оставаться вечно дома, а рано или поздно придется вступить в чужую семью на труд и горе, они ее лелеют, нежат, дарят, как бы взамен того, что она не получит участия в общем имении, тогда как вместе с другими с детства полагала на него свой труд и заботы.

Снијег пада о Ђурђеву дану,  
Не може га тица прелетети,  
Девојка га боса прегазила  
За њом братац папучице носи:  
«Је л' ти сејо по ногама зима?»

«Није мени по ногама зима,

Снег падает на Юрьев день,  
Не может его птица перелететь;  
Девушка босая его переходит;  
За нею брат башмачки несет:  
«Не холодно ли ногам твоим,

сестрица?»

«Не холодно ногам моим,

Већ је мени с моје мајке зима,      А холодно мне от моей матери,  
Која ме је за недрага дала».      Что отдала меня за немилого».

Отдавая сестру замуж в далекий край, они обещают посещать ее каждый месяц и в месяце каждое воскресенье; но проходят месяцы и годы, нет братьев:

Љуто пишти сестрица Јелица:	Горько плачет сестрица Елица:
«Мили Боже, чуда великога!	«Милый Боже, великое чудо!
Што сам врло браћи згријешила,	Чем я тяжело братьев прогневила,
Те ме браћа по[х]одити неће?»	Что меня они навестить не хотят?»
Њу ми коре многе јетрвице:	Укоряют ее невестки:
«Кучко једна, наша јетрвице!	«Несчастливая ты сучка, наша невестка!
Ти си врло браћи омрзнула,	Знать, ты сильно опротивела братьям,
Те те браћа по[х]одити неће».	Что не хотят они посетить тебя».

Оказалось, что братья все перемерли от чумы и осталась одна мать.

Любовь сестры к брату сильнее любви жены к мужу. Так, в одной песне жена Георгия говорит, что бы она сделала: за мужа она оторвала бы косу, за деверя изодрала лицо, а за брата выколола бы глаза.

Косу реже, коса опет расте,	Косу режет — коса вновь отрастает,
Лице грди, а лице израста;	Лицо дерет — лицо зарастает,
Али очи не могу израсти,	Глаза же не могут вырасти,
<i>Нити срце за братом рођеним.</i>	<i>Не зажить сердцу без родного</i> <i>брата.</i>

Поэтому говорится:

Благо оном брату, који има сестру,  
Благо оној сестри, која има брата<sup>22</sup>.

Совсем иначе относятся к девушке, как скоро она становится женой.

Тотчас после венчания, когда молодую везут к ее мужу, ей поют песню:

«Једни веле: ода зла је рода,  
Други веле: љута као гуја,  
Трећи веле: сањива, дремљива».

«Одни говорят: “Злого она рода”,  
Другие говорят: “Злая, как змея”,  
Третьи говорят: “Сонлива, дремлива”».

На что она отвечает:

«Који вели, да сам од зла рода,  
Не имао од срца порода.  
Који вели, да сам љута, као гуја,  
Гује му се око срца виле.  
Који вели: сањива, дремљива,  
Не имао у болести санка».

«Кто говорит, что я злого рода,  
Чтоб ему никогда не иметь детей;  
Кто говорит, что я зла, как змея,  
Чтобы змеи обвили его сердце!  
Кто говорит, что я сонлива, дремлива,  
Чтоб тому не иметь сна в болезни».

Нечего и ждать после этого хороших супружеских отношений, и жена, по народному понятию, не любит и не жалеет своего мужа.

Молодой Йова сломал правую руку: горная «вила», лекарка, требует для излечения его, чтобы мать отдала свою правую руку, сестра — косу с приплеткой, а жена — жемчужное ожерелье. Мать и сестра охотно расстаются: первая с рукой, вторая с косой, но жена не хочет пожертвовать ожерельем:

«Не дам богме, мог бисера бјела,  
Ја сам њега од оца дон’јела<sup>23</sup>».

Вила рассердилась и уморила Йову, тогда мать плачет, никогда не переставая; сестра плачет утром и вечером; жена плачет, *когда на ум придет*.

Поэтому все дурное приписывается жене: она беспрестанно изменяет мужу, предает его туркам и рада, когда он попадет к ним в плен или в какое-нибудь несчастье. Ей же приписывается и причина разделения задруги и вообще нарушение семейного счастья.

Тесной дружбой связаны были два брата, Дмитрий и Богдан Якшичи, хорошо шло у них хозяйство; но, как только женились, все пошло навыворот. Один из них говорит:

«Док ми, брате, скупа пребивасмо, «Покуда мы, брат, жили вместе,  
И мајка нам дворе управљаше, И мать управляла нашим двором,

Тад се наши двори бијељаху,  
И гости нас често поођаху,  
Поођаху сријемски кнезови  
И сам главом српски цар

Стјепане;

А како се, брате, растадосмо,  
И љубе нам двори управљају;  
Тако наши двори потавњеше,  
И гости нас, брате, оставише».

Тогда двор наш белелся,  
И гости нас часто посещали;  
Посещали нас сремские князья,  
И сам лично сербский царь

Степан;

А как мы, брат, разделились,  
И жены наши хозяйствуют,  
С того времени дворы наши потемнели,  
И гости нас, брат, оставили».

Является вопрос: от кого это происходит? Якшич Дмитрий говорит брату:

«Ој, Богдане, мој мио брајане,  
То је, брате, с твоје вјерне љубе,  
С Вукосаве, да од Бога нађе».

«Богдан, мой милый братец,  
Это от твоей верной жены,  
От Вукосавы, покарая ее Бог».

Тогда братья решают испытать своих жен. Будимский краль женит своего сына и зовет в сваты Дмитрия Якшича, для чего ему, конечно, нужно как можно лучше снарядиться. Брат Богдан советуется со своей женой, не дать ли ему на этот случай коня и оружие, и турецкое седло, и все одеяние. Жена не только не жалеет, но отдает еще новую одежду, ненадеванную, которая только-только окончена, отдает также с шеи своей ожерелья — одно из желтых червонцев, другое белого жемчуга, которые она хочет вплести в гриву его коню: «Нека диче кральеве сватове» («На славу королевским сватам»).

Испытывает таким же образом другой брат свою жену; но эта, Милица, с гневом отвечает:

«Кам' му коњи? Поклали и[х] вуци!

Кам' оружје? Однели га Турци!

Кам' одело? Остало му пусто!».

«Каких ему коней? Задуши  
их волки!

Какое оружие? Чтоб его  
турки взяли!

Какое платье? Чтоб ему  
ничего не досталось!».

Тогда муж:

У[х]вати је за грло бијело;	Ухватил ее за белое горло,
Како ју је лако у[х]ватио	Так легко схватил,
Обје очи на двор искочише.	Что оба глаза выскочили наружу.
Ал' прискочи Јакшићу Богдане,	Подскочил тут Богдан Якшич,
Те се Митра за руку у[х]вати:	Ухватил Дмитрия за руку:
«Што ћеш, Митре, да од Бога	«Что ты делаешь, Бог с тобой!
наћеш!	
Ти погледај твоје соколиће:	Оглянись на своих соколят:
Ти ћеш себи бољу наћи љубу,	Ты найдешь себе жену лучше,
Али њима никад нећеш мајке.	Не найдешь никогда им матери.
Не крвави твоју десну руку;	Не кровавь своей правой руки;
<i>А ми смо се већ растали,</i>	<i>А мы с тобой, брат, уже</i>
<i>брател!»</i>	<i>расстались!»</i>

Любовь братьев к сестре идет в ущерб любви к жене, и потому в последней возбуждает ревность, доходящую до страшной ненависти и оканчивающуюся иногда очень трагически.

Два брата, Павел и Радул, поженились, но с ними осталась сестра, которую они очень любили и всячески высказывали ей свою любовь. Высшим знаком этой любви было то, что они ей подарили «ноже оковане, оковане серебром, позлатъене».

Увидевши это, молодая Павловица (жена Павла) разгорелась завистью: призывает жену Радула и спрашивает, не знает ли она како-го зелья, чтобы отвратить брата от сестры. Та отвечает, что не знает, а если бы и знала, то не сказала бы, потому что:

И мене су браћа миловала  
И милост ми сваку доносила<sup>24</sup>.

Тогда Павловица убивает вороного коня своего мужа и говорит, что это сделала его сестра. Та клянется, и брат ей верит. Потом Павловица убивает сокола, и также напрасно старается оклеветать свою золовку.

Наконец:

Она оде вече по вечери,	Идет она вечером после ужина,
Те украде ноже заовине,	Крадет она нож у золовки,



Њима закла чедо у колевци.  
Кад ујутру јутро освануло,  
Она трчи своје господару,  
Кукајући и лице грдећи.

Закаљваеат им ребенка в колыбели.  
Когда рано утро рассветало,  
Она бежит к своему господину,  
С воплем и раздирая себе лицо.

Тут брат не поверил никаким клятвам сестры; привязал ее к хвостам двух лошадей, ударил по ним, и они ее на части разорвали, и где пали капли ее крови, там выросли «смилье и босиле», где же все тело пало, там создалась церковь.

Расхворалась после этого молодая Павловица, девять лет она хворала:

Кроз кости јој трава проницала,  
У трави се љуте гује легу,  
Очи пију, у трави се крију.

Сквозь кости ей трава проросла,  
В траве лежат змеи люты,  
Выпивают ей глаза, в траву прячутся.

Просит она своего мужа повести в ту церковь, чтоб попросить отпущения грехов, но оттуда слышится голос, что ей не может быть прощен грех. Тогда она, рассказавши все братьям, просит, чтоб и с ней поступили так же, как с золовкой. Где ее капля крови пала, там поросли «трње и коприве» (терние и крапива), а где пало ее тело, там стало озеро, по озеру вороной конь плавает, за ним позолоченная колыбелька, на колыбельке птица — сивый сокол, в колыбельке дитя мужского пола, под горлом у него рука матери, а в руке теткин нож.

Этот взгляд, что женщина причина всякого зла, проводится и в историческом предании сербов; ей приписывается и гибель сербского царства на Косовом поле. В одной рукописи рассказывается, что в доме царя Лазаря, представлявшем целую задругу, рассорились две невестки: одна из них, жена Вука Бранковича, назвала мужа другой, Милоша Обилича, незаконнорожденным (он и называется Кобилич потому будто бы, что был выкормлен кобыльим молоком, или *копилич*, от *копиле* — незаконнорожденное дитя). Последняя не стерпела и ударила Вукову жену по лицу так, что у нее кровь потекла, и она-то настроила своего мужа так, что он в решительную минуту не подал помощи, а ушел с поля битвы со своими 12.000.

Для нас неважно решение вопроса, насколько это исторически верно, но нам дорога здесь чисто поэтическая, взлелеянная в народ-

ной груди мысль, что женщине же приписывается и такой крупный исторический факт. Было это так или нет, но естественно, что крайне тяжелое положение женщины в задруге дает себя чувствовать: за тот гнет, которому она подвергается, расплачиваются семья и общество, и, без сомнения, это отражается также и на исторической жизни народа, на его характере, складе его воззрений и всей деятельности.

Рядом с этой темной стороной сербской семейной жизни мы уже указывали на необыкновенно нежные отношения между братьями и сестрами; такие же, если еще не более крепкие, узы связывают побратимов с их посестримами. Девушка *братимит* солнце, т. е. берет его в побратимы. Несколько слабее любовь к деверю, но все-таки довольно сильная. Эти-то привязанности и поддерживают еще женщину в семействе, заменяют отчасти уродливость супружеских отношений и облегчают ей тягостное семейное положение.

Гнет семейный не делает, однако, женщину рабой, она молчаливо переносит его, но не мирится, и под кажущейся покорностью судьбе скрывается натура, способная на борьбу отчаянную. Нередко она вырывается из семейной среды и идет в разбойники. Таких женщин было немало, на что указывают сербские песни. Как и мужчина, она состязается молодечеством и героизмом.

Одна была *зулумтьяр-девојка*<sup>25</sup> (вор-девка), которая обещалась разбить каменные ворота Града Юговича и увести у него коней и исполнила обещание: украла и продала за синее море 9 коней за 9.000 дукатов, 9 узд за 9 дукатов.

Другая побилась об заклад на две нитки мелкого жемчуга и дорогой камень, что встанет в полночь и одна откроет ворота цареградские, войдет в царский дворец и снимет шапочку с головы царя, вынет подушку из-под его изголовья, у султанши снимет жемчуг с шеи, у *кафеджи* украдет чашки и кофейник, у кальящика — табак и чубук, и также выиграла.

Упоминается Мара-разбойница:

Мара преко Бање-Луке

Одметнула с' у хајдуке,

Девет годин' харамбаша била.

Мара из-за Баня-Луки

Ушла в гайдуки.

Девять лет была разбойничьим

атаманом.

На десятый год ее изловили и привезли в Баня-Луку. Собрались смотреть на нее женщины из Баня-Луки, тогда она им кричит:

«Шта гледате, буле бањалучке! Није Мара копиле родила,	«Что вы смотрите, девки Баньялуцкие? Не родила Мара незаконнорожденных детей,
Како сте ви, буле бањалучке Те хитате у Врбас у воду».	Как вы, Баньялуцкие девки, И спешите на Врбас-реку».

Была у сербов *барьяктор-девойка*<sup>26</sup> (знаменосец).

У Черного Георгия была подруга, которая сопровождала его везде, когда он гайдуковал. А вдова его впоследствии вышла замуж за грека, с которым удалилась в Грецию, и во время возмущения греков против Оттона она, уже древняя старуха, была с толпой и подстрекала мужество греков. Говорят, что потом она отправилась в Кандию, чтобы быть вместе с восставшими кандиотами.

Жена Милоша Обреновича Любича также не раз выказывала мужество в такие минуты, когда мужчины терялись. Рассказывают, что в 1815 г. она побудила выступить против Киай-паши<sup>27</sup>, который с 30.000 войска выступил из Белграда, чтобы наказать сербов, а сербов было едва 3.000. Дело кончилось победой сербов, хоть и осталось их только полторы сотни.

Воинственный и геройский у сербов дух воспитывается; конечно, с самого раннего детства: едва начинающему бродить четырехлетнему ребенку мать внушает, что он должен быть *юнак* (молодец), не плакать, когда ушибут, а стараться самому отомстить, и тот, схватив в руки камень, поджидает своего врага и уже не плачет. Воспитывается этот дух и отцами, заставляющими выучивать в виде катехизиса историю падения царства на Косовом поле, причем делают такие выводы, что Милошу Обиличу на вечные времена слава, Вуку Бранковичу — проклятие, а турку и швабу нужно посекать головы.

\* \* \*

Путешествуя по стране, я вынес тогда впечатление, что все в Сербии временное, неустановившееся, все в ожидании чего-то, что вся она живет *накануне*, вся в каком-то воинственном настрое-

нии. Но в то же время нигде в Сербии не видел особенного уважения к военному ремеслу, как это можно встретить у нас и даже в Западной Европе.

В одной сербской песне девушка разбирает женихов и не хочет идти ни за *козара* (пастуха), ни за купца, ни за воина, а идет за *ратара* (хлебопашца):

У ратара црне руке,  
А бјела погача (пшеничный хлеб)<sup>28</sup>.

В коренной Сербии, внутри страны, где есть простор и обеспеченность, серб весь отдается земледелию: не хочет идти ни в купцы, ни в чиновники, ни быть воином; но таких краев немного, вся страна или в горах, или граничит с соседом, от которого должна огораживаться и против которого должна постоянно быть при оружии.

Одним словом, воинственное настроение сербов не составляет коренного характера сербского народа, но воспитывается в нем и по необходимости поддерживается внешними обстоятельствами: неоконченностью политической роли, неустановленностью ее территориальных и политических отношений. И такое состояние, очевидно, мешает развитию страны в смысле гражданственности. Рядом с воинственным героизмом вы не встречаете нигде мужества гражданского. Это показала ясно топчидерская история, и под наружным покровом цивилизации встречаются весьма грубые нравы, требующие казней и мести, принижающие женщину до степени работницы, которую одни отдают, другие берут, не справляясь с ее желанием, и ставящие конечной целью жизни *уживание*, т. е. наслаждение жизнью в самом узком материальном смысле.

Все это, я говорю, временное, привитое, неестественное, и противоядие этому находится во многих явлениях современной жизни сербского народа, как, напр[имер], в нежных отношениях братьев и сестер, в верности друг другу и до крайней степени идеальных отношениях между побратимами и посестримами, в чрезвычайно гуманном отношении к бедному и слабому, — все это прекрасные, коренные, народные черты, развитие которых должно еще совершиться. Сколько в сербе при этом природного художественного чувства, и какая деликатность, сколько жизни и энергии — и все это

прикрывается и искажается воинственным настроением народа и его правительства, которое и само путается, и еще больше сбивает с толку свой народ.

Избавьте Сербию от этой тяжелой обязанности быть вечно на карауле, охранять свои границы и тогда только вы увидите, что может дать эта страна, и что выйдет из сербского народа. На меня же во время путешествия Сербия произвела впечатление полувоенного лагеря, стоящего на развалинах когда-то процветавшей страны и еще не жившего вполне народа, которому еще предстоит жить и действовать.

### Примечания

<sup>1</sup> «Арильский» — от названия города Арилье, расположенного в западной Сербии. «Моравицкий» — от названия реки Западна Морава, берущей свое начало в Ужицком округе. Именно в него входили упоминаемые Ровинским Златиборский, Арильский и Моравицкий срезы.

<sup>2</sup> Нова-Варош и Прибой — во время поездки Ровинского города в Нови-пазарском санджаке. Первый впервые упомянут в XVI в. под названием Скендер-пашина Варошица или Паланка. Название Нова-Варош (новый город) появилось в XVII в. Оба города располагались на торговом пути из Боснии в Стамбул.

<sup>3</sup> От сербск. *чамати* — скучать, тосковать, томиться.

<sup>4</sup> Правильно: *Духови* (сербск.) — Духов день.

<sup>5</sup> От сербск. *землопис* — география.

<sup>6</sup> Белградская богословия — духовная школа, основанная в годы Первого сербского восстания (1810) Досифеем Обрадовичем. Перестала действовать после поражения восстания. Восстановлена Милошем Обреновичем в Крагуеваце под названием Школа православия. Впоследствии переведена в Белград.

<sup>7</sup> Правильно: Каблар — гора в западной Сербии (889 м).

<sup>8</sup> Чачак — город в центральной Сербии. В средневековье назывался Градац.

<sup>9</sup> Банович Страхиня — сербский эпический герой.

<sup>10</sup> Вук Бранкович — в конце XIV в. правитель Косовской области и других территорий на юге Сербии и Македонии. Зять и соратник князя Лазара. Принимал участие в Косовской битве. В народных песнях Вука Бранковича называют предателем сербов, что, однако, не подтверждается историческими источниками.

<sup>11</sup> Жича — монастырь в южной Сербии, близ города Кралево (бывшего Карановаца). Основан в 1208 г. Стефаном II Неманичем при участии брата Саввы. После установления церковной автокефалии в 1219 г. являлся кафедрой сербского архиепископа. В Средние века играл важную роль в религиозной, политической и культурной жизни Сербии.

<sup>12</sup> Жуйович Живоин (1840–1870) — сербский общественный деятель, журналист. Служил в Министерстве финансов. Образование получил в Киевской духовной академии, Петербурге и Мюнхене. Придерживался социалистических взглядов.

<sup>13</sup> *Машо* (сербск.) — Маша (производное от имени Марко).

<sup>14</sup> — *Како си, Живојине?* (сербск.) — Как дела, Живоин?

— *Шта радиш, Ђоко?* — Что делаешь, Джока? (Джока — производное от имени Джордже.)

<sup>15</sup> *Берба* (сербск.) — сбор урожая; *комишати* (сербск.) — лущить кукурузу от листьев; орехи, миндаль от зеленой кожуры.

<sup>16</sup> От сербск. *Да ли има код вас лепих девојака, као што је ево наша Зора?* — Есть ли у вас девушки, такие же красивые, как наша Зора?

<sup>17</sup> Правильно: Либуше — героиня чешских легенд. Мудрейшая из трех дочерей чешского героя Крока, после смерти которого стала вождем племени и указала народу на князя-пахаря Пржемысла. Предрекла основание Праги.

<sup>18</sup> От сербск. *кућа* — дом.

<sup>19</sup> От сербск. *домаћин* — глава семьи, хозяин дома.

<sup>20</sup> Правовое положение сербской общины Ровинский излагает по: *Tkalac I. Das Staatsrecht des Fürstentums Serbien. Leipzig, 1858. S. 60–66* (примечание в: Вестник Европы. СПб., 1876. Т. 2. Кн. 4. С. 547).

<sup>21</sup> Врачевшница — монастырь св. Георгия, основанный в 1430 г. Расположен в северо-западной Сербии.

<sup>22</sup> *Благо оном брату, који има сестру, Благо оној сестри, која има брата.* (сербск.) — Хорошо тому брату, у которого есть сестра, хорошо той сестре, у которой есть брат.

<sup>23</sup> *Не дам богме, мог бисера бјела, Ја сам њега од оца дон'јела.* (сербск.) — Господи, не отдам своего жлчуга белого, я его получила от отца.

<sup>24</sup> *И мене су браћа миловала / И милост ми сваку доносила.* (сербск.) — И меня братья ласкали / И любую милость оказывали.

<sup>25</sup> От сербск. *зулумћар* — насильник, тиран, угнетатель.

<sup>26</sup> От сербск. *барјактар* — знаменосец.

<sup>27</sup> Имеется в виду Имшир-чая-паша — помощник белградского Сулейман-паши Скопляка, который в 1815 г. погиб под Чачаком в ходе сражения с повстанцами.

<sup>28</sup> *У ратара црне руке / А бјела погача (пшеничный хлеб).* (сербск.) — У пахаря черные руки / А белый хлеб (пшеничный хлеб).

## Наши отношения к сербам (поучение из прошлого и настоящего)\*

<...>

В то время как остальные европейские народы, переживши время всеобщего передвижения и Средние века, выработали себе определенные государственные и гражданские формы, сообразные с их политическими идеями и историческим развитием, и, отрекшись от схоластики, стремятся к самостоятельной, соответствующей их национальному духу, культуре и вытекающей из нее цивилизации; в то время как у всех народов рядом с общечеловеческими, космополитическими стремлениями создается национальная литература, обособляющая нацию и объединяющая отдельные племена ее, подготавливая, таким образом, единство политическое, — одни славяне остаются на первобытной ступени разрозненности, национальной неспетости и вследствие того являются крайне слабыми и безличными как в политической жизни, так и в литературе, в науке и во всем, в чем только нужна духовная деятельность, и это отличительное свойство их характера является главным фактором в их исторической жизни. Выше мы привели отзывы современников о славянах, когда они только что вступали в общеевропейскую историческую жизнь с VI по XII столетие; послушаем же просвещенного мыслителя XVII в., хорватского священника (католика), горячего славянского патриота Юрия Крижанича<sup>1</sup>, о котором по случаю событий дня в последнее время у нас все заговорили.

«Я часто думаю, — пишет он, — о жалком положении всего славянского народа, разделяющегося на шесть отделов: русский, польский, чешский, болгарский, сербский и хорватский, и вижу, что мы унижены всеми народами, из которых одни нас люто обижают, другие гордо презирают, третьи нас съедают и пожирают наше имущество в наших глазах и, что всего прискорбнее, ругают, осмеивают и ненавидят нас, называя нас варварами и считая нас, скорее, скотом, чем людьми».

---

\* Впервые опубликовано в сборнике «Древняя и новая Россия. Исторический иллюстрированный ежемесячный сборник» (1877. Т. I. № 2. С. 174–191).

Указывая, таким образом, на несправедливость по отношению к славянам других народов, Крижанич, однако, не ослепляется любовью и к своему народу и откровенно выставляет на вид его леность, необразованность в сравнении с другими европейскими народами, склонность к пьянству, расточительность, жестокость к подчиненным, крайность в форме правления (у поляков слишком своевольно, у русских слишком крутого) и податливость иностранцам против своих братьев.

«Мы же, — продолжает он, — в своей глупости позволяем себе вдаваться в обман и воюем за других, чужие войны делаем своими, ненавидим друг друга, враждуем насмерть, брат прогоняет брата без всякой нужды и причины. Иноплеменникам верим во всем, сохраняем с ними дружбу и договоры, а сами себя стыдимся, отворачиваемся один от другого и истребляем друг друга бесконечно»\*.

Раздумывая, таким образом, о несчастной судьбе славян, Крижанич приходит к сознанию необходимости объединения славян путем просвещения и литературного сближения и для осуществления такого плана отправляется в Москву к русскому царю Алексею Михайловичу, «единственному — по его словам — в мире государю своего племени и языка, к своему народу и на свою родину» и предлагает следующее:

«Задунайские славяне — болгары, сербы и хорваты — уже давно утратили не только немалое царство, но и всю силу, язык и весь разум, так что они уже не понимают, что такое честь и достоинство и не думают о них; сами себе не могут никак помочь, а им нужна внешняя сила, чтобы опять стать на ноги и стать в число народов. Ты, царь, если и не можешь в нынешнее тяжелое время помочь им на совершенное поправление, ни царства того к первоначальному существованию привести и устроить; то можешь, по крайней мере, язык славянский в книгах исправить и усовершенствовать и пригодными, разумными книгами тем людям глаза открыть, чтоб они узнали, что такое честь, и думали о своем восстановлении».

Непонятый и нецененный, он попадает в Сибирь, в ссылку, где проводит 15 тягостных лет, но и там он не охладел и продолжал работать для той же славянской задачи.

---

\* Цитаты из Крижанича привожу по соч. И. Первольфа: «Славянская взаимность», 1874, стр. 115–121.



Чем же стали мы, славяне, через 200 лет после Крижанича, и что случилось с его планами и идеями?

По внешности многое изменилось; но не в самой сущности.

Просветительные идеи XVIII века, нанесшие удар иезуитам и католическому фанатизму, поднявшие уровень человеческой личности, вместе с уничтожением крепостного права призвали к жизни и загнанные, пригнетенные народности.

В XVIII веке из сельской хижины, из пастухов и бедной сельской школы возникает славянская интеллигенция, и снова выступают на арену литературной, а потом и политической деятельности чехи, хорваты, хорутане, словаки, лужичане. Мы, русские, втискиваемся кое-как в европейскую семью и из всех сил стараемся быть европейцами и, действительно, кажемся ими, если не поскоблить нас снаружи. Только югославяне все еще стонут под турецким игом, хотя и из них часть уже освободилась.

Первобытные черты, однако, все еще не изгладились, а только преобразились, и рознь славянская, если не усилилась, то уж никак и не ослабела.

Крижанич считал 6 славянских групп, а теперь увидел бы у нас целый десяток литератур: русскую, малорусскую, польскую, чешскую, лужицкую, словацкую, хорватскую, хорутанскую, сербскую и болгарскую. И тут есть еще подразделения, между горными и дольными лужичанами, мораванами, слезаками и чехами, хорватами и далматинцами, краинцами и хорутанами, южноруссами и русинами. Так что рознь растет вместе с развитием славянской индивидуальности. О политическом единстве нечего и думать. Все хотят быть первыми и господами: одни, основываясь на историческом праве, другие — на высшей культуре и гражданской зрелости, третьи — на многочисленности, обширности территории и материальной силе и т[ому] п[одобное].

Одним словом, славянский воз стоит поныне там, где его оставил Крижанич.

В интересах целого человечества, может быть, и полезно то, что мы, славяне, так специфицируемся и, как химический ингредиент, входя в другие народности, сливаемся, ассимилируемся с ними, помогаем выработке чего-то нового. Может быть, наша прямая задача развить крайности в форме правления, как и во всем: в крайней толеранции, доходящей до полнейшего индифферентизма, и обратной

стороне ее, проявляющейся в религиозном изуверстве наших сектантов и обскурантов.

<...>

Мы инстинктивно признаем превосходство над собой других наций и вместо того, чтобы работать над собой, чтобы поднять свой умственный и нравственный уровень, избираем легчайший и кратчайший путь, чтобы выйти из такого положения, рядимся в чужие перья и, по словам Крижанича, «сами себя стыдимся, отворачиваемся друг от друга и истребляем друг друга бесконечно».

Национальное движение Западной Европы в начале нынешнего столетия пробуждает к высшей умственной жизни и нашу западную братию. Путем науки и литературы оно заносится и к нам. Но у нас для него не было почвы: там славяне выступали на борьбу с немцами, которые давили их политически и нравственно; мы у себя дома сами господа, нам привелось натравливать себя на тех немцев, которые нами же призваны для службы в качестве ремесленников, аптекарей, техников на заводах, чиновников, офицеров, учителей и т[ому] п[одобное]. Немцев обвиняли в том, в чем они нисколько не виноваты: они везде создают себе привилегированное положение, а Остзейские провинции обратили чисто в немецкое государство, германизируют эстов, латышей и других, даже — что всего ужаснее — переманивает в лютеранскую церковь тех, которые были когда-то православными. Но оказывается, что проводниками германизации там были сами же русские, главным образом чиновники с чистейшими русскими фамилиями.

Следовательно, нечего враждовать против немцев, а нужно прежде позаботиться о собственном развитии, иначе эта вражда будет бесплодна и бессмысленна. Представителями пробужденного в нас славянского духа и чувства, славянской идеи, явились сначала люди вроде Шишкова<sup>2</sup> и Морошкина<sup>3</sup>, из которых один кинулся в преследование иностранных слов и в композицию вместо них народных, а второй по целому свету находил славян. Такое проявление славянской идеи, конечно, было ни научно, ни сообразно со здравым смыслом. Рядом с этим шла проповедь против иностранцев вообще и против немцев в особенности и восхваленье всего русского.

Преемниками такого направления являются славянофилы или, вернее, русофилы, потому что большинство из них совсем не были

знакомы ни с западными, ни с южными славянами; их критериум, как мы уже заметили, был слишком узок: по их понятию, все, что не православно и не похоже на русское — не славянское.

Настоящее же знакомство со славянством, путем теоретического изучения и путешествий по славянским землям, начинается с того времени, как при университетах учреждены кафедры славянских наречий: первые профессора — Бодянский<sup>4</sup>, Максимович<sup>5</sup>, Срезневский<sup>6</sup>, Григорович — подготовили таких деятелей, как Гильфердинг, Ламанский, Попов, Лавровский, Майков (автор «Истории сербского языка») и др[угих], которые своими трудами положили капитальное основание не только научному знакомству со славянством, но и живой связи с ним.

Эти последние внесли в свои научные работы политическую идею и современную, народную и общественную, жизнь славян; тогда как у их учителей было чисто ученое, специально филологическое направление, что зависело не от личного характера их, а от духа времени, так как изучение славянских наречий было введено с целью более глубокого изучения нашего богослужебного языка и церковной литературы, и всякий намек на вопросы жизни, политические или общественные, был бы сочтен преступлением, и кафедрам славянских наречий тогда бы не существовать.

Не имея ничего общего со славянофилами по приемам и содержанию своих исследований, они разделяют с последними взгляд на славян исключительно с точки зрения русской, хотя далеко не в такой степени, как московские славянофилы.

Благодаря их ученым трудам и их влиянию на общество с университетской кафедры и путем публичных собраний с научно-литературными целями идея славянства распространяется в русском обществе и приобретает себе все более адептов даже в среде так называемых западников. Около [18]60-го года русские газеты открывают специальную рубрику для славянских земель, и с тех пор начинаются у нас корреспонденции, знакомящие нас с внутренней жизнью славян.

Совершенно изолированно стоит еще один деятель на пользу той же славянской идеи — Пыпин<sup>7</sup>, которого «История литературы славянских народов», написанная с полным знанием предмета, с самой трезвой критикой и в то же время с глубокой симпатией к славянству, имеет большое значение, тем более что она является тут

сопоставленной с литературами других народов и это сопоставление не только не умаляет чести славян, но указывает, что у них были славные эпохи, когда они с достоинством занимали место в среде цивилизованных наций. Он же впервые дает верную характеристику и беспристрастную оценку деятельности славянофилов.

Косвенно помогал славянской пропаганде Н. И. Костомаров, действуя во главе южнорусского литературного кружка, из которого впоследствии многие отдаются изучению славянства. Я не должен входить в подробное изложение всего, что сделано у нас по этому вопросу; мне нужно было только указать путь, по которому шло наше знакомство со славянством. Скажу только, что русскими учеными в этом отношении сделано весьма много: не говоря уже о сочинениях Гильфердинга, которые получили справедливую оценку у нас и у западных и южных славян, такие труды, как Майкова «История сербского языка», составляющая вместе с тем историю народа, и Попова «Россия и Сербия», Бессонова — издание болгарских песен и различные монографии, как Палаузова<sup>8</sup> «Век Симеона Болгарского» и многие другие, вместе с журнальными статьями, как Ламанского в «Отеч[ественных] Зап[исках]» «Сербия и южнославянские провинции Австрии» и т[ому] п[одобные], достаточно знакомят нас с югославянским миром.

Влияние этой деятельности очевидно уже из того, что в последнее пятнадцатилетие славянские земли постоянно посещаются русскими путешественниками, и эта живая связь установила между нами и другими славянами весьма тесные отношения и, можно сказать, дружбу. Завязалась весьма живая корреспонденция с Прагой и Белградом, и без преувеличения можем сказать словами поэта:

И с Москвою золотоглавой  
Вышеград заговорил.

И далее:

И родного слова звуки  
Вновь понятны стали нам;  
Наяву увидят внуки  
То, что снилось лишь отцам.

Последнего будем ждать; но первое, по-видимому, сбылось.

С тех пор ни одно событие в каком бы то ни было уголке славянского мира не проходит без отзыва, самого живого и искреннего, по всему славянству. И в этот-то момент раздается клич о помощи. Что случилось с Россией, всем известно, у всех слишком свежо в памяти. Мы только охарактеризуем это движение в общих словах.

Без преувеличения можно сказать, что как скоро весть о страданиях и нуждах наших братьев югославян дошла до наших ушей и стало известно, что мы можем им помогать, всю Россию, на всем ее огромном протяжении от Балтийского моря до Великого океана, охватило, как одного человека, одно общее чувство, доходившее до страстного порыва и самопожертвования, желание помочь братьям, одним — непосредственно страдающим под гнетом варварского господства турок, другим — не стерпевшим, чтоб не выступить на защиту этих страдальцев.

Всю Россию охватило такое одушевление, какого никто не запомнит. Это движение было вполне народное, потому что проявилось с одинаковой силой как в культурном слое, так и в темной массе, которая обычно поглощена заботой о насущном хлебе, а потому безучастно относится ко всему, что прямо не затрагивает ее личных, материальных интересов. Рядом с блестящими гвардейцами из богатых и знатных фамилий идут: простой армеец, старый отставной солдат, казак с Дона и с Урала; туда же идет и простой крестьянин, да еще не один, а с сыновьями или с женой: «Чем-нибудь, дескать, и она пособит, хоть будет стряпать да белье стирать».

Санитарные отряды снаряжаются остзейскими немцами, московскими старообрядцами, сибирскими инородцами. Пожертвования шлются из Камчатки, с берегов Амура, из глухой сибирской тайги золотопромышленными рабочими и ссыльнокааторжными.

Дебаркадер Варшавской железной дороги представлял в это время зрелище поистине умиленное: знакомые и незнакомые провожали добровольцев с криком «ура» и всякого рода пожеланиями, жали им руки, целовали их... И это не в патриархальной Москве, а в Петербурге, где на первом плане тон и приличие! Скамейки обращались в ораторские трибуны, с которых говорились зажигательные речи, и блюстители порядка снисходительно терпели такую невинную вольность, не в пример, однако, всему прочему, и молча, так сказать, давали санкцию всему, что тут говорилось и деялось.

Изящные барыни и офицеры ходили с кружками по церквям, по гуляньям и по стогнам Петрограда. Даже полиция, несмотря на свои многотрудные обязанности и вопреки своей привычке препятствовать разного рода сборщикам и сборщицам, как она поступала во время сборов в пользу самарцев, теперь сама ходила по дворам и приглашала обывателей к пожертвованиям.

И, наконец, что всего труднее, проявилось полное единодушие литературных органов; исчезло разделение на славянофилов и западников; все слились воедино, исключая людей, которые считают как бы долгом и хорошим тоном прежде всего не быть людьми и без толку и смысла смотреть на все с точки зрения высшей политики и дипломатии, хотя бы дело шло просто о спасении человека от разбойника или от голода и смерти.

И все это во имя славянства! Наконец-то и в нас пробудилось народное сознание, мы не стыдимся более сами себя, не выдаем друг друга, мы открыто, перед целым светом, исповедуем, что мы славяне и все славяне наши братья...

Нельзя было не радоваться; но в то же время брало какое-то недоумение: да откуда же все это? Когда успело у нас созреть народное сознание и проникнуть в самую глубь, в самое сердце русского народа? Ряд вопросов выдвигался невольно: да знают ли эти многочисленные жертвователи, для кого и для чего они жертвуют? Знают ли добровольцы, бросающие родных и знакомых, жен и детей, не зная вернутся ли, куда они идут, с кем они будут иметь дело и что им нужно будет там делать?..

Правда, там, где нас зовут на помощь, спасти от мук и позора, за которыми последует неременная смерть, там не время и не место много раздумывать, там нужно торопиться с помощью; тут дело шло о жизни или смерти наших братьев, о спасении их теперь же, не медля нисколько, иначе от них останется только историческое имя.

Так мы и поступили, не раздумывая, бросились на помощь, кто с чем мог. Деньги, оружие, медицинские пособия, одежда, медики, фельдшера и фельдшерицы, знающие военное дело офицеры и люди не военные — все это устремилось и потекло в Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговину, и вся Русь от мала до велика с замиранием сердца ждала известий оттуда, где решалась судьба наших братьев. Известия эти были, правда, не всегда утешительного свойства: были

победы, но были поражения и потери, и первые далеко не соответствовали последним. Это, однако, не ослабляло нашей энергии и симпатий; а наоборот, наше воодушевление росло по мере того, как приходилось собираться на панихиду по усопшим героям. И, наверное, можно сказать, что будь газеты наши в то время правдивее и выставь дело, как оно было в действительности, русский народ не охладел бы, а только все отнеслись бы серьезнее, и, может быть, приняты бы были меры для более правильной организации этой помощи.

Печальную сторону, однако, представляют не поражения в битвах, как ни тяжки были сопровождавшие их потери, а те натянутые отношения, которые оказались между сербами и пришедшими к ним на помощь русскими, очевидное разъединение, доходящее до того, что в решительные минуты они бросают друг друга на жертву общему врагу, чем последний, конечно, и пользуется. Настал мир с неприятелем, а между союзниками раздражение не унимается, беспрестанные столкновения, и два братских народа, действуя на одном поле, за общее дело, кончают тем, что ссорятся друг с другом. Русские добровольцы сначала опрометчиво кинулись в Сербию, потом также опрометчиво бегут оттуда, из-за того, чтобы не попасть под команду сербских офицеров. Сербы корят русских пьянством и дебошем. Русские с русскими также перессорились и перепутались. Русские газеты постарались напустить такого туману, что не разберешь ничего; ни одного живого слова, ни одного верного сведения, все только на один день: сказанное нынче завтра опровергается, послезавтра реставрируется; писанья гибель, кругом ложь, хаос и бессмыслица.

Нам, впрочем, теперь нет нужды в газетных известиях об том, что было: мы имеем в своей среде живых свидетелей и самих деятелей этой несчастной трагикомедии, от которых узнаем истину во всей наготе, в весьма непривлекательном виде рисующую наши русские нравы и обычаи. Для нас, однако, важна не эта скандальная сторона дела; важно знать, откуда все это произошло и составляет ли явление неперемнное, неизбежное условие наших братских отношений, или нечто случайное, происшедшее вследствие неправильной организации и постановки дела, неудачного выбора главного руководителя и т[ому] п[одобного].

Прежде всего, остановимся на вопросе: добровольцы, гурьбой ринувшиеся в Сербию, подумали ли о том, зачем они туда едут?

Действительно ли влекло их туда искреннее, вполне сознательное желание помочь сербам в их святом деле освобождения своей страждущей братии или просто хотелось дать свободу молодецкой удали, которой не было простора дома, попытать счастья, казацкой доли? И уяснил ли этой многочисленной толпе рьяных добровольцев их задачу кто-нибудь из стоявших во главе? Наметил ли им, как они должны действовать? И уяснил ли он, прежде всего, эту задачу и план сам для себя?

Начнем с генерала Черняева<sup>9</sup>.

Имя Черняева давно пользовалось известностью в славянских землях. С одной стороны, он был известен как покоритель Туркестана, с другой — как панславист. На чем основано это последнее, не могу сказать, но в славянских землях ожидали, что вот он явится во главе русской дивизии на освобождение своих братьев от турок, мадьяр или от немцев. Кто знал об этом, для того отправление Черняева в Сербию представлялось делом, которое подготовлялось заранее. Наверное, — думалось — отправляясь туда, Черняев заручился вперед сведениями, которые необходимы с точки зрения стратегической: имеет понятие о вооруженных силах сербского народа, о его настроении и средствах, достаточно ознакомился и ближе сошелся с людьми, стоящими во главе его, как с военными, так и с гражданскими, и, наконец, с представителями их интеллигенции, с той, по крайней мере, частью ее, которая управляет народным мнением.

Первый шаг Черняева был странный в том отношении, что он слишком мало пробыл в Белграде и, по-видимому, не признавал никого, кроме князя: ни министров, ни других представителей Сербии как конституционного государства, и тотчас сделался главнокомандующим. Первый его шаг оскорбил общественное мнение в Сербии; все дальнейшие его действия довершали это разъединение до тех пор, пока между ним и сербами не открылась целая пропасть.

Там же, в славянских землях, почему-то составилось понятие о Черняеве как о генерале-демократе; но он явился совершенно иным: он игнорировал сербский народ, его конституцию и обратился к князю как к неограниченному монарху.

Будь на месте Милана Милош или даже Михаил, это имело бы еще смысл: в момент, решающий судьбу целого сербского народа, когда нужно напрячь и двинуть все силы и для этого как можно крепче



сцентрализовать их, народ мог облечь его полным доверием, дать ему диктаторскую власть; но Милан для этого слишком молод и неопытен: он недавно только вышел из-под опеки, которая не развила в нем ни силы, ни энергии, а скорее испортила и те добрые начала, которые вложены были в него его первым воспитателем-французом, когда он был еще ребенком; свободный номинально, в действительности он все еще состоял под опекой. Да и не могло быть иначе, потому что он для сербов чужеземец.

Черняев приехал в Сербию прямо для войны; но князь вовсе не желал ее; он уступил натиску либеральной партии, которой должен был уступить и Ристич, также противник войны, так как его настоящее призвание дипломатическая арена, где он всегда играет первую роль, тогда как во время войны он должен уступать другим, военным гениям. Поэтому Черняеву следовало сблизиться именно с той частью сербского общества, в которой находился главный и мощный рычаг к войне, но ее-то он и игнорировал и с первого шага произвел невыгодное впечатление.

Князь, видимо, отдается Черняеву, и выходит такая комбинация: князь вскоре делает Черняева главнокомандующим, или, другими словами, это делает сам Черняев.

Такое поведение двояким образом подействовало дурно: оно оскорбляло народ небрежным отношением к его правам и учреждениям и отчуждало от него князя, который с наплывом русских начинает действовать, менее стесняясь мнениями своих министров, и под конец стали поговаривать, даже печаталось в иностранных газетах, что князь задумал при содействии русских произвести *coup d'état*, т.е. уничтожить скупщину и конституцию и провозгласить себя неограниченным монархом. Это невольно наводит на мысль, не к тому ли клонилось провозглашение Милана королем? Как бы то ни было, но между князем и его народом закралось такое недоверие, что, отправляясь к действующей армии, он отдается под охрану только русского отряда.

Сербам легко было подумать, что все это делается не без участия русского правительства; иностранным агентам легко было внушить им, что Россия намеревается обратить Сербию в русскую губернию. Стали говорить, что Сербия не желала войны, потому что не имела в том никакой надобности, но что она уступила давлению России. Дело поставлено так, как будто не сербы воюют с турками, а русские.

Многие из русских прямо заявили, что они приехали к сербам помочь им против турок, но отнюдь не мешаться в их внутренние дела. Черняев, однако, промолчал, и сомнение относительно его намерений остается не рассеянным.

Что же вышло из всего?

Сербия нуждалась в нашей помощи и просила ее: она нуждалась (кроме денег) в офицерах, так как своих не доставало. Сербам нужен был, конечно, и главнокомандующий, потому что между своими не было почти ни одного, который бы когда-нибудь участвовал в войне. Были два-три, как Влайкович<sup>10</sup>, Дьордьевич, которые служили в русской службе во время Крымской кампании, но они в то время не командовали даже ротами, следовательно, не имели возможности подготовиться к командованию целой армией и составить план всей войны, не имея при том и необходимой теоретической подготовки. Полковник Зах<sup>11</sup> (чех по происхождению) участвовал в венгерской кампании; но он, как я его знал, был хороший директор военной школы, человек образованный, ученый, честный и трудолюбивый, чего, однако, мало для командования даже какой-нибудь отдельной частью, не только целой армией: он медлителен, крайне методичен и дряхл физически. Были еще два-три, которые занимались «плясканьем»<sup>12</sup> в венгерскую войну. Черняев был для сербов очень кстати. Но чтобы быть главнокомандующим, конечно, прежде всего нужно было хорошо, лично узнать, какими силами он может располагать; потом он должен уметь владеть и управлять ими, потому что это не стадо, для этого нужно было познакомиться настолько с духом народа, чтобы, как чужестранцу, не оскорбить его честь и нравы, уважать его людей, которым он верит; он должен быть избран или назначен не юным князем, который сам еще живет чужим советом, а людьми компетентными: для этого в стране существует военное министерство, военный совет. Русский генерал, не зная никого и ничего, сам себя назначает главнокомандующим и в помощь себе подбирает штаб, который также ничего не знает и вдобавок не имеет за собой не только симпатии со стороны сербов, но и от русских. В конце концов, хозяева третируются еп сапaille, а гости делаются хозяевами.

Как скверно шли дела, мы теперь только узнаем, когда можем вывести только нравочение для будущего времени.

Русские гибнут поголовно чуть не все, кто только участвует в битве; журнальные корреспонденты становятся в ряды воюющих, отстаивают редуты и гибнут на своих трофеях, и при том гибнут напрасно, без пользы и надобности, вследствие хороших распоряжений. Россия служит панихиды, оплакивает своих славных сынов; но несет эти тяжкие жертвы безропотно, потому что умереть за свободу братьев святое дело, терпеливо ждет, что́ будет, и шлет без перерыва людей и деньги, крепко веруя, что помогает, и помощь все растет.

А между тем, уж часть страны, где все как рай земной цело, было полно довольства и богатства, обращена в пустыню и груды пепла; валяющиеся трупы, обезображенные следами тяжких мук и пыток, осколки ядер и ими взрытая земля — все свидетельствует ясно о том, что было. Смерть полная видна на всем и истребление всего до тла: напрасно рыщет, как зверь голодный, черкес или башибузук; не осталось никому поживы.

Народ упал духом, потерял голову и безнадежно бросает все. Что биться, когда нет надежды не только победить, но и спасти хоть что-нибудь, спасти бы душу только! В отчаянии он бросает оружие, проклиная и того, кто его ему дал, и бежит, не зная сам куда, и неуверенный, что действительно спасется.

И в это-то время у нас оплакивают не сербов, у которых гибло все, за что уж были пролиты потоки крови, а генерала Черняева, которого сербы-трусы бросают и ставят в безвыходное положение!

В народной войне главнокомандующий должен иметь доверие народа, которым Черняев пренебрег; он должен был воодушевить народ, и для этого нужно было стать к нему поближе, а не на дипломатической ноге, ведя переговоры через пятое лицо и отделив себя толпой чуждых и нелюбых ему своих приближенцев.

Такое отношение главного лица совершенно поддержали и все добровольцы. Являясь партиями в Белград, они не хотели ничего знать ни о сербах, ни о сербских войсках; они знали только Черняева. Где же тут братство, во имя которого будто бы русские добровольцы шли проливать свою кровь?

Просто им хотелось драться; пожалуй, хотелось поколотить турок, только вовсе не за сербов, а в свой собственный счет.

Мы отнюдь не смешиваем с этой толпой людей, отправившихся с определенным убеждением быть полезными чем бы то ни было своим

братьям, и таких было много, но толпа, к сожалению, давала тон, и ею определились наши несчастные отношения к сербам благодаря именно тому, что стоящий во главе их русский вождь не уяснил этих отношений ни себе, ни им. Мы знаем, что некоторые личности давно ждали той минуты, когда можно будет стать в ряды славян; к числу таких принадлежал Раевский<sup>13</sup>, который вместе с братом в 1862 г. собирал в своем доме в Москве учившихся там болгар и сербов, и тогда установилась его тесная связь с ними, а потом он был в Сербии в 1867 году, в ожидании, что начнется дело. Нельзя не пожалеть и не удивляться тому, что главнокомандующий окружил себя не такими людьми.

Что же получается в результате?

Дело проиграно, потому что плохо было ведено; а плохо оно велось, потому что к нему не готовились и кинулись, очертя голову, даже не думая ни о чем. К этому некорыстному результату нужно еще прибавить наши скверные отношения к сербам.

А ведь могло и должно было быть иначе! Оно и было иначе когда-то, когда наше общество еще ничего не знало о славянской идее. Это было во время первой войны сербов за освобождение.

С 1807 г. по 1811 г. русские все время действовали с сербами, которые в то время не представляли из себя никакого политического тела, а были простыми повстанцами. Они имели своего верховного вождя, Георгия Черного, но образуют ли они самостоятельное государство или станут в подданство России — это был вопрос.

Русские войска в то время стояли в Румынии на Дунае и оттуда оказывали помощь своим восставшим братьям, когда их призывали последние. Впервые они по призыву хайдука Велько Петровича перешли Дунай у Кладова и отняли у турок весь Краинский округ (глав[ный] гор[од] Неготин). Георгий Петрович с восторгом описывает это дело одному из своих приятелей, как русские на месте убили 1500 турок, взяли 8 шанцев с пушками и боевыми снарядами и мешок полный дукатов; арабских жеребцов и драгоценной конской сбруи было в избытке; если кто спасся, то не спас с собою ничего, кроме своей души; паша едва убежал на валашской кобыле.

Л. Ранке<sup>14</sup> по этому поводу в своей «Истории сербской революции» замечает: «Если из всего этого и не вышло никаких особенных последствий, зато здесь положено было основание доброму братству по оружию».

Такие отношения между русскими и сербами сохранялись до конца этой войны.

Влияние русских было так велико, помимо их желания, что Черный Георгий не без основания боялся за свою власть, так многие расположены были вполне отдаться России. Тогда русский главнокомандующий Каменский<sup>15</sup> счел долгом, с открытием похода 1810 г., издать прокламацию, в которой старался уничтожить эту мысль о подданстве и называл сербов братьями русских, союзниками по происхождению и по вере, а Черного Георгия величал верховным вождем сербов.

Затем не было уже никаких недоразумений между союзниками.

В продолжение всей войны русские постоянно были наготове помочь сербам, являлись по первому их призыву и никогда не добивались гегемонии.

В 1809 г. сильное наводнение Дуная задержало русских на другой стороне его. Пользуясь этим обстоятельством, турки устремили все свои силы на сербов и разбили их при Каменице близ Ниша, чему отчасти помогли несогласия между сербскими воеводами. Хуршид-паша, с 30.000 чел., ринулся по долине Моравы и, не останавливаясь у Делиграда<sup>16</sup>, поворотил на Крушевац, взял его и шанцы при Ясике и отсюда начал опустошать страну. Народ не хотел биться и всюду бежал; дело сербов было несомненно проиграно: туркам открыт был путь вплоть до Белграда. Но тут является русский отряд в 3.000 чел. под начальством Орурка<sup>17</sup> в сопровождении хайдюка Велько; в Варваринской долине они, встретив турок, стали в шанцы и повели дело так, что Хуршид-паша был сбит с позиции, должен был, при всей многочисленности войска, окопаться шанцами, а потом и совсем удалился к Нишу.

Русские вполне отвечали своей роли помогать: являлись по первому призыву, исполняли, что от них требовалось, и удалялись.

В то же время, оперируя прямо против турок, взятием, напр[имер], Рущука, они сделали такую диверсию турецких сил, что сербы могли со всеми силами обратиться на Дрину, сбить турок и вступить в Боснию. После Каменицкого поражения такую же важную для сербов диверсию сделали русские вступлением в Болгарию.

Часть русских из отряда Орурка, в особенности много казаков, вместе с сербами бились в качестве волонтеров, и, как обученные

и испытанные уже в боях, они приносили громадную пользу тем именно, что действовали не отдельно, а в самой среде сербов, и, таким образом, увлекали их с собой. И никогда не было ни единой размолвки.

Дела были славные; память о них, вместе с памятью о русских казаках, поныне благоговейно хранится и чтится в местном населении.

Тут, действительно, происходило братанье на оружии русских с сербами. Хайдук Велько, до самой геройской кончины сохранивший самую искреннюю любовь и преданность к русским, плакал, расставаясь с ними.

Симпатии эти чисто личные, независимо от связи племенной и исторической, так глубоко залегли в душу сербского народа, что ни время, ни всевозможные перевороты, ни интриги других дворов, ни наши политические промахи и бестактные поступки не могли изгладить и притупить их. Это чувствовал на себе каждый русский, которому приводилось бывать в Сербии. Они были так же сильны, даже в те времена, когда сербское правительство интриговало против нас. Это слишком заметно всем и не без сожаления, конечно, признается и нашими антагонистами, в числе которых первое место принадлежит Австрии. Вот что говорит Каниц, один из ее культурных представителей, действующий среди югославянства в качестве простого путешественника и в то же время преследующий и политическую миссию:

«Народное настроение в Сербии, насколько я мог заметить в последнюю осень (1867 г.), — за войну. В союзе с греками и румынами, соединенные с единоплеменниками болгарами, черногорцами и сербами по ту сторону Дрины, там с полной верой ждут освобождения европейского юго-востока от турецкого правления. Но слово, долженствующее решить войну, едва ли сказано будет в Белграде! Пришел ли горячо желанный христианскими народами Турции момент окончательного разрешения восточного вопроса, будет зависеть от той, теперь еще едва ли возможной для определения группировки великих держав в ближайшем будущем, угрожающем миру Европы, а прямее — от решения России» (Serbien, стр. 515).

Выше я заметил, что симпатии сербского народа к нам так глубоки и прочны, что их не могли поколебать ни интриги наших антагонистов, ни наша собственная бестактность; добавлю к этому, что бестактности нашей нет предела. Впоследствии мы будем иметь

случай поговорить об этом подробнее; но и последние наши отношения к сербам представляют такую бестактность, которую трудно чем-нибудь извинить и поправить. Прежде мы могли говорить, что нас вынуждают так или иначе действовать вопреки сербскому народу различные договоры и условия между государствами или правительствами; теперь мы явились лицом к лицу, народ с народом, и разошлись, чуть не вступивши в рукопашную схватку.

Горько, обидно слышать, что говорят русские про сербов и сербы про русских, и еще прискорбнее видеть, что люди не хотят сознаться и с тупой настойчивостью стараются оправдать такие поступки, которым нет никакого оправдания, кроме того, что мы кинулись, очертя голову, без всякой подготовки, без мысли, без плана. Тут оказалась вся безалаберность нашего характера, нашего добродушия, смешанного с заносчивостью и грубиянством, наше ташкентство, осмеянное Щедриным и поэтизированное Карамзиным, наша привычка за все браться без всякой подготовки, на авось: удастся — хорошо; скажут: «Какая гениальная натура!», а нет — мы ответим, как Тришка в «Недоросле»: «Да ведь я учился самоучкой; я тогда же докладывал; извольте отдавать портному». Но Тришка был прав, потому что он взялся не за свое дело поневоле, по барскому приказанию и докладывал об этом; а мы испортили дело по собственной охоте, исходя, конечно, из воззрений Простаковой: «Вишь, скотское рассуждение! Как будто нужно быть портным, чтобы сшить хорошо кафтан!».

Мы привыкли браться за все, не учась и не приготавливаясь, и потом еще не хотим сознаться в том, что взяли не за свое дело.

Нам остается теперь одно: сознать все свои грехи, между которыми главный состоит в том, что мы взяли не за свое дело, захотели командовать, тогда как правильнее было бы самим стать под команду и отказаться от поклепов на сербский народ. А затем, если б кто захотел снова отдаться тому же святому делу, тот — взвесь его, обдумай, приготовься и стань в ряды братьев простым бойцом, пока не выдвинет тебя самое дело. «Я приехал сюда биться с турками, а не разговаривать», — ответил один русский солдат, когда его спросили, знает ли он по-сербски. Для простого солдата ответ дельный и остроумный; но офицеру не мешало бы позаботиться и о том, чтоб можно было объясниться с братом кое об чем, не только знать *напред, на траг*<sup>18</sup>, вино и ракия.

От людей интеллигентных справедливо требовать, чтобы они предварительно познакомились и с историей, и с языком народа, во имя которого они хотят геройствовать. Да на самом-то деле, за сербов ли мы бьемся? Не общее ли это наше дело? Поражение сербов разве не удар нам? До сих пор мы еще не прониклись сознанием нашей солидарности с остальными славянами, а в данный момент с югославянами, и тычем им в глаза наши жертвы, корим сербов пролитой за них кровью. И недавнее наше увлечение положением сербов оказалось каким-то бессмысленным движением, инстинктивным, чисто стихийным порывом, и вышло, что «и ненавидим, и любим мы случайно». Какой же толк в том и когда же будет этому конец?..

Меня поражает одно в наших добровольцах, воротившихся из Сербии, где они провели по три и более месяца: они совершенно ничего не знают о Сербии и сербах, точно там и не были. Положим, они там были не для того, чтобы разговаривать; но уже одно то, что пробыли столько вместе, деля один кусок, одну постель и одно чувство, терпя общую нужду, страдая общей скорбью, — нельзя не сблизиться, не слиться воедино; а добровольцы только друг друга и знают хорошо, а о сербах начнут говорить, точно понаслышке, да еще из враждебного лагеря, или как об малороссиянах, которых знают по ходячим об них анекдотам или из «москаля Чаривника», виденного на Александринском театре.

Пусть у этих не было досуга и не было также призвания сблизиться с народом. А что делали и что вынесли наши многоразличные корреспонденты, раскинувшиеся по Сербии от Белграда и до Ниша? Относительно Сербии они сообщали только то, что было известно официально, что знали прежде и лучше нас другие иностранные корреспонденты.

Бросили ли они хоть один луч, чтобы осветить внутреннее состояние страны, настроение ее, отношение народа к войне; уяснили ли нам хоть что-нибудь из отношений между князем, народом и интеллигенцией, дали ли хоть какую-нибудь характеристику действующего персонала Сербии, начиная с князя и его министров?.. Все это для корреспондентов не существовало; они заняты были одними военными действиями, не подозревая, что есть вещи поважнее, от которых зависит успех войны. Что же они там делали, зачем туда ездили? Поглядеться с Михайлом Григорьевичем и описать Делиград?



Да, там делались дела и теперь делаются поважнее военных действий, мы догадываемся, чуем их отсюда, издалека; но напрасно будем спрашивать о них у наших корреспондентов, которые или ничего не видят и не слышат, или, может быть, морочат нас, как морочили и насчет военных действий?

А между тем, то, что недоступно в Сербии для каждого иностранца, вполне открыто для нас. Там вы чувствуете себя между своими, хотя и при другой обстановке.

Многое навязано сербам и чуждо им также, как и нам; но если отбросите все несущественное, и перед вами воскреснет родной тип малоросса.

Идет ли он с возом, запряженным парой волов, вы так и видите в нем чумака, только оденьте иначе: наденьте на него вместо гуни свитку, вместо феса бриль, и пустите ему волосы в кружало; в его огороде насажены рожь, зинзивер (род мелкой мальвы), васильки, любисток (заря) и канупер; в избе, в переднем углу, давно уже нет образов, но перед ним с потолка спущен на нитке голубь, сделанный из теста с бумажным хвостом, а вверху душистые васильки и гвоздики; сидите вы под раскидистым орехом или под черешней со священником, перед вами стоит бабуся, повязанная платком с концами, спущенными назад, и девушка с одной косой, пущенной по спине, в белой рубашке и юбке, с круглым образком и с монистами на груди, на рубашке по воротнику и на плечах вышивка разноцветной бумагой; майский теплый день на закате, около жужжат пчелы, в вышоте, в гуще листвы, раздается свист и крик иволги; все это до такой степени родное, так напоминает южную Русь, что поневоле веришь слову простодушного сербского простолюдина, который считает нас, русских, сербами, тогда как сербина из Австрии иначе не зовет, как швабой. Характер и степень нашей культуры и образованности более приближают нас к сербам, чем к остальным славянам.

Есть вещи случайные, которые своей наглядностью сильно помогают чувству племенного родства. Так, напр[имер], ехавши по Дунаю и Саве, я встретил плавучие мельницы, точно такие, какие видел на Дону и на Урале, называемые байдаками; а мельницы на горных потоках, так называемые *кашикары* (от кашик — ложка, форму которых имеют лопатки на водяном колесе), по конструкции сходны с сибирскими мутовками.

Странным образом на Дону сохранилось слово *себро* в смысле — тягла, мужа и жены ипряжки волов или другого рабочего скота; там же, в Усть-Медведицком округе, есть село Себрово и помещики Себряковы (переименовываемые иногда в Серебряковых); а в старом сербском Законнике упоминается разряд людей *себры* — в смысле простых земледельцев, низшего рабочего класса. Одинаковое культурное влияние высказалось в нашем словаре. Так, те самые слова, которые мы, русские, взяли от татар, сербы переняли у турок; напр[имер], башмак (по-серб[ски] пасмаг), сундук (сандук), япанча (япунджия), зипун (зубун), шуба (джуба), чугу́н (дьогун), очаг (оджак), майдан и пр. Сибиряки заимствовали у монголов слово *мангал* — в смысле кучи золы, под которой на ночлеге сохраняются до утра горячие угли; а у сербов так называется жаровня, которую они зимой ставят в лавках и других жилых помещениях без печей.

Еще страннее то, что одинаково с сербами употребляются некоторые слова, известные только в донском и новороссийском наречии: шаршав (по-серб[ски] чаршав — скатерть и простыня), чанак (миска), зетин (деревянное масло), каймак (топленные сливки, состоящие из пенок), хорт (по-сербски, вследствие неупотребления звука х, рт — борзая собака), каюк (каик — долбленный челнок), кначки (в Астрахани хна, по-серб[ски] кана — бальзамин, цветок, из которого сербы добывают красную краску) и т. д.

Все это, конечно, мелочи; но при живом общении с народом, в совокупности целой обстановки этой жизни, вы проникаетесь не абстрактным сознанием, но конкретным чувством родного, и в то же время эти мелочи указывают на одинаковость культурных влияний сербов и русских, что дополняет и крепче связывает родство племенное.

Но еще крепче нас связала историческая жизнь и географическое положение.

Сначала у нас была только племенная связь, когда мы жили вместе на Дунае; потом нас разъединили *волохи* (кельты) и *болгары* (финны или тюрки?), но стремлением на Дунай характеризуется первый княжеский период нашей истории; название Дуная мы перенесли в нашу песню и народные сказания. Потом эта связь восстанавливается и упрочивается делом славянских апостолов Кирилла и Мефодия, и богатая литература болгар и сербов X–XIV ст[олетий] делается нашим общим достоянием, на котором зиждется наше духовное воспитание.

Во время нашествия татар на Русь, югославяне достигают зенита политического развития и хоть изредка шлют духовное утешение своей угнетенной братии; потом падает сербское царство; Русь в это время выбивается из-под татарского ига и ведет борьбу с неверными, придвигается к Черному морю, где сталкивается с турками, поработителями наших югославянских братьев.

Весть о гибели сербского царства на Косовом поле принес к русским спутник митрополита Пимена до Царьграда Игнатий, и в XV–XVI ст[олетиях] русские летописцы плачут над «запустением Белграда и всей Сербской земли от безбожных турок» и увещивают «храбрых, мужественных сыновей русских беречь свое отечество, русскую землю, от поганых, чтоб она не пострадала от них, как страдают от турок болгары, греки, хорваты и Босна»\*. По мере роста России у югославян возникают надежды на воскресение их независимости. В XVII в[еке] к русскому двору является Юрий Крижанич, чтобы внушить русскому царю мысль об изгнании из Европы турок; с Петра В[еликого] начинается постоянное и прямое обращение их к России за помощью. Петр считается царем не русским, но общехристианским и славянским. Так смотрят на него даже католики-далматинцы: его прославляют одами хорват Витезович<sup>19</sup> и дубровничане Гродич и Ружич, призывая на освобождение всего христианского востока от господства турок, которых нужно прогнать вовсе из Царьграда. Многие сербские фамилии, как Милорадович, Сава Владиславович Рагузинский, Ивелич, поступают на службу России.

Южная Украина России заселяется выходцами [из] Сербии, которые сливаются с казачеством. На службе у малороссийских гетманов нередко также являются сербы. Здесь на юге идет вечный бой с татарами: подобно варяжским князьям удалые казачьи атаманы в утлых «чайках» разъезжают по Черному морю, нападают на турецкие суда и громят береговые турецкие крепости. Вся жизнь казака основана на войне с нехристями за православие, которая потом обращается и на поляков, католиков, когда они стали преследовать православие. Здесь сербы должны были чувствовать себя совершенно в своей сфере: там хайдучество, здесь казачество, но происхождение одно и то же. Немудрено, что сербские выходцы здесь совершенно

\* А. Попов — Изборник из русских хронографов.

претворялись в казаков и русских; этим можно объяснить сходство типа и одинаковость в заимствованиях.

Не в одной России, однако, имели поддержку югославыне. Гораздо раньше ряд войн с турками ведут Австрия и Венгрия. Перевес попеременно склоняется то на ту, то на другую сторону: то христиане проникают вглубь Болгарии, то турки переходят Дунай и Саву и овладевают австро-венгерскими землями. В этой более чем пятивековой борьбе мы встречаем ряд блестящих побед христианского оружия над турецким с рядом поражений. Победы прославили имена Иоанна Гуниада (Янко Сибинянин у сербов), Евгения Савойского, фельдмаршала Лаудона; но и турки овладевают столицей Венгрии и потом осаждают Вену, которая спасением своим обязана Яну Собесскому.

И, несмотря на такую многовековую борьбу, могущество турок оставалось непоколебимо, и югославам от этих войн было не легче: они одинаково страдали от турок и от своих защитников венгерцев, между которыми были нередко даже их единоплеменники и единоверцы: таков был князь Павел, который отличался храбростью против турок и жестокостью по отношению к своим собратам сербам.

Сербский летописец из монастыря Тронешо, известный под именем «Цариставника», сообщая о сдаче Белграда Юрием Бранковичем венграм около 1433 г., говорит, что сдача эта была противна самому небу, и потому в то время над городом разразилась страшная буря, и с ревом бури сливался ропот и проклятия народа.

Совсем иные результаты давали войны России с Турцией. Тут каждая война стоила Турции значительных потерь, которыми постепенно подтачивалось ее могущество. Там она утрачивает части своей территории (Азов, Бессарабию, Крым), там гибнет ее флот, падают одна за другой крепости, стотысячная армия без боя складывает оружие; могучее слово и авторитет падишаха теряют силу, основы государства подвергаются сомнению и расшатываются, финансы разстраиваются, всюду деморализация и разложение, восстают сильные паши в отдаленных вилайетах, бунтуют янычары, а из-за них поднимает голову и бедная райя. Понемногу выпутываясь из оков, выходя из нор и ущелий, куда была загнана, становится она на ноги и смотрит на божий свет; свободней дышится и верится, что час придет, и ждет она чего-то...

И ждут окованные братья,  
 Когда-то зов услышат твой;  
 Когда-то крылья, как объятья,  
 Прострешь над слабой их главой.

Тогда можно было уже сказать:

Их час придет! Окрепнут крылья,  
 Младые когти отрастут.  
 Взлетят орлы и цепь насилья  
 Железным клювом расклюют!

И час тот пришел:

Пуче пушка низу Београда,  
 Даде гласе низ тио Дунаво <...>  
 Задрма се турска царевина;  
 Зачуди се седам краљевина,  
 Да шта ради млада Србадија!<sup>20</sup>

\* \* \*

Началась кровавая драма, известная под именем войны за освобождение (1804), первый акт которой с различными перипетиями сыгран и окончился освобождением Белградского пашалыка, принявшего название княжества Сербии. Во втором акте действие должно выйти из прежней тесной рамки; сыграно одно только явление, и занавесь опустилась; мы переживаем тяжелый антракт, не зная вперед, кто будут действующими лицами и кончится ли целая драма этим вторым актом или он будет только завязкою, раскроет только интригу, и нам снова придется переживать антракт впотьмах, в томительном ожидании, когда же конец-то будет!...

Связь племенная, скрепленная общими культурными влияниями и историей, может считаться достаточной для прочности союза между народами, чтобы вместе, заодно, стремиться к одной цели, к объединению сил духовных; но нас с югославянами связало и географическое положение, от которого зависит наше торговое и экономическое

развитие: и нам, и югославянам нужно иметь выход — одним из Черного моря, а другим из замкнутой со всех сторон чужими владениями территории. Заперты и мы, и они одинаково, и выход из этого замкнутого положения возможен только при общем усилии. Всякий компромисс, сепаратная сделка со стороны югославян или с нашей будет только оттяжкой, невыгодной для них и для нас и выгодной для тех, кому есть интерес держать нас в узде и в границах.

Вот почему сербское дело мы считаем своим делом, а также и сербы должны относиться к нам. Этот союз не на время, для достижения какой-нибудь ближайшей цели; нет, за признанием независимости югославян от турок должна начаться нескончаемая борьба за другие интересы и не с одними турками. Смотря на наши отношения с этой точки зрения, мы должны пренебречь теми столкновениями, которые вышли недавно, но в то же время подумать серьезно о том, чтоб они не могли повториться; тогда как теперь они возможны: в этом ручается история славян вообще и наш славянский характер; мы способны совершенно даром возненавидеть друг друга и, на потеху и радость своим политическим антагонистам, «истреблять друг друга бесконечно».

Союз этот не навязан нам тщеславными замыслами каких-нибудь политических фантастов или учеными утопистами; он устанавливался веками помимо нашей воли; мы должны провести теперь в сознание то, что указала историческая наша жизнь, связи общими интересами, духовными, политическими и торговыми. Не в наших силах уничтожить эти отношения; но от нас зависит создать на них свою силу или остаться ничтожеством, пока не дойдем окончательно до нуля.

Поэтому мы должны, во-первых, привести в наибольшую ясность наши отношения и, во-вторых, сколько возможно, ближе познакомиться друг с другом.

Если пруссаки, говорят, в последнее время сильно предались изучению России, учатся усердно русскому языку, имея в виду рано или поздно враждебное столкновение с нами, то, думаю, еще больше резонов нам постараться вполне изучить наших братьев-союзников, чтобы вперед не могло произойти никаких недоразумений и столкновений, чтоб не изобразить нам из себя лебедя, рака и щуку.

Слависты наши в этом случае должны принять на себя разработку вопроса и вообще заботу о том, чтобы путем литературы подвинуть ознакомление русского общества с югославянским миром

по возможности самым всесторонним образом; а дело тех, кто может ожидать, что и ему придется играть роль, в особенности людей, могущих быть руководителями, добросовестно воспользоваться всем, что сделано для этого.

К сожалению, к этому до сих пор относились крайне небрежно. Не говорим уже о людях, которые отдались славянскому делу под увлечением минуты; но даже наши литературные органы, имеющие специальные рубрики для славян, оказались крайне несведущими. Вспомним курьез с Жимонами, откуда печатались первые телеграммы: из публики никто не знал, где находится такое место, да и господа журналисты знали не больше, потому что они же и измыслили такой небывалый город. По-немецки он называется Землин, по-сербски Земун, а по-мадьярски Земуни, латинскими буквами Zimouy, что и прочитали — «Жимоны»; а других мелких курьезов была масса. Относительно карт и вообще плохо. А больше же всего не доставало правды и беспристрастия. На будущее время следовало бы особенно позаботиться об этих добрых качествах.

Сербия в настоящее время представляет действительно славянский Пьемонт; но насколько она приготовлена к этой роли, насколько она может рассчитывать на поддержку своей остальной братии и насколько она способна руководить общим движением, это зависит не от одного состояния военных сил, не от одного географического положения, которое действительно таково, что к ней, как радиусы к центру, идут все пути из Болгарии, Македонии, Герцеговины, и не от дипломатической ловкости, с которой она до сих пор ушла недалеко; а от верно понятой ею своей роли по отношению к югославянству, от того такта, с каким она отнесется к ним, не задевая чувства чести, уважая индивидуальность, и автономно, без гегемонических тенденций, какими до сих пор оно отличалось по отношению к болгарам и другим сербам, от наиболее свободных и народных, в то же время проникнутых гуманизмом основ их внутренней политической жизни.

С этой последней стороны мы желали бы с нею ближе познакомиться. В этом случае мы должны узнать ее во всей наготе, без апологий и пристрастий. Горькие истины не могут поколебать наших симпатий: но должны открыть нам глаза на самих себя, чтобы знать, что делать и чего ждать.

## Примечания

<sup>1</sup> Крижанич Юрий (1618–1683) — хорватский богослов, философ, писатель, лингвист, историк, этнограф, публицист и энциклопедист, священник-миссионер, выступал за унию католической и православной церковей и за единство славянских народов. Прибыл в Москву в 1659 г. В 1661 г. был обвинен в поддержке униатов и отправлен в ссылку в Тобольск, где провел 16 лет. В ссылке Крижанич написал свои основные труды: «Политика», «О божественном Провидении», «Толкование исторических пророчеств», «О святом крещении», «Грамматическое изыскание о русском языке (идея всеславянского языка)». После смерти царя Алексея Михайловича, 5 марта 1676 г., Крижанич получил царское прощение и разрешение вернуться в Москву, а затем и выехать из России. С 1676 г. жил в Польше, вступил в орден иезуитов. Погиб 12 сентября 1683 г. под Веной в битве с турками, участвуя в военном походе Яна Собеского.

<sup>2</sup> Шишков Александр Семенович (1754–1841) — русский писатель, литературовед, филолог, мемуарист, военный и государственный деятель, адмирал (1824). Государственный секретарь и министр народного просвещения.

<sup>3</sup> Морошкин Федор Лукич (1804–1857) — русский ученый-правовед, ординарный профессор Московского университета; действительный статский советник.

<sup>4</sup> Бодянский Осип Максимович (1808–1877) — российский ученый, филолог, историк, археолог, один из первых славистов в России, писатель, переводчик, редактор, издатель древнерусских, древнеславянских литературных и исторических памятников, фольклорист, поэт-романтик.

<sup>5</sup> Максимович Михаил Александрович (1804–1873) — русский ученый, историк, ботаник, этнограф, филолог, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, декан историко-филологического факультета и первый ректор Императорского университета св. Владимира.

<sup>6</sup> Срезневский Измаил Иванович (1812–1880) — русский филолог-славист, этнограф, палеограф. Академик Петербургской академии наук (1851). В 1855–1880 гг. — декан историко-филологического факультета Петербургского университета.

<sup>7</sup> Пыпин Александр Николаевич (1833–1904) — русский историк культуры, литературовед, публицист. В 1853 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1860–1861 гг. — его профессор. После выхода в отставку в знак протеста против политики властей в отношении студенчества сосредоточился исключительно на литературном и научном труде. Автор 1200 работ. Самая известная из них — «История славянских литератур» (2-е доп. изд). СПб, 1879–1881. Т. I–II. Академик (1898).

<sup>8</sup> Палаузов Спиридон Николаевич (1818–1872) — российский и болгарский историк и чиновник. Болгарин по национальности.



<sup>9</sup> Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898) — русский военный и общественный деятель, генерал-лейтенант (1882). Из дворян Могилевской губернии. Участник Крымской войны и боевых действий против повстанцев Северного Кавказа. В 1864–1865 гг., командуя отдельным западносибирским отрядом, захватил по своей инициативе Аулие-Ату, Чимкент, Ташкент на территории Кокандского ханства. В 1865–1866 гг. — губернатор Туркестанской области; снят с должности за превышение полномочий. В 1873–1878 гг. совместно с военным писателем Р. А. Фадеевым издавал газету «Русский мир». В 1876 г., вопреки желанию российского правительства урегулировать Балканский кризис дипломатическим путем, отправился в Белград, где был назначен командующим сербской армии во время сербо-турецкой войны. В октябре потерпел поражение под Джунисом. Сербию спас ультиматум России Порте. В 1882–1884 гг. состоял туркестанским генерал-губернатором. С 1884 г. — член Военного совета. С 1886 г. — в отставке.

<sup>10</sup> Влайкович Джордже (1831–188?) — офицер австрийской и русской армий (1851–1855), полковник сербской службы. В 1848 г. сражался против венгров в рядах сербских добровольцев под командованием Стевана Петровича-Кничанина. Участник Крымской войны в составе русской армии. Потерял ногу при обороне Севастополя. Награжден Георгиевским крестом. Вышел в отставку в звании капитана. После этого возвратился в Сербию. Один из активных членов Объединенной оmlадины сербской. Участник сербского восстания в Боснии (1875), сербско-турецких войн (1876 и 1878 гг.). В 1879 г. вышел в отставку в чине полковника. Свое немалое состояние завещал потратить на образовательные цели.

<sup>11</sup> См. комментарий 88 к очерку «Белград. Его устройство и общественная жизнь. Из записок путешественника».

<sup>12</sup> *Пљачкати* (сербск.) — грабить.

<sup>13</sup> Раевский Николай Николаевич (1839–1876) — русский офицер, полковник; внук генерала от кавалерии, бородинского героя Н. Н. Раевского. В 1876 г. — доброволец в Сербии. Погиб 20 августа в бою у селения Горни Адровац. Подробнее см.: *Шемякин А. Л.* Смерть графа Вронского. 2-е изд. СПб., 2007.

<sup>14</sup> Леопольд фон Ранке (1795–1886) — немецкий историк. В 1829 г. опубликовал написанную при участии В. С. Караджича книгу «Сербская революция». В дальнейшем официальный историограф Пруссии (с 1841). Разработал методологию современной историографии, основанную на архивных источниках, на стремлении к историзму. Ввел в академическую практику исторические семинары, из которых вышли многие выдающиеся историки.

<sup>15</sup> Николай Михайлович Каменский (1776 — 4 мая 1811) — русский генерал от инфантерии из рода Каменских. С февраля 1810 г. — главнокомандующий русской армии в Молдавии.

<sup>16</sup> Делиград — укрепленный пункт между городами Ражань и Алексинац, где находился штаб М. Г. Черняева и где князь Милан Обренович объявил Турции войну.

<sup>17</sup> Орурк Иосиф Корнилович (1772–1849) — граф, генерал от кавалерии, был оправлен на правый берег Дуная в начале августа 1810 г. и с приданными ему силами возглавил новый русский отряд на территории повстанческой Сербии. В ходе сражений ему был присвоен чин генерал-майора, а за успешные боевые действия в компании 1810 г. он был награжден орденом св. Георгия III класса. Воевал до сентября 1811 г. Совместно с сербами разбил турок при Брза-Паланке, Ясике, Варварине. Взял Крушевац.

<sup>18</sup> *Напред, натраг* (сербск.) — вперед, назад.

<sup>19</sup> Витезович Павао Риттер (1652–1713) — хорватский писатель, историк, лингвист.

<sup>20</sup> Перевод с сербск.: *Пуче пушка низу Београда / Даде гласе низ тио Дунаво* (сербск.) — Грянуло ружье ниже Белграда / Отозвалось эхо вниз тихого Дуная... *Задрма се турска царевина / Зачуди се седам краљевина / Да шта ради млада Србадија!* (сербск.) — Всколебалось Турецкое царство / Удивились семь королевств / Что делает молодое сербство!

## Россия и славяне Балканского полуострова \*

<...>

Всякий раз, начиная войну с Турцией, Россия старается поднять славян; это ей всегда удается, славяне всегда являются нашими помощниками; но мы не ставим себе задачей освобождение их от турецкого господства или облегчение их участи ради них, а, скорее, избираем это поводом для достижения наших собственных целей.

Мы в этом случае руководствуемся взглядами целой Европы и являемся защитниками не славян, а вообще христиан Балканского полуострова, и при этом помышляем иногда о прогнании турок и восстановлении Византийской империи, а отнюдь не о царстве Сербском или Болгарском.

Солидарность, однако, интересов России и югославян имела следствием то, что, какими бы эгоистическими целями мы ни руководились в наших войнах с Турцией, славяне в них также выигрывали.

Дело дошло наконец до полного восстания сербов под предводительством Георгия Петровича Черного в 1804, а в 1807 г. при содействии русских Белградский пашалык был уже совершенно чист от турок.

В 1812 г. русские войска удалились из Турции, и в следующем году мы снова видим турок в Белграде — а вожди сербские, которые бежали за границу или скрылись в горы, попали на виселицу и на кол, а части их тела таскали по улицам оголодавшие в отсутствие турок собаки. Но дело было сделано: Турция была настолько ослаблена, а райя настолько ободрилась и окрепла, что прежнее полное господство турок стало невозможным.

Помощь России освобождению Сербии не подлежит никакому сомнению; но помощь эта была оказана мимоходом, на пути к цели специально в русских интересах.

Взгляд России вполне определяется в записке тогдашнего (1808–[180]9 г.) агента нашего в Сербии Родофиникина, в которой начертан план устройства Сербии, с пометками главнокомандующего Про-

---

\* Впервые опубликовано в сборнике «Древняя и новая Россия. Исторический иллюстрированный ежемесячный сборник» (1878. Т. I. № 2. С. 144–169).

зоровского<sup>1</sup>. В ней предполагается освобождение Сербии на вечные времена от турецкого ига и учреждение собственного правительства под покровительством России: «Ибо географическое положение Сербии, — как говорил князь Прозоровский в одном из писем Родофиникину, — на правом берегу Дуная не *позволяет желать совершенного присоединения* сего края к Российской державе». Относительно сношения Сербии с другими державами в записке говорится: «Укоренение влияния российского в Сербии будет чрезвычайно важным, особливо во время войны между Россией и Австрией, и послужит всегда к обузданию сей последней державы, к удержанию ее даже от начинания войны. Турция же будет, так сказать, под распоряжением российского двора». Прозоровский в этом совершенно согласен, но на предположение Родофиникина, что, «дабы уменьшить на первый раз причину политической вражды австрийцев, не бесполезно бы было согласиться на выдачу им беглых, хотя сие покажется тягостным и здешним, и австрийским сербам», он заметил: «Заключение не соответствует первому. Если австрийских сербов выдавать, то они же преисполнятся злобой против нас, и тогда потеряны будут из виду средства к достижению той цели, которая в предыдущем пункте описана». «Назначение хлебной дани от сербов (Турции), по мнению Прозоровского, может при трактовании послужить к скорейшему склонению турок *на уступку нам границы по Дунаю*». Но «при признании Россией независимости сего (сербского) народа постановить, чтобы ни князь, ни же другое какое лицо, не имели права употреблять народ на работы свои; *тогда сие будет принято сербами с величайшей милостью, от России дарованной, а подати, кои учредятся, будучи взираемы как тягость от собственного их князя и правительства*».

Имелось в виду также ввести там русские законы, «избрав те, кои для них нужны, и снабдить их войска русскими офицерами»\*.

Записка эта в высшей степени интересна, потому что в ней впервые высказываются откровенно истинные побуждения политических отношений и действий.

Из приведенных мест очевидно, что побуждения, руководившие в то время Россией, были эгоистические. Иначе и быть не может: в политике нет места ни великодушию или самопожертвованию,

\* Н. Попова, «Россия и Сербия», стр. 484–489, примеч. 62.

ни симпатиям или антипатиям, потому что правительство является представителем не самого себя, а интересов своего государства и народа.

Важно, однако, то, что для сербов также цель была достигнута: они получили независимость, а дальнейший шаг зависел от них самих и от обстоятельств, которые вскоре оказались сложившимися к их невыгоде. Но нашелся человек, который сумел и ими воспользоваться: это был Милош Обренович, а помощь опять пришла от России.

Когда сербские доверенные явились на Венский конгресс просить защиты против турок, снова водворивших над сербами свое крутое господство, тогда они почувствовали, как мало думают об них и как бесцеремонно относятся к ним; напрасно они обивали пороги у всех посланников: везде им отказывали, иные при этом не щадили горьких укоров, другие грозили и советовали скорее подобру-поздорову убираться из Вены. От русского посла также был отказ; но им дали денег и оставлена была хоть какая-нибудь надежда на будущее: «Россия не может помочь вам *теперь, чтобы не вышло хуже из того*», — ответили Ненадовичу<sup>2</sup> в посольстве; а когда последний спросил: «Не впасть бы нам в какое подозрение у России», то ему сказали: «Этого не бойтесь, Россия знает вашу любовь и привязанность к ней: но *ныне вы должны действовать одни*». Конечно, русскому посольству не могло быть приятно то, что сербы действовали помимо его; но солидарность интересов заставляла мириться с этим на время, имея в виду, что рано или поздно обстоятельства изменятся, и те же сербы еще пригодятся России.

Н. Попов следующими полными горькой правды, глубоко прочувствованными словами заканчивает 2-ю главу своего прекрасного сочинения об отношениях Сербии и России: «Вскоре Вена опустела, союзные монархи спешили к французским границам, чтобы покончить с Наполеоном. Сербия же была предоставлена их собственным силам. Историки Венского конгресса обыкновенно говорят, что никогда не было такого веселья в Вене, как во время этого блестящего съезда европейских государей и дипломатов. Но мемуары Ненадовича раскрывают перед потомством и те втайне пролитые сербами слезы, которые были незримы в то время среди всеобщего смеха и довольства»<sup>3</sup>.

---

\* Стр. 122.

Итак, в то время как вся Европа отвернулась от сербов, одна Россия, не оказав никакой существенной помощи из опасения, чтоб не испортить дело, дала им, по крайней мере, денег и не отняла у них надежды, что в то время имело большое значение для сербов, потому что должно было поднять дух народный.

Россия, однако, не руководилась в этом случае национальными симпатиями, а действовала по расчету и политическим соображениям, все равно как после она помогает освобождению Греции и Румынских княжеств, с которыми также совпали ее политические расчеты.

<...>

### Примечания

<sup>1</sup>Прозоровский Александр Александрович (1733–1809) — генерал-фельдмаршал. В октябре 1807 г. занял пост главнокомандующего Молдавской армией, находился на нем до своей смерти в августе 1809 г.

<sup>2</sup>Ненадович Матия (1777–1854). Священник (1793). Участвовал в подготовке восстания против режима дахийцев. Во время Первого сербского восстания возглавлял повстанцев в окрестностях г. Валево. Основатель и первый председатель Правительствующего совета (1805–1807). Первый дипломатический представитель восставшей Сербии. С дипломатической миссией посетил Петербург (1804–1805) и Вену. Воевода (1811). После поражения восстания выполнял задачи дипломатического характера во время Венского конгресса. По возвращении в Сербию стал кнезом валевским. Из-за расхождений с князем Милошем примкнул к уставобранителям. Член Государственного совета (1839–1852).

# Битва у Каменицы<sup>1</sup>, близ Ниша (в мае 1809 года). (Эпизод из истории сербских войн за освобождение\*)\*\*

Наконец наши отношения к остальному славянству из платонических становятся реальными; наши мечты переходят в действительность: «на яву уж видят внуки то, что снилось лишь отцам». Не только «с Москвой золотоглавой Вышеград заговорил», но русские пушки гремели по всему Балкану, и потрясающее эхо их грома не бесследно раздавалось от Черного моря до Адриатического и от берегов Савы и Дуная до Эгейского моря и Архипелага; русской кровью залиты, русскими трупами усеяны поля, недавно еще обрабатываемые руками наших братьев-славян для того, чтобы плодами этой работы содержать гаремы турок, предающихся неге и бездействию.

Без сомнения, здесь еще не конец; работы предстоит много; много, может быть, прольется еще крови, надолго затянется окончательное решение начатого дела; России и остальному славянству предстоит еще перед целым светом доказать свою силу в войне или в дипломатических переговорах, а также в умении пользоваться обстоятельствами и извлекать выгоды из каждого благоприятного момента. Каково бы ни было окончательное решение Европы относительно положения Балканского полуострова, но временная свобода, какой в настоящее время пользуются болгары, временное обладание их территорией, предоставленной им Сан-Стефанским трактатом<sup>2</sup>, не должны остаться без последствий, если они сумели там организовать управление, которое далеко превосходило бы прежнее управление турок.

Во всяком случае прежнее господство турок в Европе невысказано, как ни хлопочут об них различные туркофилы и русофобы;

---

\* Фактическая часть рассказа взята прямо из материалов для сербской истории, напечатанных в разных книжках «Известий сербского ученого общества»].

\*\* Впервые опубликовано в сборнике «Древняя и новая Россия. Исторический иллюстрированный ежемесячный сборник» (1878. Т. II. № 5. С. 53–63).

турецкий режим возможен только в Азии, а не в Европе, и турецкому правительству остается или окончательно отречься от своих азиатских воззрений, нравов и обычаев, или убраться вон из Европы; что из двух возможнее — покажет время и, по всей вероятности, очень скоро.

Не забегая, однако, вперед, мы остановимся пока на тех отношениях между нами, русскими, и славянами Балканского полуострова, которые в последние два года, если не окончательно установились, то довольно резко обозначились.

Участвуя в сербско-турецкой войне добровольцами, санитарными отрядами и денежными вспоможениями и освобождая болгар совершенно на свой счет и страх, мы имели случай познакомиться с теми и другими на деле не в качестве каких-нибудь туристов. Как нам не узнать друг друга, когда мы вместе жили и действовали, деля без расчета и всяких задних мыслей все, принося в жертву самих себя и полагая души свои за друзей своих!..

Сколько людей теперь рассыпалось по лицу Русской земли, которые могут сказать: «Да, мы видали виды; мы знаем теперь, что такое сербы и болгары; знаем наших братьев славян лучше, чем славянофилы или все взятые вместе Гильфердинги, Поповы и др[угие]».

И действительно, все эти люди, побывавшие в Сербии и Болгарии, имели случай собрать массу фактов и наблюдений, которые дают богатый материал для характеристики населения этих стран; они наблюдали народ не как путешественники или посторонние наблюдатели, а как непосредственные участники и деятели в его жизни, притом в момент, решающий его судьбу и потому затрагивающий до самой глубины все его слои. В такие решительные моменты, в моменты каких-нибудь катастроф или народных переворотов, во всей резкости высказывается народный характер со всеми его хорошими и дурными сторонами. Не должно забывать, что вы тут наблюдаете народ в крайне возбужденном состоянии, и потому можете видеть только [то], чего вы можете ожидать от него в минуты каких-нибудь крайних действий, и совершенно не знать, что он может представить из себя в состоянии мира и спокойствия, как мирный гражданин и скромный деятель в обыденной жизни; а эти качества нередко стоят совершенно в обратном отношении: хороший воин бывает плохой гражданин, и наоборот; пропагандист



идей вряд ли способен к практической деятельности; революционер по профессии не может остановиться ни на каком постоянном общественном строе и вечно будет стремиться к переворотам, покуда не потеряет сил и возможности.

Вот почему масса наблюдений, вынесенных нашими соотечественниками из Сербии и Болгарии во время последних войн (1876 и 1877 гг.), непременно должна быть односторонняя: ими решается только вопрос о военных способностях болгар и сербов.

А между тем мы слышим решительные приговоры как о сербах, так и о болгарях в смысле весьма неблагоприятном для них. Как год тому назад говорили о сербах, что они трусы и узкие эгоисты, народ крайне неразвитый, неспособный в пользу великой идеи освобождения своей братья от турецкого гнета поступиться своей привязанностью к домашнему очагу, так теперь отзываются и о болгарях. Если и есть отзывы противоположные, то они составляют немногие исключения. Вы встретите русских офицеров с высшим образованием, составивших себе имя в литературе и науке, которые болгар ставят несравненно ниже не только турок, но и диких племен Туркестана. И приговоры эти решительные: «Я видел, я знаю». И возражение невозможно.

Конечно, непосредственное наблюдение факта не есть еще знание, какое признает наука; в наблюдениях может быть очень много субъективного, а наблюдения русских военных людей, даже специальных ученых путешественников, постоянно отличаются односторонностью, что уже и было замечено в нашей литературе; тем более односторонности в суждениях их должно быть в данном случае. Но и невоенные русские корреспонденты в этом случае отзываются так же, как и военные: все они жалуются на крайнюю неблагодарность болгар по отношению к русским, на их трусость, алчность, безучастие к делу своего собственного освобождения, что указывает на их весьма низкий уровень нравственности и гражданственности.

И мы должны были бы им поверить, если б не имели совершенно противоположных отзывов иностранных корреспондентов и путешественников, как Маккензи, Барклей, Каниц, Вамбери.

Дело в том, что как все наши военные люди, так и не военные корреспонденты смотрят на дело с точки зрения данной минуты; они смотрят на болгарина или на серба только по отношению к себе,

по отношению к России, забывая, что и тот, и другой живет прежде всего сам для себя и на Россию смотрит только как на силу, которая может ему помочь, а, пожалуй, может накликасть и беду пуше прежнего. Это так естественно: тут сказывается не личный только эгоизм, но чувство самосохранения целой народности, которая и без того настрадалась за то, что тайно дружит России.

Таким образом, все факты приобретают особенную окраску и особенную оценку не на основании научной критики, а на основании их значения в данном случае. Имея в виду постоянную, более тесную связь с народом, мы не можем и не должны останавливаться на субъективных толкованиях их, рискуя, наверное, составить совершенно ложное представление; мы должны объяснить их, осветив со всех сторон и подвергнув строгой и в то же время беспристрастной критике. Посоветуемся также с историей, которую недаром называют зеркалом народов, и только тогда усвоим себе тот или другой взгляд на народ, отбросив все впечатления минуты и субъективного раздражения.

С этою целью мы приводим здесь один эпизод из истории сербов, который в главных чертах напоминает последнюю сербско-турецкую войну, так несчастно окончившуюся поражением сербов под Дьюнишем<sup>3</sup>.

Сопоставив рядом с недавним, не поддающимся беспристрастной оценке, давно прошедшее, сделавшееся достоянием истории, мы уясним многое, чему под впечатлением минуты даем слишком произвольное объяснение.

Восстание сербов, начавшееся в 1804 г. и длившееся более трех лет, поначалу вполне удалось: в 1807 г. в целой Сербии (в Белградском пашалыке) не осталось ни одного турка, и сербы были сами себе господами под правлением верховного вождя своего Георгия Петровича Черного и других *поглаварей*; вопрос был в том только, как бы добиться признания всего этого Портой, обеспечить добытое и затем определить, в какой государственной форме конституироваться. Приняв на себя то и другое, Россия вела переговоры с Портой в Яссах и в то же время вырабатывала проект политического устройства Сербии.

Но переговоры эти вскоре были прерваны. Заручившись союзом с Англией и обеспечив при помощи ее свои берега, Порта решила восстановить свою власть как в Молдавии и Валахии, так и над сербами.

Тогда русский политический агент Родофиникин<sup>4</sup> стал приглашать сербов начать военные действия против турок, обещая им, что русские войска немедленно перейдут Дунай и один отряд через Видин направится в Сербию.

Сербов приглашать было нечего, потому что они сами не доверяли обещаниям Турции и готовились предупредить их нашествие. Но приглашение это придало им больше уверенности. Они ударили на турок со всех сторон, разделившись главным образом по двум направлениям: Карагеоргий пошел в Старую Сербию и Герцеговину, а Хайдук-Велько с другими воеводами по Моравской долине в Болгарию. Двинувшись от Ужиц к юго-западу, Карагеоргий без всякого затруднения выбил турок из всех городков и местечек, отогнал их к Македонии, а сам осадил крепость Сеницу, которая составляет важный операционный пункт против Ужицкого окружья.

В то же время Хайдук-Велько быстрым натиском выбил турок из Моравской долины и осадил Ниш, от которого, однако, удалился, чтоб защитить от турок Гургусовац (ныне Княжевац); здесь же, близ селения Каменицы, сербы расположились в 11 лагерях под главным предводительством Милоя<sup>5</sup> и Петра Добринца<sup>6</sup>.

Войска или просто народу здесь было 11–12000 из пограничных нахий: Алексинацкой, Рожанской, Ресавской и половина Ягодинской; число это преувеличивали за 20000, но это было ложно.

Турецкие всадники, челов[ек] по 50–60, подъезжали к сербским станам и говорили: «Идите за Мораву и владейте тем, что вам султан дал; мы вас, *валаа*, не тронем, не трогайте же и вы нас». Сербы с гордостью отвечали, что они не останутся, покуда не дойдут до самого Царьграда, и при этом ругали «душу и веру турецкую и Магомета» и проч.

Между тем они упустили из виду занять высоты позади Ниша, которые доминировали над сербской позицией и на которых расположились турки, пришедшие на выручку Ниша. Кроме того, сербы ослаблены были удалением Петра Добринца на помощь Вельку.

К этому присоединилась еще измена одного турка, который крестился и принимал даже участие в действиях сербов с тем именно, чтобы вызнать их истинное положение и передать потом своим.

Таким образом, туркам хорошо было известно, как велики или, вернее, как ничтожны были силы сербов, что происходило в сербском лагере и как он был расположен.

Первое нападение они сделали на шанец Чагару, которым командовал князь Стефан Синдьелич. Сербы, однако, отбили их. Затем, в среду на Троицкой неделе, правильным строем выступила турецкая конница: впереди ехали всадники на белых конях, за ними, по порядку, на серых, рыжих, гнедых и, наконец, на карих; перед конницей везли два конных орудия. Совершив молитву, турки сделали выстрел и пошли на приступ.

Из сербского шанца раздался залп орудий — и все затихло; а турки быстро, стремительно ворвались в шанец, который не был огражден ни частоколом, ни завалами, вследствие недостатка леса поблизости. Турки секли сербов саблями; но сербы держались *юнацки*: резались ножами и били турок прикладами ружей с утра до вечера — и все почти пали на месте.

В других шанцах сербы, видя участь Чагары, пришли в такое смятение, что уже не думали о сопротивлении, а в беспорядке предались бегству. Воевода Милое не дал помощи Стефану, вывел свое войско из шанца и с другими воеводами ушел спасаться в Делиград. Погибли здесь 3 или 4000 сербов, и только каких-нибудь 400 уцелело; но и из тех только часть спаслась, а другая часть попала в плен.

Весь сербский обоз, все припасы, 7 больших пушек, даже мелкое оружие и одежда — все было захвачено турками, и вся эта добыча на 300 телегах отвезена была в Ниш.

Сербы побросали тут все: не только оружие, но и одежду, и оставались едва в одних рубашках, чтоб легче было бежать. Бегство было самое беспорядочное: большинство, незнакомое с местностью, бежало прямо по дороге, где турецкая конница, обсклав их, становилась впереди и навстречу секла бегущих саблями, а больше колола пиками; бегущих через горы преследовала турецкая пехота. Человек 60, успевших убежать от турок, умерли на месте, задохнувшись и от истощения сил. Бойня эта продолжалась подряд 4 часа.

В первом шанце погибли почти все; пробились и ушли только три или четыре раненых. Между ними Милош из Чичевца Алексинацкого окружья получил 7 ран; Дача из Дреновца, тоже Алексинацкого окружья получил 12 ран; один из Ресавы был так ранен, что, когда вышел из шанца, опираясь на свой ятаган, у него задняя часть головы откинулась назад — и только Стева-Кара из Ловча сложил и связал

ее и довел его еще живого в Делиград. Пленным в Нише не сделали, однако, ничего.

Весть о поражении сербов у Каменицы достигла Карагеоргия в то время, когда он так успешно осаждал Сеницу.

Он бросил Сеницу и поспешил на помощь своим; но было уже поздно. Сербы упали духом и кинулись за Саву и Дунай в Австрию; в отчаянии обращались они к русскому агенту Родофиникину с упреками: «Где же русы? Что они делают? Зачем они нас обманули?» Родофиникин счел за лучшее тайком удалиться из Сербии, переехав ночью на австрийский берег в Панчево и взяв с собой белградского епископа Леонтия, против которого было также возбуждено народное негодование, и кое-кого из сербов.

Начались перекоры, и обвинения, и внутренний разлад. Про Милана говорили, что он получил от турок арбуз, наполненный червонцами, и вследствие того бросил шанец, не дав помощи другим. Народ собирался побить его камнями; особенно возмущались женщины, из которых одни увидели своих воротившихся чуть живых от ран, другие устремились на поле битвы отыскивать своих, хотя бы мертвых.

Рассказывали, что несчастье произошло вследствие несогласия между Стефаном Синдьеличем и Петром Добринцем. Ни тот, ни другой не хотели дать друг другу помощи, и тот, и другой хотели завладеть Нишем. Стефан непечатным словом ответил Петру, когда он сказал, что его будет Ниш. Тогда Петр ответил: «Бог с тобой, брат! Когда добудешь, пусть будет твой!» Говорят, что этот шанец был всем снабжен, и сербы сначала имели большой успех и нанесли большой вред туркам; но, не получив поддержки, после должны были уступить. Несомненно только то, что уход Хайдук-Велька и Петра Добринца имел тут большое значение. Про последнего Ефрем Ненадович рассказывал, будто он перед смертью исповедал свой грех: «Братья, — говорил он, — я до тех пор не могу избавиться от своей муки (он имел какую-то скверную болезнь), покуда не открою вам скрываемую до сих пор мою вину: я изменил на Каменице, поссорившись с Милоем Трновцем, я уговорил Велька уйти в Гургусовац, а потом и сам ушел, туркам же сказал, чтоб они ударили. Но простите!..» И когда его простили, он помер.

Как бы то ни было, а туркам теперь открыт был путь вплоть до Белграда, потому что Моравская долина была брошена совершенно беззащитной.

Переход русских через Дунай и вступление в Болгарию остановили этот натиск турок и еще раз спасли сербов: они снова подняли голову, снова бились с турками и побивали их, пока снова не были оставлены русскими в 1812 г., и в 1813-м турки снова овладели Белградом и восстановили свою власть над сербами, ознаменовав свою победу казнями и опустошением. Не то ли же самое было и в прошлом году? Самонадеянность и упущение из виду важных в военном отношении позиций, указывающее на малое знакомство с местностью; оплошность и, наконец, внутренний разлад, в котором также слышатся обвинения в измене, и затем беспорядочное отступление, всеобщая паника и спасение только путем дипломатического вмешательства других держав. Слышалось также обвинение России, что она заставила сербов воевать, которые и решились, рассчитывая на военную помощь России, а Россия между тем обманула их и изменила.

Что же это за метаморфозы? Сербь, герои в битвах на Мишаре, на Салаше, под Сеницей, являются трусами, беспорядочной толпой на Каменице. Тут существенной перемены в народном характере произойти не могло, как, напр[имер], между сербами начала восьмисотых годов и сербами нынешними. Мы скажем еще больше: никакой существенной перемены в такой короткий период, обнимающий собой немного более полустолетия, и не могло произойти: народные массы не могут так изменяться; даже верхние слои его, меняя свой внешний вид, живя совершенно под другими политическими, социальными и экономическими условиями, ведя совершенно иной против прежнего образ жизни, в сущности остаются тем же, что и были. Мы не будем говорить о таких необыкновенно крепких, стойких народах, как евреи, но даже если возьмем самых, так сказать, бесхарактерных между ними, и те сохраняют свой народный тип и характер так прочно, что ряд столетий и культурных влияний не в состоянии произвести в нем какие-либо коренные изменения. В пример возьмем западных славян, которые до сих пор резко отличаются от своих самых близких сожителей немцев не наружностью, а тем именно, в чем выражается их нравственная физиономия, их характер, способом действия, направлением всей их умственной и нравственной деятельности. Только чисто физиологическое смешение одной народности с другой и в продолжительный период времени в состоянии произвести радикальное изменение народного типа и, пожалуй, даже

создать совершенно новый тип; но и тут мы не знаем примера, чтоб не пробивались черты отдельных типов, пришедших в смешение.

Поэтому нам странно слышать, когда говорят, что сербы теперь совсем не те, какими были при Карагеоргии. Надобно заметить, я больше удивлялся тому, как в самом цивилизованном сербе, прошедшем разные школы у себя дома и за границей, крепко коренится тип старого сербина, каким он был более чем за сто лет назад.

Чувство мести родовой и личной, доходящее до исступления, до жертвы всем самым дорогим и священным для человека, жертвы честью, близкими людьми, целым народом своим и отечеством, красною нитью идет через всю сербскую историю. Вук Бранкович, изменивший на Косовом поле, погубивший своего дорогого тестя царя Лазаря и Сербское царство, проклятый народом, то там, то сям по временам воскресает в среде сербского народа в различных видах.

Народное предание причиной гибели сербов на Косовом поле признает, с одной стороны, Вука Бранковича, который в решительную минуту увел свое войско с поля сражения; с другой — Милоша Обилича, который, чтоб очистить себя от подозрения в измене, пошел в турецкий стан и убил султана Мурата, чем только ожесточил турок и возбудил в них фанатическую решимость и энергию. Это обвинение высказывается устами Лазаря. Приведенный пред умирающего Мурата, и узнав, что его убил Милош, находившийся тут же, он обратился к последнему с следующими словами: «Благословенно дело твое и ты от меня; а за такое пролитие крови ныне ты дашь ответ Богу».

История отвергает летописное сказание хода Косовской битвы и вычеркивает из истории личность и поступок Милоша; но тогда сама собою устраняется и личность Вука Бранковича\*. Не подлежит, однако, никакому сомнению и совершенно согласно с общим ходом сербской истории, что главной причиной слабости сербов перед турками была их разрозненность, которая временно сдерживалась только сильной деспотичной рукой Стефана Душана, а по смерти его созданное им, но не вошедшее в сознание народа единство тотчас рушится, и рушится вследствие личных несогласий и личных узких интересов разных владетелей. Белградом овладевает Венгрия, Твртко Боснийский<sup>7</sup> овладевает Герцеговиной и областью Ужицкой.

\* Kanitz, «Serbien», 1868. S. 250–51.

Слабый Урош V уступает в борьбе даже с наместниками, и, наконец, его убивает его же воевода Вукашин и сам делается царем. Споры о троне бесконечные. Царь Лазарь должен был привести в покорность многих воевод. Личный интерес, личная злоба и месть в этом периоде сербской истории представляют главный стимул тогдашней политической жизни. Бранковичей тогда было много; народная память олицетворила их в одном только Вуке. Народное предание ищет его везде и, конечно, находит, потому что это один из типов. Существует такой рассказ из первой сербской войны за освобождение. Приведен был в сербский лагерь пленный турок 125[-ти] лет, взятый на Дрине; выпивши водки, он рассказал сербам, как велики турецкие силы, и, между прочим, заключил так: «Вы не устоите, потому что у вас народился Вук Бранкович; Сулейман-паша знает, и царь знает, а вы после узнаете». А кто, так и не сказал. Да не к чему было и называть, потому что не один подкапывался под Карагеоргия, а многие; а между собой воеводы, кажется, и двое не были настолько искренни, чтоб могли в критическую минуту рассчитывать друг на друга.

Такими сербы были давно; такими они, к сожалению, остаются и теперь.

Мы невольно припоминаем при этом топчидерскую катастрофу 1868 г. Составляется заговор против князя. И тут люди принцепы составляют самую незначительную часть. Одни являются сторонниками Карагеоргиевичей из того расчета, чтобы при них играть роль, какой не могут занять при Обреновиче; другие действуют из личной мести. Мать Родовановичей грудью, кормившей их, закликает своих сыновей отомстить за своего старшего брата, посаженного в тюрьму, и один из них, Коста, совершает это дело с увлечением фанатика. А какова была роль военного министра Блазнаваца, который ближе всех стоял к князю, знал весь ход заговора и ждал только момента, чтобы воспользоваться для себя? А другие разве не ждали также для себя? Одни — для осуществления своих политических идеалов, другие — для партии, третьи — для себя в самом узком смысле, а после все поголовно плакали, проклинали заговорщиков, с которыми были в сообществе, и не постыдились предать проклятию имя человека, которого память другой народ хранил бы как святыню, как символ народного освобождения от рабства!



История сербского народа кровавая: до водворения турецкого господства ступени сербского трона то и дело обливались кровью; царедворцы убивали своих царей и сами делались царями; сын убил отца, чтобы скорее сесть на трон; измены и выдачи составляли обычное явление. Тут, конечно, сказалось влияние Византии, где было то же самое; но замечательно то, что дух этот проник в народ до такой степени, что через 400 лет после того, как история царства уже кончена, когда политическая жизнь сербского народа возрождается из самого народа, без участия сословий и династий, воскресает тот же дух, какой был до турецкого господства; те же кровавые сцены, династические междоусобия, те же измены и выдачи, которые составляли главную причину всех неудач и несчастий нынешнего княжества Сербии.

Во всех партиях, по наружности политических, субстрат и главный импульс составляют личные, эгоистические интересы, а не принцип и политическое исповедание. Поэтому там так называемые политические партии одни легко идут на компромиссы, а другие, если не истребляются в конец партией победившей, притаиваются и ждут только момента, чтоб отомстить, не заботясь о том, как это отразится на целой Сербии; да до Сербии никому почти дела нет, не исключая и ее правителей. Местью самой непримиримой дышат две династии — Обреновичей и Карагеоргиевичей, и на этой династической мести основывают свой *raison d'être* их политические партии. Она не унимается даже в настоящий момент, великий момент, решающий судьбу всего югославянства.

Вот, где гибель сербского народа: в недостатке у его политических вождей чистых политических убеждений и гражданского самоотвержения, а не в отсутствии военной храбрости, в чем упрекали их за прошлую войну.

Военная храбрость есть что-то совсем несовместимое с понятием о народе, живущем цивилизованною жизнью. Можно говорить о храбрости войска и отдельных лиц; но и тут храбрость не составляет какой-либо народной черты, а зависит от военной организации и военачальников. Любить войну никакой цивилизованный народ не может; он отдается ей, скрепя сердце, или увлекаясь значительностью пользы, которая может произойти от нее в будущем, или вынуждаемый крайней необходимостью, и для этого он решается на всевоз-

можные жертвы; но тот же самый гражданин, вотиравший войну, может оказаться плохим воином и предаться постыдному бегству, если он плохо к тому подготовлен, недостаточно дисциплинирован в военном смысле или если попал под плохую команду.

Есть, конечно, народы воинственные; это народы, для которых война составляет их жизнь и стихию, у которых с войной тесно связано их существование. Таковы были и до сих пор остаются такими кавказские горцы. В таком же почти положении находилась до настоящего времени Черногория: там нет всех условий для мирной жизни и для развития гражданственности. Черногория не есть сложившееся государство, хотя бы в роде какого-нибудь княжества Монако и Липпе-Детмольд или даже азиатского ханства, потому что развитию цивилизованной жизни мешает самая местность, состоящая из голых скал, не дающих возможности заниматься не только земледелием, промышленностью и торговлей, но и скотоводством; чернорец — вечный пехотинец, потому что лошадей там негде почти водить; крупный рогатый скот тоже там негде почти держать; остаются только козы, которые и питают чернореца своим молоком. От этого он плохой работник, и вся работа лежит на женщине; а он зато — юнак, ничего не делающий, бродящий по горам с своей длинной винтовкой, с ножом или ятаганом в ожидании, что вот представится повод к войне. Терять ему нечего, а добыть предстоит все, чего он до сих пор не имеет и что, однако, по праву человеческого он должен иметь, — почву, к которой мог бы приложить свой труд, и более тесную связь с остальным цивилизованным миром. Стоящий во главе Черногории князь Николай, ходивший вместе со всеми в бой, — вполне тип чернореца: он — юнак в бою и поэт на отдыхе. Но еще больше согласны были с духом чернорецев их *владыки*, которые так же, как простые чернорецы, были вечные вояки вместе со своими игуменами и попами. Владыка был вполне отцом или патриархом большой чернорецкой *задруги*, которая состояла из многих семей и родов; своей личной семьи у него не было. Он был то же, что у запорожских казаков был когда-то *батько-атаман*. Нынешнее положение князя, окружившего себя чем-то вроде европейского двора, несколько дисгармонирует с духом народа, хотя и двор этот далеко не европейский.

Такие народы воинственны по призванию в силу необходимости; они, конечно, всегда будут храбры. Сербское княжество находится

в совершенно иных условиях, и в тех условиях, как черногорцы, сербы никогда не находились; они отдавались когда-то военной жизни в форме хайдучества; но это была только часть; большинство крепко сидело на земле и представляло из себя совершенно мирный элемент, и притом настолько искусившийся в несчастиях от войны, что готов был выносить скорее тяжкое иго, чем воевать за кого и против кого бы то ни было. Во время войны между Турцией и Австро-Венгрией народ сербский не принимал никакого участия и со страданием ждал только, чем война кончится, и тогда покорялся победителю. Притом, твердо уверенный в прочности турецкого господства, он стал считать султана своим истинным царем, предназначенным ему свыше. Поэтому Карагеоргий и другие воеводы, стараясь возбудить народ, уверяли его, что он этим исполнит волю своего государя; в противном случае, т. е. против султана, народ не пошел бы ни за что. Вспомним, как расправился Карагеоргий с отцом, который прямо хотел отдаться турецким властям и обнаружить готовящееся восстание. Но героизм сербов осуществился вполне в их хайдучестве; в этой сфере были истинные герои, которые умели сначала уговорить народ обманом, а потом увлечь его своим примером и удачами, в которых главную роль играла их личная храбрость, ловкость и умение пользоваться обстоятельствами. Хайдучество ясно доказало, что сербы умеют быть героями, какие, без сомнения, найдутся и теперь. Масса же и тогда не только неохотно шла в бой, но вдобавок готова была всегда обратиться тыл; возвращала ее обратно в бой сабля Карагеоргия или кого-нибудь из воевод: страх быть изрубленным саблей или убитым рукой своего же предводителя удерживал и придавал храбрости. Во время знаменитого, славного для сербов боя на Мишаре сербы побежали; тогда Карагеоргий выхватил саблю и воротил их назад; и потом, ходя по шанцам, он постоянно носил с собой палку и таким образом «храбрил людей». Там же два грузянина (из Грузии, округа Сербии) выкинули упавшие к ним две бомбы, горевшие еще.

Период войны за освобождение представляет множество примеров сербского героизма и целый ряд героев, как Хайдук-Велько, Цинцар-Янко, Чупич и Чарапич, Милош Обренович, поп Смильянич и другие.

Кто знает историю сербов и их самих в настоящее время, тот не задумается признать их народом решительным и смелым, когда то требуется; но, конечно, не воинственным, потому что в этом отно-

шении он уже вышел из бродячего положения и в настоящее время по образу жизни не отличается от других цивилизованных народов Европы; он знает цену мира и смотрит на войну как на зло, которого по возможности нужно всячески избегать; но в Сербии это высказывается прямее, откровеннее, чем у нас или даже в других европейских государствах: у нас война и мир решаются непосредственно правительством, не справляясь с желанием народа, у сербов же это вотируется народным собранием — скупщиной; поэтому мы идем на войну, не рассуждая, тогда как каждый серб, однажды вотиравший войну, считает себя в праве во всякое время прекратить ее, а если правительство не согласится, то бросить оружие и идти домой.

В прошлую войну вмешательство русских добровольцев было слишком активное и горячее: оно двинуло сербов дальше того предела, до которого они сами намерены были вести свои военные действия, что дало повод ожидать военного вмешательства России, которого, однако, не последовало, и сербы бежали, как из-под Каменицы, в отчаянии взывая: «Где Русы? Зачем они нас предали?».

Главной причиной неуспеха сербов в эту войну было не недостаток храбрости, а, с одной стороны, крайняя неподготовленность, в чем народ неповинен, потому что его обманывали, с другой — разлад в военном лагере. Русским добровольцам, из которых для большинства жизнь не имела никакой цены, легко было идти на отчаянную борьбу, поэтому они готовы были и сами идти, и вести сербов на убой; но сербам угрожала не только смерть, но и потеря всего, что такой дорогой ценой приобретено было в продолжение трех четвертей столетия. Разница между русскими и сербами в то время была такая: Россия лишалась горсти отчаянных голов, которые тяготились мирной жизнью дома; Сербия же теряла все, что имела.

По поводу вопроса, трусы сербы или нет, приведем суждение одного русского, бывшего на театре сербской войны 1876 года и высказывавшегося вообще не в пользу сербов, — суждение князя В. Мещерского<sup>8</sup> в его «Правде о Сербии».

Основываясь на личном наблюдении и на словах русских офицеров и Черняева, он прямо и решительно говорит: «*Сербь не трусы*», и затем дает такое, весьма справедливое объяснение всего происшедшего в то время: «Сербь — пастухи и земледельцы, поставленные в военный строй, и больше ничего.

Среди тысяч эпизодов, один другого славнее, рассказанных сто раз про бессмертную Севастопольскую оборону, повествуется там, как курское ополчение было перебито неприятелем и как три четверти всей дружины легло на поле битвы.

А между тем до этого момента — все севастопольцы это помнят — вот, что было: дружина с ружьями в руках при первой встрече с неприятелем повернула назад — и бежать...

Вторично ее повели и предупредили, что за ними поставлены пушки: кто повернется и убежит, в того картечью!

Дружина бросила ружья, пошли на топоры, и так и легла на поле. Никто не оглянулся!

Кто бы посмел эту дружину назвать трусами даже в ту минуту, когда в первый раз она вздрогнула, обернулась и разбежалась под непобедимым влиянием панического страха.

Черняев говорил мне, что он назовет лжецом в глаза того солдата и офицера, который в первом деле не испытывает чувства страха.

Но это чувство страха длится момент. Оно исчезает при мысли, что нельзя бежать: хочешь — не хочешь, надо идти.

Эта мысль, что бежать нельзя, что показать страх есть для военного позор, есть то духовное начало, на котором стоит *войско, армия*.

Только это отличает армию от вооруженной банды. Сербская же армия именно не есть армия, потому что этой мысли, что нельзя бежать, что показывать страх — позорно, у сербов нет: ее не может понять ни один сербский солдат пехоты, как не могла понять в первую минуту курская дружина, прямо от сохи приведенная на поле битвы.

Хорватович<sup>9</sup> в своей армии ввел систему стрельбы по убегающим: он сам собственной рукой убивал несколько человек из револьвера, когда происходило первое вздрагивание в рядах солдат, и вследствие этого случаи бегства целых батальонов у Хорватовича стали немыслимы.

Это чувство или эту мысль военной чести сербская армия приобретает через несколько месяцев.

В этом поразительно убеждают артиллерия и инженеры у тех же сербов.

Не только они храбры, как русские или черногорцы, но они изумляли не раз своей храбростью, чисто немецкой по стойкости и педантизму.

Сербский артиллерист останется на своем месте до последней минуты, и, если ему не скажут отступить, он будет убит, но не двинется.

Но вот еще более убедительное доказательство того, что сербы именно не трусы.

На аванпостной службе серб засыпает иногда под огнем гранат.

Упадет граната, серб, бегущий из строя при виде турка, не дрогнет перед гранатой — и так его тут и убьет.

Храбрый серб стоит всякого героя. В этом можно убедиться по ранам сербов.

Я видел раненых четыре и пять раз в одном и том же сражении; раненых в обе руки много, а это славнейшие раны!

И переносят они страдания поистине геройски!»\*.

Нет у сербов недостатка и в гражданском мужестве.

Не раз безоружное сербское представительство вотировало низвержение узурпировавших власть своих князей и демагогов под угрозой окружавшей его военной силы.

Сравнительно с другими государствами нигде не жертвуют собой за политические убеждения и партии столько, как в Сербии, несмотря на недавность существования этого княжества.

Между участниками политического заговора 1868 г., окончившегося так несчастно убийством князя Михаила и диктатурой триумвирата, пропал не один человек, заслуживавши лучшей участи, чем расстрел; но и в этом несчастном деле погибшие сумели показать себя героями. Капитан инженеров Георгий Мерцайлович накануне своего расстрела, по объявлении ему приговора, спокойно беседовал с офицерами, своими прежними товарищами, о том, каким образом нужно вести войну с турками, сообщал им свои планы и надежды, делал чертежи, как будто накануне выступления в поход, а не перед смотревшей в глаза ему смертью. Не дрогнули, говорят, ни рука, ни голос: видно, только и думы у него было о судьбе сербского народа, а не о своей голове.

Или еще пример.

Некто Ж. Жуйович отправлялся в Боку Которскую для излечения и накануне катастрофы находился уже на австрийском берегу. Ничего не зная о бывшем заговоре, но, узнав о происшедшем в Белграде

\* Правда о Сербии, 1877 г., стр. 241–245.

и о том, что в смуте схвачены некоторые из его близких знакомых и что грозит опасность всем, кто находится в оппозиции правительству — а он и был из числа таких — он не задумался вернуться назад, чтоб со своими разделить грозившую им опасность.

Да и из тех 15, которых, поставивши в ряд, варварски расстреливали по очереди, одного за другим, никто не смутился духом, и большинство не давало себе завязывать глаз, чтобы прямо смотреть в глаза смерти.

В 1858 г., когда был изгнан Александр Карагеоргиевич, сербские дети на встречу высланных против народа конных жандармов выкрикивали имя Обреновича; а в 1862 г. во время бомбардирования Белграда турками они же подкрадывались под стены крепости, пускали в турок камнями и утащили у них одну пушку.

Да, снова повторим: недостатка в мужестве и личной храбрости у сербского народа нет; были у него герои, есть они или найдутся и теперь; их гибель заключается во внутреннем разладе, в недостатке политического развития, в династических партиях и в том еще, что рядом с Милошами Обиличами постоянно действуют Вуки Бранковичи.

### Примечания

<sup>1</sup> Имеется в виду Битва на горе Чегар, которая состоялась 31 мая 1809 г. Тогда малочисленный сербский отряд под началом воеводы Стевана Синджелича противостоял вчетверо большим силам Хурашида-паши. Чтобы не попасть в плен, Синджелич поджег бочки с порохом. По приказу паши трупы погибших сербов обезглавили, а черепа вмонтировали в башню. Это должно было служить предостережением тем, кто попытается восстать против Османской империи. При создании башни турки использовали 952 черепа, однако к 1892 г. их осталось 58. Для сохранения оставшихся поверх Челе-кулы была построена часовня.

<sup>2</sup> Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор России с Турцией был заключен 3 марта 1878 г. Согласно его положениям, предполагалось создание «Великой Болгарии» с включением в ее состав практически всей Македонии. К Сербии же отходили Ниш и Лесковац, а также территория, достигающая на западе Нового Пазара, на юго-западе — Митровицы, на юге — Вранья, но без этих городов. Пиротский округ также предполагалось передать Болгарии.

<sup>3</sup> Джунис — село в юго-восточной Сербии. Осенью 1876 г. по Джунисским высотам проходила главная оборонительная линия сербских войск. В октябре она была прорвана турками. «Джунисский погром» означал завершение активной фазы кампании 1876 г. Сразу же после него, по просьбе Сербии, Россия в ультимативной форме принудила Стамбул заключить перемирие с Белградом.

<sup>4</sup> Родофиникин Константин Константинович (1760–1838) — первый русский дипломатический представитель в Белграде (1807–1809).

<sup>5</sup> Имеется в виду Милое Петрович (1770–1810).

<sup>6</sup> Петр Тодорович Добринац (1771–1831) — сначала гайдук, а потом торговец; во время восстания служил под началом М. Стойковича, отличился в сражении у с. Иванковац (1805) и под Делиградом (1806), выдвинувшись в ряд значительных воевод.

<sup>7</sup> Имеется в виду боснийский бан Твртко I Котроманич (1353–1391). В 1377 г., с согласия сюзерена Твртко — венгерского короля, а также сербской знати, принял титул сербского короля.

<sup>8</sup> Мещерский Владимир Петрович (1838–1914) — князь, камергер, журналист, публицист, прозаик. Редактор-издатель газеты «Гражданин».

<sup>9</sup> Хорватович Джура (1835–1895) — сербский военачальник, генерал. Родился в Славонии. В сербской армии с 1862 г. В 1881–1885 гг. — чрезвычайный посланник Сербии в Петербурге. В 1886–1887 гг. — военный министр. Участник сербо-турецких войн 1876 и 1877–1878 гг.



## Болгарский хайдук Панайот' и его записки\*

### I.

Знал я когда-то одну болгарскую песню, из которой теперь помню только начало:

Што ми је мило и драго?  
Млад арамия\*\* да будем,  
Црну кошуљу\*\*\* до носим,  
Чифть\*\*\*\* пиштоли на пояс,  
И тнку пушку\*\*\*\*\* на рамот\*\*\*\*\* и т. д.

Далее певец восторгается тем, что он будет гулять по лесам и горам, добывать желтые червонцы и целовать хорошеньких девушек.

Это легкое изображение хайдуцкой жизни не обнаруживает в себе ничего ужасного и отталкивающего; напротив, она даже манит своей свободой и привольем.

В другой песне следующими чертами характеризуется хайдуцкий воевода (предводитель): гуляет он по зеленым лесам; его мать — старый Балкан, отец — тенистый буковый лес, жена — тонкая винтовка, куда пошлет он ее, сделает она свое дело; дети его — светлые пули, куда пошлет он их, сделают они свое дело; живет воевода, живет без заботы, гуляет мирно по свету.

Ружье и пули, которые делают свое дело, дают почувствовать, что мирно гуляющий воевода — далеко не человек мира.

Затем в болгарских песнях, собранных братьями Миладиновыми и Чолаковыми, есть немало таких, в которых действия хайдуков

---

\* Впервые опубликовано: Отечественные записки. 1878. Кн. 8. С. 345–388.

\*\* Разбойник.

\*\*\* Рубашку.

\*\*\*\* Два, пара.

\*\*\*\*\* Ружье.

\*\*\*\*\* Плечо.

изображаются самыми ужасными чертами: голодные, оборванные, грязные, они без разбора кидаются на первую попавшуюся добычу и не останавливаются ни перед какими преступлениями. Так, в одной песне рассказывается, что, вымучивши пытками у Стойны все деньги, хайдуки заставили ее развести костер, изжарить на нем своего ребенка и съесть его, и тогда убили ее самое.

Здесь народная фантазия не пожалела красок; не остановилась перед таким изображением, которому, конечно, никто не поверит.

Но и без этого в жизни хайдука встречается много темных, кровавых дел, и потому дочь проклинает свою мать, отдавшую ее за хайдука, у которого двери отпираются только ночью, а днем остаются на запоре; который каждую ночь приносит окровавленные рубашки, а в них отрубленные головы молодых парней, и в числе их однажды принес руку с золотым перстнем, по которому она узнала своего брата.

Мать не соглашается женить сына; тогда сын грозит ей тем, что пойдет в Балканы, сделается там хайдуком, будет ходить в грязной рубашке, станет грабить по большим дорогам, многих матерей заставит плакать, осиротит многих жен, перебьет много молодых парней.

Любящая мать в ответ грозит ему проклятием и старается изобразить ему всю непривлекательность хайдуцкой жизни: «Ты заболеешь в Балканах, и некому будет за тобой ухаживать; орлы выкопают могилу, волки пропоют похоронную песню, черный ворон отслужит панихиду».

Тяжела жизнь хайдука.

Идут горами тридцать молодцов, тридцать молодцов-разбойников. Вдруг затмился свет от ветра, поднялась буря с юга, разразилась снежной вьюгой. Заколели тонкие рубашки, попримерзли к телам хайдуков. Поднялись тут все 30 и пошли в церковь св. Димитрия. Там пожгли они кресты и иконы, чтобы развести большой костер, чтобы оттаять тем огнем рубашки, чтобы отстали они от тела. А когда пришел день Георгия\*, тогда сделали они кресты из дукатов (червонцев), а иконы из пиастров.

Здесь мы замечаем в хайдуках ту особенную черту, что, вынужденные крайностью на такое тяжкое преступление, как сожжение

---

\* В день Георгия (Юрьев) все хайдуки собираются в шайки, тогда как зиму проводят врозь, по селам и по пастушьим хижинам; есть сербская поговорка «дюрдьев данак — хайдуцки састанак».

священных предметов, они стараются загладить его восстановлением истребленных предметов в лучшем виде. В них, следовательно, есть еще страх Божий и уважение к его святыне.

Далее, мы встречаем песни, в которых хайдуки восхваляются как народные герои: народная поэзия восторгается их юначеством, молодечеством одного перед другим, особенно всяким превосходством болгарского хайдука перед турецким. Тут выступают наружу патристическое чувство и нелюбовь к туркам. Питая отвращение вообще к убийству и грабежу, которые составляют для хайдуков неизбежное средство существования, болгарский певец с удовольствием, однако, рассказывает, как какой-нибудь болгарский хайдук избивал и грабил сотни турок, и даже благословляют его за то. Приведем по этому поводу одну песню из записок Панайота<sup>2</sup>:

Идет Анка через горы,  
На грушевом листке песенку играет,  
С зеленым лесом разговаривает:  
«Ой, гора ты, лес зеленый,  
Ты студеная вода, ключевая!  
Не видал ли, лес, хайдуков,  
Воеводу иль Кара-Танаса?  
От тебя они не выходили ль  
С воеводой, моим братом?».  
В лесной чаще поет птичка:  
«Анка, красна девица, Анка!  
Отчего ты так красива,  
А умом так простовата?  
Если б лес мог говорить,  
Не рубил бы его плотник,  
Не ходил бы в нем овчар со стадом,  
Не скрывал бы он хайдуков,  
В темной сени своих буков».  
Не умолкла еще пташка,  
Как дружина показала,  
Кара-Танас воеводой,  
А со знаменем Иванчо.  
Ружья длинные на плечах,

На обоих ятаганы,  
И палески\* золотые,  
Пистолеты с узорочьем;  
Не узнаешь по наружи,  
Кто из двух их воевода.  
Залилась слезами Анка,  
В лесу темном закричала.  
«Ой гора ты, лес зеленый!  
Ты раскинь пошире листья,  
Подними повыше ветви,  
Сделай ткань везде густую!  
Меж хайдуками ведь брат мой!  
Пусть гуляет он под твоим покровом,  
Пусть он водит отборных юнаков,  
*Пусть он губит врагов наших,  
С их султанами в Царьграде\*\*.*»

Тут мы видим, что женщина, в силу своей неогражденности, больше всего ненавидит и боится хайдуков и, как мать отрекается от сына, как жена — от мужа, сделавшихся хайдуками, идет им навстречу и просит лес приютить и закрыть ее брата, потому что его назначение — грабить и убивать турок, врагов болгар; помысел ее посягает даже на султана. Тут хайдук является бунтовщиком, революционером и мстителем за свой народ, только отнюдь не простым разбойником.

Основываясь на народной песне, мы приходим к следующим выводам: во-первых, болгарский народ относится к разбою с отвращением и потому старается все совершаемые хайдуками злодеяния не смягчить, а преувеличить, и эта-то черта преувеличения заставляет относиться к их изображениям осторожно; во-вторых, есть случаи, когда народная песня становится уже прямо на сторону хайдуков — там, где хайдук является представителем народа, протестующим против

\* Маленькая коробка с маслом для смазки оружия.

\*\* Не имея оригинала, я держался немецкого пространного перевода Розена и предпочел его русскому переводу, помещенному во втором томе «Славянского сборника», который во многих местах не только не точен, но положительно не верен. О складе не заботился, держась ближе смысла. (Славянский сборник. В 3-х тт. СПб., 1875–1877. Т. II. СПб., 1877 — прим. ред.).

неправды и насилия, защитником законности, путем такого же насилия и партизанской войны, что уже не есть разбой.

Если вы перечитаете все болгарские песни, то никак не придете к другому выводу, а между тем немецкий переводчик записок Панайота г. Розен в предисловии к ним причину хайдучества приписывает, с одной стороны, слабости и апатии турецкого правительства, с другой — тому, что хайдучеству помогает *болгарская нация*, которая шлет разбойников в горы, «так что не знаешь, кто в этом случае больше заслуживает порицания»; конечно, более виноватым оказывается болгарский народ, который так ясно выражает свою ненависть к разбою.

Другое дело — хайдуки последнего разряда: это поборники народной свободы, единственные защитники беззащитного болгарского народа, его воины, совершающие убийства не по личному чувству, а в силу необходимости; это люди, которые никогда не имели призвания только к грабежу и убийству, но возмущались всяким беззаконием и неуважением к чужой собственности и личности и, не в состоянии будучи покориться неправде, признать ее силу, не могли сидеть сложа руки, бросили собственный дом и семью, чтобы сослужить службу своему отечеству. Их имена болгарский народ должен сохранить в памяти и передать потомству так же, как серб хранит имена своих хайдуков, освободителей от турецкого ига — Карагеоргия, Велько Петровича и др[угих].

Записки Панайота дают нам возможность воспроизвести тип хайдука и собрать характерные черты вообще хайдучества помимо народной поэзии, в которой, как мы заметили, есть много преувеличенного в ту и другую сторону, и нет определенности. Записки эти представляют изображение пережитого и испытанного и потому исполнены живого чувства, ярких реальных картин, отчасти освященных патриотическим чувством и критическим взглядом автора, стоящего выше простого хайдука.

Прежде всего считаю необходимым познакомить с личностью Панайота, для чего воспользуюсь отчасти своими собственными воспоминаниями, вынесенными из личного знакомства с ним, отчасти его записками. Начну с первого.

## II.

В 1868 г., в марте месяце, я приехал в Белград. То было особенное время. В предшествовавшем году Сербия приобрела все турецкие крепости, находящиеся на ее территории, или, говоря иначе, турецкие гарнизоны оставили сербские крепости, и сербы с этого момента сделались полными господами у себя дома. Они высоко поднимали голову, и было отчего: без выстрела, без пролития капли крови — такое важное приобретение! Только князь съездил на поклон в Константинополь, где высокий сюзерен оказал своему васалу честь почти как равному. Сербское правительство чувствовало себя необыкновенно мудрым, и в особенности много говорилось о необыкновенном дипломатическом такте премьера Ристича, что возбудило в других сильную зависть к нему, а в князе — недоверие (который, надобно заметить, не терпел рядом с собой никаких знаменитостей). Может быть, он имел основание, так как эти знаменитости в Сербии прежнего времени являлись опасными соперниками князя; по отношению к Ристичу это было крайне несправедливо, так как он от начала своей деятельности и до настоящего времени является самым прочным оплотом династии Обреновичей.

Так называемое народное войско, или милиция, также немало кружило голову всем. Представьте себе, что каждый серб от 20 до 40 лет — воин, обученный всяким артикулам и снабженный оружием, и по первому призыву Сербия может выставить 60.000 человек, а то и до 100.000, а понадобится, — будет 200.000 человек и больше.

В Крагуеваце основан был оружейный завод, который лил пушки, делал ружья, приготавлиал всевозможные боевые снаряды.

Войско и крагуевацкий завод дали возможность выдвинуться Блазнавацу, который, сделавшись военным министром, не щадил средств государства на это дело, а чего не хватало, пополнял князь из собственных средств, которые, благодаря приобретательным способностям его отца, мудрого Милоша, были весьма значительны.

Не было в застое и просвещение. Так называемая *Великая школа*, с разделением на факультеты, представляла собою нечто вроде университета; основанное при митрополии *Богословие* было чем-то средним между духовной семинарией и академией; существова-

ли инженерная академия, артиллерийское училище; не говоря уже о гимназиях классических и реальных, для девиц основан был институт. Кроме того, каждый год до 40 человек на казенный счет воспитывались за границей в различных высших и средних учебных заведениях. Числом школ Сербия того времени значительно опередила Россию.

Роль, какую по всей Сербии играли адвокаты, даже между сельским людом, и распространенность между последним разного рода облигаций и кредитных знаков давали знать о распространенности там вообще плодов европейской цивилизации.

Администрация Сербии была так полна, что как-то странно было видеть такую массу учреждений в стране, которая по пространству и числу жителей равняется нашей средней губернии. Это дало повод одному французу сострить насчет Сербии: удивительно, почему сербы не заведут у себя морского министерства.

А между тем остряк этот не подумал, что не страннее ли в каком-нибудь городишке едва с тридцатью тысячами жителей видеть дипломатических представителей ото всех европейских держав.

Это указывало на действительное политическое значение Сербии, которое она приобрела в силу обстоятельств и, может быть, вопреки желанию многих и многих европейских дипломатов.

Понятно, после того, что Сербия чувствовала призвание и потребность к расширению своей области, она имела много лишнего, что годно только для большого государства, тогда как для маленького служило бременем.

В устройстве ее участвовали все европейские государства; они знали, что делали, и, значит, рассчитывали, что такое устройство даётся ей именно с целью когда-нибудь это маленькое княжество обратить в большое государство.

Поэтому неудивительно, что сербы стали считать свое княжество югославянским Пьемонтом, а князь мечтал уже о восстановлении царства Душана, границы которого определялись так: где слышится «помози бог», там и сербское царство. Это нисколько не уже немецкого «so weit die deutsche Zunge klingt und Gott im Himmel Lieder singt»<sup>3</sup>.

Такая роль была Сербии почти навязана и приходилась ей не под силу, потому что Сербия и сама была новорожденная; мало того,

роль эта служила и до сих пор служит ей бременем, от которого, однако, так трудно отделаться.

Да, десять лет назад было особенное время. Тогда Сербия была фокусом, в котором сосредотачивались, с одной стороны, желания и надежды всего югославянства, с другой — своего рода желания и нежелания Европы. По отношению ко всем славянам Балканского полуострова она до некоторой степени вошла в роль России. Белград со своими школами и сосредоточием в нем всех атрибутов европейской цивилизации являлся югославянам тем же, чем когда-то Афины — скифам, т. е. они приходили и дивовались.

Сербия, сама нуждавшаяся в средствах образования, открыла свои школы и все сокровища науки своим братьям, лишенным всего этого под притиском турецкого господства. Молодежь из Боснии, Старой Сербии, Герцеговины и Македонии обучалась в ее белградских школах, главным образом, в Белградском богословии, где готовились преимущественно в учителя народной школы.

Вся Сербия положительно была наводнена пришельцами из разных, даже самых отдаленных, краев Балканского полуострова. Не только сербы, но болгары и даже цинцары (куцовлахи)<sup>4</sup> стремились в Сербию, ища приюта и почвы для приложения своего труда и способностей.

Да, то было особенное время для Сербии. Одни полагали в ней свое спасение; другие ее боялись.

Не только югославяне, но и славяне австрийские обратили свои симпатии к Сербии.

Чехи, пригвожденные к стене Бейстом<sup>5</sup>, из своего далека внимательно следили за всем, что делается в славянском Пьемонте, «радостно приветствовали каждый шаг его, указывающий на близость момента, когда он тронется на освобождение своих братьев». Австрийские сербы, хорваты и чехи шли в сербскую службу не ради только собственных выгод, но и во имя славянской идеи.

Россия, конечно, делала что могла в том же духе приготовления к освобождению. Говорили, что из России было привезено много оружия и постоянно отпускаются денежные суммы на вооружение и поддержание воинственного настроения. Присылались офицеры для ознакомления с вооружением Сербии и с предложением услуг советом и обучением. Услуги последнего рода сербы отклонили,



с одной стороны, чтобы не выдавать себя перед другими европейскими государствами, с другой, — уверенные в достаточной подготовке своих собственных офицеров. Вообще, надобно заметить, вследствие дипломатических соображений, прием русским офицерам был весьма неказистым. Но того требовала политика, и потому необходимо было мириться.

Тогда сербское правительство вело «высокую политику», ради которой не только приносились в жертву естественные племенные симпатии, но даже внутренние, домашние дела собственного княжества.

Злоупотреблений масса, благосостояние народа пошатнулось, простые нравственные принципы уступали место казуистике.

Народный орган скупщина задавлена; вся Сербия отдана в руки Николы Христича, министра внутренних дел, который обратил ее в огромную полицию; не только не уважалось общественное мнение, но нарушались права суда. В народе недовольство и глухой ропот, но ему говорят: «Теперь не время разбирать дрязги; мы готовимся на великую борьбу, идем к созданию великого государства; после все уладим». Народ терпел, но в революционных документах там никогда не бывало недостатка, и потому в них шла работа, которая рассчитана была на общее недовольство.

Каковы были действительные намерения сербского правительства, в то время мало кто понимал. Но с тех пор много совершилось и уяснилось истинное положение дел. Князь погиб от руки убийц, опутанный и отчасти подведенный своими приближенными, одними — намеренно, другими — по тупости; а он во главе правительства (с тех пор, как был удален Ристич) один был искренне предан идее возвеличения своего народа путем освобождения его братьев от турецкого владычества. Все же остальное, стоявшее близко к нему, обманывало его, и больше всех, конечно, Блазнавац, которому в руки всецело было отдано это дело. Слепление его было эдиповское: предупреждений масса, в том числе митрополит, пользовавшийся его расположением, если не полным доверием, несколько раз указывал как на грехи внешней политики, так и на опасность, грозившую ему внутри его государства; он был ко всему глух и слеп, веря без завета Блазнавацу и полагаясь на бдительность Христича; но первый его обманул, а второй был сам обманут, и в этом случае народное проклятье, которому предан был Христич, попало не по назначенью.

В это-то смутное время в Болгарии существовал уже комитет, работавший над тем, чтобы подготовить народ к восстанию, когда настанет благоприятный момент, а этот момент зависел от степени готовности Сербии. Таким образом, сербское правительство вошло в сношение с болгарским комитетом, дав еще прежде убежище всем болгарам, по каким бы то ни было причинам вынужденным покинуть свою родину. Оно привлекло к себе и главных вождей болгарских хайдуков, которые прежде действовали на свой страх, держа турок в постоянном напряжении, и постоянным возбуждением болгар постепенно расшатывали и без того слабый государственный организм Турции. Теперь они собрались у сербского очага, готовые по первому знаку выступить вожаками освободителей, или, отправясь вперед, выйти им навстречу со своим народом<sup>6</sup>.

В то время в Белграде проживало несколько хайдуцких воевод. Тут был и Илья Марков из Мелешова — широкоплечий, высокого стана, с правильными чертами лица старик, все еще видный и красивый, со шрамом на щеке и прихрамывавший на одну ногу. Он постоянно был в своем национальном костюме: в белом суконном кафтане вроде черкески, с малиновым фесом на голове и всегда при оружии. Это был весьма добродушный, вечно самодовольно улыбающийся старик, про юнацкие подвиги которого в Македонии было много рассказов. Затем там был Цеко<sup>7</sup>, любивший принарядиться в свой народный костюм и порассказать о своих подвигах. Он некоторое время был пандуром<sup>8</sup> при русском консульстве. Помню я еще Филиппа Тотю<sup>9</sup>, который являлся на короткое время, но больше всех помню Панайота, которого я знал ближе других.

Он постоянно носил обыкновенный европейский костюм, только иногда надевал на голову фес. Это был человек среднего роста, смуглый, как все южане, с густыми, довольно длинными усами, пущенными свободно; черты лица не совсем правильны, именно — кругловатый нос придавал лицу особенный характер; к его типу принадлежат жители Неготинского и Заечарского округов Сербии, заселенных болгарами из Видинского и Нишско-Пиротского санджаков.

По виду он был совершенно ординарный человек, и в нем не было и тени рисовки. Держался он всегда очень скромно, говорил мало, свое мнение высказывал, всегда давши вперед высказаться другим, но при этом видно было, что он вперед думал о том, о чем говорят. На все

у него был свой взгляд и свое мнение, на которых он, однако, крепко не настаивал. Причиной такой уступчивости было то, что мне приходилось видеть его между людьми, которые по образованию стояли выше него, а к образованным людям он питал какое-то особенное уважение, в особенности к молодежи, которую горячо любил и всегда советовал как можно больше учиться. Наука для него была святым делом.

Болгарская молодежь относилась к нему с такой же симпатией, как и он к ней, и уважала его совет, так что он пользовался влиянием на нее; но и это с первого раза было как-то незаметно.

В потребностях он был чрезвычайно умерен: вина не пил никакого, не любил ходить по кофейням и ресторанам, куда его трудно было и затащить хоть на чашку кофе или закусить; вообще он не любил никаких угощений от других. Возмущал его грубый материализм, в особенности по отношению к женщинам, господствовавший в Белграде.

Вдобавок скажу: он был крепкого телосложения, необыкновенно силен и ловок.

Что касается политической тенденции, то она в нем явилась очень рано. Скитаясь по горам и лесам, скрываясь в их пещерах и трещинах, предаваясь разбою, он зорко следил за всем, что делается не только в родных местах в Болгарии, но и в других частях полуострова. Ему было известно произошедшее в 1862 г. столкновение сербов с турками, когда последние начали бомбардировать Белград. Он ожидал, что дело разгорится и обратится в настоящую войну между Сербией и Турцией, тем более что вследствие распространения известий о происшествии в Белграде начались уже кое-где восстания болгар. Зная, однако, как легко взбунтовать народ, но не желая понапрасну губить народные силы, он старался сдерживать эти порывы и в то же время отправил человека в Свиштов, где можно было разузнать, что делается в Белграде. Посланный принес известие, что сербы помирились с турками. «Когда я услышал это известие, — говорит он в своих записках, — чуть не сошел с ума. Мы ожидали этого времени в течение стольких лет, а между тем оно не продолжалось и одной недели. Что делать!».

С этого времени он уже не терял из виду Сербию и до 1868 г. успел побывать в ней три раза. Ездил также в Бухарест, где вошел в личную связь с известным болгарским литератором, поэтом и агитатором, Георгием Раковским, которого знала вся Болгария и прислушивалась к его вещему голосу.

С этого времени Панайот перестает быть хайдуком, сделавшись политическим деятелем.

На этом поприще он оказался далеко не прозорливым. Человек бесхитростный, он сделался слепым орудием сербского министра Блазнаваца, который обманывал и его, и болгар, и весь свет.

Здесь мы должны воротиться немного назад, чтобы дополнить картину политического состояния Сербии. Мы сказали, что Сербия в то время (т. е. в 1867–1868 гг.) была сборным пунктом для всех, кто желал принять участие в восстании, которое ожидалось всеми. Болгарский комитет вошел в сношение с сербским правительством и прислал в Белград до сотни своих молодых людей для обучения военному делу, чтобы они могли явиться предводителями отрядов как офицеры. Цель болгар была образовать свою отдельную роту (чету), так как число их, вместе с присоединившимися к ним другими югославянами, дошло до 300, но Блазнавац не без расчета разместил их по разным ротам сербским. Крайним сроком их приготовления почему-то полагался март месяц 1869 года. Между этими болгарями было много людей, которые сами имели средства, но пожертвовали их на народное дело, а теперь готовились принести в жертву и самих себя. Многие из них были в разных школах и получили некоторое образование. Неудивительно поэтому, что они желали иметь содержание, несколько отличное от содержания простых солдат сербских, а главное — они требовали учения. Между тем в содержании сравнивали их с простыми солдатами, а учение шло плохо: их больше занимали караулами возле каких-нибудь казенных мест или магазинов и разного рода черной работой. Обращение с ними сербских офицеров было самое бестактное и грубое: на каждом шагу они давали им чувствовать, что Сербия оказывает им какое-то великое благодеяние, за что они должны впоследствии признать над собой ее главенство; даже преподавая им географию, Драгошевич доказывал им, что Болгария простирается от Тырнова до Варны, а остальное все должно войти в состав сербского государства. Попрекали их тем, что они едят сербский хлеб. Полковник И. Георгиевич обзывал их «бузаджиями и халваджиями»\*, которые ищут дарового прокормления.

---

\* Продавцы бузы и халвы. Буза — напиток вроде кваса, но гораздо хуже, халва известная и у нас; продавцы их составляют самую последнюю ступень в среде торгующего люда.

«Мы одели вас, — говорил он, — в хорошую одежду и кормим вас пшеничным хлебом, тогда как поселяне наши питаются кукурузой и работают как райя. Вы кормитесь потом наших поселян». Взаимным оскорблениям не было конца; только двух офицеров вспоминает Панайот как людей, хорошо относившихся к болгарам, — Илича и Влайковича.

По поводу взаимных неудовольствий болгарский агент не раз ходил объясняться к Блазнавацу, который все обещал, но ничего не делал.

Стало выясняться, что правительство сербское не только не намерено воевать с турками, но постоянно держится наготове подавить всякое восстание.

Роль сербского правительства по отношению к России была в то время самая предательская: действуя как будто по какому-то уговору с нами, делая разного рода приготовления и принимая от России с этой целью деньги, оно во всех подробностях сообщало обо всем другим европейским консулам и дало им обещание действовать против всякого движения, рассчитывая, конечно, на приличное вознаграждение со стороны Западной Европы; были слухи, что Блазнавац не забывал и самого себя и брал деньги лично для себя, за свои услуги.

Не знаю, насколько известна была эта тактика князю Михаилу; знаю только, что обмануты были Россия и сербский народ.

В самой Сербии кто знал это, тот не мог не возмущаться. Сербия в это время служила самую верную службу своему исконному врагу — Турции. Она привлекала к себе хайдуцких вождей вовсе не для того, чтобы воспользоваться ими при восстании, а скорее для того, чтобы избавить от них Турцию и прекратить начинавшее принимать обширные размеры хайдуцкое движение по всей Болгарии; что и было вполне достигнуто. В сербско-турецких землях влияние Сербии было еще сильнее, и там также влияние это направлено было против всякого движения. Мало этого: сербское правительство преследовало общество сербской *Омладины*, стремившейся к объединению сербов австрийских и на Балканском полуострове, и в этом случае протягивало руку помощи Австрии против своих братьев.

Такая иезуитская политика считалась сербским правительством верхом мудрости: но в понятиях славянских патриотов и народа, на-

сколько он мог это знать, она была низкой изменой. Теперь против сербского правительства были: люди либеральных мнений — вследствие гнета его внутри государства, патриоты разных оттенков — за измену народному делу, австрийские славяне — также, к ним присоединились недовольные изо всех других партий, которых было много: карагеоргиевичевой, гарашанинской и чисто личных. Болгары, видя, что их не учат и обманывают, стали требовать, чтобы их отпустили, но Блазнавац не исполнил их требований на том основании, что не имел ничего от комитета. Это была, конечно, одна комедия.

Раздражение во взаимных отношениях усиливалось, болгары еще настойчивее требовали лучшего обучения и соединения в отдельную болгарскую роту.

В это время уже ясно обозначилась деятельность революционеров, во главе которых стоял замечательный по способностям и по стойкости характера адвокат Пая Радованович, который, однако, сам руководился советами своего брата Любомира, также адвоката и бывшего члена суда, сидевшего в Топчидере в тюрьме за массу злоупотреблений, совершенных в Селовском окружье.

В план их входило, между прочим, совершить переворот у себя, кинуться в Турцию, чтобы и там произвести восстание; причем рассчитывали на содействие болгарской роты как во время переворота, так и после него, при вторжении в Турцию.

Блазнавац, посвященный во все тайны заговорщиков, конечно, оценил ту роль, какую могла принять болгарская рота, и потому еще более имел основание не допускать болгар соединиться, а, наконец, ему уже пришла мысль как-нибудь отделаться от них, но таким способом, чтобы они сами оказались виноватыми. Вздумано — сделано.

Не получая ни удовлетворения своих требований, ни отпуска из службы, болгары решились на крайнюю меру — не идти на службу. В условленный день они все остались в казармах. Такой поступок был принят как нарушение военной субординации, и потому нескольких из них схватили и наказали палками. Это привело всех их в ярость, они хотели убить Блазнаваца, но против них были заранее приняты меры, и удержал их от того болгарский агент, проживавший в Белграде. Тогда они отправились в Бухарест, чтобы выместить свою обиду на чарбаджиях<sup>10</sup>, состоявших в болгарском комитете и так плохо заботившихся об них. Послано было и туда предупреждение.

Цель, однако, была достигнута. Болгарская дружина, мозолившая глаза иностранным консулам и «сделавшаяся бременем для сербского правительства», не существовала более.

Панайот в это время лежал в больнице и потому не мог ничего предпринять, да вряд ли он мог что-нибудь сделать, если бы и не был в больнице. В записках своих он хотя и осуждает сербских офицеров за дурное отношение к болгарам, но тем не менее главную вину сваливает на самих болгар. Он говорит: «Главная причина, по которой чета расстроилась, была та, что молодежь ясно увидела, что с турками войны не будет, и потеряла весь кураж. Я думаю, что молодежь осталась бы в отряде еще год или два, если б ей дали слово, что война с турками скоро начнется и что, следовательно, к ней нужно хорошенько приготовиться. Если бы г. Илич был начальником вышеупомянутой четы, то, наверное, можно сказать, что чета не расстроилась бы и через пять лет — это верно. Когда нет способных предводителей, то все напрасно. Но я должен быть беспристрастным и сказать, *что наибольшую ошибку сделали мы, болгары*. Мы решились составить чету и затем произвести целое народное движение, и в то же время не постарались выбрать для этого людей (выше он говорит, что между болгарами были и распущенные люди, любившие выпить, хотя таких было немного) и составить хороший план своих действий! Когда войско действует без плана и дисциплины, то все напрасно! *Я мог бы сказать еще много об этом предмете; но лучше ничего не говорить, потому что не хочется раскрывать зажившие раны!* Что думало в это время сербское правительство, я не знаю, но только знаю, что это правительство поступило еще более ребячески, чем 200 болгарских юношей»\*.

Приводя целиком это место из записок Панайота, мы останавливаемся на одной черте его характера — на беспристрастии, каким не обладают даже люди с несравненно большим развитием. По натуре горячий и страстный, он сдерживает себя и других ради успехов дела, которому предан был всецело. Он едет в Бухарест по поручению и по совету Блазнаваца, чтобы удержать свою молодежь от пере-

---

\* Славянский сборник. Т. 2. Записки Панайота. С. 94. Последняя фраза в русском переводе стоит так: «От 200 человек болгар потеряло ум и самое правительство», я же изменил ее по немецкому переводу, который вообще верный.

хода через Дунай, где ее ожидала неминуемая и бесполезная гибель. При этом интересны передаваемые им подлинные слова Блазнаваца: «Мне очень жаль, — говорил он, — что это движение состоится. Эти молодые люди пропадут; Болгария небогата такими людьми. Ясно, что *есть здесь какая-то невидимая сила*, которая морочит ваших юнаков и влечет их на явную смерть». Розен в замечаниях на это место говорит, что под именем «невидимой силы» Блазнавац разумел здесь Россию и ее панславистские стремления. Может быть, Блазнавац выразился прямее, но Панайот счел неудобным привести его слова вполне, чтобы не оскорбить России. В то время, действительно, очень много говорилось о русской агитации в Румынии, в особенности указывали (как на самого деятельного) на барона Оффенберга. Розен поэтому с большой похвалой отзывается о Блазнаваце за то, что он был противником панславистских идей, имея в виду специальные интересы своего отечества, Сербии. Панайота он также хвалит с этой стороны.

Разница, однако, между тем и другим громадная. Панайот жил в ожидании, что должно прийти время, когда можно будет произвести восстание; он думал, что еще не настало время для того, и в то же время вполне верил Блазнавацу, что он также ждет этого времени. «Из всего видно, — говорит он, — что если бы произошло восстание, г. Блазнавац помог бы нам явно или тайно». Какая глубокая вера, и вместе с тем какое жалкое заблуждение!

Г. Блазнавац обманывал весь свет; неудивительно, что поддался обману и Панайот. Но он оставался в заблуждении слишком долго даже тогда, когда никто не верил Блазнавацу. Это довольно странно и объясняется тоже особенностью его характера: это — преданность человеку, когда в него уверовал однажды. В своей хайдуцкой жизни он не раз попадался впросак именно вследствие той же причины.

В конце концов вышло то, что Панайот из хайдука обратился в политика и навсегда остался в Сербии, как и другие болгарские воеводы. Во время сербско-турецкой войны и в 1876 г. были слухи, что Ило передан туркам, а Панайот схвачен тоже по подозрению. Все это были сплетни, в которых просвечивало одно несомненное: это — взаимное недоверие между болгарами и сербами и готовность их бросить друг в друга всякой грязью.



Цель сербского правительства была достигнута, оно успело в свое время парализовать болгарское движение, и в этом случае Панайот против своей воли и вопреки интересам своей родины оказал ему большую услугу. Пользуясь вполне заслуженной славой наилучшего вождя, обладая, кроме обычных хайдуцких достоинств — храбрости, находчивости и выносливости — еще необыкновенно твердым характером, спокойным, верным взглядом на дело, он мог бы произвести движение гораздо шире, чем такое произведено было молодежью, которая умела только отчаянно биться и без страха умирать, но не была в состоянии увлечь других и не умела ни беречь себя, ни пользоваться обстоятельствами.

Нельзя при этом не пожалеть Панайота за то, что такая добрая сила сделалась орудием такого недостойного человека, каким оказался Блазнавац.

Вот насколько я знал Панайота лично, знал всю его деятельность и все обстоятельства, при которых она совершалась. Здесь для меня вполне уяснился его характер, и, принимая это личное знакомство за исходный пункт, я возвращаюсь назад к его хайдуцкой жизни, о которой узнаем из его записок.

<...>

### III.

С тех пор как сербы бывшего Белградского пашалыка начали борьбу против турок, болгарские хайдуки не только из ближнего Софийского округа, но из самых отдаленных мест с восточного конца Балкан стремятся к ним на помощь. Множество их находилось в войске Карагеоргия. При этом розни между сербами и болгарами никакой не бывало. Многие из болгарских хайдуков поселились на сербской земле, обзаводились семьями там или приводили свои семьи из Болгарии и занимались земледелием. В южной и юго-восточной части Сербии они встречали множество своих земляков из Софийского и Видинского округов, которые там поселились уже давно и уже совершенно слились с сербами.

Деятельность хайдуков усиливалась во время войны Турции с какой-нибудь из европейских держав, причем мирные жители раз-

бегались из страха опустошений и насилий не столько от вторгающегося неприятеля, сколько от своих защитников-турок, хайдуцкие же дружины присоединялись к иностранным войскам; в особенности русские встречали в них всегда самый горячий отзыв. После каждой войны множество болгар и между ними хайдуков уходило в Россию вслед за русскими войсками.

Таким образом, в позднейшее время периодами усиления хайдуцких шаек были: в начале нынешнего столетия, когда шла война за освобождение Сербии; во время русских войн в 1828–1829 гг.<sup>11</sup> и в 1853 г.; после этого времени они действуют в связи с болгарскими политическими агитаторами, каким был сначала г. Раковский, а потом целая партия болгарской образованной молодежи, которой удалось привлечь богатых болгар, проживающих в Вене, Бухаресте, Одессе и других городах, и образовать комитет. Самое удачное действие их было в период 1860–1867 гг., когда турецкие паши действительно теряли от них голову. Затем в Румынии формируются небольшие отряды из молодежи, которые отправляются в Болгарию под предводительством Караджи, Хаджи Дмитрия и др[угих], но это уже не были настоящие хайдуки, и успеха они не имели почти никакого.

С этого момента болгарское хайдучество сливается с революционной молодежью и совершенно утрачивает свой первоначальный характер. Деятельность их с 1870 г., а также во время войны сербов с турками в 1876 г. и нашей прошлогодней войны мне совершенно неизвестна.

Не только война Турции с внешним неприятелем, но и всякие смуты, происходившие внутри нее, усиливали хайдучество, поэтому особенно сильно действовало оно в конце прошлого и в начале нынешнего столетия, когда Турция потрясена была, с одной стороны, непрерывными войнами с Австрией и Россией, с другой, — власть султана ослаблялась вследствие усиления янычар. Предпринятые Селимом III реформы дали последним повод к еще большему возбуждению против султана, и к этому присоединились улемы, а за ними неудовольствие проникло и в массу.

Если война была бедствием для страны, то с окончанием ее бедствия эти не прекращались: толпы солдат, привыкших к грабежу во время войны, не слагали оружия, пускались бродить и грабить мирных жителей. Они были несравненно хуже обыкновенных

хайдучков, потому что составляли большие партии и действовали открыто, прикрываясь своим военным званием.

Из такого порядка вещей возникли *кирджалии* (по-турецки значит «разбойник пустыни»), которых набиралось в разных местах до 25.000 и более. Это было организованное войско, которое состояло под командой настоящих *бимбашей* и *булюкбашей* (турецкие военные чины). В продолжение 12-ти лет они жгли деревни и города по всей Турции и навели страх на Константинополь. К ним стекались не только турки, татары и албанцы, но также босняки и болгары; всех объединяла одна цель грабежа. Султанское войско не раз было разбиваемо ими, и жители оставались беззащитными. Память о них осталась в народе до последнего времени. По этим воспоминаниям Панайот рассказывает: «Никакое перо не в состоянии описать тех злодейств, которые совершали кирджалии в Болгарии! Весь Балканский полуостров горел с одного конца до другого. Сохранились в целости лишь несколько городов и больших сел. Все маленькие села превратились в пепел. Когда они видели какого-нибудь красивого мальчика, красивую женщину или миловидную девушку, то брали их с собой и делали с ними всевозможные бесчинства. Жены у них назывались *гевендии* (любовницы), а мальчишки *юлане* и *кьочеки* (маленькие мальчишки).

В подобного рода бесчинствах помогали им цыганки, которые верхами ехали в их рядах, так же, как они, вооруженные».

Мучить людей, слышать их стоны, видеть их страдания составляло для них истинное наслаждение. Французский путешественник Пуквиль (*Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie...*, 1805)<sup>12</sup> передает следующее признание старого албанца: «Я был воеводой разбойников. Поймите мое удовольствие, когда я проводил веселую разбойничью жизнь в Румелии. Опустошивши какую-нибудь деревню, я наслаждался видом рыдающих женщин, которые приходили вымалывать жизнь своим мужьям, я уступал их просьбам, и можете судить, какую гордость я чувствовал в своем положении».

Первое появление их было в Родопских горах, а потом они охватили почти весь полуостров. Впоследствии они нашли убежище и поддержку у Пасвант-оглу, видинского пашы, имевшего широкие замыслы: отложиться от султана и завладеть не только Болгарией, но и Румынией. Когда началось восстание в Сербии, они кинулись

туда. Отдельные личности держались долго и потом принимали участие в освобождении Греции.

В это-то смутное время образовалась одна кирджалийская шайка из болгар под предводительством Караколя и Индже-воеводы. Вот рассказ о них Панайота: «Сначала Индже-воевода был простым разбойником и водил с собой только 70 товарищей, но когда появились турецкие кирджалии, он собрал около 500 человек конницы и стал злодействовать над мусульманами и христианами. Старики рассказывают, что Индже убит был деревенским мальчиком. Это убийство случилось так. В одной деревне был праздник, и кирджалии, переодевшись, ходили по праздникам и бесчинствовали. Один молодой болгарин, узнав, что на празднике будет Индже, задумал по неизвестной причине, убить его. Едва только показались кирджалии, этот парень приложился к ружью и свалил Индже на землю. Бабы рассказывают, что, когда Индже хоронили, земля три раза выбрасывала его, потому что он был очень грешен. Все это заставило народ исполнить следующий суеверный обряд: болгары убили собаку и закопали вместе со знаменитым разбойником. Караколя остался с 60-тью человеками пешей дружины и ходил с ними по Фракии еще 10 лет. Дорога между Сакар-Планиной и Бакаджиком еще и теперь начинается Каракольевой дорогой. На Средней горе близ селения Чанакчио находится колодезь, который точно также называют Каракольевым. Он был родом из Омарчева близ Ени-Загары. Турки и поныне называют поселян той деревни «Омарчо хайдутлары», хотя эти поселяне — самые кроткие и самые мирные люди на свете. Про Индже-воеводу и Караколя поется болгарами множество песен, но я не желаю приводить их, потому что им здесь не место».

Панайот недоумеваает, каким образом турецкое правительство, выдерживавшее войны с такими сильными державами, как Россия и Австрия, не могло справиться с кирджалиями, и потому видит в том поощрение самого правительства с целью истребить болгарский народ, но оно спохватилось тогда, как начались прямые восстания Пасвант-оглу, Али-Паши Янинского и Карагеоргия.

Редактор болгарского издания, не соглашаясь с мнением Панайота, добавляет: «Если бы Индже и Караколя обладали умом, воодушевлены были патриотизмом и проникнуты народным самосознанием, и если бы народ наш в то время был пробужденнее, тогда они в Болгарии сделали бы то же самое, что Карагеоргий в Сербии».

Как бы то ни было, а у кирджалей, равно как и у их болгарских последователей, не было никаких других задач и целей, как грабить и насиловать; это были толпы хищников, порожденные безурядицами, господствовавшими в самом турецком правительстве. О них, все равно как о знаменитых Индже и Караколья, у болгарского народа остались самые мрачные воспоминания: Панайот не хочет даже и приводить и песни о них. Так они противны хайдуку, у которого есть патриотическое чувство, есть иное, высшее, стремление.

Постоянный грабеж и резня, хотя бы по нужде или в отмщение за народ, в конце концов зачерствляют человеческое чувство, притупляют в человеке сознание дурного и, затемняя истинную цель и идею, становятся не средством, вынужденной необходимостью, а главной задачей. Интересен в этом случае рассказ Панайота, передаваемый им со слов Ильи Маркова, о Корче Сарайлии из деревни Сарая Струмницкого округа:

«Вместе с отцом он пас овец у одного турецкого бей; как вдруг напала на овец какая-то болезнь, и они стали издыхать. Разъяренный бей, не разбирая причины, бросил отца в тюрьму; тогда сын пригрозил ему отомстить. Бей отомстил, однако, раньше, бросивши отца в отхожее место, где он и погиб. Чаша была переполнена: Корчо уходит в горы, собирает дружину и начинает разбойничать, убивая и грабя всех беев без разбора. Много раз он терял всю свою дружину, но собирал новую и снова производил опустошение. Однажды встретил Корчо одного из беев в деревне Дабилове. Этот кровопийца сирот ехал на прекрасной арабской лошади, а за ним шла целая толпа конюхов, аланов и чибукчиев, одетых в богатые одежды. Этот бей был еще молод. В одно мгновение дружина окружила тирана, сбросила его с коня, и на него наступило около ста людских ног, и в страшной ненависти топтали его в грязи. Хайдуки отрубили ему сначала руки и ноги, а после — голову, которую один из них, вздевши на палку, носил перед дружиною. Для Корча и его дружины это было большое торжество. Молодцы вышли отсюда в путь очень веселые и пели песни».

Чувствуя весь цинизм такой сцены, Панайот добавляет: «Нужно заметить, что этот бей был из тех тиранов, которые не останавливаются ни перед каким преступлением. Множество бедных людей погибло под палками, много жен и девушек было им обесчещено,

много мальчиков силой обращено в магометанство, многие мальчики обесчещены им скотски, или, вернее сказать, азиатски, потому что скот гораздо благонравнее турка».

Десять лет Корча хайдуковал, а потом купил несколько лошадей, переделался купцом и уехал куда-то. Где он пропадал еще 10 лет — никто не знает.

Говорили, что он помогал против турок сербам и грекам в надежде получить и от них помощь для освобождения болгар, но, когда увидел, что каждый думает только о себе, бросил их и, набрав до 300 юнаков, явился в Видин к услугам Пасвант-оглу. С тем, однако, не поладил, потому что он — турок. Тогда он напал на Струмницу, изрубил почти всех ее жителей, не разбирая, были ли это турки, болгары и греки, зажег город и опустошил всю окрестность.

«Таково было мщение этого удивительного человека, — снова добавляет Панайот. Вместо того чтобы напасть на бея, погубившего его отца, и избавить народ от тиранства, он истребил и самый народ! Кто может нам сказать, что лежало на душе у этого человека? Я не обвиняю его, потому что, когда злодей бросил отца его в грязное место, граждане смотрели на это равнодушно и не подумали о том, что несчастье этого старика есть несчастье всех христиан. Если тогдашние чорбаджии были похожи на нынешних, то, безо всякого сомнения, они помогали туркам совершать против райи различные злодеяния; следовательно, Корчо этим исполнил только долг по совести и убеждениям».

А вот вам откровенная исповедь Панайота о самом себе. В 1867 г., побывавши в Сербии, он прибыл в Бухарест, чтобы повидаться со своими политическими вождями, и по договору с ними переправился с дружиной через Дунай, направляясь к Балканам, где намеревался произвести восстание, рассчитывая, что такое же восстание произойдет одновременно в Фессалии и Эпире. После переправы он был замечен несколькими турками, которых, однако, успели тут же убить. «Турки эти, — говорит он, — были зарезаны совершенно напрасно, но нужно говорить правду: могли ли мы поступить иначе? Если бы мы выпустили их живыми, то не могли бы спасти своих голов. Они могли бы дать знать о нас войскам, расположенным в Осман-Базаре, Эски-Джуме, Разграде и Шумле, и нам пришлось бы постоянно с ними возиться. Чем они будут бегать да призывать войско,

которое будет за нами гнаться по Дели-Оршанским равнинам и Черлову, то лучше будет, если мы их зарежем, сказал я своей дружине, и мы их резали. *Если бы мы были на Балканах, то эти турки остались бы живы.* <...> Однажды мы заняли безопасную позицию на реке Тичи и, измученные бессонницей, голодом, усталостью и постоянно тревогой, хотели отдохнуть. В это время один турок догнал нас и спрашивает: “Куда мы идем?” Я велел его взять и связать. “Куда вы хотите меня вести?” — спросил он. “К майору”, — ответил я. Турок, не признавший в нас болгар, сказал на это: “Развяжите меня! Стыдно своего человека водить связанным. Разве вы не знаете, что Бог создал муки только для гяуров? Грех мучить вам магометанина”. Услышав эти слова от турка, я немедленно велел его повесить, чтобы доказать, что Бог дал муки не для одних гяуров. “Частицу мук нужно уделить и османлиям, — пояснил я турку, — потому что болгарам нести их одним слишком уже тяжело”».

Здесь в первом случае мы видим только применение обычного житейского принципа: «*Ote toi de là, que je m'y mette*»<sup>13</sup>, в другом же случае — чувство мести и ожесточения, какое немислимо во время правильной войны. В войне, особенно поднятой не вследствие народного энтузиазма против врага, а просто по политическим соображениям, можно требовать более спокойного отношения, большей рассудительности и сдержанности; здесь же это почти невозможно, потому что встречаются лицом к лицу враги, лично ненавидящие друг друга, имеющие массу поводов взаимных обид и оскорблений, которые вскипают в минуту при одном воспоминании о претерпленном.

Вот еще случай.

Решились хайдуки убить и ограбить одного кади, который обидел и осудил много христиан и нагребил себе большие богатства. Окружили его дом в городе, пользуясь темной ночью в зимнюю выюгу, разломали забор, вошли во двор, но были замечены двумя его женами, которые успели предупредить; кади встретил их с пистолетами в руках, в доме поднялась тревога. Ему сразу отсекали руки, а слуг перевязали и забрали все, что нашли: множество золотых и серебряных вещей и кису с червонцами. «По окончании дела, — продолжает Панайот, — нужно было подумать, что делать с кади и его семейством. Я был того мнения, что нужно перерезать его жен и детей, потому что, если оставить их живыми, они легко могут узнать кого-либо

из нас и выдать. Но мои товарищи были из числа тех людей, которые желают много получать, ничего не жертвуя. Мои товарищи привыкли равнодушно сносить то, что турки режут наших, и сами боятся зарезать хоть одного турка. Понятно, что мне не оставалось ничего, как согласиться с ними, так как они вправе решить дело, в котором сами рисковали (все они были из Сливена, где совершено убийство)».

Этот упрек в мягкости, делаемый Панайотом постоянно своим товарищам-хайдукам, кажется странным, если взять в соображение, что он должен бы быть еще мягче, так как им руководили больше идея и патриотизм, а не личное чувство. Из личного знакомства с ним впоследствии никак нельзя было представить его жестоким человеком.

Приведем еще два-три случая из жизни Панайота, чтобы еще более выяснить себе причины, вызывавшие в нем, по-видимому, человеку мягком, такие безжалостные отношения.

Узнавши в одной деревне от жителей, что их страшно притесняют недавно поселившиеся там татары, Панайот с дружиной отправился туда: «Мы отправились в их деревню и застали там несколько старшин. “Зачем вы угнетаете этих людей штрафами?” — спросил я их сердито. “На это мы имеем разрешение султана, — отвечал один из них, — Высокая Порта дает нам преимущество перед всеми райями; мы — магометане”. Слово за слово, мы поссорились, схватились за ружья и пистолеты. Татары оказались трусами. В этой схватке их пало мертвыми 16 человек и 10 ранено. Наказав татар — “мусульман, имеющих преимущество”, — мы пошли на Балкан и остановились на Котлинской дороге. Здесь нам сказали, что сеймены (жандармы) пришли незванные на свадьбу одного бедного болгарина и обесчестили его невесту. Это так возмутило нас, что мы решились мстить такое бесчестие всем туркам. Нам попалось несколько турок из Северной Болгарии, которые возвращались домой из Карнобада. Мы напали на них и изрубили всех до одного, взявши при этом от них 36.000 пиастров. В продолжение трех дней мы убили 60 “правоверных”, проходивших мимо нас. Спустя несколько дней мы схватили еще 10 человек купцов, частью из Тырнова, частью из Сливена, которые, хоть и были турки, но мы их отпустили, потому что большинство были старики и миролюбивые люди. Любопытно было посмотреть на этих магометан. Они, которые прежде, в молодости, с возмутительным



зверством мучили райю, теперь, чувствуя свое ничтожество, с испуга трепетали перед нами. Их воображению представлялось все, что только может представиться трусу — ужасного, ничтожному — униженного, отчаянному — мрачного. Они целовали нам ноги, молились на нас, как на Магомета, и множество раз повторяли, что у них дома остались жены и дети. *Как будто болгары, которых они почти каждый день убивают — существа без сердца и без души!* Отпуская, мы им посоветовали деньги, которые мы от них взяли, вытребовать от паши, которого долг — охранять против хайдуков как магометан, так и христиан».

Свое повествование о 1861 году Панайот оканчивает так: «Могу похвалиться, что в продолжение этих немногих лет мы отомстили за многих несчастных, пострадавших от турок. Потому что, как только нам сообщали, что в том или другом месте совершена была турками какая-нибудь несправедливость или зло, мы спешили на помощь нашим угнетенным братьям».

Да, хайдуцкое сердце должно быть жестокое, оно другим не может быть; сожаление к единицам не может быть там, где оно должно повести к гибели сотни своих несчастных страдальцев, ради спасения или отпущенья которых человек пошел в гайдуки. Защитник народа должен быть готов на все. Вспомним, как Карагеоргий убил своего отца, чтобы не допустить его до измены — выдачи туркам плана готовившегося восстания. Дай он совершиться этому факту, Сербия еще простонала бы под турецким гнетом, который был бы, конечно, еще горше, чем прежде.

Вот еще случай, рассказанный Панайотом.

На одном из переходов захворал в его дружине юнак Иван Капетан; болезнь его была в такой степени, что должны были остановиться и пробыть на месте два дня для его лечения, но это оказалось невозможно. «Иван беспрестанно требовал воды, — говорит Панайот, — и вначале мы давали ему понемногу. Но, когда увидели, что ему уже не подняться, мы дали ему волю делать, что хочет. Мы, однако, должны были идти далее (за нами была погоня), и тут являлся вопрос, что делать: оставить его живым или убить? Он сам умолял нас не оставлять его в живых, потому что ему жизнь была мученье, итак, мы должны были решиться по его желанию избавить его от страданий».

Непривлекательна же эта жизнь; а, между тем, она из двух зол лучшая. В жизни каждого хайдука есть сильные причины, заставившие его переменить тихую, мирную жизнь на вечное скитальчество, потому что однажды вступившему в хайдуки нет уже возврата. Болгары — чрезвычайно работающий народ и вовсе не склонны к авантюризму; но грустная, тяжелая необходимость толкает на этот путь, и в этом весь трагизм их положения.

Панайота двинули на этот путь ряд неправд, совершенных против него людьми, которые носили звание блюстителей закона, защитников правых и карателей всякого беззакония.

Когда он мальчиком еще пас овец с другими пастухами, вооруженные турки напали на них, ограбили их хижину, а его захватили в плен и послали к отцу его требование, чтобы он прислал 1000 червонцев или, в противном случае, чтобы пришел собрать кости своего сына. Находясь в плену, он ждал решения своей участи, как вдруг раздался выстрел и один турок повалился, остальные с испуга бежали, пользуясь чем, бежал и он. Вдогонку за собой он слышал ругательства, но догнать его не могли. «В предобеденное время я был уже дома, — говорит он, — к обеду пришел отец мой, и тут только я узнал, что был спасен своим отцом».

С этого времени он уже не был больше пастухом и принялся торговать; но трудно продавать азиатам за три пары\* три сыра и слушать при этом всякие ругательства. Бросил он эту торговлю и стал мясником. И тут беда: чиновники брали мясо в долг и долгов никогда не платили; с одного губернаторского дома нужно было получить 4000 пиастров (240 руб). В три года он потерял половину своего капитала. «Поди ты, занимайся торговлей в государстве, где нет никакого порядка, где господствующий народ весь состоит из воров».

После у него вышло столкновение с властью. Кади прислал к нему заптия (полицейского служителя), чтобы он явился в суд. Стыдясь идти вместе с заптием — как бы под конвоем, Панайот просил его дозволить ему прийти немного спустя. Заптий заявил решительно, что вследствие приказа кади он без него не уйдет. Когда шли по улицам, Панайот заметил, что люди на него смотрят и пальцами показывают. Обидно стало это и горько. Он просит заптия идти немного подальше спереди или позади. Заптий ни на что не соглашается и, вдобавок,

\* Пара — 1/40 пиастра, который равняется 6 коп.

схватил его за шиворот и потянул к себе. «Такое нахальство турка вывело меня из себя, — говорит Панайот. — Я схватил его в охапку, швырнул в грязь и начал топтать ногами». После этого Панайот обратился с просьбой заступиться к чорбаджиям, но те напустились на него же. «Разве ты не знаешь, что мы не смеем сопротивляться туркам?» — говорили они. — Хорошо бы было, если бы кади велел тебе на шею петлю накинуть. Негодяи и умирают негодной смертью». — «Будьте вы прокляты», — подумал я про себя, но не сказал ни слова.

Вскоре явились заптии и повели меня опять к кади. Меня приговорили к 50 ударам палками по пятам, но заптий, которого я избил, был так человеколюбив, что простил меня и выпросил мне прощения у кади. Он, надобно заметить, был в зависимости от моих родных и боялся потерять кусок хлеба».

Затем несправедливо была решена судом его тяжба с замужними сестрами: у него отняли дом и заставили заплатить еще 200 червонцев. Во время суда кади не давал ему слова сказать, продолжая кричать: «Молчи, гяур! Я не хочу тебя слушать. Ты достоин только виселицы!»

Судя попросту, во всем этом не было ничего ужасного: турки хотели попользоваться от его богатого отца деньжонками, но за то сами заплатились смертью одного из своих, а отцу и ему не сделалось ничего; чиновники не платили долгов — это было в порядке вещей; заптий взял его за шиворот, но других он лупил палкой, и это терпелось, потому что в обычае; суд несправедливый, да для кого же он был справедливый? Но за побои заптию, чиновному лицу, и еще во время отправления им службы, его могли повесить как бунтовщика, а его присудили только к палкам и то простили.

Это не то, что у других хайдуков: убили отца, обесчестили дочь, сестру, сожгли дом, он тоже убил турка; такому остается только на кол, или на виселицу, или бежать в горы.

У Панайота ничего подобного не было, а между тем он вот что говорит: «После этого на душе у меня стало так тяжело, что я решился продать все свое имение и пойти куда глаза глядят...»

И он исполнил, на что решился. «Мое сердце искало свободы, искало честности, искало правды, — говорит Панайот. — Только Старая планина могла удовлетворить моим желаниям. Философы гово-

рят, что мщение свойственно только диким, кровожадным народам; я утверждаю, напротив, что оно свойственно человеку, который дорожит своей честью, который имеет душу и сердце, который имеет слишком высокое понятие о своем человеческом достоинстве, чтобы дозволить поступать с собой как со скотиной. Когда я вышел гулять по Старой планине, тогда у меня была одна цель: отомстить турецким негодьям, которые не имеют никакого понятия о чести, человечности и справедливости».

После турок его ненависть обращалась на чорбаджиев, которые, будучи православными болгарам и, не имея права занимать должности в государственной службе, прислуживали чиновникам в качестве поставщиков и подрядчиков, менял, ростовщиков, сборщиков податей и т[ому] п[одобное], и потому пользовались большим влиянием и на самих чиновников, а свой народ угнетали не хуже турок; весьма редкие между ними были друзьями народа и оказывали ему защиту.

«Наши чорбаджии, — говорит Панайот, — хуже самих турок и фанариотов. Несколько чорбаджиев из Елены чуть не продали нас за 30 сребренников. А называются еще болгарам и православным христианами! Сделаться предателем, убить ближнего и натворить зла своим братьям, православным христианам, для них — обыкновенная вещь и естественное дело. Только бы нам уцелеть, <...> если Бог не отомстит им, мы им отомстим!» Страшные слова, но они стоят в статье, которая озаглавлена словом «Предатели» и действительно преисполнена возмутительных вещей. Предательства, измены и уходы из дружины беспрестанно из трусости, из-за денег, из желания выслужиться и получить место; но все это оказывается заблуждением и глупостью. Панайот проклиняет их; но, наконец, когда узнает, что изменил недавно приставший, умолявший принять его в товарищи Бойчо, тогда он восклицает: «Вот еще одно неслыханное чудо! Как мог этот умный и рассудительный человек сделать подобную глупость? Не знаю. *Однако подобные чудеса случаются у нас очень часто!*»

Читая его рассказы как о событиях, им самим испытанных, так и из жизни других воевод, к которым он относится с большим почтением, то и дело встречаешь предательства и несогласия, доходящие до такой крайности, что, кажется, и трое, и то не могут поручиться, что кто-нибудь из них не изменил, не рассорился и не отошел,

не разбирая ни времени, ни обстоятельств. Так что становится гадко это читать. Не верить, однако, нельзя: мне лично иное известно из рассказов других, иное представляется достоверным по аналогии; вдоволь насмотрелся я на это, бывши в Сербии, слишком много фактов, подтверждающих это, дает нам история.

Поэтому нельзя не признать совершенной правдивости следующих слов болгарского хайдука: «Несогласие — самая главная наша болезнь, которая не позволяет нам стать людьми и быть полезными своему отечеству и самим себе. Большая часть наших народных представителей погибла или от предательства, или от внутреннего несогласия. Если бы между нами не было проклятой зависти, мы бы наделали чудес».

Кипит у него злоба против высшего духовенства, большей частью из фанариотов или их болгарских прихвостней. Так, в числе предателей он упоминает в Берковце архиерея Кир-Дорофея, которого обыкновенно звали Дорчо-эфенди, потому что он был больше турецкий чиновник, чем добрый пастырь и служитель церкви. «Этот болгарский выродок, — говорит он, — наделал болгарскому народу много зла: много людей предал, многих ограбил и обесчестил. Я не перестаю удивляться болгарскому терпению: как до сих пор не найдется между болгарами патриот, который бы *пособоровал бы маслом* этого болгарского турка? Или у вас нет ни смелости, ни честности, ни юначества? Кто убьет Дорча, тот войдет прямо в рай, потому что избавит народ от большого зла. Еще не поздно...» Редактор примечает, что по его предательству был арестован доктор Миркович; что он обыкновенно старался опутать того, у кого было много денег или молодая жена, чтобы потом взять выкуп.

О болгарях, живущих по северную сторону Балкан, он говорит как о самых негостеприимных к хайдукам, там постоянно их выдавали и преследовали; жители, сидящие близко к Адрианополю, по его словам, очень забиты. Зато он ценит высоко болгар горных, особенно на южной стороне Балкан. Может быть, по пристрастию он отдаст особенную честь жителям Сливенского округа. Отобрав дружину в 12 человек, он добавляет, что они все почти были из Сливена и его окрестностей, как бы желая этим сказать: молодец к молодцу. Других же он обвиняет в трусости и ненаходчивости. В нравственном отношении он отдает преимущество поселянам перед горожа-

нами. «Если простой добрый поселянин имеет доброе имя и честное сердце, то у него великая душа. У неиспорченного болгарина душа чище алмаза. Кто ездил по болгарским селам, тот должен признать, что в Болгарии есть люди, есть добрые сердца и чистые души, которые даже и под тяжелым рабством, во мраке невежества носят в груди своей семя будущего болгарского развития и нашего будущего счастья. Между этими честными душами и между городской *грязью* нет ничего общего». Он приводит ряд случаев, где эти болгары оказывались истинными патриотами и великодушными людьми. При всей ненависти к туркам, исконным врагам своего отечества, которым он мстит, где только может, чувство правды, глубоко сидящее в его душе, заставляет его признать, что в той надменности, с какой турок смотрит на христианина, виноваты сами болгары.

Приведем поэтому вместе с рассуждениями Панайота довольно характерный рассказ, давший повод рассуждению.

Одной хайдуцкой чете попался в руки кади с сыном, у которого в гареме находилась силой увезенная и обращенная в магометанство дочь филиппопольского жителя Кунчо, находившегося тут же в шайке. Воевода дал приказ немедленно заколоть обоих. Но кади умолял хайдуков сделать с ним что хотят, только пощадить сына. «Разве ты любишь своих детей?» — спросил Кунчо, бросив на него свирепый взгляд, но в то же время две крупные слезы скатились по его грубому лицу. Увидавши это, кади подумал, что в хайдуке явилось уже чувство сострадания, и начинает также плакать. Тогда воевода Дончо сказал: «Посмотрите, как этот зверь, никогда не знавший сожаления к чужим детям, плачет о своем ребенке». Многие из товарищей стали просить: «Оставьте ребенка, не нужно его убивать!» «Послушай, кади-эфенди, — сказал на это Кунчо, обратившись к безоружному, пресмыкающемуся тирану, — ты плачешь о своем сыне и молишь не убивать его. А знаешь ли, кто я? Я — тот, дочь которого ты до конца погубил, сына которого ты хотел убить, у которого разрушил дом и уморил жену. Что ты думаешь, у нас, у гяуров, родительское чувство слабее, чем у вас, мусульман?» К удивлению всех, турок начал смеяться. «Чему ты смеешься?» — спросил Кунчо. «Ну, — отвечал кади, — смешно! Как это: раб, христианская собака, неверный скот ставит себя наряду с людьми и болтает мне о родительской любви! Ты нисколько не лучше, чем бык, осел, мул, и ты осмеливаешься

приравнивать себя к магометанину? Как будто у животных есть родительская любовь!» «По понятиям этого человека христиане, то есть рабы, не имеют ни родительской любви, никаких нежных побуждений сердца, вообще не имеют души», — заметил Дончо, печально покачивая головой.

«Турок совершенно прав, — добавляет к этому рассказу Панайот, — если признает за людей только своих единоверных. Скажите мне, может ли он иметь о нас другое мнение, если мы каждый день на деле доказываем, что мы — волю, что мы стоим ниже скота, что мы ничего не стоим, как только быть рабами? Разве вы не видите, сколько таких рабов ползают на коленях перед каким-нибудь надменным эфенди и предлагают ему своих жен и дочерей, чтобы только услышать от него ласковое слово “аферим кахпоолу” (молодец, каналья!)? Разве мы не видим ежедневно отцов, которые считают себя счастливыми, если их сыновья поступают на турецкую службу *огланами* и *чибукчиями*? Разве мы не видим ежедневно матерей, которые гордятся тем, что их дети сделались турецкими шпионами и палачами своего народа? Больно подумать о том! Собственными ушами я слышал, как многие наши образованные шуты превозносят до небес и титулуют пышными именами — *эфенди, ага, челеби* — различных Петраки Златов, И. Чарапчиев, Стоило Попов, Хаджи-Иванчо, Хаджи-Величкеев, Криспович, Яким Груев и др[угие]. (имена знатных болгар, состоящих на службе Порты). Будь проклят тот болгарин, который идет в турецкие чиновники, проклят и тот, кто это чувствует и превозносит! Я уверен, что проклятие мое попадет куда следует, потому что оно истекает из сердца чистого, которому противно наше собственное ничтожество. Да будут благословенны хайдуки! Боже милостивый, услышь мою молитву!»

В Панайоте мы видим тип хайдука-патриота, у которого чувство своей личности совершенно слилось с чувством его отечества; для него страдания отечества — его собственные, он стремится к его счастью, как к своему личному счастью. Нет сомнения, что такое широкое чувство развилось в нем впоследствии под влиянием связей его с образованными людьми. Но чувство справедливости и ненависть ко всему, что это чувство оскорбляет, глубокая и горячая любовь к своему народу и стране и злоба, пылающая непримиримой местью против его угнетателей-турок, составляют основные черты его

характера, народившиеся и возросшие в нем в его родной обстановке, в семейных воспоминаниях, в горах, где он чувствовал себя свободным, и в среде их честных, великодушных обитателей, у которых, по его прекрасному выражению, душа чище алмаза. При всем мрачном колорите, в каком являются болгары в его записках, люди, как они, своим примером доказывают, что там не все поколение гиблое, а есть люди с душой и сердцем, которые и составляют надежду будущей свободной Болгарии.

Отнявши у него все, что, видимо, привилось ему после, вы увидите, что он представляет не одиночное явление среди болгар. Его записки представляют несколько весьма высоких личностей. Возьмем, например, Донча-Вотаха. Вот как изображает его Панайот: «Что за причина заставила этого человека сделаться хайдуком и истребить столько сотен турецких негодяев — я не знаю; знаю только, что целью его деятельности было преследовать турок-лиходеев и помогать несчастным болгарам. Подобные хайдуки — редкие люди в нашем отечестве! Дончо нападал только на злодейские турецкие шайки, на заптиев и на болгарских чорбаджиев, последних он никогда не убивал, а только отнимал у них деньги и отпускал живыми. Отнятые у богатых людей деньги Дончо раздавал сиротам, т. е. покупал им быков, платил за них подати и давал им в долг. Особенно прославился он в адрианопольской и демотицкой нахиях. Он обращал в бегство целые батальоны турецкого войска, а потому его считали состоящим под покровительством высших существ “самодивов”. Он умел в то же время приобрести уважение и своих врагов. Так, однажды его выпустил из адрианопольской тюрьмы тамошний паша, потому что ему жаль было погубить такого *добророго* юнака». Но были и еще другие в этом роде. Несколько напоминает его Илья Марков, бывший в одно время с Панайотом в Белграде, про которого он сам так сочувственно рассказывает.

Должно указать еще одну прекрасную черту в Панайоте. Это справедливое отношение к другим, чуждое всякой зависти или пристрастия. Он никогда не старается выставить себя на счет другого: ко всем старым воеводам, равно как и к воеводам своего времени, он относится с полным уважением; каждому юнаку старается воздать должное. Он братски оплакивал Паскала, который сделался изменником, а потом был отравлен молодежью, чтобы он не мог выдать



туркам все тайны. «Очень жаль было этого доброго юнака, — говорит Панайот, — который заслуживал умереть не такой собачьей смертью. *Редко рождаются подобные юнаки*».

Как тяжело ему рассказывать о малодушии юнаков, так радостно сообщает он, если доброму юнаку пошлет Бог юнацкую смерть. Про Цеко Горленчонина он рассказывает, что нишскому паше удалось уговорить Цеку сложить оружие и жить мирно, обещая ему за то полную амнистию. Такое дело бывалое; Илья Марков несколько раз от хайдучества обращался к мирной жизни. Тут, однако, случилось иначе. Его хитростью схватили, связали и осудили на смерть. Но когда вели к виселице, он успел развязать правую руку и начал бить вправо и влево. «Таким образом, — добавляет Панайот, — храбрцу удалось убить несколько человек турок и *умереть, как следует умирать юнаку*. Турки искололи его тело сотнями глубоких ран. *Я бы желал подобной смерти каждому болгарскому юнаку. Лучше умереть, защищаясь зубами, нежели висеть на виселице как баран или бешеная собака!*».

## V.

Мы не останавливаемся на внешней стороне болгарского хайдучества, потому что она достаточно описана у Безсонова (эпос сербский и болгарский)<sup>14</sup>, в предисловии к русскому переводу записок Панайота, и еще более обстоятельно, хотя под особенным углом зрения, в таком же предисловии к немецкому изданию г. Розена. Этой стороной оно совершенно сходно с сербским, которое также у нас описано и в недавнее время с достойной оценкой явилось в статьях Пыпина в «Вестнике Европы»<sup>15</sup>. Нам хотелось охарактеризовать тип хайдука, уловивши и узнавши его внутренние побуждения, его душевные помыслы, цели и желания, к которым он стремится путем скорбным, тернистым, на котором легко заблудиться, совершенно уйти от цели, легко изувечиться нравственно и сделаться вместо защитника бичом и позором для своего народа. Простому разбойнику, преследующему одну личную цель — наживу на счет ближнего путем грабежа и убийства, хайдуки дали особенное название *кокошар*, что можно бы перевести русским словом *куроцап*. Но мы видели при-

меры, что и настоящий хайдук, не кокошарин, по какому-то ослеплению, по безумному увлечению страстью гнева и мести обращает свою губительную деятельность вовсе не в эту сторону; и наоборот, простой разбойник обращается в хайдука-патриота. Это стоит в прямой зависимости от большего или меньшего заблуждения народного духа. Войны за свободу в Сербии и Греции, войны России с Турцией вызывали партии хайдуков, которые представляли собой народное войско. Резкого различия между хайдуками того и другого рода провести нельзя: оно зависит от характера стоящей во главе личности и от обстоятельств. Хайдучество порождалось не вследствие дурных качеств народа или внешней агитации, как бессмысленно старается доказать это Розен, приписывая главную причину свойствам болгарского народа и панславистским стремлениям России. Против последнего ясно говорит то, что хайдучество в Балканах процветало уже в то время, когда панславизма не было на свете: Иречек в своей истории болгар<sup>16</sup> приводит много имен хайдуцких воевод от XVI до XVIII столетия (стр. 476). Хайдучество представляет собой вопиющий протест против турецких насилий над христианами, а почву для них дает турецкая неспособность к той гражданской жизни, которой живет все цивилизованное человечество. Отчего нет его в Черногории? Отчего оно прекратилось тотчас же в Сербии, как только прекратилось там турецкое управление? Ответ известный. В Сербии хайдуки появляются только в приграничных краях, особенно близ южной ее границы, благодаря слишком близкому соседству с турками, черкесами и албанцами, которые своими насилиями заставляют мирных жителей обращаться в хайдуков. Здесь мне привелось самому однажды встретить хайдука на дороге, почти совершенно в одиночку; он, узнавши, что я русский, не только не тронул меня, но еще уверил, что меня как славянина, никто не тронет (рассказ помещен в «Вестнике Европы» за 1876 г.<sup>17</sup>).

Собственно говоря, это — лучшие люди в Турции, которая так гадка, что им в ней и жить нельзя.

Записки Панайота совершенно достаточно знакомят нас с хайдучеством, не только не скрывая и их дурных сторон, но как бы нарочно, в укор и поученье, выставляя их наружу со всей резкостью. Желание быть свободным, чтобы принести пользу своему народу и отомстить его обиды — вот главная цель хайдука. Средства избираются ими

жестокие, но à la guegge comme à la guegге<sup>18</sup>: они противопоставляют подобным же средствам турок, которые еще жесточе.

Болгарский хайдук никогда не нападает на болгарина, никогда не оскорбляет женщины; у болгарских хайдуков существует поверье, что если хайдук тронет женщину, то непременно попадетсЯ в руки турок. «Из этого видно, — говорит Панайот, — что бесчинство вовсе не свойственно болгарским хайдукам. Болгарский хайдук знает, что его занятие честное». При этом он приводит следующее правило со слов одного простого старого хайдука: «Мы посланы Богом беречь бедных и наказывать *злочинцев*, а если это так, то мы должны быть честными, правдолюбивыми и чистосердечными. Болгарский народ не имеет ни царства, ни покровителей, ни защитников. Он должен надеяться на Бога, на нас и на свои юнацкие мышцы; а если так, то хайдук должен беречь его честь, защищать его несчастливых и вдов и утешать беззащитных».

И это правило проводится ими на деле. Велика задача болгарского хайдука, поэтому он относится к ней с некоторым благоговением, боясь осквернить себя каким-нибудь тяжким грехом перед Богом или перед человеком. Зато тяжела и жизнь его. Вечно скитаться под погоней; никогда не знать покоя, не быть уверенным, что, ложась сегодня, он благополучно поднимется завтра. Правда, им удается много награть; но что делать с этим, когда не приводится жить с людьми? Я сказал, что на зиму они удаляются в Румынию и Сербию, но эта возможность открылась не так давно; а часто и там им отказывают в гостеприимстве, тогда приходится на зиму оставаться в самой глубли Балкан и искать возможности только кое-как забродить в смежные села, чтобы запастись всякого рода провизией, собрать необходимые сведения или совершить какое-нибудь хайдуцкое дело.

Так тяжела эта зимовка в горах, что воеводе большого труда стоит уговорить свою дружину остаться, и то никогда не остаются все, а только незначительная часть самых преданных, самых сильных и выносливых. Вот как рассказывает Панайот: «Началась буря, заревел ветер как дикий зверь, закрутил снег в воздухе; печально шумит лес и горные потоки; по временам завоют волки, раздастся стонущий крик какой-то зимней птицы, а большей частью ничего не видеть и ничего не слышать, помимо заметов снега и завывания бури. Что ни шаг, то грузнем в снегу. Дружина требует, чтобы воевода вел ее на Сред-

нюю гору, но там есть предатели и караулят турки». «Лучше пусть турки перебьют нас, чем умереть от холода», — отвечает ему дружина. Произошло разделение дружины. «Мы распрощались, — говорит Панайот, — в течение целой ночи мы едва прошли 300 шагов: ветер гнал нас по своей воле и сбивал с ног, так что мы падали. На рассвете только набрали на какую-то пустую овчарню, в которой и приютились на отдых. Развели огонь, обогрелись и повеселели». Бывало, конечно, и хуже этого. И так всю жизнь!

<...>

Широкий кругозор открывается с вершины Ровно Буче или Царский Извор (к северу от Сливена). Отсюда видны фракийская равнина, Бургас, Барнабар, а далее — Черное море, Луда-Камтий, берущий начало от деревни Рахово близ Котла, извивается как змея и блестит под солнечным лучом как алмаз; горы и отлогости, лежащие к востоку, сплошь покрыты буковым лесом и т. д.

«Это место очень живописно, — говорит Панайот, — я думаю, что тот болгарин, который поет песню “Лес ты мой зеленый, Вода студеная...”, находится на том месте. Я не в состоянии описать те чувства, которые испытало мое сердце, когда я остановился на этом месте. Представьте себе, что это было весною; деревья только что покрылись нежными, зелено-беловатыми листьями; сливы, яблони и груши цвели; воздух был чист, ароматен и прохладен; а все это действует на душу человека так нежно, что располагает его любить не только свое отечество и свою поработленную братию, но даже и своих неприятелей. *Сказать если по правде, в то время я был бы готов обнять даже моих кровных врагов, если бы только они позволили мне и моим братьям жить спокойно, свободно и счастливо, наслаждаясь природой*».

Для нас весьма важны эти последние слова: в них столько разумно примирительного, что невольно сомневаешься, тот ли это человек, который незадолго перед тем, не запинаясь, произносил слово казни над турками и упрекал своих братьев в излишней мягкости. Да, именно тот самый. Не жажда крови руководила его жестокими поступками, а жажда мести или, вернее, желание утратить и воздержат своих врагов от больших еще насилий и жестокостей; эта жестокость, как мы заметили, вынужденная и искусственная. Поставьте его в иное положение, дайте свободно жить ему и его

народу — вы его не узнаете. Национальной ненависти в нем также нет, все равно как и во всем болгарском народе; есть только вражда рабов против их господ-притеснителей. Хайдук воюет не против турок, а против совершенных ими неистовств, в которых виновато их невежественное, заскорузлое правительство. Как бы хотелось человеку отдохнуть от вражды и злобы, успокоиться в мирном, нежном чувстве; но это возможно только тогда, когда он находится с одной природой. С высоты гор взгляд его опускается в долину, и что же представляется? «Там у подошвы горы стоит болгарская деревня — полуразрушенная, ограбленная, обесчещенная; она одна в состоянии заставить и камни возопить об отмщении, — продолжает Панайот уже в другом тоне, — даже и деревца, стоявшие во дворах, верно исполняли султанскую волю: их ветви были обнажены и не давали прохладной тени измученным поселянам. Как видно, и они платили тяжелую дань. Крыши домов провалились, почернели и стали негодны, так что измученный телом и разбитый сердцем поселянин не мог найти под ними защиты ни от осенних дождей, ни от сильных зимних стуж. Болгары, живущие у больших дорог, достойны искреннего сожаления. Турецкие путешественники съели у них даже уши. Кто желает составить себе понятие, что такое раб и раба, тот пусть внимательно взглянется в болгарского поселянина и болгарскую поселянку в этих деревнях, и если его сердце не вскипит от негодования, если он не пожелает отомстить тем, которые уничтожили в них человеческую личность, сделали из человека четвероногое животное, убили в нем всякое человеческое чувство и человеческий смысл, то он и сам не человек. Скажу коротко: кто берется защищать турецкую *невинность* или фанариотское *церковное право*, тот, должно быть, зверь; тот, должно быть, не имеет в себе ничего общего с людьми. Фанариотское духовенство и турецкая палка убили болгарский народ, так что он потерял свой человеческий образ и обратился в машину, которая пашет и роет землю только для того, чтобы добыть хлеб для другого. Но оставим это...»

Остановимся на том и мы, так как личность Панайота для нас обрисовалась вполне. Это — тип хайдука, представителя лучшей стороны болгарского народа: в то время как все остальное, забытое и приневоленное или угнетенное и подкупленное, из страха или из корыстных целей раболепствует и пресмыкается, по словам одного

словенского поэта, «лизет бьющую его плеть», хайдук один хранит в душе своей любовь к свободе и ненависть к ее врагам и, отрекшись от всех благ мирной жизни, где все гнетет и оскорбляет, предпочел ей жизнь скитальца-воина со всеми сопровождающими ее лишениями и страданиями из-за того только, чтобы чувствовать себя человеком, а не рабом, чтобы сохранить в себе душу, в которой бы можно было выносить идеал лучшего будущего для себя и своего народа. Это — народный страж, который хранит народное душевное богатство, пока не настанет час, когда его можно будет возвратить настоящему наследнику его, болгарскому народу. В Панайоте мы видим две личности: просто человека, который в сношениях с людьми мягок, деликатен, скромн, а в беседах с близкой сердцу его матерью-природой даже нежен, как любящий сын, и хайдука, народного воина, которого обязанность и призванье — бороться, не щадя врага, чтобы не дать в обиду народ, на защиту которого призвали его долг и собственное сердце.

Его записки представляют богатый материал, дающий нам возможность судить не только о хайдучестве, но и вообще о положении и внутреннем состоянии всего болгарского народа. Тут нет никакой идеализации, одна голая правда, высказываемая с болью и горечью и с желанием лучшего.

Если на внешнюю сторону, на стилистическую обработку их наложена несколько рука редактора, то в существе, по духу, по мысли и по манере это вполне самостоятельное произведение, во всей наготе и неподдельности выражающее душу их оригинального автора — болгарского хайдука.

<...>

### Примечания

<sup>1</sup> Панайот Хитов (1830–1918) — болгарский военачальник, гайдук, один из руководителей национально-освободительного движения Болгарии против турецкого господства. С юности — воевода партизанского отряда гайдуков (четы), в 1864 г. стал активно интересоваться политикой, вступив в переписку с Георгием Раковским, болгарским революционером, организатором национально-освободительного движения в Болгарии. После смерти Раковского продолжил гайдуцкую деятельность. В конце 1860-х гг. поселился

в Белграде, обсуждая планы совместного сербо-болгарско-черногорского восстания против турок. В 1872 г. стал членом Болгарского революционного центрального комитета, созданного в Бухаресте. Участник сербско-турецкой (1876) и русско-турецкой (1877–1878) войн. После освобождения Болгарии жил в Русе, где и умер.

Записки Панайота Хитова были опубликованы в Бухаресте в 1872 г. Любеном Каравеловым. (Панайот Хитов. Моето пътуване по Стара планина и животоописание на някои български стари и нови войводи / Под ред. Л. Каравелова. Букурещ, 1872). Бытовало мнение (в частности, чешского историка К. Й. Иречека), что записки были созданы самим Каравеловым на основании воспоминаний Панайота. Российская историография как в XIX в., так и сегодня, однако, такую версию категорически отвергала, считая записки аутентичными. Русский перевод источника содержится в публикации «Балканские гайдуки»: Странствование гайдука по Балканам и жизнеописание старых и новых воевод // Славянский сборник. Т. 2. СПб., 1877. Приложение. С. 49–125 (пагинация Приложения отдельная). Вопрос о подлинности записок и степени участия Каравелова, следует, однако, считать недостаточно изученным.

В данной статье П. А. Ровинский пишет «хайдук» (не «гайдук»), хотя в некоторых других его статьях и в трудах того времени использовалось написание «гайдук». Оставляем вариант написания в оригинале.

<sup>2</sup> Здесь и далее П. А. Ровинский использует немецкий перевод источников Георга Розена: *Rosen G: Die Balkan Haiduken*. Leipzig, 1878.

<sup>3</sup> «Где немецкая кровь стучит в сердцах / И гимны Богу звучат в небесах» — строки патриотической песни «Где Отечество немца?» («Was ist des Deutschen Vaterland?») (автор — Е. М. Арндт), написанной в 1813 г. и ставшей гимном Пруссии. Впервые исполнена в 1814 г. Новая музыка написана Г. Рейхардтом (1825), и в этом варианте песня стала гимном объединенной Германской империи.

<sup>4</sup> Цинцары, куцовлахи, аромуны (арумыны) или македонские румыны — наименование народа, проживающего в южной части Балкан. Ныне — на территориях Греции, Сербии, Румынии, Албании, Македонии, Болгарии. Язык — арумынский язык романской группы. Большая часть — православные, ислам исповедуют арумыны Албании.

<sup>5</sup> Бейст Ф. Ф., фон (1809–1886) — граф, австро-венгерский, саксонский государственный деятель и дипломат.

<sup>6</sup> Действительно, на протяжении 1860-х гг. правительство И. Гарашанина деятельно готовило общебалканское восстание против турок. Для чего был тайно оформлен Первый Балканский союз во главе с Сербией. Восстание намечалось на 1867–1868 гг. Но в 1867 г. И. Гарашанин был уволен с поста премьера, а 29 мая 1868 г. в результате покушения погиб князь Михаил Обренович.

<sup>7</sup> Цеко Петков (1807–1881) — болгарский гайдук, воевода и революционер, участник Крымской и русско-турецкой войн.

<sup>8</sup> Пандур — стражник при посольстве.

<sup>9</sup> Филип Тотю (1830–1907), настоящее имя Тодор Станчев — национальный герой Болгарии, революционер, гайдуцкий воевода, участник русско-турецкой войны.

<sup>10</sup> Чарбаджи (совр. чорбаджи) — в Болгарии в XVIII–XIX вв. представители зажиточных слоев общества.

<sup>11</sup> Русско-турецкая война 1828–1829 гг. Вызвана национально-освободительным восстанием в Греции (1821). Завершилась подписанием Адрианопольского мира, по которому к России отходил Ахалцихский пашалык (в Грузии) и побережье Черного моря от устья р. Кубань до порта св. Николая. Греция получила независимость, а Сербия, Молдавия и Валахия — автономию.

<sup>12</sup> Пуквиль Франсуа (фр. François Charles Hugues Laurent Pouqueville) (1770–1838) — французский дипломат, писатель, врач и историк, путешественник. Знаток Востока (Оттоманской Турции, Греции, Балканского полуострова). Автор многочисленных трудов, в том числе «Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l'Empire Othoman». Vol. 1–3 (Paris, 1805).

<sup>13</sup> Французская поговорка: «Уходи, чтобы я мог занять твое место».

<sup>14</sup> Безсонов П. А. Эпос Сербский и Болгарский во взаимных отношениях, историческом и топографическом // Временник Общества истории и древностей Российских. 1855. Кн. 21.

<sup>15</sup> Пыпин А. Н. Болгария и болгары перед войной // Вестник Европы. 1878. № 3–4.

<sup>16</sup> Иречек И. К. История болгар. Одесса, 1878.

<sup>17</sup> Ровинский П. Сербская Моравя. Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году // Вестник Европы. 1876. Кн. 4. С. 517–558.

<sup>18</sup> На войне как на войне (франц.).



## «Мир детства» сербов в путевых записках П. А. Ровинского\*

*П. А. Ровинский и его работы о Сербии*

Павел Аполлонович Ровинский (1831–1916), как и многие другие представители его поколения «шестидесятников», был многогранно талантлив: выдающийся славист, вошедший в историю науки своим фундаментальным трудом по истории и этнографии Черногории<sup>1</sup>; проницательный журналист; незаурядный педагог; и еще — неутомимый путешественник, объехавший в буквальном смысле слова полмира, от США до Китая, и проведший около тридцати лет на Балканах.

Он родился в Саратовской губернии в дворянской семье. Получил блестящее образование, окончив в 1848 г. Саратовскую гимназию (где сдружился с А. Н. Пыпиным и Н. Г. Чернышевским), а затем с золотой медалью историко-филологический факультет Казанского университета. Несмотря на то, что тот считался «одним из самых скромных провинциальных университетов»<sup>2</sup>, в нем бывали и исключения: кафедру славянских наречий держал известный ученый В. И. Григорович, только что вернувшийся из путешествия по славянским странам. Ему и был обязан Ровинский интересом к славистике<sup>3</sup>. По получении диплома он перебрался в Петербург, где стал заниматься изучением истории славян и журналистикой.

По идейным воззрениям Ровинский был последователем Чернышевского, принимал участие в революционном движении, печатался в демократических изданиях того времени — журнале «Современник» и газете «Очерки». Являлся активным членом тайного общества «Земля и воля» (1862–1863)<sup>4</sup>.

---

\* Статья была опубликована в ежегоднике «Славянский альманах» за 2003 г. (М., 2004. С. 72–93).

Именно это обстоятельство помешало ему в 1862 г. совершить научную поездку за границу, настоятельно рекомендованную В. И. Григоровичем: разрешения на выезд Ровинский так и не получил, поскольку «находился в сношениях с лицами, имеющими злонамеренное предприятие»<sup>5</sup>. А, между тем, еще не ведая об окончательном вердикте властей, он разработал «План путешествия по славянским землям», в котором писал: «Я избираю южнославянские земли». Главной же познавательной целью при посещении южных славян объявлялось намерение «обращать внимание на их внутреннюю жизнь, на историю быта и просвещения», причем «изучение современности должно служить пояснением и дополнением истории»<sup>6</sup>. Но исполнить свой план Ровинскому удалось только шесть лет спустя, когда у него наконец-то появилась возможность отправиться к южным славянам в качестве корреспондента солидной столичной газеты «Санкт-Петербургские ведомости».

Местом его пребывания была избрана Сербия, и это не случайно. Мирный вывод турецких гарнизонов из всех крепостей Княжества в 1867 г., складывание Балканского союза и подготовка общего восстания против турок привлекали повышенное внимание русской публики. То было «особенное время» — вспоминал позднее сам Ровинский. «На Сербии сосредотачивались желанья и надежды всего югославянства. <...> Одни полагали в ней свое спасение; другие ее боялись»<sup>7</sup>.

Итак, в начале марта 1868 г. он прибыл в Белград и оставался в Сербии до июля следующего года. Летом 1869 г. через Нови-Сад, Вуковар, Осиек он отправился в Загреб, а в сентябре переехал в Швейцарию. После длительного перерыва, летом-осенью 1878 г., он провёл корреспондентом в Сербии еще несколько месяцев. Это была его вторая и последняя поездка туда.

\* \* \*

О сербском периоде жизни и творчества П. А. Ровинского не раз упоминалось как в российской, так и в сербской (черногорской) научной литературе. С разной степенью полноты он нашел отражение в трудах А. Н. Пыпина<sup>8</sup>, М. М. Вукичевича<sup>9</sup>, М. Г. Долобоко<sup>10</sup>, В. Г. Карасева<sup>11</sup>, В. Я. Гросула<sup>12</sup>, Л. А. Котлярской

и М. М. Фрейденберга<sup>13</sup>, Н. И. Хитровой<sup>14</sup>, С. Ю. Иванова<sup>15</sup>, А. А. Румянцевой<sup>16</sup>, а также Латинки Перович<sup>17</sup> и Павле Радусиновича<sup>18</sup>. В рамках общей библиографии работ Ровинского опубликован и полный список его статей и очерков, написанных о Сербии и в Сербии<sup>19</sup>.

К своему пребыванию в Сербии в 1868–1869 гг. Ровинский обращался трижды. Сначала, в 1868–1870 гг., что называется, по горячим следам, он публикует в «Вестнике Европы» очерки «Два месяца в Сербии (из путевых воспоминаний)»<sup>20</sup> и «Белград. Его устройство и общественная жизнь...»<sup>21</sup>. По оценке специалистов, эти работы «знаменуют новый этап в писательском и идейном росте Ровинского»<sup>22</sup>. Затем, под воздействием антитурецкого движения в Герцеговине, в 1875–1876 гг. там же выходят написанные им по памяти и «несколько наспех»<sup>23</sup> «Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году»<sup>24</sup> и «Сербская Морава. Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году»<sup>25</sup>. И, наконец, в 1878 г. Ровинский печатает три значительные статьи: «Россия и славяне Балканского полуострова»<sup>26</sup>, «Битва у Каменицы, близ Ниша (в мае 1809 года)...»<sup>27</sup> и «Болгарский хайдук Панайот и его записки»<sup>28</sup>. К ним примыкает и работа предыдущего года: «Наши отношения к сербам...»<sup>29</sup>. В этих поздних публикациях — «более глубоких, продуманных и основательных» — автор размышляет не столько о реальных событиях, сколько о психологии целого народа или отдельной его части. Он «как бы поднимается над конкретной действительностью, <...> переключаясь на анализ более глубоких пластов народной жизни». Такие его страницы, уверяют нас знатоки, «могут войти в любую хрестоматию по истории Сербии XIX в.»<sup>30</sup>.

Но почему? Что позволило коллегам столь высоко оценить сербские сочинения Ровинского, и что вообще делает их подлинной находкой для всякого исследователя социальной и культурной истории Сербии? Для ответа на данный вопрос следует проанализировать сам подход ученого к предмету своих наблюдений, особенности его творческого метода. Причем делать это наиболее целесообразно в *контрастном* свете, т. е. на фоне соответствующих представлений современников-европейцев.

Начнем с того, что о Сербии и Балканах европейские путешественники писали немало. И практически все их труды были пронизаны общим отношением к народам региона, которое емко и исто-

рично выразила Мария Тодорова: «Былое аристократическое неприятие эгалитарных крестьянских обществ сменилось предрассудками городской, буржуазной и рациональной, культуры по отношению к тому, что считалось суеверной, иррациональной и отсталой, руральной традицией Балкан, единственной ценностью которой признавалось то, что в глазах Европы она являла собой этнографический музей под открытым небом»<sup>31</sup>.

Эта синтетическая формула *западного взгляда*, выведенная исследовательницей, органично корреспондирует и с размышлениями Ровинского, который в своем первом очерке подверг критике книгу австрийского путешественника Феликса Каница, признав, однако, что она «есть самое полное сочинение о Сербии»<sup>32</sup>. В каком-то смысле можно говорить, что именно несогласие с Каницем вызвало к жизни его собственные сербские труды... Что же инкриминировал ему Ровинский? Прежде всего то, что тот «совершал свои путешествия по Сербии <...> вовсе не с ученой целью»<sup>33</sup>, но ради «популяризации в немецкой публике и проведения известной идеи, тенденции»<sup>34</sup>. При этом Ровинский отмечал, что автор «ни на минуту не может забыть о том громадном расстоянии, которое находится между ним, человеком высшей цивилизации, и полуварварским сербом»<sup>35</sup>. Такой снисходительно-тенденциозный подход автоматически сбивал прицел и при оценке конкретных вещей: «Г. Каниц <...> имеет особенную способность или наклонность выставлять наблюдаемые явления в ложном свете и придавать им ложное толкование»<sup>36</sup>.

Итак, можно констатировать, что взгляд Каница, а равно и других наблюдателей из «просвещенной» Европы на Сербию вполне вписывался в западную оппозицию *свой — чужой*, с очевидной и имманентно ей присущей априорной предвзятостью. Как следствие этого, констатировал Ровинский, «иностранцы большее внимание обращают на памятники прошлого, на немую природу, а не на народ, войти в жизнь которого они не имеют ни охоты, ни способности. Они на все явления народной жизни смотрят издали и свысока, схватывают их поверхностно и дают им толкование по своему вкусу или по своим субъективным воззрениям, а часто под сильным наитием какой-нибудь политической тенденции»<sup>37</sup>.

Ну а что же Ровинский? Его отношение к Сербии и сербам было принципиально иным. Во-первых, как *русский* он воспринимал

эту страну и ее народ как *своих*: «То, что недоступно в Сербии для каждого иностранца, вполне открыто для нас. Там вы чувствуете себя между своими, хотя и при другой обстановке». А именно: «Если вы отбросите все несущественное, перед вами воскреснет родной тип малоросса»<sup>38</sup>. Ни о какой дихотомии *мы — они* при данном восприятии речи быть не могло. Действительно, славяне не были для него *лишь* предметом изучения (или праздного любопытства, как для многих на Западе). «Я не только наблюдал и изучал их, — писал он впоследствии, — но жил с ними и действовал. Так было со мною в Чехии, потом в Сербии, так случилось и в Черногории»<sup>39</sup>. Важно, что и в таком, общекомплиментарном, контексте Ровинский особо выделяет сербов: «Характер и степень нашей культуры <...> более приближают нас к сербам, чем к остальным славянам»<sup>40</sup>.

Понятно поэтому, что, описывая Сербию, Ровинский не мог не сопоставлять все виденное с Россией: как писал он А. Н. Пыпину, у него «постоянно идет сравнение <...> со своей родиной». И надо сказать, что выстроенные им сопоставительные ряды весьма органичны, поскольку «мерка, по которой я оцениваю сербский народ, служит та самая, которую я применяю к России»<sup>41</sup>. Подобная органичность была чужда западному восприятию, в основе которого, как уже упоминалось, лежал стереотип о собственной суперорности (своеобразная «презумпция цивилизационного превосходства»<sup>42</sup>), что влекло за собой очевидное неравенство в подходах, т. е. две противоположные «мерки», характерные для всякого *этноцентризма*: одна — для себя, другая — для «туземцев».

Теперь обратимся непосредственно к предмету наблюдений Ровинского. Что же конкретно он изучал? Ответ на этот вопрос, в различных его вариациях, обнаружить не сложно: прежде всего русский путешественник желал видеть «жизнь-бытие простого народа»<sup>43</sup>. А иначе и быть не могло, учитывая его народнические взгляды. «Народник в политике, он был народником и в науке, — справедливо констатировал М. Г. Долобоко. — Его тянул к себе народ, он инстинктивно стремился заглянуть в его душу, слиться с ним, сродниться. Отсюда его этнографические интересы, отсюда, после невозможности этнографических исследований на родной почве, перенесение их на почву ближайше родственного народа»<sup>44</sup>.

При этом Ровинский в очерках не ограничивается лишь описанием жизни и быта сербов, он ставит перед собой задачу куда более важную, которая, как водяной знак на бумаге, проступает в его критике книги Каница. Итак, «несмотря на подробное описание народного костюма, жилищ, домашней утвари, обычаев, обрядов и сцен из народной жизни, вы не находите в целой книге именно того, чего ищете — изображения народа как *живущего и действующего организма* (выделено мной. — А. Ш.)». Подобный подход Ровинский нарекает «описательной анатомией: вы видите кости и мускулы, но не видите их связи и движения». А если так, то цель исследователя должна состоять в том, чтобы «выразить ту жизнь, тот внутренний процесс, который совершается под внешней оболочкой и придает предмету то особое выражение, которое мы называем характером или физиономией»<sup>45</sup> (и что сейчас называется *менталитетом*)... Как видим, ученый при формулировании задач демонстрирует системный подход, стараясь, в отличие от Каница, «за деревьями видеть лес»... То был его универсальный принцип, и позднее в своих работах он также всегда желал «представить нечто цельное, имеющее значение общее и постоянное, а не случайное и временное»<sup>46</sup>.

Отчетливо понимая всю сложность заявленной цели — связать воедино детали и представить цельную «физиономию» сербов, — Ровинский предъявил к себе ряд жестких научно-этических требований, следование которым полагал непременным условием ее реализации: репрезентативность отбираемых для обобщения данных; объективность и непредвзятость; отсутствие личных амбиций. «Я старался обозреть все, что возможно, — писал он, — не хотел пропустить ни одного предмета, как бы он ни был далек от моих личных целей и воззрений». И далее: «Отрешившись, насколько возможно, от всякой тенденции, <...> я смело могу сказать, что относился ко всему беспристрастно, стараясь передать каждое явление со всевозможной точностью»<sup>47</sup>. И наконец: «Двухмесячное пребывание в Белграде и менее чем четырехнедельное путешествие по внутренности Сербии дало мне только самое поверхностное понятие о стране и народе <...>. Цель моя — единственно обратить внимание на те предметы и стороны народной жизни, которые попадались мне и могли быть пропущены другими»<sup>48</sup>. Причем «не ручаюсь, что весьма часто я пропускал факты крупные и, напротив, отмечал <...>

мелкие и ничтожные, какие имели какое-нибудь соотношение с моим субъективным настроением, с той средой и с той местностью, которой я весь принадлежу»<sup>49</sup>.

Эта очевидная самокритичность Ровинского в отношении сделанного им вкуче с редким даром четко фиксировать свою задачу, а также неугомонностью в желании ее разрешить (он исходил Сербию пешком), при отсутствии столь свойственного другим пилигримам *этноцентризма*, привели к высокой оценке его сербских трудов: в них «он высказывает идеи такой степени зрелости, которая приближается к уровню современных исследований»<sup>50</sup>. Наглядным показателем их значения служит и вывод Л. Перович: «Трудно найти иностранного автора, писавшего о Сербии во второй половине XIX в., который не только лучше Ровинского разбирался бы в менталитете сербского народа, но и вообще писал о нем»<sup>51</sup>. Добавим к этому, что четыре опубликованных в «Вестнике Европы» очерка Ровинского о Сербии вышли недавно отдельным изданием в переводе на сербский язык<sup>52</sup>, вызвав у сербов огромный интерес — тираж был раскуплен всего за несколько месяцев. В чем, думается, нет ничего удивительного.

Итак, мы старались показать, что высокопрофессиональные свидетельства П. А. Ровинского являются первоклассным источником для специалиста по социокультурной истории Сербии. Такое заключение справедливо и при исследовании «мира детства» у сербов как неотъемлемой ее части. Более того — сюжеты, связанные с детьми, всегда были для Ровинского, отца многочисленного семейства, одними из самых близких. «Нетрудно узнать, — пишут исследователи, — что он думает о них, о семейном воспитании и школе: это сквозная тема его творчества; о чем бы он не писал, всегда его основное внимание отдано детям»<sup>53</sup>. Почему? Думается, что и в данной связи на Ровинского повлияла связь с народниками, для которых просветительская работа всегда была важнейшей сферой общественной деятельности (недаром он ряд лет занимал должность директора детской колонии). Во время заграничной поездки 1868–1869 гг. Павел Аполлонович сам признался А. Н. Пыпину в желании «больше всего наблюдать тамошние учебные и воспитательные заведения: это моя душевная задача»<sup>54</sup>. Именно поэтому страницы записок Ровинского, посвященные детям, семье, школе, обретают для нас еще большую ценность...

## «Мир детства»

Мир сербских детей, каким его видит и фиксирует Ровинский, есть не что иное, как составная часть сообщества взрослых, где первые являются всего лишь младшими партнерами вторых. Практически все у них едино — участие в труде и досуге, одежда и пища. В обществе, таким образом, еще не произошло осмысления детства как *особой* фазы в жизни человека и формирования специфической «культуры детской» с жесткой межпоколенческой границей, заданными правилами поведения и ограничением жизни ребенка ее рамками. Для сравнения скажем, что на западе Европы такое осмысление произошло еще в XVII в.<sup>55</sup>

Павел Аполлонович вполне уловил эту разницу. Так, говоря о «мире детей», что «в просвещенных странах составляет главный предмет заботливости», он подчеркнул: «В Сербии нельзя сказать, чтоб о детях заботились очень много». Причем для него оно, «может быть, и лучше — благодаря отсутствию педагогики, дети развиваются довольно свободно и самостоятельно»<sup>56</sup>. И в результате: «В этих детях я не заметил ни боязни, ни застенчивости; а по разговорам и поступкам они точно взрослые»<sup>57</sup>.

Причина такой ранней взрослости лежала именно в *сосуществовании* двух еще не разделенных миров в русле *единого* для всех образа жизни, что было универсальной чертой всякого традиционного общества. В частности, российские исследователи также отмечают: «В крестьянском доме жизнь семьи происходила на глазах ребенка. Здесь он не был отделен от “взрослой” среды, не было разрыва между сугубо взрослой жизнью и времяпрепровождением детей, поэтому постепенно и естественно протекало включение ребенка в праздничную и повседневную жизнедеятельность крестьянской среды». При этом его «приобщение к труду начиналось “исподволь, по возможности”»<sup>58</sup>. Словно подтверждая сей факт, Ровинский отмечал виденное им в сербской задруге: «Редко вы услышите писк и крик детей: они также как будто все чем-нибудь заняты, даже самые маленькие, 5-ти и 6-ти лет»<sup>59</sup>, — с этого возраста и начиналось то самое «приобщение к труду», т. е. фактическое, в меру сил, участие во *взрослой* жизни<sup>60</sup>.

К 12–13 годам дети — уже совсем «взрослые»: они почти на равных участвуют в работах вместе со старшими. Описывая древний



обычай *мобы*, когда хозяин созывает соседей для помощи в хозяйственных делах, Ровинский фиксировал: «Первые пришли *молодые* парнишки и девчонки лет по 12-ти и 14-ти, и как только пришли, сейчас заиграла дудка, ухватились за пояса и начали выплясывать в коло. Собирались *взрослые* и даже *пожилые* люди, примкнули и они к этому колу, и так пошли по дороге, выплясывая и выкрикивая (выделено мной. — А. Ш.)»<sup>61</sup>. И так, все вместе, они — не только на пути к работе, но и во время ее самой. Обратим внимание на это присутствие рядом молодых, взрослых и пожилых: такая трехпоколенческая вертикальная связь (в рамках семьи или коллектива) являлась главным условием воспроизводства *преемственности* — одной из базисных установок традиционного общества.

Но подробнее об этом чуть позже, пока же воспроизведу еще одно наблюдение П. А. Ровинского: «Вспоминаю я одного сельского мальчика. В субботу он воротился из школы, где он обыкновенно оставался целую неделю <...>. Через несколько времени хватились, а его нет. Едва успел несколько отдохнуть, он побежал посмотреть лошадей и, воротившись оттуда, обратился к отцу с упреком, почему лошадь похудела. “Если вы будете так скряжничать и не станете как следует кормить, не будет она вам как следует и работать”, — заключал он свое увещание родителю»<sup>62</sup>.

Этот «подслушанный» русским ученым разговор весьма характерен для крестьянской среды. Во-первых, он наглядно иллюстрирует непреложное правило, согласно которому «на мальчиков ложилась значительная часть ухода за лошадьми»<sup>63</sup>. А во-вторых, обращает на себя внимание апелляция младшего члена семьи к старшему как к равному, — сам факт ранней причастности к делам коллектива, следствием чего и было быстрое «взросление», приводил к тому, что «дети с раннего возраста начинают подражать взрослым и в разговорах, и в работе. Особенно этим отличаются мальчики. В них, слушая некоторых, <...> можно увидеть миниатюрного мужичка»<sup>64</sup>.

Другая причина подмеченной Ровинским «необыкновенной серьезности детей»<sup>65</sup> состояла в патриархальном укладе жизни сербской задруги. «Это не натуральная семья, а домашняя община», — указывал он, в которой «ребенку нет ласки от отца или матери, потому что дети все вместе находятся на попечении редуши, бабы и старейшины». И, «только удалившись в свой амбарчик, вне общего надзо-

ра, <...> мать прижимает к груди свое детище, к которому не смеет почти признаться, находясь постоянно в общине с другими». Это «пригнетение семьи во имя общины, подавление естественного чувства, — резюмировал Ровинский, — и кладет тот тяжелый отпечаток, который скоро замечается посторонними наблюдателями»<sup>66</sup>.

Снова, в который уже раз, острый взгляд русского «гостя» зафиксировал то, что станет достоянием этнографической науки век с лишним спустя: «В традиционном обществе уход за маленьким ребенком был обязанностью не только матери, но и остальных женщин семьи»<sup>67</sup>. Или еще более обобщенно: «Во многих <...> традиционных культурах ребенок принадлежит не только отцу и матери, но и всей общности, в которой он живет, и, соответственно, общность принимает более непосредственное участие в его воспитании»<sup>68</sup>.

Что же касается самой семьи — описанной Ровинским крестьянской задруги, то присутствие в ней представителей сразу трех поколений гарантировало устойчивость и неизменность *традиции*, когда «деды, держа в руках новорожденных внуков, не могут представить себе никакого иного будущего, отличного от их собственного прошлого». Прошлое взрослых, таким образом, «оказывается будущим каждого нового поколения; прожитое ими — это схема будущего для их детей»<sup>69</sup>. Когда же происходило удаление поколения дедов из мира, в котором воспитывался ребенок (при переходе от сложной к нуклеарной семье, что было характерно для городской культуры), его жизненный опыт сокращался на поколение, а его связи с прошлым ослабевали. Представленное некогда живыми людьми, оно становилось туманным, и его легче было отбросить<sup>70</sup>. Перед нами — общая модель модернизации (урбанизации) условий воспитания.

А между тем и при описании жизни детей в Белграде Ровинский не приводит данных, которые свидетельствовали бы о каких-то важных изменениях в этом процессе: отдельная «детская», с ее *другой* (т. е. отличной от взрослой) жизнью, в столице также отсутствовала. Потому и в маленьких белградцах, как ранее в их сельских сверстниках, он не замечал «ни боязни, ни застенчивости»; да и «плач детей» ему «редко доводилось слышать». Очевидна все та же «взрослость», подмеченная Ровинским: «Мне случалось, приходя к одному знакомому и не заставая его дома, от старших получать деликатно выпроваживающую фразу “господина дома нет”, а семилетний ребенок

в то же время, как полный хозяин, приглашал войти в комнату и подождать отца, тащил за руку, усаживал, давал мне последний номер газеты и занимал разговором, спрашивая, давно ли я получил письмо от своих, когда я поеду домой и т[ому] п[одобное]. Откуда, — заключал с удивлением Ровинский, — в нем такая серьезность и такое умение»<sup>71</sup>.

Несмотря на то, продолжал он далее, что «надзора за ними нет почти никакого» и «они совершенно предоставлены сами себе», рукопашные драки между детьми «очень редки», а «проказ у них очень мало». Более того, «шляющихся детей без дела там нет: они непременно исполняют какие-нибудь службы, так, например, носить кувшинами воду от чесмы (водопровода) их постоянная обязанность, или они в школе»<sup>72</sup>.

Как видим, и в городских детях, по описанию Ровинского, было мало детского — того, что на каждом шагу мы встречаем у детей *современных*. Он фактически приводит всего один пример настоящего каприза, когда ему «случалось видеть, как шестилетнего ребенка барского воспитания тащил в школу лакей»<sup>73</sup>. Традиция и патриархальный обычай, таким образом, оставались крепки в сербском городе конца 1860-х гг. Сам же он являл собой поселение явно переходного типа, где «значительная часть горожан по роду занятий (а я бы добавил, и по менталитету. — А. Ш.) мало чем отличается от поселян»<sup>74</sup>.

### Сербская школа

Выше уже говорилось, что Ровинский — сам педагог — не мог, в контексте своих размышлений о сербских детях, обойти вниманием школу. Мало того, он считал показ всего, с нею связанного, своей «задушевной задачей». И действительно, на страницах его записок часто встречаются наблюдения относительно школы и уровня образования вообще. Кроме чисто этнографического интереса, они значимы тем еще, что через этот важнейший критерий помогают разглядеть всю двойственную природу модернизации по-сербски. Иными словами, ставится вопрос, что такое школа в михайловской Сербии — институт или источник *реального* знания, и насколько тождественны эти (формальная и сущностная) ее ипостаси?

С одной стороны, русский путешественник отдает должное сербским властям за оперативное развитие школьного дела, признавая, что «если измерить образованность народа количеством школ и одной грамотностью, то Сербия в короткое время сделала громадный успех»<sup>75</sup>, причем «числом школ» она «значительно опередила Россию»<sup>76</sup>.

Но, с другой стороны, ситуация выглядела не столь благобно. Так, знакомый учитель («очень разумный человек», по определению Ровинского) «хорошо осознал свою крайнюю неподготовленность для школьного дела. Он не только не имел самых элементарных понятий из географии и естественных наук, но не имел понятия о дробях из арифметики, не знал, кто такие римляне, памятники которых попадались ему на каждом шагу. Трудно припомнить все факты, доказывающие его невежество, но общее впечатление было такое, что он в школе учился только молитвам и кое-как священной истории и катехизису, преподаванием же других наук совершенно пренебрегали»<sup>77</sup>. Явление это, по-видимому, было вполне типичным и не вызывало в обществе никакого протеста, чему ярким примером служат слова одного из сербских собеседников Павла Аполлоновича: «Удивительное дело это — читать: учат, учат в школе, а дети все-таки читать не могут», — добавил он с полной верой, что иначе и быть не может»<sup>78</sup>.

Начальство с таких учителей тоже никак не взыскивало, проявляя вынужденную снисходительность: «Откуда же взять лучших?» Да «и что в этом за беда? Грамотность распространяется, а дальнейшее — потом». Мы, мол, государство маленькое, молодое, и «дело идет так, чтоб нельзя было сказать, что ничего не делается (выделено мной. — А. Ш.)»<sup>79</sup>.

Как видим, в условиях, когда государство фактически не поощряло *прогресса* в школьном деле (в частности, никак не связывало получение образования с обретением каких-то конкретных преимуществ), оно развивалось формально — для внешнего, так сказать, потребления: самостоятельному *de facto* Княжеству *пристало* иметь институт школы... Ровинский первым из путешественников разглядел это несоответствие между формой и сутью, буквально возопив (на фоне быстрого роста числа школ): «Где оно, истинное образование!»<sup>80</sup> — и поставив под сомнение все значение официальной

сербской статистики об успехах страны в данной сфере: «Какое после этого неверное понятие вы составите о Сербии по тем отчетам, которые всякий раз читают перед скупщиной»<sup>81</sup>.

Он же сформулировал и обобщающий вывод из всего им виденного: «Нельзя не признать, что Сербия сделала во времени значительные успехи»; «зная, какими она располагала средствами и сколько тратится на все, нельзя потребовать больше того, что сделано», но, даже «не требуя многого, можно, кажется, требовать, чтоб в том, что делается, был толк и польза, а мы этого-то последнего и не находим»<sup>82</sup>. «Действительно, школ немало, — отмечает Ровинский, — но они содержатся весьма бедно, и ни один порядочный учитель не идет в них»<sup>83</sup>. В результате «грамотность распространяется, а дальнейшее потом». Такова, повторюсь, была сверхзадача властей. «Чего вы хотите от нас? Мы недавние, слава Богу, что и то имеем», — рефреном звучит в передаче Ровинского знакомая нам логика сербов, которую он приписал их особой черте — «самодовольству»<sup>84</sup>.

Но, спрашивается, распространялась ли она на самом деле — эта грамотность — в народной среде, и откуда тогда замеченное Ровинским: «Учат, учат в школе, а дети все-таки читать не могут»?

Отношение сербского крестьянина к просвещению не было столь однозначным, как могло бы показаться уже из самого факта роста числа школ. «Хотят, чтоб мы своих девочек туда посылали, — объяснял Ровинскому его визави из провинции. — Это еще к чему? Да моя дочь и дома выучится всему, что ей надо. Выдам я и без того свою дочь за лучшего человека, войдет она в богатый дом, в полное хозяйство; не книжки ей тогда читать»<sup>85</sup>. Высказывание крайне показательное — и четверть века спустя ситуация оставалась практически той же. «Серб, будучи по природе человеком в высшей степени практическим, находит излишним посылать в школы своих детей, которые в школьный возраст нужны ему для присмотра за скотиной и для всевозможных услуг в хозяйстве. Хотя обучение в этой стране обязательно и бесплатно, но поселяне всеми правдами и неправдами стараются удерживать своих детей дома, и вследствие этого много сербов остаются безграмотными»<sup>86</sup>, — отмечала известная русская путешественница и педагог Е. Н. Водовозова.

Что следует из этих, повторяющих друг друга, хотя и разнесенных во времени наблюдений? То, что в патриархальной Сербии мо-

тивация для получения образования еще не созрела, ведь традиционный образ жизни предполагал, что большинство детей пойдет по пути родителей, наследуя их занятия и обычаи. Для чего «домашнее образование» было куда важнее полученного на стороне *абстрактного* знания. В свое время мать Еврема Груича — одного из зачинателей сербского либерального движения — пыталась отговорить супруга от идеи отдать его в школу: «Оставь его. Твои родители тоже не знали грамоты, и ничего, жили неплохо»<sup>87</sup>. Все точно: «Зафиксированная и аккумулированная в бесписьменной народной культуре, хранимая в живой памяти и передаваемая механизмами неукоснительных традиций, ограниченная совокупность знаний и навыков вполне обеспечивала хозяйственный процесс»<sup>88</sup>. Соответственно, как справедливо констатирует современная исследовательница, «представления о значении просвещения у большинства крестьян были весьма туманными»<sup>89</sup>. Оно не стало для них жизненной ценностью и внутренней потребностью. Несмотря на открытие новых школ, подчеркну еще раз.

Такое явление было типическим для традиционных обществ — многие русские университеты, основанные в начале XIX в., стояли «почти пустые, потому что в общей массе народа, — как писал мемуарист, — и даже в самом дворянстве не существовало еще истинной потребности учиться». Лишь императорский указ 1809 г. о необходимости сдачи экзаменов при производстве в чины «даровал кончившим университетский курс важные служебные преимущества». И «все бросились учиться». Со временем же бывшее возбуждение органично «влилось в нравы и из средства искусственного превратилось в естественный порядок вещей»<sup>90</sup>.

В Сербии подобного стимула к просвещению не было — ни вверху, ни внизу; и в результате знание, полученное в школе, для многих действительно было абстрактным, ибо традиционное общество не поощряло новаций. Как таковое (невостребованное) оно не являлось повседневной необходимостью, что, в свою очередь, не могло не влиять на судьбу *формально* грамотных людей, назову это так.

И открою мемуары одного из образованных сербов — по должности окружного врача. «Нет лучшего школьного ревизора, — писал он на исходе XIX в., — чем окружной или срезский врач, поскольку у него есть возможность при призыве в армию видеть тех детей, которые десять лет назад посещали школу. В селе, где школа

существует 30 лет и где почти все прошли через нее, при призыве оказалось, что из 40 бывших учеников только двое умеют читать и писать; 15 человек не умеют писать, но кое-как читают, а остальные и не читают, и не пишут. В том, что эти дети по окончании школы уходят в горы пасти скот и никогда больше не берут книгу в руки, виноваты не учителя. Просто у нас никто не желал об этом думать — ни одно правительство не предложило лекарства от болезни. И какой смысл в том, что такие большие деньги тратятся на учителей и школы, если в действительности народ не имеет от них никакой пользы», когда многие «дети забывают все»<sup>91</sup>.

Перед нами — не что иное, как авторитетное подтверждение одной из главных тенденций в развитии сербского просвещения, вскрытой еще Ровинским, — «учат, учат в школе, а дети все-таки читать не могут», а также парафраз его же пожелания — «чтоб в том, что делается, был толк и польза».

Кроме того, данное высказывание высветило и подлинную цену *самодовольства* сербских властей, подмеченного русским ученым. Уже сам их руководящий тезис: «А дальнейшее — потом», как и основной мотив: «Чтоб нельзя было сказать, что ничего не делается», не могли не привести к вполне закономерному итогу: несмотря на общее число закончивших школу, *реально* грамотных людей в Сербии было намного меньше, чем декларировалось. И это только подкрепляет вывод Ровинского об относительности сербской статистики — этой *формальной* компоненты всякого дела.

Таким образом, очевидно, что одна лишь голая форма — наличие почти в каждой общине *школьного здания* — автоматически не являлась свидетельством модернизации сферы просвещения. Немалые, по меркам Сербии, вложения в него, которых все равно не хватало, часто прокручивались вхолостую; соответственно и конкретные результаты были весьма скромны: как мы видели, даже в *реальном* «ликбезе» власти не преуспели, и огромное большинство детей оставались неграмотными, подтверждая вывод Ровинского о том, что «все, что устраивает сербское правительство, обходится ему дороже, чем где бы то ни было, и к тому же все устроенное им обыкновенно не достигает своей цели»<sup>92</sup>.

Глубинные причины такого феномена, впервые эмпирически зафиксированного П. А. Ровинским, заслуживают, на мой взгляд, отдельного исследования.

В качестве заключения приведу типологически емкий вывод Эрнста Геллнера, заметившего как-то, что «аграрное общество не обладает ни ресурсами, ни мотивами, необходимыми для того, чтобы грамотность распространялась широко, не говоря уже о том, чтобы она стала всеобщей»<sup>93</sup>.

#### «Человек вечной войны»

Перед тем, как перейти к заключительному сюжету — особенностям воспитания детей у сербов, подмеченным Ровинским, сделаю несколько вводных замечаний.

Специфику любой пограничной культуры — а Балканы всегда являлись одной из классических зон культурного пограничья (или «цивилизационно-контактных зон», как часто говорят сейчас<sup>94</sup>) — составляют более выраженные, в сравнении со «стандартной ситуацией», открытость и закрытость. По одной и той же причине — продолжительное соприкосновение с чуждым культурным пространством, а нередко и существование внутри него в виде анклавов — такие культуры являются особенно восприимчивыми к идущим извне влияниям и в то же время ревниво оберегающими свою самобытность. Постоянные колебания между двумя полярными тенденциями: *космополитической* и *охранительной* (оппозиция: быть в «открытии» или в «укрытии») — суть качество любого пограничья<sup>95</sup>.

У сербов как этноса такая амбивалентность проявилась после завоевания их турками (агрессии чуждой культуры): сохранение православия в «коренной» Сербии и исламизация значительной доли православного населения в Боснии, сопровождавшаяся сменой этнического сознания. Впрочем, в самой Сербии также не обошлось без раскола: сербы, проживавшие в городах (цитаделях турецкой власти), практически выпадали из сербской социокультурной общности, по причине, сформулированной Вуком Караджичем: «народ не считает их сербами и презирает»<sup>96</sup>. Известны и факты участия сербов в боевых действиях на стороне турок, причем даже во времена Сербской революции начала XIX в.<sup>97</sup>, не говоря уже о немалом числе тех, кто колебался, выжидал или сохранял нейтралитет.



С другой стороны, в сербских землях сформировался тип гайдука (бунтовщика и героя), боровшегося против существующей власти и опиравшегося в своей борьбе на *старые исторические традиции*. В историографии давно подмечена эта связь, или, как ее еще называют, «героическая вертикаль сербов» — Косово поле 1389 г., Шумадия 1804 г., Сербия 1914 г. (М. Обилич, Карагеоргий, Ж. Мишич)<sup>98</sup>.

Наличие чем далее, тем более открытого конфликта двух ментальных начал у сербов под турками («раетинского» и героического)<sup>99</sup> классически иллюстрирует факт отцеубийства, совершенного молодым Карагеоргием<sup>100</sup>. Компромисса между ними быть не могло.

Сербская революция привела к новому всплеску традиционализма — об этом уже писали историки<sup>101</sup>. То же самое подтверждает Ровинский. Так, встретившись с родным братом Живоина Жуйовича Марко, он заметил у того за поясом револьвер. И состоялся краткий, но весьма показательный диалог: «Зачем ты, Машо, взял с собой револьвер, когда пути всего два часа и время дневное?» — «Так мне отец мой завещал, а ему его отец: ни шагу из дома не делать без оружия. Прежде, бывало, выедут на пашню — пистолет вечно за поясом, а у воза винтовка. Так турки нас приучили»<sup>102</sup>. Замечу, что этот поведенческий стереотип сербов (быть в любой момент готовыми к *вооруженному* отпору — т. е. к *радикальной* защите *охранительной* культурной тенденции) оказался удивительно стоек: в 1883 г., когда модернизирующаяся сербская власть пыталась изъять оружие у жителей Восточной Сербии, те ей ответили Тимокским восстанием.

Стойкость традиции и в эти, уже довольно отдаленные от Ровинского, времена сербской независимости подтверждают другие источники. Наиболее характерный из них, на мой взгляд, — отрывок из мемуаров Милана Стоядиновича о речах знаменитого радикального демагога, ужицкого проты Милана Джурича. «Главным его аргументом, — отмечал премьер межвоенной Югославии, — была апелляция к прадедовским костям. Обычно он возглашал: “Прадедовские кости требуют от нас...” Или же: “Кости наших прадедов взывают к нам из могил...” Такой патриотический настрой его речей всегда имел большой успех»<sup>103</sup>.

Очевидная переключка этого мотива о «прадедовских костях» и зафиксированной Ровинским апелляции его собеседника к «завещанию» отца и деда лишний раз доказывает справедливость

заклучения, что одной из базовых традиционалистских установок была идея *преемственности*, т. е. «солидарности поколения живущего с умершими» или «участия минувших поколений в современности»<sup>104</sup>.

\* \* \*

Особо наглядно такое *участие* проявлялось в подходе родителей к воспитанию детей. Павел Аполлонович оставил нам детальное его описание.

По словам путешественника, отцы семейств заставляют своих чад «выучивать в виде катехизиса историю падения Сербского царства на Косовом поле»: «Где пропало сербское царство? — На Косовом поле. — Кто погиб на Косовом поле? — Царь Лазарь, девять Юговичей и все сербское юнацтво. — А еще кто? — Царь Мурат. — Как он помер? — Его зарезал Милош Обилич. — Чем же мы помянем царя Лазаря, Милоша Обилича и всех сербских юнаков? — Вечная им память. — А Мурата? — Будь он проклят. — Кто неприятель сербов? — Турок. — А еще кто? — Шваба. — Чего же ты им желаешь? — Я возьму саблю и посеку им головы»<sup>105</sup>.

Образованные сербы, признавая явный перекося «героического» воспитания, тем не менее объясняли Ровинскому его необходимость: «Видите, в каком мы положении: мы должны из наших детей готовить вместо гуманных граждан — диких солдат, потому что нам еще грозит война с турками и борьба с варварами, с которыми нужно мериться тем же оружием, каким пользуются и они против нас»<sup>106</sup>. Этот мотив грядущей войны и необходимости подготовки к ней с «младых ногтей» тиражировался на всех уровнях. Прота Джурич с парламентской трибуны требовал от учителей так воспитывать детей, «дабы они знали заветную мысль (об освобождении и объединении всего сербства. — *А. Ш.*), знали о косовских героях, <...> и в будущем, став гражданами, отомстили бы за Косово и создали Великую Сербию». Или другой его пассаж: «Мать пасет овец или жнет ячмень и пшеницу, но при этом поет сыну песню и готовит его к отмщению Косова»<sup>107</sup>.

И на бытовом уровне сербские матери вторили мужьям. П. А. Ровинский описал визит в одну семью, где четырехлетний ребенок

плакал от полученного в драке удара. «Что же ты плачешь? — урезонивала его мать, — Разве ты не юнак (герой. — *А. Ш.*) и не можешь сам его камнем?» Ребенок сию минуту стих, схватил камень, который едва мог поднять, и спокойно уже сидел на пороге калитки, поджидая своего врага»<sup>108</sup>. Как видим, *юнацкое* начало закладывалось в сербских детей с самого нежного возраста, что не могло не сказаться на формировании их мироощущения, каковое оставалось сугубо конфронтационным в рамках жесткой оппозиции *свой — чужой*. «Когда турки занимали крепость и жили вообще в Белграде, — констатировал в этой связи Ровинский, — дети постоянно делали атаки на крепость, пуская туда град камней и нередко вступали в бой с часовыми турецкими солдатами, а в городе завязывали бои с турками, и не равными себе детьми, но взрослыми»<sup>109</sup>.

И даже когда *чужие* менялись, т. е. когда к туркам добавились соседи из-за Савы и Дуная (что произошло после 1878 г.), отношение к ним оставалось столь же жестким и одномерным. В «Катехизисе для сербского народа» читаем: «Кто неприятель сербов? — Самый главный враг сербов — Австрия <...>. — Что нужно делать? — Ненавидеть Австрию, как своего самого главного врага <...>. — Кто друг сербов и Сербии? — Единственный верный и надежный друг сербов, который был и есть: великая и мощная Россия. — В чем долг каждого серба? — Любить свое отечество и монарха и умирать за них, уважать своих друзей и ненавидеть врагов»<sup>110</sup>.

Данный подход проявляет себя особенно контрастно в сравнении с иным типом мышления. Иллюстрации ради приведу разговор видного сербского политика, врача и литератора (воспитанного в Европе и отнюдь не радикала) Владана Джорджевича с чешским национальным деятелем Ладиславом Ригером. На замечание Ригера о том, что «австрийское ярмо становится для чешского народа слишком тяжелым», его собеседник задал вполне естественный для всякого серба вопрос: «Почему тогда чешский народ не сбросит его?» На то был получен характерный ответ: «Народ, у которого почти в каждом втором доме стоит пианино, не поднимает революцию»<sup>111</sup>. Перед нами два наглядных проявления двух систем мышления<sup>112</sup>, названных Ю. М. Лотманом *бинарной* и *тернарной*. Вторая «стремится приспособить идеал к реальности», тогда как первая — «осуществить на практике неосуществимый идеал»<sup>113</sup>.

Кстати, о фортепиано. В 1898 г., т. е. спустя целых 20 лет после разговора Владана Джорджевича с Ригером, в старой сербской столице, Крагуеваце, по подсчетам педантичного Ф. Каница, на 14 тысяч жителей приходилось всего одно пианино, да и то стояло в доме переселенцев из Срема<sup>114</sup>. Музыкальные запросы сербов из Княжества были иными: героические песни, исполняемые на гусях, помогали усиливать «участие минувших поколений в современности». Ровинский описал финал исполнения одной из таких песен: «А когда дошло дело до Вука Бранковича, что выдал царя на Косове, и пропел ему певец: “Проклят будь и род ему, и племя!”, “Проклят!”, — крикнули тут все и повскачили с мест, как будто бы ища изменника, предавшего все сербство»<sup>115</sup>.

Завершая свои заметки о Сербии, Ровинский писал, что страна произвела на него «впечатление полувоенного лагеря», что все в ней «временное, неустановившееся, все в каком-то ожидании чего-то, что вся она живет *накануне*, вся в каком-то воинственном настроении»<sup>116</sup>. В итоге, резюмировал он, «во имя постоянно грозящей войны Сербия жертвует своими истинно человеческими интересами», ибо «на такой почве трудно ожидать, чтоб могли пустить глубокие корни гуманизм и гражданственность»<sup>117</sup>.

И действительно, коллективный портрет серба второй половины XIX — начала XX в. вполне можно было бы подписать: *Ното Militans*, т. е. «человек вечной войны»<sup>118</sup>, формирование которого и проходило в условиях специфической системы воспитания, описанной Ровинским<sup>119</sup>.

Но когда наступила пора решающих столкновений — во имя *отмщения Косова*, сербы (словно подтверждая мысль Ключевского, что «цементирующая сила — традиция и цель»<sup>120</sup>) — *все как один* ринулись в бой, да так, что выдавшие виды русские дивились: «В Нише. Здесь узловой пункт. Нет шума, нет пьяных, нет плачущих женщин. Вообще ничего похожего на наши родные картины при отправке на войну запасных»<sup>121</sup>. И в глазах провожающей сына матери «ни единой слезинки». В них только одно: «Напред, сине, с Богом!»<sup>122</sup>

Как и несколько лет спустя, во время Первой мировой войны, только сербская мать могла написать сыну, оказавшемуся в австрийском плену: «Я все думаю, что если тебя все-таки пленили, то ты, наверное, был ранен и не мог защищаться. Но, сынок, если ты сдался сам и при

этом не был ранен, домой больше не возвращайся. Ты осрамил бы наше село, которое положило на алтарь отечества жизнь восьмидесяти трех героев из ста двадцати, сколько их всего призвали в армию. Твой брат Милан погиб у Рудника. Должно быть, он был счастлив, когда видел, как его старейший король стреляет из первых шеренг»<sup>123</sup>.

### Примечания

<sup>1</sup> *Ровинский П. А.* Черногория в ее прошлом и настоящем. Т. 1. СПб., 1888; Т. 2. Ч. 1. СПб., 1897; Т. 2. Ч. 2. СПб., 1901; Т. 3. Пг., 1915.

<sup>2</sup> *Пыпин А. Н.* Мои заметки. М., 1910. С. 30.

<sup>3</sup> Там же. С. 38; *Долобко М. Г.* П. А. Ровинский // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1916. Кн. 7. С. 17.

<sup>4</sup> См.: *Пантелеев Л. Ф.* Воспоминания. М., 1958; *Гросул В. Я.* Российские революционеры в Юго-Восточной Европе. Кишинев, 1973; *Юдин В. Н.* Сподвижник Чернышевского. Волгоград, 1983.

<sup>5</sup> *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский. Калинин, 1988. С. 20.

<sup>6</sup> Цит. по: *Юдин В. Н.* Сподвижник Чернышевского... С. 81.

<sup>7</sup> *Ровинский П. А.* Болгарский хайдук Панайот и его записки // Отечественные записки. 1878. Кн. 8. С. 351.

<sup>8</sup> *Пыпин А. Н.* Русское славяноведение в XIX столетии // Вестник Европы. 1889. Кн. 9. С. 291.

<sup>9</sup> *Вукичевич М. М.* П. А. Ровинский и сербы // Известия Императорского Русского Географического Общества. 1916. Т. 52. Вып. 7.

<sup>10</sup> *Долобко М. Г.* П. А. Ровинский... С. 16–25.

<sup>11</sup> *Карасев В. Г.* Сербский демократ Живоин Жуевич. М., 1974. С. 84–103, 291–299.

<sup>12</sup> *Гросул В. Я.* Российские революционеры в Юго-Восточной Европе... С. 318–343; *Гросул В. Я.* Революционная Россия и Балканы (1874–1883). М., 1980. С. 236–276.

<sup>13</sup> *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский... С. 29–42; *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский в Черногории. Калинин, 1989. С. 22–27.

<sup>14</sup> *Хитрова Н. Н.* П. А. Ровинский о Сербии // П. А. Ровинский (1831–1916) и его время. Калинин, 1988. С. 37–47.

<sup>15</sup> *Иванов С. Ю.* Ровинский о сербском народе (опыт этнопсихологической характеристики) // П. А. Ровинский (1831–1916) и его время... С. 54–66.

<sup>16</sup> Румянцева А. А. Положение сербской женщины в 1860-е гг. (по свидетельству П. А. Ровинского) // Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых. М., 2003. С. 27–37.

<sup>17</sup> Перовић Л. П. А. Ровински о Србији 1868. године // Перовић Л. Српско-руске револуционарне везе. Београд, 1993. С. 41–46; Перовић Л. Предговор // Ровински Павел Аполонович. Записи о Србији (1868–1869). Нови Сад, 1994. С. 7–22; Перовић Л. Други о пата // Perović L. Ljudi, dogadjaji i knjige. Beograd, 2000. S. 162–165.

<sup>18</sup> Радусиновић П. Павле Аполонович Ровински — стазама његовог живота и рада. Подгорица, 1996.

<sup>19</sup> См.: Библиографија печатних трудов П. А. Ровинског // Котлярская Л. А., Фрејденберг М. М. Из историје отечественој славистици: П. А. Ровински... С. 60–70.

<sup>20</sup> Ровински П. А. Два месеца в Србији (из путевих воспоминаний) // Вестник Европы. 1868. Кн. 11. С. 364–386.

<sup>21</sup> Ровински П. А. Белград. Его устройство и общественная жизнь. Из записок путешественника. I–II // Вестник Европы. 1870. Кн. 4. С. 530–579; Кн. 5. С. 132–188.

<sup>22</sup> Котлярская Л. А., Фрејденберг М. М. Из историје отечественој славистици: П. А. Ровински... С. 38.

<sup>23</sup> Котлярская Л. А., Фрејденберг М. М. Из историје отечественој славистици: П. А. Ровински в Черногории... С. 22.

<sup>24</sup> Ровински П. А. Воспоминания из путешествия по Србии в 1867 году // Вестник Европы. 1875. Кн. 11. С. 5–34; Кн. 12. С. 699–725.

<sup>25</sup> Ровински П. А. Сербская Морава. Воспоминания из путешествия по Србии в 1867 году // Вестник Европы. 1876. Кн. 4. С. 517–558.

<sup>26</sup> Ровински П. А. Россия и славяне Балканского полуострова // Древняя и новая Россия. 1878. Т. 1. № 2. С. 144–169.

<sup>27</sup> Ровински П. А. Битва у Каменицы, близ Ниша (в мае 1809 г.) (эпизод из истории войн за освобождение) // Древняя и новая Россия. 1878. Т. 2. № 5. С. 53–63.

<sup>28</sup> Ровински П. А. Болгарский хайдук Панайот и его записки... С. 345–388.

<sup>29</sup> Ровински П. А. Наши отношения к сербам (поучение из прошлого и настоящего) // Древняя и новая Россия. 1877. Т. 1. № 2. С. 174–191.

<sup>30</sup> Котлярская Л. А., Фрејденберг М. М. Из историје отечественој славистици: П. А. Ровински в Черногории... С. 24.

<sup>31</sup> Тодорова М. Имагинарни Балкан. Београд, 1999. С. 196. Так, именно «этнографическим музеем», где есть только «прошлое в настоящем», назвал Балканы ученый путешественник из США Уильям Слоан (см.: Sloan W. M. The Balkans: A Laboratory of History. New York, 1914. P. VII, 3, 56).

<sup>32</sup> Ровински П. А. Два месеца в Србии... С. 386.

- <sup>33</sup> Там же. С. 381.
- <sup>34</sup> Там же. С. 377.
- <sup>35</sup> Там же. С. 379.
- <sup>36</sup> Там же. С. 378.
- <sup>37</sup> Там же. С. 386.
- <sup>38</sup> *Ровинский П. А.* Наши отношения к сербам... С. 187.
- <sup>39</sup> *Ровинский П. А.* Черногория в ее прошлом и настоящем... Т. 1. С. IV.
- <sup>40</sup> *Ровинский П. А.* Наши отношения к сербам... С. 187.
- <sup>41</sup> Цит. по: *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский в Черногории... С. 72.
- <sup>42</sup> *Гордон А. В.* Новое время как тип цивилизации. М., 1996. С. 45.
- <sup>43</sup> *Ровинский П. А.* Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году... С. 25.
- <sup>44</sup> *Долобко М. Г.* П. А. Ровинский... С. 18–19.
- <sup>45</sup> *Ровинский П. А.* Два месяца в Сербии... С. 378.
- <sup>46</sup> Цит. по: *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский... С. 39.
- <sup>47</sup> *Ровинский П. А.* Два месяца в Сербии... С. 374.
- <sup>48</sup> Там же. С. 373.
- <sup>49</sup> Там же. С. 374.
- <sup>50</sup> *Иванов С. Ю.* Ровинский о сербском народе (опыт этнопсихологической характеристики)... С. 56.
- <sup>51</sup> *Perović L.* Drugi o nama... S. 163.
- <sup>52</sup> *Ровински Павел Аполонович.* Записи о Србији (1868–1869). Нови Сад, 1994.
- <sup>53</sup> *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Из истории отечественной славистики: П. А. Ровинский в Черногории... С. 5.
- <sup>54</sup> *Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М.* Педагогическая деятельность П. А. Ровинского // Советская педагогика. 1986. № 4. С. 102.
- <sup>55</sup> См.: *Арьес Ф.* Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург, 1999.
- <sup>56</sup> *Ровинский П. А.* Белград. Его устройство... II. С. 184.
- <sup>57</sup> Там же. С. 185.
- <sup>58</sup> Православная жизнь русских крестьян в XIX–XX веках. М., 2001. С. 186. См. также: Очерки русской культуры XIX века. М., 1998. С. 233–234; *Стефаненко Т. Г.* Этнопсихология. М., 2003. С. 119–120.
- <sup>59</sup> *Ровинский П. А.* Сербская Моравы... С. 549.
- <sup>60</sup> См.: *Энгельгардт А. Н.* Из деревни. 12 писем (1872–1887). М., 1987. С. 50–52; Православная жизнь русских крестьян в XIX–XX веках... С. 183–186.
- <sup>61</sup> *Ровинский П. А.* Сербская Моравы... С. 538.
- <sup>62</sup> *Ровинский П. А.* Белград. Его устройство... II. С. 185.
- <sup>63</sup> Православная жизнь русских крестьян в XIX–XX веках... С. 183.

- <sup>64</sup> Там же. С. 187.
- <sup>65</sup> *Ровинский П. А.* Сербская Моравы... С. 550.
- <sup>66</sup> Там же. С. 549–550.
- <sup>67</sup> Югославянские народы // Дети в обычаях и обрядах народов зарубежной Европы. М., 1995. С. 167.
- <sup>68</sup> *Стефаненко Т. Г.* Этнопсихология... С. 98.
- <sup>69</sup> *Мид М.* Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988. С. 322.
- <sup>70</sup> Там же. С. 350.
- <sup>71</sup> *Ровинский П. А.* Белград. Его устройство... II. С. 184–185.
- <sup>72</sup> Там же. С. 185–186.
- <sup>73</sup> Там же. С. 186.
- <sup>74</sup> *Овсяный Н. Р.* Сербия и сербы. СПб., 1898. С. 113. См. также: *Евреинов Б. П.* Статистические очерки Сербского королевства. СПб., 1903. С. 34; *Чериковер С. I.* Сербия. II. Босния и Герцеговина. М., 1910. С. 16; *Мартынов Е. И.* Сербь в борьбе с царем Фердинандом. Заметки очевидца. М., 1913. С. 19.
- <sup>75</sup> *Ровинский П. А.* Белград. Его устройство... II. С. 138.
- <sup>76</sup> *Ровинский П. А.* Болгарский хайдук Панайот и его записки... С. 350.
- <sup>77</sup> *Ровинский П. А.* Сербская Моравы... С. 523.
- <sup>78</sup> Там же. С. 522.
- <sup>79</sup> Там же. С. 523.
- <sup>80</sup> *Ровинский П. А.* Белград. Его устройство ... II. С. 138.
- <sup>81</sup> *Ровинский П. А.* Сербская Моравы... С. 523.
- <sup>82</sup> *Ровинский П. А.* Белград. Его устройство... II. С. 138–139.
- <sup>83</sup> Там же. С. 140.
- <sup>84</sup> Там же. С. 138.
- <sup>85</sup> Там же. С. 173.
- <sup>86</sup> *Водовозова Е. Н.* Как люди на белом свете живут. Болгары, сербы, черногорцы. СПб., 1898. С. 104–105.
- <sup>87</sup> Цит. по: *Вулетич А.* Породица у Србији средином 19. века. Београд, 2002. С. 82.
- <sup>88</sup> *Кузьмин М. Н.* Переход от традиционного общества к гражданскому: изменение человека // Вопросы философии. 1997. № 2. С. 60.
- <sup>89</sup> *Вулетич А.* Породица у Србији средином 19. века... С. 82.
- <sup>90</sup> *Корф М. А.* Записки. М., 2003. С. 469.
- <sup>91</sup> *Димитријевић Ј.* Како живи наш народ. Белешке једног окружног лекара. Београд, 1893. С. 24–25. Современные исследования подтверждают данную констатацию. См.: *Исид М.* Писменост у Србији у 19. веку // Образовање код Срба кроз векове. Београд, 2003. С. 78.
- <sup>92</sup> *Водовозова Е. Н.* Как люди на белом свете живут... С. 104.
- <sup>93</sup> *Геллнер Э.* Пришествие национализма // Нации и национализм. М., 2002. С. 150.



<sup>94</sup> См.: *Вишняков Я. В.* Военный фактор и проблема модернизации сербского государства в конце XIX — начале XX в. // Югославянская история в Новое и новейшее время. М., 2002. С. 124, 134.

<sup>95</sup> См.: *Топоров В. Н.* Функция границы и образ «соседа» в становлении этнического самосознания // Советское славяноведение. 1991. № 1. С. 29–30; *Багно В. Е.* Пограничное сознание, пограничные культуры // Канун. СПб., 1996. Вып. 2. Полярность в культуре. С. 420.

<sup>96</sup> Цит. по: *Достяк И. С.* Борьба сербского народа против турецкого ига. XV — начало XX в. М., 1958. С. 125.

<sup>97</sup> *Љушић Р.* Социјална револуција. Проблеми // Љушић Р. Србија 19. века. Београд, 1994. Књ. 1. С. 18–19.

<sup>98</sup> См.: *Љушић Р.* Вожд Карађорђе. Друго издање. Београд, 2000. Књ. 1. С. 6–7.

<sup>99</sup> См.: *Јовановић М.* Језик и друштвена историја. Београд. 2002. С. 75.

<sup>100</sup> В 1786 г. Карагеоргиев с семьей был вынужден бежать из Сербии в Австрию. Но его отец Петр, как пишет о том Р. Люшич, «уже в годах, пребывая в страхе от турецкой погони и неизвестности, которая их ожидала в соседней стране, в дороге передумал и предложил возвратиться в родное село. Такое его решение не было чем-то неожиданным, поскольку он принадлежал к той категории людей, для которой статус райи на родине казался предпочтительнее неизвестности бегства <...>. Он не только высказался против переселения, но и пригрозил, что выдаст беглецов туркам. Страх перед ними, все еще весьма значительный в жизни сербов, вносил сильное беспокойство в раетинскую душу Петра <...>. Убеждения близких не помогли — Петр повернул назад. И тогда его настигла пуля, выпущенная из ружья сына» (см.: *Љушић Р.* Оцеубинство // Љушић Р. Србија 19. века. Београд, 1998. Књ. 2. С. 227).

<sup>101</sup> *Самарџић Р.* Традиција и преображаји Срба // *Самарџић Р.* Идеје за српску историју. Београд, 1989. С. 20; *Љушић Р.* Косовска традиција у ратном периоду Српске револуције (1804–1815) // *Љушић Р.* Србија 19. века ... Књ. 1. С. 24.

<sup>102</sup> *Ровинский П. А.* Сербская Морава... С. 533.

<sup>103</sup> *Stojadinović M.* Ni rat, ni rakt. Rijeka, 1970. S. 11.

<sup>104</sup> *Шацкиј Е.* Утопија и традиција. М., 1990. С. 230; *Манхейм К.* Консервативная мысль // *Манхейм К.* Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 610.

<sup>105</sup> *Ровинский П. А.* Белград. Его устройство... II. С. 186.

Заметим, что с течением времени в данной системе воспитания мало что менялось. Спустя почти полвека после путешествия Ровинского другой русский автор констатировал: «Когда старый дед учит внука владеть саблей или кинжалом, тогда жилище серба наполняется избытком высокого наслаждения и удовольствия <...>. Преемственно, от поколения к поколению, передаются имена освободителей народа от турецкого ига и в честь их слагаются песни» (*Кожухов А. Н.* Сербия и сербы. Каменец-Подольск, 1915. С. 12).

<sup>106</sup> Ровинский П. А. Белград. Его устройство... II. С. 186–187.

<sup>107</sup> Цит. по: *Porović-Obradović O. Vojna elita i civilna vlast u Srbiji 1903–1914. godine // Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. Knj. 3. Uloga elita. Beograd, 2003. S. 204.*

<sup>108</sup> Ровинский П. А. Белград. Его устройство... II. С. 185.

<sup>109</sup> Там же. С. 187.

<sup>110</sup> Катихизис за народ српски // Златибор. Народни лист. Ужице. 17 апреля 1888 г. Бр. 17.

<sup>111</sup> Рукописно Одељење Матице Српске. Бр. М.14.045. *Владан Ђорђевић*. Успомене: културне скице из XIX века. Књ. 3. «У војсци». XXVIII.

<sup>112</sup> Прошли десятилетия, но в мышлении одних и других опять-таки ничего не изменилось. В начале рокового 1914 г. оказавшийся в сербской столице русский турист писал: «Белград делает сейчас заем в 40 миллионов франков, из которого 20 миллионов предназначено на постройку общественных зданий <...>. Многие находят, что для Белграда это расход чрезмерный, утверждая, что украшать город хорошо, <...>, но, что пушки, пожалуй, надежнее. «Не лучше ли иметь лишних 20 скорострельных пушек, чем построить один дом». В ответ за это, гость вспомнил о своей встрече с мэром Праги, «когда он показывал народный банк, который обошелся чуть не в четыре миллиона франков. Я спросил, как может маленькая Чехия возводить такие дворцы, которые считались бы роскошью даже в России или во Франции. Он ответил, что положение России и Чехии несравнимо <...>. Чешский крестьянин знает, что он окружен со всех сторон немцами, которые хотят задавить его национальное самосознание, ему тяжело, его надо подбодрить. Вот и строятся дворцы для обслуживания народных нужд, чтобы показать народу его силу и мощь его единения. Каждая такая постройка есть новая крепость, она придает крестьянину веру в самого себя, в свои силы и укрепляет его дух» (*Комаров Г. В.* В Белград на Пасху. СПб., 1914. С. 7–8).

<sup>113</sup> *Лотман Ю. М.* Культура и взрыв // *Лотман Ю. М.* Семиосфера. СПб., 2000. С. 142.

<sup>114</sup> *Каниц Ф.* Србија. Земља и становништво. Београд, 1985. Књ. 1. С. 301.

<sup>115</sup> Ровинский П. А. Сербская Моравы... С. 530.

<sup>116</sup> Там же. С. 557–558.

<sup>117</sup> Ровинский П. А. Белград. Его устройство... II. С. 186–187.

<sup>118</sup> Там же.

<sup>119</sup> Явления подобного порядка (*Humanitas Heroica*) свойственны культурам пограничья, формируя своеобразный этос поведения и идеалы героизма — «чојства и јунаштва» у сербов. Характерные черты образцового защитника собственного этноса и его культуры можно определить как «драматизм мученичества» (см.: *Angyal E. Swjat slowian'skiego baroku* (перевод с венгерского оригинала на польский язык). Warszawa, 1972. S. 327–331).

<sup>120</sup> *Ключевский В. О.* Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М., 1993. С. 67.

<sup>121</sup> Другой русский очевидец зафиксировал то же самое: «На всех станциях было много резервистов, отправлявшихся на пополнение войск, а также попадались солдаты, вылечившиеся от ран <...>. Настроение у всех было очень бодрое, а главное совершенно спокойное, как будто они ехали на самое обычное дело. Провожавшие родственники также не обнаруживали никаких внешних проявлений горя в виде плача, криков и причитаний» (*Мартынов Е. И.* Сербь в борьбе с царем Фердинандом. Заметки очевидца... С. 28).

<sup>122</sup> *Чириков Е. Н.* Поездка на Балканы. Заметки военного корреспондента. М., 1913. С. 23, 28. В 1912 г. жена русского посланника в Сербии Н. Г. Гартвига писала из Белграда в Москву: «Только что хоронили чиновника Министерства иностранных дел Ковачевича, тело которого привезли в кусках из-под Куманова. Старик-отец перед прощанием обратился к сыну со словами: "Прощай, юнак, ты видишь, я не плачу, ступай с миром к престолу Всевышнего и скажи царям Душану и Лазарю, что Косово поле освобождено". Это был единственный сын старика» (Центральный исторический архив Москвы. Ф. 179. Оп. 21. Д. 3017. Л. 31; *Козлов В. Ф.* Москва — Сербия. Из истории русско-сербских связей XVII — начала XX века. М., 2001. С. 52).

<sup>123</sup> Цит. по: *Лафан Р.* Срби — чувари капије. Предавања о историји Срба. Београд, 1994. С. 275.

# Оглавление

Предисловие .....	5
Введение	
<i>Шемякин А.Л.</i>	
Сербские сочинения П. А. Ровинского .....	7
<i>Ровинский П. А.</i>	
Два месяца в Сербии (из путевых воспоминаний) .....	27
<i>Ровинский П. А.</i>	
Белград. Его устройство и общественная жизнь. Из записок путешественника .....	56
<i>Ровинский П. А.</i>	
Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году .....	180
<i>Ровинский П. А.</i>	
Сербская Морава. Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году .....	242
<i>Ровинский П. А.</i>	
Наши отношения к сербам (поучение из прошлого и настоящего) .....	286
<i>Ровинский П. А.</i>	
Россия и славяне Балканского полуострова .....	314
<i>Ровинский П. А.</i>	
Битва у Каменицы, близ Ниша (в мае 1809 года). (Эпизод из истории сербских войн за освобождение) .....	318
<i>Ровинский П. А.</i>	
Болгарский хайдук Панайот и его записки .....	336
<i>Шемякин А.Л.</i>	
«Мир детства» сербов в путевых записках П. А. Ровинского .....	376

*Научное издание*

РУССКИЕ О СЕРБИИ И СЕРБАХ  
ТОМ III

(сербские сочинения П. А. Ровинского)

Корректоры *В. Т. Мусбахова, Е. Г. Закревская*  
Оригинал-макет *А. А. Крыласов*  
Дизайн обложки *И. А. Тимофеев*

Подписано в печать 27.12.2019. Формат 60×90/16  
Бумага офсетная. Печать офсетная  
Усл.-печ. л. 25,25. Тираж 500 экз. Заказ № 2006

Издательство «Нестор-История»  
197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 7  
Тел. (812)235-15-86  
e-mail: [nestor\\_historia@list.ru](mailto:nestor_historia@list.ru)  
[www.nestorbook.ru](http://www.nestorbook.ru)

Отпечатано в типографии  
издательства «Нестор-История»  
Тел. (812)235-15-86





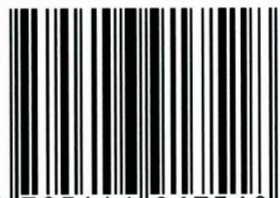
**Павел Аполлонович  
РОВИНСКИЙ**

**1831—1916**

еннымъ условіямъ, въ кото  
на перекоръ тому, къ че  
дствіе своего естествен  
обужденія, вслѣдствіе своего  
днаго, такъ сказать, харак  
положеніямъ  
ь.  
дное правленіе  
ту всѣхъ славянъ  
еть единовласт  
ть иноплемен  
дѣленныхъ р  
ецовъ и даже  
ногобожію,  
конѣ) и жре  
ь, также ус  
амъ германска  
финскаго; не пр  
правамъ ни рабовъ,  
блзуются феодалами, заняв  
ему у народовъ германскаго  
вненія претерпѣваетъ отъ  
кихъ причинъ и группи  
лемень между собою.  
вское государство, объеди  
ныхъ славянъ между исто  
и Дунаемъ, между Карпа  
падается, вслѣдствіе втор  
е клиномъ втиснулись и на  
е дрѣволицы (ст. 94 Г.)

останавливаютъ турки. Швъ то  
роды германскаго и романскаго  
дѣляютъ между собой наследіе  
защиты древне-классическаго міра  
тѣло съ восточными варварами.  
и теперь параллель съ  
Прибалтійскіе и эльбскіе  
истребленію огнемъ и  
Великаго, тогда какъ  
ациональность. Фран  
во Франціи. Гуп  
даной Европѣ без  
насъ погибли обр  
и многія племена  
твовали на Пир  
тѣ же славяне, р  
роль, не были та  
дныя лѣтописцы у  
ихъ по преимуществу  
культурномъ отношен  
торыхъ, по крайней мѣрѣ, частях  
ше германцевъ, какъ это указыва  
бергскій? развѣ не процвѣтала  
ная Венеція (Винета)? развѣ в  
прага  
ропы  
ца въ  
въ на  
дство  
олько  
ней. Бо всѣхъ этихъ случаяхъ  
проигрываютъ и истребляются

ISBN 978-5-4469-1751-8



9 785446 917518

inslav